

БОРИС ХАЗАНОВ
МАРК ХАРИТОНОВ

...Пиши,
мой друг

П Е Р Е П И С К А 1995 - 2004



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



**БОРИС ХАЗАНОВ
МАРК ХАРИТОНОВ**

...Пиши, мой друг

ПЕРЕПИСКА
1995–2004

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2013

УДК 82–6
ББК 83(2Рос=Рус)6
Х152

Хазанов Б.

Х152 ...Пиши, мой друг. Переписка 1995–2004 — СПб.: Алетейя, 2013.
423 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978–5–91419–767–1

Первый том многолетней переписки известных писателей Бориса Хазанова и Марка Харитоновна содержит письма 1995–2004 гг. Авторы размышляют здесь о происходящем в России, в мире, о проблемах истории и современной цивилизации, о литературе, искусстве, культуре, о психологии художественного творчества и, конечно же, о своей жизни, о собственной литературной работе.

УДК 82–6
ББК 83(2Рос=Рус)6

© Б.Хазанов, 2013
© М.Харитонов, 2013
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

Борис Хазанов — Марк Харитонов

ПЕРЕПИСКА

1995—2011

Несколько лет назад один из российских журналов предложил напечатать фрагменты нашей многолетней переписки с Борисом Хазановым (Геннадием Моисеевичем Файбусовичем). Для публикации понадобилось предисловие, Хазанов попросил сделать это меня.

«Написать предисловие к собственной переписке, — ответил я ему, — один из участников вряд ли сможет. Я, во всяком случае, не знаю как, попробуй ты» (письмо 11.4.08). Публикация в журнале так и вышла без предисловия, авторы (корреспонденты) редакцией никак не были представлены, читателю приходилось гадать, почему Марк Харитонов обращается к Борису Хазанову «Гена».

Обстоятельства вынуждают меня сейчас все-таки сделать небольшое предисловие: Геннадию Моисеевичу писать пока не позволяет травма.

Наша переписка началась вскоре после отъезда Бориса Хазанова в эмиграцию в августе 1982 г., правда, не сразу. Даже писать за границу в те годы надо было с опаской: письма просматривались, зачастую просто не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямыми намеками — это было тогда особое искусство.

Часть многолетней переписки, отправлявшейся обычной почтой, в этой публикации не представлена; тексты, которые писались от руки или печатались на машинке, остаются пока на бумаге. Поздней появился компьютер, сейчас оказалось возможно воспроизвести здесь письма, сохранившиеся в моем с декабря 1995 г.; ответные письма Хазанова, может быть, хранятся в его компьютере. Подписи в этих письмах ставились от руки, поэтому в публикации их нет.

По-настоящему интенсивной наша переписка стала лишь с появлением электронной почты. Случалось писать друг другу ежедневно (а бывало, и дважды в день). Раз-другой Борис Хазанов начинал нумеровать свои письма ко мне; нумерация сбивалась; последний раз, в 2011г, она достигла цифры 500. Думаю, на самом деле их не меньше тысячи.

Одно время Хазанов стал датировать свои письма, пользуясь готовностью компьютера ставить даты автоматически. Автоматика сыграла с ним, однако, дурную шутку: числа продолжали обновляться сами собой ежедневно; в его компьютере они меняются, наверное, и сейчас; здесь они, конечно, удалены. Я запоздало догадался дублировать эти автоматические цифры, ставя в своем компьютере числа от руки. Восстановить первоначальные даты сейчас не удастся, о месте многих писем приходится догадываться лишь по моим ответам.

«Я не вёл дневников, мои письма — аналог дневника», — заметил Борис Хазанов в эссе «Родники одиночества». Его письма с годами стали существенной частью моей жизни. Как-то он мне написал, что и мои письма стали частью его жизни. (7.12.08) Мне очень не хватает их сейчас, когда наша переписка прервалась — надеюсь, лишь на время.

Марк Харитонов, 1.09.2011

Небольшое предисловие 2011 г. было предназначено для электронной версии нашей переписки, которая сейчас полностью выложена на сайте Бориса Хазанова. Для книжного издания текст пришлось существенно сократить; по большей части убраны, среди прочего, повторяющиеся начальные и прощальные приветствия, нумерация писем Хазанова и др. Сокращения везде отмечены знаком [...]

М.Х., май 2012

М. Харитонов — Б. Хазанову

1995

23.12.1995, Москва

Дорогой Гена!

С большим запозданием поздравляю тебя и твоё семейство с Рождеством. Желаю вам всем счастья в Новом году.

Я задержался с ответом, потому что хотел сперва раздобыть журнал с твоим романом. Увы, пока не получилось. Я слышал, на него уже была рецензия.

Сам я живу без заметных событий. Все больше втягиваюсь в новую работу, это состояние привычное — и хорошее. Тем более, что от тревог по поводу хлеба насущного я пока избавлен. С января в разных журналах будут понемногу печатать мои эссе из книги, которую я назвал «Способ существования». О публикации самой книги пока говорить не приходится. Впрочем, в марте её сокращенный вариант должен выйти во Франции. Хожу на лыжах. У нас сейчас морозные солнечные дни.

О политических событиях говорить противно, тем более в преддверии Нового года. Ты про них и сам все знаешь. Посмотрим, что будет дальше.

Еще раз прими мои самые сердечные рождественские и новогодние пожелания. Всего вам доброго

Твой

1996

20.02.1996, Москва

Дорогой Гена!

Твое краткое письмо шло больше месяца, но я не сразу смог на него ответить. Неделю с лишним назад у меня, как никогда, вдруг подскочило давление, пришлось обратиться к врачу. Тебе, наверное, знакомы некоторые сосудистые воздействия криза: вдруг объявились затруднения в памяти, в поиске слов; я странным образом не мог вспомнить каких-то стихов. Пришлось на время отложить трудную работу, и, дожидаясь воздействия назначенных лекарств, я начал читать. Я пошел в ближнюю библиотеку, и мне, в отступление от правил, дали на дом журнал «Октябрь» с твоим прекрасным романом, который я проглотил за два дня.

Меня захватила с первых же глав сама повествовательная плоть, вещество узнаваемой жизни, иррациональность и в то же время возможность сюжетного саморазвития. Сходным образом в свое время затягивала меня внутрь фантазмагорической логики кафкианских романов. Так это знакомо, так убедительно, так возникает из твоей памяти, твоих житейских давних ощущений: запахи поезда, прознобленность станционного здания, картины заречного предместья, которое можно считать и провинциальным городом, убогость улиц, надышанное тепло, быт и обстановка комнат, обрывки застольных пьяных разговоров, неизбежность словесных советских штампов, абсурдных представлений — и попытки построить на всех этих нелепых обломках какую-то цельную жизнь, домашнюю, личную, доступную, какую-то общую смыслообразующую философию. Втянувшись как бы изнутри в мироощущение повествователя, не подвергаешь сомнению ни мысли героев, ни реалистичной фантазмагии, ни парадоксальных совмещений. «Сама действительность не отличается стройностью и безупречным правдоподобием» — вот именно. Забавны и откровенные вариации на федоровские темы, иронично соединенные с марксистскими и всякими советскими цитатами. Общая идея романа в этом смысле выглядит, наверно, понятной, хотя мне сейчас не совсем просто ее сформулировать; надо еще его перечитать, но я пока должен вернуть журнал. Книга вообще кажется мне в определенном смысле новым для тебя шагом — я могу тебя с ней поздравить.

Признаться ли тебе, однако, в каком-то недостатке своего восприятия? Иррациональность идейного и сюжетного развития, пьяная логика обрывистых бесед и тому подобное — не просто не вызывали у меня никакого сопротивления, наоборот, затягивали внутрь текста. Но если что временами выталкивало из него — так это стилистическая несогласованность. Начиная, если угодно, с первого трактата, «о великом магистерии». Он, как и некоторые другие, откровенно европейского, инокультурного стиля; здесь, конечно, твой, не соединимый с фотиевским взгляд. Равно как скандинавская мифология, латинская эрудиция, немецкие и прочие ассоциации — все это слишком твое, привнесенное извне, но здесь-то чье на самом деле? В повествователе, конечно же, немало от тебя, от твоего мироощущения, твоих воспоминаний — но из-за избытка твоего присутствия на страницах воспринимать его как подлинного почитателя Фотиева бывает трудновато. Попытка чьего-то объективного, аналитического описания сбивает мой взгляд, без надобности выпихивает меня наружу. Мне сейчас трудновато это выразить; может, я в чем-то и не прав — но нет ли смысла при подготовке книжного издания убрать по меньшей мере

вступление «от редактора» и абзацы «объективного» обрамления, вначале и в конце? Это позволило бы мне, читателю, оставаться внутри повествовательного мира, не сопоставляя его с иным, разбираясь — через него — в собственных ощущениях и мыслях. Ироничность твоего авторского взгляда достаточно акцентирована названиями глав, вариативность осмысления очевидна без комментариев.

Возможно, я, впрочем, не совсем четко выражаю свое предварительное ощущение. Надо будет еще перечитать все на более восприимчивую голову.

Мы, кстати, обсуждали роман с Галей, в чем-то пришли к согласию. Она, как и я, особенно оценила плоть житейских описаний, словесную основу, ощущение страны, эпохи, провинциального города, быта. Какие-то частности показались ей близкими моей прозе — я с этим не стал спорить.

Что тебе сказать о себе? Вчера я получил февральский номер «Дружбы народов» с первыми главами эссеистической книги «Способ существования». В третьем номере «Знамени» выйдет еще одна часть. Ты многого не читал, книга сложилась большая. Во Франции на днях выходят две моих книги: «Два Ивана» и «Способ существования» (сокращенный сборник эссе). В конце марта нас приглашают с Галей на презентацию, по этому поводу мы недели три поедем. Похоже, меня приглашают выступить в университетах Женевы и Экс-эн-Прованса, возможно, позовут и в Амстердам, где прошлой осенью вышел мой роман. В феврале «Сундучок Милашевича» выходит и в Америке.

Болезнь последних дней вызвала у меня много необычных мыслей на разные темы, о которых я хотел бы с тобой поговорить (в том числе и о смерти Бродского); вдруг почудилась необходимость заново переделать написанные куски прозы. Но я сейчас, оказывается, устал — закончу это уже довольно длинное и затрудненное письмо. Напишу тебе подробнее в следующий раз. А пока пойду прогуляться в лес. У нас в этом году необычайная зима: снежная, чистая, солнечная, морозная.

Как всегда, буду рад твоему письму. Всего тебе доброго. Привет Лоре.

Сердечно

18.04.1996, Москва

Дорогой Гена,

рад твоему ответу на мой привет из Парижа. Но дошло ли до тебя мое февральское довольно длинное письмо из Москвы? Я среди прочего поздравлял тебя с превосходным романом, который только что

прочитал в журнале, и рассказывал о некоторых житейских осложнениях. У меня чувство, что почта в какое-то время опять забарахлила, даже Галино письмо в Красноярск, как выяснилось, не дошло; не говорю о своих письмах в Германию. Мне во всяком случае хотелось бы, чтобы ты знал о моей высокой оценке твоего романа. Что до осложнений — речь шла о некотором нездоровье после довольно сильного гипертонического криза. Выдержать после этого месячную — и по сути рабочую — поездку по трем странам было не так просто. Я, например, утром на самолете полетел с переводчиком в Страсбург, мне был устроен обед в Совете Европы как первому русскому писателю, оказавшемуся здесь после вступления в Совет России, затем была необычно многолюдная встреча с читателями в книжном магазине, который считается одновременно известным культурным центром, интервью журналистам — и вечером на самолете обратно. Сложней всего оказалось в Женеве, где свирепствовал холодный ветер, а в окрестностях еще лежал снег. Я выступал там в университете у Жоржа Нива на тему «Двух Иванов» — читал свою переписку по этому поводу с Д.Самойловым, которая только что вышла в третьем номере журнала «Знамя»; я еще его не видел. Доступен ли тебе этот журнал? (А второй номер «Дружбы народов» с еще одной моей публикацией?)

Приехавший на лекцию Юра Гальперин увез нас к себе в Берн, потом мы попали в Цюрих, потом три дня отдыхали у друзей в Семюре. А потом Амстердам, где я выступал и давал интервью, представ себе, по-немецки, восемь часов в день. Голландцы показались мне сплошь многоязычными: хочешь — по-английски, хочешь — по-французски... Но все приключения и впечатления в письмо не вместишь. Вот хотя бы маленький финальный эпизод. Отлет из Парижа в Москву был осложнен забастовкой стюардесс. Они загородили путь автобусам и такси метрах в двухстах от терминала, и пожилые солидные бизнесмены должны были катить и нести свои чемоданы сами по шоссе. Билеты оформляла одна служащая вместе четырех. Образовалась вполне советская очередь, духота, вылет задержался на полтора часа. А в конце очереди мы вдруг увидели с громадным виолончельным футляром Ростроповича. Он откликнулся на наше приветствие с необычайным радушием; узнав мое имя, тут же пригласил зайти в Москве, дал телефон, подписался: «Слава Ростропович». И я у него уже побывал, подарил книги, а он подарил мне диск: «Дорогому Марку от благодарного Славы». Дивно, не правда ли? А как он с простодушной самоиронией рассказывал об орации, устроенной ему за два дня до того в Нью-Йорке! Писатели о таких вещах стесняются говорить. Как меня, например, в амстердамском отеле вдруг попросили сделать запись в книге почетных гостей... Забавно.

В Москве я еще не вполне акклиматизировался, к работе не приступил. На удивление отвык от телевизионных новостей и чтения газет. Все выродилось по большей части в повседневную жвачку. Да и французские телеэкраны, как и газеты, были преимущественно заполнены спорами об английском мясе. С друзьями пока не встречался. С Гришей вообще очень давно не виделся [...]

Мне самому сейчас больше всего хотелось бы посидеть за своим столом, вернуться к прерванной работе — и чтоб здоровье снова не вмешалось.

Знать бы еще, что это письмо до тебя дойдет, что говоришь не в пустоту.

Пиши. Сердечно обнимаю тебя и Лору

31.05.1996, Москва

Дорогой Гена,

я только что пришел с похорон Кронида¹, утонувшего больше недели назад. Самого тела уже не было, среди цветов стояла индонезийская шкатулка, очевидно с прахом. Урну захоронили в колумбарии Донского монастыря.

Такие вещи с трудом укладываются не то чтобы в сознании — в душе. Сознанию как раз ясно, что с любым из нас в любой момент может случиться что угодно.

Я дважды видел Кронида плачущим. Один раз это было в Мюнхене году в 1988. Он захотел мне показать видеокассету с записью своего выступления на встрече с деятелями, впервые приехавшими из Союза. «Только не обращай, — сказал, — внимания, я там в одном месте расплакался». Он говорил о судьбах политзаключенных, и в какой-то момент у него перехватило горло спазмом. Пришлось отвернуться и отереть слезу. Второй раз это было 19 августа 1991 года перед Белым домом. Он приехал на так называемый «Конгресс соотечественников». Но мы не стали там сидеть, поехали к Белому дому. Он был необычайно возбужден, встречался с разными людьми. Ближе к двенадцати стали звучать сообщения, что приближаются какие-то танки, неизвестно чьи и неизвестно зачем. А потом мы увидели эти танки. Было объявлено, что это «наши», пришли поддержать защитников Белого дома. И вдруг Кронид отвернулся от меня к Гале, плечи его затряслись от плача. Только тут я почувствовал, как он был напряжен, и понял, насколько легкомысленным по сравнению с ним был я.

¹ Здесь и далее — Кронид Любарский (1934–1996), астрофизик, правозащитник, публицист, в эмиграции был соредктором Б. Хазанова в журнале «Страна и мир».

Для меня такие человеческие проявления значат больше, чем журналистские составляющие.

Как-то он встречал меня на вокзале в Мюнхене (я приезжал из Фельдафинга). Был дождь, а я оказался в дырявых сандалиях. Не потому, что у меня совсем не было денег, а потому, что в Москве тогда просто негде было купить никакой обуви. Он понял, что у меня мокрые ноги, и заташил в первый же попавшийся обувной магазин. Я до сих пор ношу полуботинки, которые он мне купил. Никогда не думал, что они могут пережить его.

В прошлом году я закончил целую книгу о своих ушедших из жизни друзьях. Я назвал ее «Душа моя, скудельница» и сказал себе, что не хочу и не буду ее больше дополнять. Мои друзья должны жить долго.

Я желаю тебе всего самого доброго. Будь здоров

Москва, 17.07.1996

Дорогой Гена! [...]

Я на лето осел в Москве, сверх ожиданий работаю над книгой, которая, как всегда бывает, стала сама собой разрастаться. В прошлом месяце я, вопреки обыкновению, решил показать один рассказ из книги в журнале «Знамя». У меня тут же вытребовали второй и на той же неделе поставили публикацию в ближайший, сентябрьский номер.¹ Таких темпов я еще у нас не видел. Ведь в июне сентябрьский номер бывает уже полностью спланирован, значит, меня вставили вместо кого-то другого. Надо надеяться, что мой уровень показался просто более привлекательным. Уже была, представь себе, верстка. Может, в сентябре считаешь. Одним рассказом я сам доволен. Между прочим, он (как и второй тоже, и некоторые другие в книге), порожден во многом впечатлениями самого последнего времени. Есть все же в этих впечатлениях что-то литературно питательное. Такого нигде больше не увидишь, не услышишь. Это отчасти на тему об упомянутых тобой литераторах, которых все больше убывает в Германию. Впрочем, питательные источники литературы не иссякают нигде, я уже понял, что и в Германии мог бы писать.

Возможно, обилие уехавших объясняется отчасти открывшимися границами. Можно уехать, можно и вернуться. У меня после президентских выборов странное, возможно, не вполне оправданное чувство. Много последних лет мы двигались по краю пропасти, катастрофа, как подтверждается задним числом, была более чем реальна

¹ Речь идет о рассказах «Как хороши, как свежи были розы» и «Дух Пушкина»

и в 91-м году, и в последующие. Катастрофа политическая, экономическая, просто продовольственная. Тогда я такую угрозу ощущал, а сейчас нет. Кризис, разумеется, будет перманентный, с неизбежными обострениями, но это все-таки другое. Во всяком случае, на ближайшее будущее — так ведь и весь мир не гарантирован. Вот только бы убивать перестали.

Жаль, что на Марбургскую тусовку меня, видимо, не приглашают, с удовольствием бы приехал. Но поеду, возможно, в Прагу. Там в октябре выходят «Два Ивана», меня приглашают на презентацию, только дорогу вот не оплачивают. Посмотрим. Милуше Задражилова¹ писала, что предлагала издать твой «Час короля», но пока не получилось. В письме она, кстати, упомянула, что ты удостоился каких-то почестей немецкого ПЕН-клуба. Каких? Я об этом ничего не слышал.

Полемический настрой Гриши² по отношению к тебе меня тоже удивляет. Твоя статья о Бродском мне показалась превосходной. Ты обнаруживаешь, помимо всего, и способности критика, у меня, увы, отсутствующие. И второе эссе, о буквах — очень славное.

Милуше, между прочим, выразила желание написать о романе «Возвращение ниоткуда». Я не удержался в ответ от некоторого автокомментария. Давай-ка, воспользовавшись компьютерной техникой, воспроизведу его и для тебя. Ты когда-то тоже спрашивал о нем, да я не смог разродиться.

«... Особенное тебе спасибо за намерение написать о «Возвращении ниоткуда». Мне известна лишь единственная рецензия, где Алла Латынина (в «Лит. газете») назвала этот роман «событием». А в общем-то чувство, что он остался непрочитанным. Я люблю цитировать ответ Фолкнера читательнице, которая жаловалась, что прочитала трижды его роман «Шум и ярость», но ничего не поняла. «Прочтите четвертый», — сказал Фолкнер. Легко было так говорить Нобелевскому лауреату, да еще во времена, когда был другой темп жизни, когда у людей были силы, возможность, желание читать и перечитывать. Я ведь по себе знаю, сам почти не читаю, больше времени отнимают газеты. Голова и душа слишком перегружены. И даже профессиональные критики сплошь и рядом читают как будто для быстрого заработка — поспешно, поверхностно.

¹ Чешская переводчица

² Здесь и далее имеется в виду Г.С. Померанц, публицист, культуролог, религиозный мыслитель

Я недавно вспомнил, как году в 60-м мне впервые показали в машинописи стихи совершенно неизвестного поэта Мандельштама: странички из «Воронежских тетрадей». Я (к стыду своему — да и к общему нашему стыду!) впервые слышал это имя, не знал, что нужно считать его великим, и честно признаюсь, ничего настоящего не понял. Но было чувство: здесь что-то необыкновенное, надо вчитаться. И я вчитываюсь в эти стихи до сих пор, уже четвертый десяток, и не скажу, что все понял, несмотря на целые тома прочитанных комментариев. Каждое новое чтение обогащает, ведь признак подлинно великого произведения — неисчерпаемость, даже когда всего-то в стихотворении — восемь строк, и знаешь их наизусть. Мой герой об этом чуде и тайне литературы как раз говорит на журнальной странице 61.

Надеюсь, не следует объяснять, что я не пытаюсь сравнивать себя с гениями. Речь именно о восприятии литературы, о поэтическом начале в ней. Один мой французский рецензент — совсем по другому поводу — процитировал слова Набокова из его эссе о Гоголе (отнеся их ко мне). Я, не совсем поняв их по-французски, разыскал русский текст. Ты только послушай! «И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло».

О каком это рассказе пишет Набоков? О гоголевской «Шинели», не более, не менее!

«На этом сверхвысоком уровне литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей».

Удивительно, да? Кто теперь так пишет? Это уровень, на котором правильней говорить, наверно, уже не о литературе, но именно о поэзии. «А под поэзией, — писал там же Набоков, — я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи».

Не думаю, что есть смысл составлять для тебя, как ты говоришь, какой-либо «монтаж». Нет смысла давать и реальный комментарий. Недавний советский гражданин сам знает, что ночные очереди перед пунктом для сдачи макулатуры — вовсе не моя фантазмагорическая выдумка, они выстраивались в Москве (за макулатуру давали талоны на получение дефицитных книг, например, Дюма, их можно было потом перепродать за большую цену). Если

ты читала в «Дружбе народов» воспоминания о моих родителях, там найдутся буквальные переключки с эпизодами из романа. Моя мама — человек без литературного образования — не просто многое поняла, она узнавала: «Я помню этого мальчику, который лежал с тобой в больнице и пел песни, не приходя в сознание». И лагерный служитель приезжал к нам с запиской от папы и жил у нас. Но как за частными событиями постичь что-то, недоступное прямому пониманию?

Это недоступное в жизни, то, что кажется ее смыслом и тайной, можно постичь, наверное, лишь выйдя за ее пределы. То есть когда уже перестаешь жить. А, значит, сказать об этом на языке, доступном оставшимся, в принципе невозможно. Вот с этой безнадежной мысли (приписанной не вполне нормальному персонажу), с попытки понять что-то в жизни, как бы выйдя за ее пределы (об этом в первых же абзацах) и начинался замысел. Доступен был лишь поиск образов. Герою показалось, что до него дошли слова человека, которому удалось что-то выразить на грани жизни и смерти (как удается что-то выразить поэту в неисчерпаемых строках).

Моя работа продвинулась уже довольно далеко, когда я вдруг обнаружил в книге Макса Брода про Кафку свидетельство о его незавершенном замысле — предполагаемом финале романа «Америка». Пожалуй, я процитирую его тебе по-немецки, чтобы не упрощать переводом смысл, ты поймешь. «*Rossmann (герой романа) ist wirklich vom Autor «umgebracht» worden: das Schlusskapitel ist eine Vision, deren Zeit (falls man da ueberhaupt noch von Zeit und Raum sprechen kann) die Zeitloesigkeit, die Ewigkeit ist, aber vom irdischen Leben her gesehen, also ein eigenartiges Zwischenreich und jenseitiges Leben, in dem ja wahrlich fuer jeden Platz ist, in dem «alle gebraucht werden». Rossmann ist in die Transzendenz eingegangen, in eben jenem Sinne, den Karl Jaspers formuliert: «Der Mensch als einzelner in seiner Existenz... ist in seiner Bindung an den transzendenten Gott und durch diese unabhengig gegenueber aller Welt»¹.*

Но ведь это почти буквально то, о чем я думал!..»

¹ «Россман (герой романа) действительно был автором "убит": заключительная глава есть "видение", время действия которого (если тут вообще можно говорить о времени и пространстве) есть безвременье, вечность, но увиденная как бы из земной жизни, то есть своего рода промежуточная область, потусторонняя жизнь, в которой поистине есть место для каждого, в котором "все оказываются нужны". Россман вошел в трансценденцию, в том самом смысле, как об этом говорит Карл Ясперс: "Человек, являясь отдельным существом... оказывается связан с трансцендентным Богом и благодаря этому независим от всего мира» (нем.).

Какое-то получилось безразмерное письмо. Надеюсь, оно все-таки дойдет. Подтверди, как получишь.

А пока всего тебе доброго.

2.11.1996

Дорогой Гена,

я действительно давно тебе не писал. Отчасти потому, что знал о твоей поездке в Америку. И мы с Галей провели без малого месяц в Крыму, в Коктебеле. Я впервые оскоромился литфондовой путевкой, обстоятельства заставили. Прикоснулся, наконец, к остаткам престижной писательской роскоши, в свое время почти даровой. А сейчас это все-таки стоит даже нам некоторых денег, большая же часть коммат сдается для прибыли посторонним — по 30 долларов в день (с человека), при общепитовской еде, без горячей воды, и вдоль всей набережной низкопробные шалманы для денежных людей, гремящие до утра хриплой музыкой... Но что об этом говорить! Природа вокруг действительно божественная, мы с Галей уходили в дальние бухты иногда на целый день, я почувствовал себя отдохнувшим.

А в Москве — новые заботы. Мама после больницы переселилась к нам, одна она теперь не может. Тем не менее я втянулся в работу, она, как всегда, непросто мне дается. В октябре меня приглашали в Прагу, на презентацию чешских «Двух Иванов», но дорогу не оплачивали, и ехать за счет чуть ли не всего мизерного своего гонорара показалось слишком накладно. А с книжными изданиями в Москве пока не светит. Ты упомянул о «похоронных» настроениях наших издателей на Франкфуртской ярмарке. Жаль, что не написал подробнее. И об Америке ничего не написал. С кем ты там виделся, что было интересного? [...]

Я с удовольствием прочел в майском номере «Октября» твои рассказы — элегантные, четко выстроенные. Некоторые я уже прежде читал в «Лит. газете». Посвящение Борхесу можно бы, пожалуй, отнести ко всему циклу — чувствуется как бы его камертон. В этом же номере мне показались неожиданно интересными стихи Юнны Мориц. Вообще то в одном журнале, то в другом встречаются проблески настоящей литературы, но журналы ведь попадают мне в руки случайно, и можно ли составить представление вообще о нынешнем состоянии нашей литературы? Прежде какую-то картину обрисовывала критика, сейчас она занята тусовочными частностями; впечатление, что никто никого не читает. Недавно я случайно попал на «круглый стол» в «Лит. газете» — о соотношении между «толстыми» и «глянцевыми» журналами. У «толстых» все меньше читателей, растет аудитория «глянцевых»,

которая интересуется окололитературной шумихой, цветными фотографиями — там создаются имена. Я сказал, что читаю единственный «глянцевый» журнал, «Der Spiegel», который публикует списки бестселлеров — но там же весьма серьезная литературная критика...

Опять же — что об этом говорить! Известные дела. Позвонила недавно моя американская переводчица, говорит, что критика на мой роман была вполне серьезная, уважительная — «но у нас в Америке сейчас почти не читают серьезных книг, покупают очень мало». Другое дело, что на Западе все-таки существуют способы поддержки неодоходной литературы [...]

Всего тебе самого доброго. Пиши

26.11.1996, Москва

Дорогой Гена!

Можно только позавидовать многочисленным твоим путешествиям и обилию впечатлений. А я все последнее время безвылазно сижу за работой, она отбирает все силы, и окончания ее не предвидится. Знакомая тебе, наверно, двойственность литераторского самоощущения: пока с головой погружен в работу, кажется, что жить просто некогда; но когда из работы все же выныриваешь, эта самая жизнь словно утрачивает что-то самое существенное.

Из дома выбираюсь лишь время от времени. 23-го, например, исполнилось полгода со дня смерти Кронида, я заехал к Гале. Она показывала друзьям пленку, записанную телевидением на моем дне рождения в августе 1991 года: там были Копелев, Кома Иванов, Юлик Ким, Кронид и другие, все на пять лет моложе. А послезавтра я приглашен выступить перед слушателями Высших режиссерских курсов, пока еще думаю, что им говорить. Позвонил мне Гриша, ему опять отложили операцию; сказал, что пишет статью об эссеистах, взял Синявского, тебя и меня. Глядишь, мы опять окажемся под одним заголовком.

Наших политических дел я давно уже с тобой не обсуждаю — и о чем тут говорить? Кажется, после президентских выборов я тебе писал, что катастрофических предощущений теперь нет, от края пропасти мы вроде отошли — но местность, в которой очутились, имеет вид вполне мерзопакостный: хлюпающее, довольно зловонное болото, и гады всяческие в нем кишат, свиваются в клубки, и укусить могут. Но есть здесь как бы и островки, пригодные для жизни; лес, в котором мы с тобой однажды гуляли, называется Лосиный остров, я в окрестностях и обосновался. Каждый день гуляю полтора-два часа. Погода весь октябрь и ноябрь удивительная; дожди, если и бывают, то чаще всего ночью. В прошлом году в это время был уже снег [...]

Дорогой Гена!

Как быстро дошло до тебя мое письмо! Возможно, потому, что опущено оно было в почтовый ящик на Арбатском почтамте. Твое ко мне шло на три дня дольше. Мне присылают журнал «Шпигель», он шел прежде 2–3 недели; сейчас с обозначением «Авиапочта» он приходит на третий день. Но ведь и твои письма идут авиапочтой. Я все пытаюсь понять эти почтовые выкрутасы, потому что никогда нет в этой почте уверенности. Я с лета уже трижды писал Ю.Гальперину в Берн, просил ответить — никакого отклика. Начинаешь думать, не случилось ли с ним чего? На другие (деловые) письма тоже иногда не бывает ответа.

Ну, да что я об этом! Вести о тебе доходят не только по почте. Я недавно вырезал из FAZ (которая, кстати, приходит иногда в тот же день, вечером) очень хорошую рецензию von Ralph Dutli на твой роман, который, оказывается, теперь называется «Der Zauberlehrer»¹. Приятен такой уровень понимания. А просматривая в библиотеке «Вопли», увидел там твою статью об Э. Юнгере. Я этого писателя практически не читал и был против него понятным тебе образом предубежден. Интересно твое толкование «консервативной» идеи. Но, возвращаясь к давним твоим суждениям (по поводу Померанца) о неизбежности «нового» литературного языка — насколько «современным» выглядит для тебя в этом смысле писатель, уже десятилетиями разрабатывающий, как я могу понять, достаточно определенную, не вариативную систему представлений? Не знаю, вразумительно ли звучит мой вопрос, но мне последнее время то и дело приходится читать и слышать высказывания литераторов, кинематографистов, актеров: сейчас разными искусствами выработан совершенно новый язык, стиль, взгляд на мир, надо ему соответствовать, чтобы не выглядеть отсталым. По доступным мне образчикам могу представить, что они имеют в виду, но ни один не выглядит убедительно. И, главное, вряд ли можно и нужно соответствовать чьим-то чужим представлениям (если не говорить о соответствии моде). Мы, разумеется, меняемся сами — вместе со временем, но как определить эти собственные перемены? И что делать, если язык Мандельштама кажется мне до сих пор опережающим любое время?

Язык двух моих рассказов, о которых ты пишешь, выглядит в этом смысле, наверно, более чем традиционным. Но дело-то в том, что

¹ «Учитель-чародей» (нем.) — так в немецком издании был назван роман Б. Хазанова «Хроника Н. Записки незаконного человека».

это фрагменты книги, над которой я продолжаю работать, и другие фрагменты получаются почему-то в совершенно другой стилистике — как будто без специального моего умысла: так развивается тема, такой возникает поворот взгляда. И разве нельзя сказать, что «Возвращение ниоткуда» и «Двух Иванов» написал один и тот же автор? А сколько регистров использовано в «Линиях судьбы»? Для меня это существенный вопрос, потому что в работе неизбежны сомнения, постоянно перепроверяешь себя — хотя невозможно приспособиться к чьим-то «современным» критериям. И вот что-то кажется слишком сложным, что-то — слишком простым, «традиционным».

Между прочим, в чешском издании «Двух Иванов» оказалась замечательная большая статья Милуши Задражиловой — обо всем моем творчестве. Насколько я смог проникнуть в чешский текст, ни разу мне еще не встречалось такого вдумчивого анализа, с интересом к музыкальному, поэтическому, метафизическому аспекту. Она очень интересно сопоставила «Двух Иванов» с «Возвращением ниоткуда» — через орфеевский миф. Все-таки европейская школа.

Завтра намечены очередные Букеровские посиделки. Я приглашен на lunch к британскому послу, но, видимо, не пойду. Что-то я не чувствую себя там уместным.

А за окном у меня сегодня впервые — бело. Ночью выпал, наконец, снег. Нынешняя осень (и уже половина декабря) оказалась рекордно сухая и теплая. Я кое-как поработал с утра, сейчас пойду погулять и по пути опущу письмо.

Вряд ли оно поспеет к Рождеству — тем не менее желаю тебе и Лоре всего самого доброго в наступающем году. Галя присоединяется к моим пожеланиям.

Сердечно

1997

М. Харитонов — Б. Хазанову

15 января 1997, Москва

Дорогой Гена,

очень интересно ты написал о себе; надеюсь прочитать это в газете. Я тоже недавно поразмышлял, среди прочего, на темы языка, по другому поводу (о книге М. Мамардашвили) и в другом ключе; обещали напечатать в ближайшем номере «Литгазеты», но, возможно, еще передвинут. Ты эту газету, я знаю, читаешь и наверное видел статью

Гриши о Бродском. В уже привычной его полемике (с тобой в том числе) было для меня на сей раз что-то особенно грустное. Вспомнилась статья (если мне не изменяет память), кажется, Владимира Соловьева, который почтительно пенял Пушкину за то, что тот много лет баловался не тем, чем надо бы, но под конец пришел все-таки к настоящему: «Отцы пустынноики» и пр. Жаль только, что дальше не хватило времени. А еще вспомнилось, как я в церквях разных стран я с интересом любил листать молитвенники с песнопениями. По-немецки, французски, по-чешски все там было понятно, просто и правильно, духовная возвышенность не вызывала сомнений — но какое отношение это имело к поэзии? Разумеется, ничего подобного я Грише не сказал, коротко встретившись на годичном собрании ПЕН-клуба; я лишь напомнил ему, как в своем эссе на близкую тему «О простоте» процитировал строку Мандельштама: «Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь». Все мои остальные замечания он оспаривал, но над Мандельштамом захотел подумать. Интересно бы послушать его толкование. Для меня самого эта строчка — что-то вроде дзенского коана, над которым думаешь с чувством скорей мерещащейся догадки, нежели понимания.

Разговоры о современном мироощущении, которые я упомянул в прошлом письме, подразумевают не просто язык. Вот передо мной сейчас книга очень способного нашего культуролога, рассуждающего о том, как развитие двадцатого века смешало все четкие прежде представления о добре и зле, прекрасном и безобразном, моральном и аморальном, даже о жизни и смерти; жизнь — хаос, где все возможно и равноценно, где человек — «какой угодно», где бессмысленно говорить о понимании, предпочтениях или смысле, где любой ужас, преступление, испражнение — не более чем эстетический феномен, который может стать достоянием искусства; после того, как были уничтожены миллионы людей, рухнули авторитетные идеологии — что остается от словес о высших ценностях и т.п.? Все это достаточно известно; философия, искусство, литература, как выражается автор, провели грандиозный эксперимент по отстранению от власти разума и морали — и можно ли спорить с веком? и зачем? — тем более, если многим это принесло, между прочим, грандиозный же рыночный успех. Проблема начинается, когда возникает необходимость отличить подлинный интеллектуальный, художественный поиск, если угодно, шокирующий, провоцирующий эксперимент, расширяющий наши возможности, представление о самих себе, от элементарной жизненной мрази, блевотины, чего угодно, утверждающих (и агрессивно, не без успеха) свое право называться этим самым современным искусством...

Ладно, что я опять об этом? Мне с чем-то подобным приходится разбираться сейчас в собственной работе — никак не сходятся концы с концами.

А в остальном я живу, как обычно, пользуясь возможностью не отвлекаться. Тягостней всего чувство очередного тупика. Но и это нам не впервой, не правда ли? [...]

22.02.1997, Москва

Дорогой Гена,

декабрьские письма, про которые ты меня спрашиваешь, я не только получил — я на них ответил. И по некоторым намекам догадываюсь, что эти ответы до тебя дошли. С завистью узнал, что ты закончил еще один свой роман — мне бы так быстро! — и даже написал сверх того рассказ. Ты напрасно думаешь, что в России сейчас никого не может заинтересовать история о Меценате и Горации; слой культурных людей, которым это близко, у нас, как ни странно, разрастается, и появляются даже иногда опыты в том же духе. Преобладает, конечно, литература другого толка, но это, как ты сам не раз отмечал, естественно. В прошлый раз, помнится, я писал тебе, что в «Литгазете» обещали напечатать мою работу на темы Мераба Мамардашвили и Пруста. Но вот после нового года начальство ее завернуло. Объяснения в таких случаях всегда придумываются, но это заставило меня слегка покачать головой: «Слишком, — сказали мне, — для высоколобых». «Литгазета», стало быть, для другой категории. Впрочем, это слишком часто и чувствуется. Я тотчас отнес статейку в «Знамя», там вроде бы ее приняли; но теперь публикации придется подождать. А три дня назад ко мне приехали с телевидения, попросили выступить для передачи об Иване Грозном («Загадки века»). Я-то не без воодушевления подумал, что книга¹, наконец — после стольких-то лет — кого-то заинтересовала. Но они ее, оказывается, даже не читали, вообще ничего у меня не читали, слышали что-то краем уха и были, кажется, разочарованы тем, о чем я счел нужным поговорить. Им интересней было бы узнать, за что на самом деле Иван убил своего сына, что случилось с его женами и т.п. Не знаю, что на самом деле получится, скорей всего оставят рожки да ножки. А ведь интересно можно бы сделать!

Чему еще завидую: едва ли не в каждом письме ты упоминаешь о своей очередной поездке — теперь в Берлин. А я все не сдвигаюсь с

¹ Имеется в виду роман М. Харитоновна «Два Ивана»

места. И работа топчется. Причем такое чувство, что где-то с середины я пишу уже не совсем так, как начинал; значит, надо будет опять переписывать, переосмысливать заново.

О чем можно рассказать при таком образе жизни? На лыжах вот бегаю с удовольствием. Дни преобладают солнечные, снег на удивление белый. Литературных новинок давно не читал. По каким-то рабочим ассоциациям открываю иногда то Кафку, то Бродского.

Такая вот полоса. Да ведь славное, в конце концов, время: живу, как всегда хотел. Если бы только из работы что-нибудь получилось!

Я обнимаю тебя. Всего самого доброго

1.04.1997, Москва

Дорогой Гена,

надеюсь, ты получишь это письмо еще до отъезда в Америку и, может, даже сразу ответишь [...]

В начале года мне передали от Казака¹ новое издание его «Лексикона». Наверное, он у тебя есть. Книга у нас беспрецедентная, я иногда заглядываю в нее для справки или просто так. Подбор имен, оценки, вкусы, концепции — разумеется, вне обсуждений; это работа авторская. Занятно, однако, сколько строк и целых абзацев оказалось посвящено членству (и нечленству) в Союзе писателей, партии, особенно же участию в съездах и выборных органах: был ли кто секретарем или членом правления, не был ли удостоен. Неужели еще недавно это было оценочной характеристикой? Имело какой-то смысл? Все настолько кануло в Лету, что с трудом припоминаешь. Я сейчас просто не знаю, кто есть кто и в каком из нынешних Союзов. К стыду своему, я до сих пор не поблагодарил Вольфганга за действительно ценный подарок: адрес его оказался у меня потерян, остался лишь телефон. Большая к тебе просьба: во-первых, адрес мне напиши, а главное — поскольку благодарность все равно запоздает уже неприлично — скажи Вольфгангу, если можно, при случае о моем искреннем восхищении и вынужденных извинениях.

Конечно, есть у него и Сорокин, которого ты поминаешь в письме. Я его «Пельменей» не знаю, а ты даже не рассказал о своем театральном впечатлении. Популярность Сорокина в Германии меня изумляет. Я знаю, что его давно пропагандируют и Борис Гройс, и Игорь Смирнов и, кажется, Маша Титце. Он одна из первых кандидатур на гамбургскую (тепферовскую) Puschkin-Preis. Это все на тему некоторых моих прошлых писем; но ты в обсуждение вдаваться не стал. Интересно бы все-таки понять, что это.

¹ Вольфганг Казак (1927 - 2003), немецкий славист

А я, как всегда: долблю и долблю ту же работу. Как раз год назад почти в этот же день (первый день Пасхи) я ехал из Швейцарии во Францию. Из Парижа, кстати, в мое отсутствие позвонили недавно, сказали Гале, что моя эссеистическая книга «Способ существования» получила там какую-то премию как «лучшая иностранная книга года». Но ни подтверждения, ни уточнения до сих пор я так и не получил. Это вроде бы премия безденежная, скорей почетная, но положена ли при этом хоть какая-то бумажка? Или только красная ленточка на обложке? Ладно, когда-нибудь узнаю. Самому звонить, выяснять неохота. Тоже в стиле нашей жизни.

[...] Мне из Америки прислали вариант моей книги в бумажной обложке, там уже пропечатали первые отзывы из важных газет. Прочитав такую рекламу — как бы шедевр не купить? А ведь не покупают, сволочи. Я желаю тебе счастливой поездки. Привет Юзу, Илье — и Лоре, конечно. Будь здоров.

Твой

17.06.1997

Дорогой Гена!

Я медлил тебе писать, зная, что ты все где-то в пути. Ну, вот ты наконец и вернулся. А у меня единственное существенное событие за это время: две недели назад у моей Тани родился сын. Галя сейчас живет у нее, помогает. А мы с младшей хозяйничаем вдвоем. Я продолжаю долбить работу, о которой тебе уже не раз писал. Казалось, уже вроде бы приближаешься к результату — ан, надо переиначивать все еще. Кризис, о котором ты мне пишешь, можно считать для нашей профессии состоянием перманентным. А вот насчет «зачем» и остались ли читатели... Как-то об этом слишком охотно стали говорить люди вокруг литературы. Не попадалось ли тебе интервью в «Литгазете» с Борисом Парамоновым? Неглупый человек, ты, кажется, с ним знаком. И прямо с каким-то удовольствием повторяет: «Литература хороша и значима в обществе, где нет правильной, нормальной жизни, она вместо такой жизни... Вы не можете отрицать того факта, что художественная литература утратила свою роль в Америке. Можете ли вы назвать хотя бы одного американского автора, которого стоило бы читать, на которого стоило бы тратить время?.. Постмодернизм — это мировоззрение современного человека, открывшего, что можно жить вообще без книжек... Мы, люди с советским опытом, эмигрировав, впервые увидели, что такое материальная культура». Вот этой возможностью захватывающей, увлекательной культуры без книжек осо-

бенно бывают очарованы люди, раньше ею не успевшие насладиться. (Нет смысла ловить на противоречии человека, который на литературе как раз свой прекрасный сэндвич все-таки зарабатывает.) Но я в давнем своем эссе уже цитировал сомнение вполне вкусившего этой культуры Музиля: «Считающаяся полнокровной жизнь на самом деле бессмысленна... Она — как куча чужих детей... не удастся найти среди них собственное».

Ну, и так далее, тема уже известная. Какие-то парадигмы литературы в наше время, конечно, меняются и неизбежно должны еще измениться. Властителями умов, учителями жизни и т.п. писатели не могут и не должны становиться; какие-то функции и влияние окончательно забирают электронные приспособления; надо к этому привыкать. Но что-то более важное (после первой, чуть ли не ошарашенной реакции на перемены) еще предстоит осмыслить. Мне интересно бы почитать твою «Апологию нечитабельности»; я несколько лет назад в своей «Апологии литературы» вспоминал неслучайные фантазии Хаксли и Брэдбери: в их электронном, фармацевтическом мире будущего, где попросту запрещены книги, почему-то находятся savages, аутсайдеры, которые тайком, нарушая закон, ищут возможность читать их. Зачем-то это действительно нужно. Только что в пятом номере «Знамени» напечатали все-таки мой небольшой текст о Мерабе Мамардашвили, я там с удовольствием цитирую его слова о том, что именно литература позволяет нам «воспроизводить себя как живых», то есть наполняет жизнь неким подлинным содержанием; возделенное благолепие «материальной» жизни еще, оказывается, не вполне жизнь.

Другое дело, что массовым этот уровень быть не может, и социальное, материальное самоосуществление настоящего писателя становится все более проблематично. О том, что общество для своего, если угодно, самосохранения, здорового существования должно тем или иным способом поддерживать очень тонкий, уязвимый слой, который можно назвать духовной элитой (отличной от истеблишмента), я написал как-то в статье «Берлинские размышления», которую напечатал упомянутый тобою журнал «Остров». Сам я этого журнала пока не видел. А вот упомянутый тобой же памфлет Горенштейна очень бы интересно посмотреть. И обязательно скажи, в каком номере «Октября» будет напечатан твой роман. Не знаю, где журналы теперь можно купить (кроме редакции), но в библиотеке прочту обязательно. [...]

Лето я скорей всего безвыездно проведу в Москве. Так что пиши.

Сердечно тебя обнимаю. Поклон Лоре

Твой

17 июля 1997, Москва

Дорогой Гена,

поздравляю тебя с публикацией нового романа. А ведь немногим больше года назад я читал предыдущий, и в закромах у тебя еще один, не говоря о текстах в более мелких жанрах. Как это тебе удается? Я помню, как ты мне рассказывал этот замысел в Москве ровно два года назад. Выстроен роман мастерски. Первая же фантастическая глава впечатляет, а сразу дальше сцена смотрин для борделя, лекция о женском теле и все новые, новые повороты. Твое словечко о «нечитабельности» к этому сочинению не относится. Сильная твоя сторона — умение воссоздать достоверное чувство тогдашнего воздуха, быта и т.п. Не говорю об эссеистическом элементе, который растворен в повествовании; некоторые пассажи великолепны. Мне кажется, немецкого читателя этот роман должен заинтересовать больше предыдущего: конец империи, конец целой цивилизации — тема, заслуживающая обсуждения. Я знаю, сейчас идет работа над проектом «Энциклопедия советской цивилизации». У нас восприятие этой темы может быть более разнородным. Выросло ведь уже целое поколение «после» этой цивилизации, которое над ней готово скорей потешаться, читая или рассматривая постмодернистские и соцартовские монтажи. Тут начинаются не самые пока ясные мне вопросы. Ты остроумно облегчил задачу исследователя, заранее себе некоторые задав и сам же на них ответил. Но могу ли я подбавить еще несколько? Подходят ли под твое понимание империи, кроме Римской, скажем, еще и Австро-Венгерская или Османская, тоже закончившие свое существование в нашем веке? Одна разница очевидна: вместе с Римом кончилось не только государственное образование, но цивилизация, язык, сам народ, растворившийся среди новых. А турки или австрийцы продолжают и без империи жить даже не хуже прежнего рядом с чехами и венграми. Советская цивилизация (действительно цивилизация, о русской или российской я бы не стал говорить) казалась нам, запертым внутри нее, единственно возможной эйкуменой. Конец ее для многих оказался личным, даже физическим крахом, как ты об этом пишешь. Но другие живут среди других в уже открывшемся мире с чувством скорей освобождения, чем утраты. Хорошо ли, плохо — другой вопрос. Дождь в твоей заключительной главе — все-таки не потоп, правильно ли я понял? Чтобы смыть семидесятилетнее дерьмо (все-таки не «грязь веков»), воды, как всегда, не хватает, вонь до сих пор держится, но это можно считать делом времени. Читая твои точные для семидесятых годов наблюдения над усыханием городского центра под напором ок-

раин, я с интересом думал, каким бы тебе показался тот же центр после двухлетнего отсутствия. Я в некоторых местах оказываюсь, как в совсем незнакомых. Из подземного перехода метро вдруг выходишь в совершенно европейский пассаж, как в Гамбурге или Париже, с самооткрывающимися дверями, эскалаторами, фонтанами и бассейнами, вокруг новые интересные здания, на всех улицах, в том числе и у нас, множество кафе под зонтиками, молодые компании веселятся, пьют пепси и пиво... Но тут лучше остановиться, это, конечно, не говорит еще ни о чем. Тем более, Москва — не Россия, и на тех же улицах, в тех же кварталах — черт знает что. (В журналах с твоим романом есть материалы, которые с ним нечаянно перекликаются и в чем-то, может быть, дополняют.) Я уже начинаю чувствовать, как нелепо может звучать вопрос, который я все пробую сформулировать: если это жизнь после конца (чего?), то как называется мир, в котором она все-таки продолжается?

Жаль, что эти журналы мне надо вернуть в библиотеку. Перечитав, я, может, на свои вопросы сам бы ответил; да и написать о тебе основательней мне давно бы пора, я чувствую за собой должок. Но сейчас я просто и физически к этому пока не способен. К моему искреннему поздравлению примешивается, как всегда, зависть: я уже целый год не могу справиться с вещницей листов в 6–7. Но работаю. [...]

16 августа 1997, Москва

Дорогой Гена,

вот уже и лето кончается, а я еще не отдышал. [...] Где-то в сентябре надеюсь все-таки съездить с Галей куда-нибудь к теплому морю. Свою работу я довел до очередной, но все еще незавершенной стадии, буду понемногу донашивать, облизывать.

Мне сейчас предстоят некоторые пенсионные хлопоты: через две недели я переваливаю на седьмой десяток. Но тебя мне все равно не догнать. Я время от времени люблю взять какой-нибудь том дневников Томаса Манна (у меня полный комплект), заглянуть в дату, соответствующую моей нынешней. Сейчас заглянул в августовские записи 1935 года. Удивительная, способная устыдить активность, работоспособность, интенсивность общения, переписки. Одно перечисление каждодневных занятий впечатляет. Вообще нарастание активности именно во второй половине жизни едва ли не беспримерное. До пятидесяти лет он был, по сути, лишь автором написанных в молодости «Будденброков», за которые и получил Нобелевскую премию, нескольких менее значительных вещей. К шестидесяти стал уже автором «Волшебной горы» и первых книг «Иосифа». А после

шестидесяти — завершил грандиозную тетралогию, написал «Лотту в Веймаре», уже после семидесяти закончил «Фаустуга», а там были еще «Избранник», «Круль», обширная эссеистика, публицистика. Ободряет, не правда ли?

Но удивительно наблюдать, как даже на вершине славы, житейского благополучия что-то его все время томит, тяготит, сосет; даже беспримерные почести кажутся недостаточными. Занятная странность человеческой природы. Вот цюрихская запись от 21.12.1952: «Keine Lust zum Fruehstueck. Die Eier hier sind mir widerlich. Fuer Trueffelwurst, die K. besorgt, keinen Geschmack. Auch kaum fuer die Cigaretten. Was ich brauche, ist eine Freude. Die endliche Bestaetigung aus Paris wuerde mich entschieden beleben, ich weiss es. Aber sie bleibt aus.¹»

Какой радости не хватает этому обеспеченному, прославленному человеку, который не нуждается в самом деле ни в чем, ни в деньгах, ни в публикациях, ни в успехе, и на здоровье как раз не жалуется? Какого такого известия он ждет из Парижа, так что даже трюфельная колбаса (что это такое?) не доставляет ему удовольствия? В сущности, неважно. Каждому отчасти знакомо это чувство беспричинного, необъяснимого разумом беспокойства, неуютa. Потом выясняется: он ждал известия об ордене Почетного легиона. И получил его, и был удовлетворен.

Вот так-то, мой дорогой. Желаю тебе всяческого благополучия.
Обнимаю
Твой

3.11.1997, Москва

Дорогой Гена,

от нашего турецкого загара остались уже лишь слабые воспоминания. Мы жили на Анатолийском побережье Средиземного моря, в пятизвездочном отеле скорей американского, чем европейского типа, с многочисленным любезным персоналом, трехразовым обильным шведским столом, двумя бассейнами и всяческими другими аттракционами, которых даже не попробовали. Мы и на мягких лежаках своих под зонтами предпочитали не валяться, уходили с утра далеко на пустынный песчаный берег, где можно было в одиночестве и тишине наслаждаться морем, солнцем и простором вокруг. Население

¹ «Совершенно не хочется завтракать. Яйца здесь мне противны. У трюфельной колбасы, которой меня кормит К., никакого вкуса. Даже у сигарет. Мне нужна хоть какая-то радость. Окончательное решение из Парижа, вот что подействовало бы на меня живительно. А его все нет» (нем.).

отеля почти наполовину состояло из немцев, почти наполовину — из русских, причем определенного, не нашего типа; остальных можно считать незначительными вкраплениями. Любопытно было иногда слушать, наблюдать, сравнивать. Турции мы, по сути, не видели, если не считать редких встреч на берегу с приехавшими на выходной семьями, рыбаками, торговцами, предлагавшими пиво и колу под самодельным тентом с надписью «Ресторан Али Баба», да поездки за сувенирами в ближнюю деревню, где целый квартал превращен в сплошной базар и где проблемой было пройти мимо зазывал, чуть ли не хватавших за руку (зазывали, кстати, и по-немецки, и по-русски). Но и этих впечатлений было достаточно, чтобы ощутить, каким убожеством, почти нищетой — даже по российским меркам — окружены роскошные отели с европейски обученным персоналом. При этом что-то строится, что-то заметно меняется (турецкие рабочие, прошедшие школу в Германии, строят сейчас в Москве). Сопоставления приходят на ум сами собой, в том числе и на твою, имперскую тему. На чем могло держаться могущество этой, еще в прошлом веке громадной империи? Развитой промышленности, способной производить собственное вооружение, научно-технического потенциала, сопоставимого с российско-советским, там, считай, не было. И перспективы «после потопа» там выглядят совсем иначе (это не Австро-Венгрия). На обратном пути, пересекая с юга на север всю Турцию, мы с самолета видели пустынные, почти безлесые горные пространства; Крымский полуостров в сравнении выглядел чуть ли не оазисом. А, между прочим, включая турецкий телевизор, мы почему-то все время видели военных, стрельбу, самолеты — с курдами, что ли, воевали? Языка я не понимал.

Ну, а в Москве на прошлой неделе уже лежал снег, кто-то даже выходил на лыжах. Теперь он опять стаял, обычная ноябрьская погода. Я, как всегда, работаю, как всегда, чего-то не могу ухватить. Ты в письме удачно сформулировал очень важную мысль: «в литературе «эпоха» — это только то, что видит или придумывает писатель. Следовательно, нужно реформировать зрение». Зрение, мироощущение, мысль. Пока ты еще способен ощущать эту необходимость, пока способен меняться — можешь считать себя живым.

Где-то через месяц у меня должна выйти книга «Возвращение ниоткуда»; два романа из трех, вошедших туда, печатались до сих пор лишь в журналах. Пристойные деньги за это могут поступить, лишь если несколько тысяч раскупят; но, по моим наблюдениям, что-то в отношении к книгам, в книгоиздательском деле меняется к лучшему. Говорил ли ты с кем-нибудь в Москве о современной литературе?

Что до техники — как видишь, у меня новый принтер. А компьютерная почта со всем интернетом вместе мне все-таки ни к чему. Не кажется ли тебе, что эта почта сделала бы не только не нужной — невозможной традиционную переписку вроде нашей? В пределах города ее давно заменил телефон. Но что привносит в человеческие отношения возможность срочно что-то сообщить и тут же получить ответ, если этот ответ не деловой? [...]

25.11.1997, Москва

[...] Только что вернулся из издательства, где увидел готовую обложку своей книги. Тираж должен поступить где-то в начале декабря. Зашел разговор о возможном издании моей следующей книги (которую я все никак не закончу); возникали разговоры и в других местах. Ощущение перемены в книгоиздательской ситуации определяется, конечно, не моим личным опытом; я до последнего времени в издательстве попросту не заглядывал. Но разнообразие на полках книжных магазинов, какого два года назад не было, об этом все-таки говорит; в информацию книготорговых бюллетеней оно вряд ли вмещается, за всеми новыми (именно новыми, и заведомо низкопробных я не имею в виду), размножающимися, как грибы, именами просто не уследишь. Разумеется, прежних сказочных тиражей нет, как нет и прежней возможности жить на литературные гонорары — становясь властителями умов. Но это ситуация (не говорю о телевизионной, электронной экспансии) не только наша, не правда ли? Другое дело, что книги, вышедшие где-нибудь в Саратове или Челябинске (а выходят и там), до Москвы могут не добраться из-за дороговизны доставки — и т.п.; это уже наши нынешние особенности. Главная-то беда: нет чувства того единого литературного пространства, которое создается не столько издателями и торговцами, сколько цехом критическим, как ты не раз сам отмечал. Вот я пишу об этом множестве имен, новинок, а 99% пройдут не просто мимо моего внимания — слуха; так и заглохнут, не прозвучав за пределами небольшой, отгороженной от других тусовки. И кто поручится, что среди них нет достойных внимания? Когда-то даже у нас, писавших в стол, не было такого чувства. Представительные «обоймы» были наперечет — но отдавать ли им безусловное предпочтение перед нынешней разноголосицей? Жаль, когда квалифицированные профессионалы вроде Бена Сарнова, морщась, уклоняются от самого необходимого дела, а другие не очень-то умеют. Впрочем, возможно, и какая-то достойная критика проходит мимо меня, на других страницах — слишком их стало много и слишком разбросаны.

А вот твою «Апологию нечитабельности» я с удовольствием прочел (в библиотеке). Но все это мы действительно успели обговорить. Книгу свою охотно тебе пришло. Да ты все вошедшие в нее тексты читал. Свой двухтомник взамен утраченного я тебе в Москве предлагал, но понимаю, каково было бы тебе утяжелять багаж.

Всего тебе самого доброго. Обнимаю

24.12.1997

Дорогой Гена,

книга, наконец, в самом деле вышла, я видел сигнальный экземпляр, но тираж еще не поступил. А надо бы к Новому году получить несколько штук для подарков. И — бывает же так — буквально неделю спустя после того, как я в последнем письме к тебе пожаловался, что никак не закончу работу, она оказалась завершена¹. Как бы неожиданно для меня самого. Такое быстрое разрешение после многомесячного, до последних дней, казалось, безвыходного тупика вызывает мысль о мгновенном вырастании кристалла из перенасыщенного раствора. Получив пока лишь одобрение Гали, я даже показал повесть в одной журнальной редакции, куда меня давно зывали и уже поторапливали. Отклика пока не получил, но вроде бы они заведомо готовы меня печатать. Посмотрим. Устроив себе короткую передышку, я привел в порядок некоторые дневниковые записи этого года, присовокупил к ним написанное ранее эссе о писательских дневниках — и тоже дал почитать в редакции. А два дня назад мне позвонили еще из одного издательства, НЛО (Новое литературное обозрение) и сказали, что хотят опубликовать мою оформленную еще в прошлом году эссеистическую книгу «Способ существования». Так все сошлось. Это вроде как в прежние времена форсировали к концу года выполнение плана.

Оглядываясь на все написанное в последнее время, я вижу, до какой степени оно связано с нынешними реалиями, атмосферой. Хочешь, не хочешь, а из этого воздуха выпрыгнуть не удастся. Очень интересно бы почитать, о чем говорят на креольском языке твои обитатели тропического острова близ Мадагаскара.

Твое интервью в «Культуре» показалось мне во многих отношениях близким; мы на эти темы как раз говорили с тобой в последнее время. Что меня искренне огорчило — так это без надобности вставленный пассаж о Крониде. О ваших расхождениях я тоже давно знаю,

¹ Речь идет о романе «Приближение» («Дружба народов» 1998, №2;), который входит в книгу «Времена жизни».

в журнале и меня что-то могло не устраивать. Но нельзя говорить, что журнал по этой причине «потерпел крах» — он изжил себя, как изжили себя в изменившихся обстоятельствах едва ли не все эмигрантские издания. «Кронид был не только нелюбимой, но и ненавидимой фигурой в эмиграции». Об эмиграции я просто не знаю, но в подобных обобщениях всегда есть что-то сомнительное. Сказать, что он для всех был тяжелым человеком, что он «мало с кем дружил»?.. Не знаю. Я видел и слышал многих людей на его похоронах и поминках. Но главное, зачем это говорить сейчас, вдогонку ушедшему?..

Вчера на годовичном собрании ПЕН-клуба я впервые за долгое время видел Гришу. Он внешне сдал, постарел, но деятелен, читает лекции в каком-то из новых университетов, кое-что на темы этих лекций напечатал в последних «Континентах»; я не читал. Говорили о возможной встрече, но чувствовалось, что это будет зависеть от их с Зиной¹ обстоятельств. Раньше я обычно приходил к ним на новогоднюю елку, Зина сочиняла к этому случаю очередную сказку, для нее это особый жанр.

Мы елку пока еще не купили, наша взрослая дочка должна теперь позаботиться об этом сама. А у вас завтра Рождество. Пока мое письмо дойдет, поздравление с праздником окажется запоздалым — но желаю вам с Лорой счастья в Новом году.

Сердечно

1998

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.1.1998, Москва

Дорогой Гена!

Как это восхитительно звучит: съездим с Лорой дня на три в Венецию! Как это недостижимо просто: сели на поезд или на самолет, или даже на собственной машине поехали, и виз не нужно, и сравнительно недалеко. А я уже давно никуда не ездил. В этом году, возможно, состоится во Франции презентация еще одной моей книги, но будет это осенью или весной, пока неизвестно. Недавно мне звонил Жорж Нива, он заканчивает для этой книги перевод «Дня в феврале». А другой мой переводчик, профессор Марк Вайнштейн из Aix en

¹ Здесь и далее: З.А. Миркина, поэт, литературовед, публицист, жена Г.С. Померанца.

Provence, прислал целых десять страниц с вопросами к «Этюду о масках». Некоторые вопросы естественны: что такое «атас», «рыба» (в домино)? Но непонимание некоторых фраз, смысл которых кажется очевидным (русско-советскому слуху), так смущает, что сомневаешься: действительно ли он понял — и смог адекватно воспроизвести — все остальное? Я этим вопросам рад, я готов бы ответить еще на сотню страниц, лишь бы спрашивал. Моя американская переводчица не задала мне ни одного вопроса по «Сундучку Милашевича» — неужели ей все показалось понятно? На днях я выступал в англо-американском книжном магазине (есть такой в Москве) на презентации этой книги, читал сначала по-русски, потом те же страницы читали по-английски, и знакомая, равноценно владеющая обоими языками, подтвердила мое ощущение: перевод плохонький, поэтические образы переданы деловым, канцелярским слогом. Читавшие по-английски говорят, что им понравилось — но что же им понравилось? Для моей прозы язык значит немало. Меня в свое время удивило, что Искандера не очень почитают во Франции; мне объяснили, что переводы когда-то были отданы второсортным, «просоветским» литераторам. Обидно. И когда еще дождешься настоящего перевода? Тонкая на самом деле материя. [...]

26.2.1998, Москва

Я даже не поздравил тебя, мой дорогой Гена, с юбилейной датой. В прошлом августе я тоже разменял было седьмой десяток — но за тобой мне все равно не угнаться, ты, глядишь, перемахнул на следующий. Запоздало, но от души желаю тебе всего самого доброго. Нынешней твоей продуктивности не перестаешь удивляться. Вот и в последнем своем письме ты упоминаешь сразу про «маленькую» повесть и «короткий» роман — за один год! — и это не считая еще статей, эссе и разного прочего. Хорошее вышло эссе об эмиграции в «Лит. газете» — уравновешенная, знакомая мне оценка и самооценка, усмешливая и притом достойная интонация. В рассуждении об эмигрантской прозе ты поставил рядом имена Джойса, Музиля и Т.Манна. В одинаковом ли смысле были они эмигрантами? Джойс просто не хотел жить в Ирландии, он наезжал туда, пока не поссорился окончательно с отвратительными издателями. Музиль до последних лет писал своего «Человека без свойств» в родной Австрии. Хемингуэй почти не жил в родной Америке и о ней почти не писал — эмигрантом его никто не считает. Эмигрант, который может вернуться в страну, а может и не воз-

вращаться — уже все-таки не совсем эмигрант. Тут много известных оттенков — как и в восприятии темы «внутри» страны. Недавно в «FAZ», которую я получаю, напечатали рецензию на посмертное издание дневников Носсака. Он пережил нацизм в Гамбурге, потерял при бомбежках имущество; отношение к эмигрантам оказалось у него напряженным. «Daher sind die vielen Re-Emigranten, die ich kennengelernt habe, wie Tassen mit einem Sprung, die nicht klingen», — цитирует рецензент. И замечает: «Dass er nicht nur keine innere Beziehung zu den aus Nazi-Deutschland Hinausgetriebenen findet, ist ein spaeter Triumph Adolf Hitler». Неплохо, да? И дальше: «Und ist Nossack etwa eine klingende Tasse?»¹

Ко мне на днях заходил один сорокалетний критик, возник среди прочего разговор о литераторах более близкого мне по возрасту поколения, о известных тебе критиках, которые новую литературу не читают, читать и воспринимать не хотят, она для них просто не существует. Для них литература остановилась где-то в семидесятых — начале восьмидесятых годов, — сказал мой собеседник. — Они просто не хотят жить в нынешнем времени. Есть эмиграция в пространстве, причины ее известны, и есть эмиграция во времени. Вот они предпочли эмигрировать в прошлое время.

Любопытное рассуждение, не правда ли? Писать о прошлых временах — дело другое, до какой-то степени неизбежное. Не газетные же мы пишем репортажи. Но, может, в 1904 году Джойс не мог бы написать свой роман так, как пятнадцать лет спустя: за это время созрел, сложился новый литературный язык, новый слух, новое зрение. Современной делает литературу не тема, не материал — Т.Манн писал и о фараонах; язык связывает живущих в разных странах не только с культурой, с воспоминанием, но и со временем...

Какой-то нечаянный у меня получился экспромт. Ладно. Сам я, преодолевая уже накопившуюся усталость, пытаюсь довести до конца книгу «Времена жизни». Только что пришла верстка апрельской «Дружбы народов», там печатают большой кусок. Моя младшая, Леночка, позавчера вернулась, представь себе, из Тегерана, где месяц стажировалась по персидскому языку, жила в интернациональной компании, интересно, с восторгом рассказывает.

А я желаю тебе всего самого доброго. Лоре привет

¹ «Вот почему многие недавние эмигранты, которых я знаю, напоминают мне надтреснутые чашки, они утратили звонкость» [...] «То, что люди, изгнанные из Германии, не вызывают у него душевного отклика, можно считать поздним триумфом Гитлера» [...] «Назвать ли звонкой чашкой самого Носсака?» (нем.)

Уже нет охоты, дорогой Гена, удивляться причудам нашей досто­славной почты. Мое письмо к тебе шло восемь дней, твое (от 7.3) я по­лучил только сегодня. Уже начинал беспокоиться, не произошло ли чего, ты ведь с ответами никогда не задерживался. (Я тоже, как ви­дишь.) В этот месяц на удивление много успело вместиться. Только я написал тебе, что никак не могу завершить книгу «Времена жизни» — и тут же вдруг ее закончил. Сразу — довольствуясь лишь Галиным от­зывом — отнес книгу в издательство, мне, еще не читая, сказали, что публикация возможна в начале будущего года. Доделанный кусочек отнес в ту же «Дружбу народов», их мнения пока не знаю. И присово­купил к нему фрагменты из дневника 1997, где среди прочего коммен­тирую свою работу над романом «Приближение» (который как раз и должен у них выйти уже на этой неделе). Как у нас совпал интерес к дневниковой теме!

Я ведь, завершив книгу, некоторое время томился ничегонедела­нием. Разбирал бумага, навал писем, которые у меня оказались не­упорядоченными. (Так и не упорядочил. Твоих писем у меня набрался целый пакет.) Просматривал дневниковые записи. Я уже лет тридцать пять веду эти записи стенографическими значками — отчасти для экономии времени, отчасти — чтобы оставлять интимное при себе, от­части из памятной советской опаски. А там, как у всякого, многое ведь интересно. Я с некоторых пор на досуге стал их расшифровывать (компьютер в помощь) — без меня вряд ли кто это сможет сделать. И вот, выбрал кое-что даже для публикации. (Еще неизвестно, впрочем, опубликуют ли.) Потом мне эта техническая работа надоела, я начал писать полурассказ-полуэссе, но тоже как-то не пошло, отложил. Что­бы все-таки не бездельничать, возвращаюсь опять к дневнику. Сегодня начал заносить в компьютер 1981-й год — мы там должны встретиться.

Но знаешь, чтобы все это не пересказывать — воспроизведу тебе сейчас страничку из дневника 1997 года. Возможно, кое-что тебе по­кажется там интересно. Сам, между прочим, обратил сейчас внимание на переключку между давним и нынешним состоянием. И даже — вот ведь совпадение! — твоя фамилия возникает [...]

«19.9.1997

В последние дни работы, открыв для попутной надобности прекрасную, давно читанную книгу В. Франкля, вдруг с неожиданной отчетливостью понял, насколько содержание работы, переосмысле­ние ее в процессе документировали перемены в моем собственном

состоянии. Я помню, как закончив в 1994 году «Возвращение ниоткуда», которое мне так непросто далось, сказал себе: хватит, больше я такой прозой мучить себя не стану. Да и нет у меня больше особых замыслов, так, мелочишки. Насколько проще мне дается эссеистика — и насколько она благодарнее, доступнее читателю. В самом деле, публикации из «Способа существования», который я без мучительного напряжения оформил в следующем году, получили несравненно лучший читательский отклик. Вот так бы тебе и писать, — сказал один друг-читатель, — это твой жанр. Я уже настроился оформить множество других своих эссеистических замыслов, начал переносить в компьютер дневники, которые самому показались интересными...

Но среди моих листочков оказались заметки с идеями все же не эссеистическими, их можно было оформить как прозаические миниатюры, иногда верлибры. Благодарный, нетрудный жанр, из них сама собой составлялась многообещающая книга «Времена жизни». Некоторые миниатюры, однако, на самостоятельность не тянули, их можно было считать набросками, заготовками чего-то большего. Понадобилось их соединить вокруг персонажей, сюжета. Так возникли два больших рассказа, не совсем для меня обычных — но они должны были восприниматься в другом, общем контексте.

И вот начал вдруг сам собой разрастаться сюжет, который теперь называется «Приближение». Вначале я надеялся уместить его в 3 листа, потом в 4; теперь в нем 7,5. Но дело не в объеме. В нем было что-то настолько сумасшедшее, что я начинал иногда сомневаться, смогу ли его завершить.

Теперь я по меньшей мере уверен, что повествование существует. Оно мне кажется столь же важным, многообещающим, как представлялось некое повествование моему герою. И вдруг я осознал, что же он чувствовал в своих поисках. Надежда покончить с мучительным, порой непосильным творческим напряжением, стричь купоны с накоплений — и доступней, и благодарней. Если бы при этом обеспечить себе что-то вроде ренты и житейское существование, да в спокойной, благоустроенной стране, в тишине, на отшибе...

Мой герой осознал это в конечном счете как желание не жить, отойти от жизненного напряжения. Нет, я пока еще живой, и если из работы что-то получится — я еще способен на большее, чем сам едва было не подумал. Недавно в письме Файбусовичу я вспомнил, что Томас Манн завершил свою вершинную книгу «Доктор Фаустус» на восьмом десятке. И дальше не успокоился».

Дорогой Гена,

какую превосходную ты мне прислал речь! Помимо уже прежде мне известного — чувство европейской гуманистической культуры. Насколько в Германии сейчас восприимчивы к этому стилю? У нас — разве что в узких кругах. А недавно по телевизору показывали сюжет: шведское министерство иностранных дел устроило в Стокгольме симпозиум; в центре его, среди прочих, был наш так называемый художник, составивший себе имя тем, что, раздевшись догола и стоя на четвереньках, изображал целый день лающую собаку, даже укусил какого-то неосторожно приблизившегося итальянца. На эту тему было много философствований (можно ли считать укус художественным актом?), какая-то французская критикесса (весьма некрасивая, но, как говорится, стильная) рассуждала о способности переходить границы как о признаке гениальности художника. И шведский министр иностранных дел комментировал. Я почувствовал, что меня теперь на симпозиумы пригласят вряд ли. Ну и хрен с ними.

У нас, едва стаял поздний снег, почти без перехода, без весны, сразу зазеленело; я даже не успел, как обычно, попить березовый сок. Художественные мои начинания не получили развития, продолжаю вводить в компьютер свои дневники. Я оставляю от записей одну десятую, если не меньше, только то, что, кажется мне, может быть интересным кому-то — и все равно каждый год занимает 4–5 листов. 30 с лишним лет — это будет 150 листов, больше, чем я написал беллетристики. И, может, даже более интересно. В «Дружбе народов» фрагменты 97-го года будут печатать, последнюю мою прозу тоже. Я сделаю для тебя копию, пришлю в другой раз [...]

23.6.98, Москва

Дорогой Гена, я решил тебе послать свой «Дневник писателя». Совпадением не приходится удивляться, не правда ли? Ты без труда заметишь и некоторые различия в повороте взгляда. У тебя он больше сосредоточен на дневниках как литературном жанре. Получилось очень интересно, а приведенные тобой иллюстрации открыли для меня и неизвестные мне прежде имена. (Я, грешным делом, даже дневники Нагибина не читал.) То, что я свои записи делал стенографическими закорючками, подтверждает, что они для меня, как для многих, были отчасти инструментом психологического самоотчета, корректировки самочувствия. И датировано мое вступительное эссе, как ты ви-

дишь, еще январем 1995-го [...] Твоя уверенность, что не грех писателю публиковать такие записи еще и при жизни, меня, право же, приободрила [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 25 июня 1998

Дорогой Марк, вчера, по дороге из Фрейбурга, я дочитал «Приближение», полученное незадолго до того, как пришла книга (о чём я сообщил по телефону). Твой двухтомник в сером переплёте у меня давно уже зажилили и не отдали, так что заодно я почитывал и некоторые старые вещи, «Сундучок», «Прохора Меньшутина», «Провинциальную философию», и снова убедился в высоком качестве этой прозы. И вот теперь «Приближение». Я читаю медленно. На эту небольшую вещь мне понадобилось несколько недель.

Постепенно (это началось, по крайней мере для меня, ещё с романа «Сторож», хотя я не знаю, когда была написана эта вещь) твой почерк меняется, стиль усложняется, проза становится глубже и темней. «Приближение», может быть, менее трудная вещь, чем «Возвращение ниоткуда», но и эта последняя повесть загадочна, многосмысленна, заставляет читателя всё время быть настороже. Ты выработал особую технику. Кажется, что повесть написана по тому же принципу, как и разговоры действующих лиц; эти разговоры всякий раз напоминают беседу двух заговорщиков, при этом оказывается, что один считает другого участником того же заговора, в котором состоит он сам, и не находит нужным говорить о главном, о том, что кажется ему само собой разумеющимся и не требующим объяснений; между тем как собеседник понятия не имеет, о чём, собственно, идёт речь.

Одно место (монолог Зимина на стр. 47) показалось мне чем-то вроде собственной, хотя и слегка зашифрованной, программы автора. Как всякий, кто читал или будет читать эту вещь, я пытался дать ей более или менее внятную (твоё любимое словечко) интерпретацию, мне казалось, что повесть настраивает на это, как бы ждёт объяснения от читателя. Я думаю, что это рассказ о творчестве, точнее, о погружении писателя в стихию собственного творчества, о вхождении в мир — или приближении к миру, — который хоть и создан писателем, но живёт собственной жизнью, к миру алогичному и опасному. Чтобы туда попасть, надо перебраться через реку, вроде Стикса. Он окутан туманом. Там живут люди, которых он сам, их создатель, перестал понимать. В то же время эти призрачные существа оказываются странно

живыми, по-своему убедительными, почти реальными и даже весьма обычными и узнаваемыми людьми, а чем они, собственно, заняты, что это за учреждение, — в конце концов не так уж важно.

Словом, я могу тебя поздравить с интересной, сложной, высоко-талантливой и оригинальной вещью. Хотя, конечно, очень может быть, что я толкую её совсем не так, как полагалось бы по замыслу [...]

Мюнхен, 7 июля 1998

Дорогой Марк, я только что прочёл твоё предисловие к дневниковым записям 1997 года и в свою очередь подивился совпадениям; очевидно, что при некоторой неизбежной разнице между твоей и моей стилистикой наша мысль движется параллельно, интересы сходятся; но ты (в предисловии) учитываешь собственный метод ведения дневника, в большой мере комментируешь его, проще говоря, имеешь в виду себя, находишь точки соприкосновения с Толстым, с Канетти и пр., я же в статье о дневниках писал исключительно о чужих документах и старался выбирать очень разные образцы. Сам я усердно вёл дневник подростком, это было во время войны, в эвакуации, и главным стимулом и примером были «Воспоминания» Вересаева, замечательная книга, может быть, лучшая из всего написанного им, которую я хорошо помню, в которую он вставил обширные выдержки из дневника гимназических и студенческих лет. (В последующих, послевоенных изданиях книга была подвергнута ханжеской цензуре.) В Москве, во время учёбы в университете, когда возникла угроза ареста, я уничтожил эти дневники, — до сих пор вижу их перед глазами, эти тетрадки с римскими цифрами на обложке, я обожал римские цифры, — а некоторые разрозненные, не столько дневниковые, сколько полулитературные заметки, сделанные позже, были изъяты при аресте, который в конце концов совершился. Пропала и литературная переписка, которую я вёл в эвакуации с моим дядей; я не устаю об этом жалеть.

Я стал читать твой дневник и зачитался. Сколько там интересно-го! Вообще это была замечательная, урожайная мысль — привести в порядок многолетние записи. Любопытны упоминания о Вас. Вас. Налимове. Я знал его, бывал у него, он жил недалеко от меня; читал и обсуждал с ним его рукописи. Вместе ездили в Тарту и т. д. Он довольно заметно эволюционировал от математики и позитивной науки к философии и от философии к мистике [...] Однажды, теперь уже почти десять лет назад, я говорил о Василии Васильевиче по радио, после этого он несколько раз звонил мне и присылал свои статьи и книги.

Мне показалось, что в этих последних работах он стал менее интересен как мыслитель и генератор идей. Его мемуарная книжка «Канатоходец» — очевидная неудача. Я его очень любил.

Длинная запись о профессоре Г. («рассказ Юры», кто это?). Речь идёт о повальном увлечении фантомным знанием, винегретом из оккультных учений, увлечении, которое началось ещё при мне и в то время казалось закономерным продуктом общественного гниения. Похоже, что тогда эзотерические бредни, чудесные исцеления и т. п. были ещё привлекательнее, так как будучи политически безопасными, оставались всё же достоянием узких кружков и компаний; как раз та самая среда, на которой эти дрожжи растут особенно интенсивно.

Или рассказ о слепом старике, который обращается к пассажирам не с призывом о подаянии, а с просьбой помочь ему перейти на другую линию метро. Самое поразительное — готовность помочь. Здесь это, конечно, не вызвало бы удивления. Но в России... Или другая история: милиционер с автоматом, «ваши документы». Я представляю себе, какое впечатление произвёл бы на меня такой случай сейчас в Москве. Ах, Марк. Всё изменилось, и ничего не меняется. Чуть ниже — наш разговор о тайной политической полиции, когда мы гуляли возле акведука. Я помню, как Налимов когда-то говорил о проекте или мечте накрыть всю страну каким-нибудь колпаком из тончайшего материала. Взять хотя бы такой факт: репутации Брежнева, его облику — вопреки всем стараниям выглядеть прилично — исключительно повредил телевизор. Не зря власть уже не могла видеть, как когда-то, в средствах массовой информации только инструмент пропаганды («из всех искусств для нас...»; радио в каждом доме). И всё же тайная полиция, пусть вставшая в спячку, жива, невредима и пережила всё и всех.

Очень важная фраза — там, где говорится о работе над «Приближением»: «Теперь я... уверен, что повествование существует».

Я написал тебе о своём впечатлении от этой повести две недели тому назад, 25 июня. (Дошло ли?) Сейчас перечитал и вижу, что написал плохо, мало, неточно.

Что сказать тебе о моих делах? Дела идут, как водится, черепаший шагом. За последние месяцы я пытался продолжать мой безнадежный — ибо он то и дело иссыкает — роман, главный персонаж которого, человек без определённых занятий и в каком-то смысле человек без ценностей, точнее, без сознания необходимости располагать системой ценностей, представлялся мне неким героем нашего времени. Но вместе с тем я почувствовал тягу к тому, что в добрые старые времена именовалось мелкотемьем, к сугубо личным сюжетам и кол-

лизиям. Я написал несколько коротких повестей или рассказов. «Потоп» (под другим названием) будет выставлен осенью во Франкфурте. «Октябрь» тиснул в шестом номере несколько старых рассказов, один из них вообще написан четверть века назад. Кроме того, я затеял переписывать, отчасти даже писать заново, по какому-то необъяснимому капризу, — может быть, под тенью смерти, которая ведь должна в конце концов наступить, — нечто вроде литературной автобиографии, написанной лет шесть тому, под названием «Понедельник роз»; вещь совершенно безнадёжная в смысле печатанья. Да и вообще, не будь журнала «Октябрь», где меня всё ещё терпят, кто бы стал публиковать мои изделия в России? Последний роман не вызвал никаких откликов, ни словечка. Да и прежние. А с другой стороны, надо, может быть, радоваться ограниченным возможностям публикации, ведь всё, что выходило, искажалось, перекраивалось, сокращалось, изобиловало грубыми опечатками. А ведь я работаю над каждым словом, над каждой запятой [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.7.98, Москва

Дорогой Гена, спасибо, что не пожалел времени и усилий на чтение моей повести. С некоторых пор я, видимо, и впрямь незаметно стал углубляться в какие-то новые для себя литературные области. В самих описываемых событиях ничего реально невозможного, принципиально непонятного вроде бы нет (если не считать вступительной сцены ирреального «сеанса» — сочиненной, впрочем, не мной). «Загадочного» и «темного», казалось мне, здесь не больше, чем в реальной жизни — в той мере, в какой мы чего-то в ней не можем (или даже не хотим, боимся) понять. Не мне, конечно, ссылаться на Кафку — но, допустим, нам так на самом деле и не узнать, что это за суд, заседающий на чердаках, что это за Замок, в который не удастся попасть? Я последнее время множество раз заново и заново вчитывался в эти тексты, знакомые, казалось бы, чуть ли не наизусть — и в самых маленьких миниатюрах обнаруживал не замеченные прежде смыслы, восхитительные подробности, порой юмористические оттенки и повороты. Для меня этот писатель становится все более непостижимым и неисчерпаемым. Причем я прекрасно сознаю, что сам он вряд ли мог иметь в виду внезапно открывающееся мне.

Вот, например, недавно я заново удивился, сколько очевидного, прямо-таки необъяснимого абсурда в истории Амалии и ее семейст-

ва. Некий чиновник из Замка прислал девушке письмо с гнусным требованием немедленно придти к нему в гостиницу. Девушка порвала письмо в клочья. Наказание последовало за этим не по приказу чиновника или Замка. Осталось вообще неизвестно, как реагировал на это чиновник и реагировал ли вообще. Абсурдной, какой-то нереалистичной кажется убежденность жителей деревни — и самой семьи — что наказание неизбежно, само собой разумеется. Все лично даже склонны относиться к семье сочувственно — но ничего теперь не поделаешь.

«Они же отошли от нас не по какому-то убеждению, — говорит сестра Амалии Ольга, — может, ничего серьезного против нас у них и не было, тогда такого презрения, как нынче, никто и не проявлял, они только из страха отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше».

И это вместо нормального-то сочувствия, понимания! Да чего можно было бояться другим — тем более что последствий на самом деле не оказалось?

Но попробуем сопоставить те же строки с реакцией знакомых на естественный, казалось бы, поступок в нашем тридцать седьмом или другом году. На какую-то фразу или стихотворение О.Мандельштама. На чей-то отказ подписать письмо с требованием расстрела. На непонятную провинность Ахматовой или Зощенко. И никакого видимого наказания не было, никакого гласного приказа (да был ли негласный сверху?). Но как было дать таким людям заказ в издательстве, договор для заработка? При всем душевном уважении?

«Ведь все люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг, мы на их месте поступили бы точно так же».

Поразительная, неожиданно знакомая логика, не правда ли? Помимо сознательных намерений Кафки (если о них вообще можно говорить) — какие узнаваемые переключки!

Но что это я вдруг разговорился! Можно противопоставлять и предпочитать такой загадочной неисчерпаемости простоту линейного, отчетливого, рационального разговора о нашем же тридцать седьмом и прочих годах, с социально-историческим и психологическим анализом, с сюжетом, без остатка поддающимся пересказу. Какая-то безотчетная потребность — словно даже помимо выбора — завела меня в дэбри, где я становлюсь, видимо, все менее популярен. И что с этим поделаешь? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

München, den 21. Juli 1998

Дорогой Марк! У нас стоит изнурительная жара, вчера во Фрейбурге было 38, у нас 35, сегодня столько же. С Запада, от французской границы надвигается фронт дождя, только что радио сообщило, что ночью над всей Баварией разразится гроза.

Я получил твоё письмо, очень интересное, с мыслями о Кафке, уже недели две тому назад и отвечаю с запозданием, так как незадолго до этого, 7-го, отправил тебе письмо и, кроме того, хотел закончить текст, который решил послать тебе — в сущности, единственному возможному читателю. Это — род литературной автобиографии, отчасти автокомментарий, сугубо приватный документ, и даже если бы я вздумал его печатать, никто бы за это не взялся.

Писал я его, вернее, дописывал и переписывал, — так как однажды что-то подобное уже было начертано, — вероятно, по той же причине, по которой ты писал свои дневники, то есть без причины; так, для себя. Была какая-то потребность отдать себе отчёт, подвести итог сделанному, что-то в этом роде. В конце концов я всегда знал, что писательство, собственно, и есть писание для себя, — *et tout le reste est littérature*, всё остальное литература, как сказано Верленом. Проклятье, однако, в том, что, за что ни возьмёшься, получается литература. Вышло довольно длинно, хотя вещи такого рода можно писать бесконечно. Не знаю, дойдёт ли.

Других новостей у меня нет, роман снова законсервировался, следовало бы приняться за него сейчас, но меня соблазняет другой сюжет — «для небольшого рассказа», о женщине (я где-то об этом прочёл), которая согласилась, чтобы её целыми днями с утра до вечера снимала камера и передавала изображение в интернет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.8.98, Москва

Дорогой Гена,

я, видимо, не получил твое письмо от 7.7. Надеюсь, оно у тебя сохранилось в компьютере, и ты сможешь его для меня воспроизвести (Мои тексты, переданные с Казаком, до тебя, как я понимаю, дошли?) А вот твой «Понедельник роз» (умеешь же ты придумывать заглавия!)

я получил вчера и прочел сразу же, в один присест. Особенно интересно мне было читать про годы, предшествовавшие нашему знакомству. Ты знаешь мой очерк «Родившийся в 37-м» — твое умственное, культурное, литературное развитие в детстве и юности было, конечно, более полноценным; ты занимался с ранних лет более осмысленными вещами, едва ли не сразу приобрел иммунитет против советской отравы. (Мне ведь пришлось с запозданием и не без труда очищать от нее свою кровь.) А какой потрясающий опыт — лагерные и послелагерные годы! Невозможно желать себе нарочно такой опыт, как войну, лагерь, болезнь — но как писатель ты знаешь о жизни несравненно больше, чем этого не испытывавшие. А опыт врачевный! (Казак, говоривший о тебе в Москве, удивлялся, как ты сумел после лагерного перерыва сдать экзамены в медицинский институт: я, сказал он, после войны и плена не смог бы вспомнить ни одной формулы, ни одного уравнения).

Прочитав этот текст, я сразу взял с полки твои книги. У меня оказался и «Запах звезд» (экземпляр, «зачитанный» у Померанца, с твоей правкой). Прекрасные рассказы. Я могу понять, почему ты впоследствии отставил лагерную тематику; но все-таки жаль, что осталась не развитой кафкианская линия «Начальника станции». Ничто не устарело. Услышав, что у тебя изъяли «Антивремя», я, если ты помнишь, сострил: «Перескажите его своими словами». Эти работы я, оказывается, хорошо помню — да ведь они у меня есть; и твой автокомментарий мне был не просто интересен, он что-то добавляет. Сложнее с последними вещами, напечатанными только в журналах. Жаль, что я не могу в них сейчас заглянуть. А «Нагльфар» я вообще читал только в первоначальном варианте, еще в манускрипте. Возможно, я перечел бы сейчас эти вещи новым взглядом.

Интересны и твои общие размышления. О советской литературе, например. Слова про «тонкий запах позора и крови» показались мне странно знакомыми: ты можешь найти что-то похожее в моем «Возвращении ниоткуда» (гл. 11, «Танец при свечах»). Было ли тут у меня что-то вроде литературной переключки, осознанного или неосознанного заимствования? Но ты о всякого рода переключках тоже пишешь — и как же без них? Когда читаешь воспоминания, документы о тогдашнем литературном (и, конечно, не только литературном) существовании, жизнь эта действительно кажется допотопной. А сейчас, значит, жизнь после потопа? Знать бы! Потомки скажут... Меня не перестает удивлять (я не раз об этом писал), как в этой жизни могла возникнуть, существовать и давать незаурядные плоды культура все-таки полноценная. Позавчера пришла весть о смерти Альфреда Шнитке. Я его немного знал, он меня даже читал — много ли ему равных в мире?

А Бродский? Один на три года старше, другой на три года младше меня; они учились в тех же советских школах, слушали то же радио. Вполне ли ты прав, называя эту культуру затхлой и задохнувшейся? Как бы осмыслить вот этот, непростой для понимания феномен?

Я не думаю, что этот твой текст у нас не может быть напечатан. Предложить его для начала стоило бы в «Октябрь», ты все-таки их автор. А там поискать, если понадобится, другие возможности. Я сам, увы, не очень способен, да и склонен искать; но то небольшое, что у меня сейчас выходит, в общем-то печатают.

6 сентября я приглашен в Париж на презентацию двух моих новых книг. Там выходят «Этюды о масках» и «День в феврале» — работы 1972 и 1974 гг. — более чем четвертьвековой давности, подумать только! «День в феврале» перевел Жорж Нива, он же написал предисловие — редкий для него случай; по его словам, он особенно любит эту книгу. Это отчасти тоже на тему твоих рассуждений, как наша литература, вырвавшись из изоляции, должна теперь «отстаивать свою автаркию в массовом демократическом обществе». Не странно ли все-таки, что наши книги, написанные в советские времена, еще можно издавать и даже читать, да еще на другом языке?

Сейчас я себя работой не особенно утруждаю, сижу, полубездельничая, на лоджии, делаю заметки на своих листках, читаю, гуляю по лесу. Время от времени, устыжаясь своего безделья, сажусь за компьютер, ввожу расшифрованные дневниковые записи. Но это работа скучная, хотя читать интересно. Пока довел до 1987 г. Дискету с сокращенными записями 1981–85 гг. я показал в одном месте (даже не распечатывая); говорят, интересно. Посмотрим. Есть еще кой-какие мысли. Но лето я скорей всего пробездельничаю. Надо же немного и отдохнуть.

А пока всего тебе самого доброго. Привет Лоре. (И пришли утраченное письмо.)

Твой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 14 авг. 1998

Дорогой Марк, твоё письмо от 5.VIII дошло, как видишь, за восемь дней, а вот мои письма... В Талмуде есть изречение: «Сон, который не истолкован, подобен письму, которое не прочли». Посылаю тебе копию неполученного письма. Твой отзыв о моей «литературной автобиографии» меня чрезвычайно заинтересовал и очень тронул. Мне всегда казалось, что подобные сочинения не могут рассчитывать

на внимание читателей, но ты — особая статья. Что касается «Октября», то они собрались сейчас печатать небольшой роман «Далёкое зрелище...» — кажется, я писал тебе о нём, — а в конце года этюд о дневниках писателей, по крайней мере, выражали такое желание; могут, конечно, и передумать. В любом случае предлагать им сейчас ещё что-нибудь было бы уже Zumutung¹.

Тебя удивляет, каким образом при советском режиме могла существовать полноценная культура. Ещё бы; я и сам не переставал этому удивляться. Диву можно было даваться, как сумела в этих условиях если не сохраниться, то, по крайней мере, регенерировать интеллигенция, откуда брались всё эти люди, которых власть нещадно выпалывала и которые появлялись сызнова. И вместе с тем семьдесят лет террора, подкупа, кастрации и отторжения от мира не могли пройти даром даже для тех, кто был полон решимости отстаивать своё достоинство. Конечно, то, что я написал о советской литературе, чрезвычайно схематично. Повод для этой главы был такой: человек, который решил заниматься литературой, не мог не видеть перед собой существующий, организованный, экономически мощный и по-своему процветающий, не лишённый определённой привлекательности литературный истеблишмент. Войти в него было мечтой многих. Но... что представлял собой этот истеблишмент? Отсюда все дальнейшие рассуждения. Вопрос, что, собственно, осталось теперь от всего этого, вопрос о наследии советской литературы, — ибо она, что ни говори, была целой эпохой в истории русской литературы, была русской литературой, — этот вопрос выходил за пределы моей темы. О нём стоило бы поговорить отдельно.

Ты пишешь: «А сейчас, значит, жизнь после потопа?» Или, может быть, потоп всё ещё продолжается и мы, как щепки, как утлые лодочки, ныряем в волнах, наталкиваясь на обломки смытой в пучину советской цивилизации? Вообще говоря, смысл, который можно было бы вложить в название «После нас потоп», относится скорее к прошлому, чем к будущему: мы живём (допустим, в 70-х годах) с ощущением, что после нас — потоп.

В сентябре, примерно в то же время, когда ты будешь в Париже, мы с Лорой собираемся полететь в Чикаго, билеты давно уже заказаны. А так можно было бы захватить попутно к нам. Мы давно не виделись. Хорошо, что во Франции выйдут твои старые вещи, они добавят кое-что новое к твоему тамошнему имиджу, расширят представление о твоём творчестве.

Пришли мне, пожалуйста, ещё что-нибудь из Дневника. Обнимаю тебя и Галю. Лора передаёт привет.

¹ Навязчивостью (нем.)

Дорогой Марк, помнится, я как-то раз уже получал от тебя письмо из гостиницы на улице Святых отцов. Очень, очень рад за тебя. Вернёшься в Москву к этим старым жопам, загоревший и помолодевший в ультрафиолетовых лучах европейской славы. Но в Москве, кажется, дела очень не важные. Последнее время новости из России оттеснены выборами в бундестаг (которые состоятся завтра), но то, что я слышал урывками в Чикаго, естественно, не радует. Правда, этого краха следовало ожидать. Ты говоришь, что рискуешь вернуться не совсем в ту страну, откуда уехал. Беда, однако, в том, что это всё та же страна. Огромные деньги, полученные Россией, хоть и осели в большой степени в чьих-то карманах, а затем перекочевали на западные счета, но, очевидно, всё-таки отсрочили катастрофу — на короткое время. А что будет — или уже стало — с литературой, с журналами?

Мы вернулись два дня назад. На этот раз путешествие оказалось тяжеловатым. Почти всё время в Чикаго была тяжкая, влажная жара, вдобавок у меня случился радикулит. Но простор и величие необыкновенно красивого downtown покорили меня, как и прежде. Сейчас сижу и разбираю бумаги, накопившиеся за эти две недели. Мне пришлось отказаться от приглашения на некие грандиозные именины в бывшей ГДР, хотя на книжную ярмарку я всё же собираюсь поехать. Разыщу там во французских владениях стенд Fayard.

Мой роман (по-немецки «Vögel über Moskau»)¹ вышел несколько недель тому назад. «Октябрь» поместил в августе (кажется) «Далёкое зрелище лесов» и собирался тиснуть статью «Дневник сочинителя», но теперь я не знаю, не погиб ли вообще этот журнал вместе с другими.

За это время я читал или листал разные книжки (в том числе прекрасные лекции о Прусте Мамардашвили, о которых ты мне однажды писал), занимался мелкими рассказами и неким романом; трудность этой работы связана не столько с известной неопределённостью замысла, сколько с неуверенностью в самом методе. Я чувствую, что продолжать в том же духе, как я писал до сих пор, невозможно, а найти новый путь не могу.

От Гриши я получил книжку — вышедшие в «Московском рабочем» тиражом 3000 экз. «Записки гадкого утёнка». Книга мне отчасти уже знакома. Как всегда, мне очень нравится его язык, чистый, ясный, красивый и лаконичный. Это надо ценить, так как владение языком,

¹ «Птицы над Москвой» (нем.)

вообще говоря, среди писателей большая редкость. К недостаткам книги принадлежит отсутствие исторической дистанции (об умственном и диссидентском движении, полемике с Солженицыным и пр. пишется совершенно так же, как десять и двадцать лет назад), известная банальность суждений, явно избыточное цитирование стихов Зины и, конечно, чересчур серьезное отношение автора к самому себе.

Что с твоим дневником? Пришли мне ещё что-нибудь оттуда.

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.10.98, Москва

Дорогой Гена!

Вернувшись из Парижа, я тут же, через два дня, уехал с Галей в Крым, в Судак. Мы поселились в домике у подножья неплохо сохранившейся генуэзской крепости 14-го века, с утра, взяв с собой хлеб, помидоры и виноград, уходили на весь день в отдаленную бухту, купались, нежились на сентябрьском солнце. Галя интересно и много рисовала, я же дал полный отдых своим мозгам. С погодой нам удивительно повезло, заботы не отягощали. Как раз к нашему приезду вслед за рублем начала резко падать украинская гривна, цены же при этом совершенно не менялись, мы со своими немецкими марками чувствовали себя богатыми иностранцами. Ресторанов и кафе множество, готовили там неплохо, но мы просто предпочитали питаться обильным виноградом, хлебом — и прекраснейшим медом, который привозил с гор интеллигентный пасечник.

В Москву мы вернулись 1 октября, я понемногу вхожу в курс здешних дел. Только что мне сказали, что вышел сигнальный экземпляр «Дружбы народов» с завершающей порцией текстов из моей книги «Времена жизни». Там же вроде будут печатать дневниковые фрагменты, которые ты читал. Сегодня-завтра ожидается сигнал моей эссеистической книги «Способ существования» (издательство «НЛО»); многие из этих эссе тебе тоже знакомы. В оформлении использованы Галины линогравюры. Книга, можно сказать, проскочила до кризиса, еще по старым ценам на бумагу и типографские услуги. На книгу «Времена жизни» со мной уже собирались заключать договор — не получилось. Издательская деятельность, кажется, замерла на неопределенный срок. Но тревожней всего положение литературных журналов. Уже была ведь объявлена подписка, и кто-то успел оплатить ее по старым ценам — во что превратились эти деньги, какая вообще возможна подписка на будущий год, на что будут существовать журналы? Не го-

ворю о том, во что превращаются мои рублевые гонорары. Это проблемы, конечно, не из худших, тяжелей другим. Кризис нам переживать не впервой, тревожней всего удручающая неясность намерений, перспектив.

Как бы там ни было, на время можно освободить себя от журнально-издательских хлопот, вообще от бесполезной суеты, засесть за отложенную рукопись. Что я и сделал по возвращении. В Москве славная золотая осень. Поработав, я иду гулять в лес; никуда за все эти дни не ездил [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 19 окт.1998

Дорогой Марк! Я написал дату и вспомнил, что сегодня пушкинский день. Октябрь странным образом всегда, всю мою жизнь был месяцем неудач. В октябре, ночью, меня когда-то арестовали. Это было сорок девять лет назад.

В Чикаго меня настиг радикулит, который вскоре после возвращения повторился, в ещё более мучительной форме, так что мне пришлось отказаться от поездки во Франкфурт, где в этом году выставлялся мой роман под немецким, не очень нравящемся мне названием «Vögel über Moskau». . Для меня, как обычно, был снят номер в гостинице, мне прислали пропуск и пр. И даже до сих пор не всё ещё прошло. Правда, я всё-таки съездил на ПЕН-сборище в городок Фрэнденберг в Вестфалии, 600 километров по автострадам в одну сторону, — для Германии это довольно много. Вчера вечером вернулся. Накануне пришло твоё письмо от 6 окт. Ты ничего не пишешь: как было в Париже? Дошло ли моё письмо от 26 сент.?

Что касается новостей из Москвы, то дела, кажется, не только не улучшаются, а наоборот. Да и как они могут улучшиться, — дело кончится тем же самым: снова удастся выклянчить деньги в Международном валютном фонде (т. е. у американцев и немцев), и снова они будут разворованы. Что это за проклятье, что это за страна? Каждое новое «руководство» оказывается ещё более коррумпированным, чем предыдущее. Достаточно взглянуть на эти рожи, которые демонстрируют себя по телевидению. И надо думать, поток бегущих из России (и приезжающих сюда), и без того немалый, в ближайшие месяцы только усилится. Может, в самом деле нужно плюнуть на всё и... Ведь совершенно ясно: даже если положение кое-как стабилизируется — это неизлечимый больной.

Выходят ли ещё журналы? Что с публикацией твоего дневника? Не можешь ли ты мне что-нибудь прислать? Может быть, даже «Способ существования»? [...]

Я занимался тем, что писал небольшие тексты для «Искусства кино», по просьбе редактора, а теперь хотел бы вернуться к роману, но что с ним делать дальше, а главное, стоит ли вообще продолжать, — не знаю [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.11.98, Москва

Дорогой Гена!

Необычно теплый сухой октябрь у нас сменился дождливым холодным ноябрем. Я потихоньку работаю, никуда без надобности не езжу, газет почти не читаю. Не знаю даже, что пишут о моих публикациях и пишут ли вообще.

Недавно я прочитал в одном интервью Борхеса: «Меня удивляет, что я известен. Никогда ни о чем подобном не думал... Каждый раз, когда выходит моя книга, я не пытаюсь узнать, что там с ней происходит, не читаю абсолютно ничего из того, что о ней пишется, не знаю, пользуется она спросом или нет. Я стараюсь просто мечтать о другом и написать новую книгу».

Дата, когда он это интервью давал, не указана. В возрасте уже, наверно, он был почтенным, и зарабатывать он долгое время в библиотеке, так что спрос на книги его мог хотя бы материально не интересовать. Но даже для такого возраста это редкое по нашим временам самоощущение. Я почти одновременно заглянул в дневники Т.Манна: в 1953 году, на вершине своей славы, он болезненно реагирует на очередную порцию малодостойных нападок швейцарского критика Мушга: «Uebelkeit durch die Schimpfung meines Lebens». И на другой день не успокаивается: «Muede vom Ekel. Meine furchtbare Empfindlichkeit gegen kritische Schaendigungen meines Lebens»¹.

Тоже знакомое и понятное чувство, не правда ли? Хотя иногда теперь кажется, что мне может быть близким и самоощущение Борхеса.

Впрочем, новые французские рецензии мне издательство присылает. Как тебе понравится такой недавний подзаголовок: «En plein

¹ «Тошнит от ругани в мой адрес» [...] «Усталость и отвращение. Ужасна эта моя чувствительность к критическим поношениям.» (нем.).

hiver brejnevien, Mark Kharitonov ecrivit une oeuvre geniale»¹? Я с удовольствием повторил бы слова Даниила Хармса: «Все говорят: гений, гений, а денег не платят. Глупые люди, платите мне больше денег, вы увидите, как я буду доволен».

Вышел десятый номер «Дружбы народов» с моей прозой, вышел «Способ существования» с Галиными гравюрами (если в скором времени не будет оказии, попробую переслать книгу по почте) — денег я почти не получил. Но жить пока есть на что, грех жаловаться.

Между прочим, в том же интервью Борхес говорит: «Писателей сейчас много, а читателей почти ни единого... Этому разряду людей грозит уничтожение... Давайте утвердим Секту читателей или Тайное общество читателей».

И это чувство нам знакомо, не правда ли? Все уже было, все повторяется и теперь — но ведь повторяется, то есть продолжается, это все-таки обнадеживает [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

München, 24.Nov.1998

Дорогой Марк, у меня неудачная полоса: едва только я избавился от радикулита, как пришлось оперироваться по поводу геморроидального тромбоза, а теперь грипп. Пришлось, правда, совершить в промежутках и два путешествия: в Вестфалию и в Гамбург.

Вчера пришло твоё письмецо от 6.XI, а накануне я как раз говорил по телефону с моей старой французской переводчицей в Париже, Эленой Роллан (Rolland), и она упомянула о том, что пишет предисловие к двум повестям одного русского писателя по имени Марк Харитонов, «Этюд о масках» и «День в феврале». Мы поговорили заодно об этом писателе, и, в общем, я уже говорил тебе, я очень, очень рад твоему серьёзному успеху во Франции, стране, где добиться признания не так-то просто.

Мне знакомо интервью Борхеса, которое ты упомянул; зная Борхеса, можно почти наверняка сказать, что то, о чём он говорит, — равнодушие к своей известности, отсутствие интереса к рецензиям на свои книги, — не кокетство, обычное в таких случаях. Но мне кажется, что у Борхеса, что бы ни говорил он о вымирании читателей, всё ещё оставалось чувство культурного гнезда, точнее, чувство или сознание

¹ «В условиях брежневской зимы Марк Харитонов пишет гениальное произведение». (фр.)

того, что он окутан культурой, находится в культурной среде, дышит её воздухом; много у него читателей или мало, ему как автору ничего не грозит, у него есть духовное жильё и крыша над головой. Мы в России (я говорю о себе, конечно, уже не в буквальном смысле) находимся в ситуации культурной бездомности, мы напоминаем цыган, раскинувших свои дырявые шатры поблизости от других цыган, в любой момент всех нас может промочить до нитки дождём, завалить снегом.

Мы были, я думаю, свидетелями удивительного явления. После опустошений, казалось бы, начисто истребивших интеллигенцию в послереволюционной России и Советском Союзе, после того, как вся культурная почва была залита асфальтом, началась осторожная регенерация, вроде того как бамбук взламывает асфальт и трава прорастает сквозь трещины. И снова, откуда ни возьмись, в шестидесятых, в семидесятых года обозначился тонкий культурный слой. Сейчас происходит стремительная эрозия. Куда бы я ни поехал, я вижу множество россиян. Какое-то небывалое нашествие. И это не только жульё, крупные и мелкие бандиты, базарные голоса, стёб и мат на улицах немецких и американских городов. Вместе с жуликами и всяческой чернью Россию покидают интеллигенты. Открылись ворота, а в самой стране условий для полноценной культурной деятельности, очевидно, нет. Мне кажется, что впечатление общей вульгаризации, даже какой-то люмпенизации общества, которое было у меня особенно в последний приезд осенью прошлого года, по крайней мере отчасти связано с этим новым исходом — это его результат.

В больнице я листал всякую всячину, два последних номера Нового Литературного обозрения с похвалами концептуалистам, этим трём голым королям, при которых придворные литературоведы выполняют роль ткачей, фабрикующих для их величеств шикарное новое платье, — листал и дневники Т.Манна, наше вечное чтение; представь себе, это был тот же том, о котором ты пишешь. Между прочим, я когда-то переводил Мушга — не ныне здравствующего Адольфа Мушга, а его брата, покойного Вольфганга, именно того, который лягнул Томаса Манна (и не его одного), — для нашего бывшего журнала.

Работа моя последнее время плохо ладилась. Я сочинил пять коротеньких «писем» к некой даме для «Искусства кино», по их просьбе. В «Знамени» № 10 появилась любопытная статья Натальи Ивановой о Фадееве, которая вдохновила меня на статейку о советской литературе. С великими трудами, как всегда, когда пытаешься связаться с Россией, я передал это сочинение по факсу, но статья представляет род полемики с Н. Ивановой — заместительницей главного редактора, и, боюсь, они её не напечатают. А я мыкался с телефаксом два дня. Из «К-

тября» мне сообщили, что они хоть и с трудом, но всё ещё держатся на плаву. Банк зажилил деньги. Собираются выпустить январский номер, а там «посмотрим».

Роман мой снова застопорился. Вся концепция как-то перестала меня увлекать. Гриша совсем умолк, видишься ли ты с ними?

Сердечно обнимаю тебя и Галю, от Лоры привет.

Мюнхен, 26 дек.1998

Как приятно было слышать твой голос по телефону, дорогой Марк. До конца года остаётся всего ничего, это письмо — последнее в этом году. Праздники продолжаются, фактически закончатся только к Трём Волхвам (Dreikönig), и хотя почта понемногу работает и в эти дни, я не жду твоей бандероли раньше, чем в январе. На улицах тишина, безлюдье, только на Мариенплац и вокруг, как всегда, полно народу, исполинская ёлка, Christkindlmarkt, шестиугольные звёзды, горячий глинтвейн и жареный миндаль — всё как всегда. От снежной зимы, которая было погребла нас две-три недели назад, ничего не осталось, сегодня с утра шёл дождик, сейчас всё сухо. Лора работает. В Чикаго нашему внуку Яше недавно стукнуло два года. Он начал произносить отдельные короткие фразы по-немецки. Примерно таковы же успехи и в английском. С русским языком дело обстоит плачевно. Но в феврале Лоре придётся поехать туда на две недели сидеть с малышом, так как мать должна отправиться на курсы повышения медицинской квалификации в Вашингтон. Я сижу дома и веду оборонительную войну с демоном, который поселился в позвоночнике, присвоив себе почётное звание радикулита.

В промежутках я ездил в Гамбург и в замок Eichholz под Бонном, который скоро окончательно перестанет быть правительственным городом (я лично об этом жалею); между прочим, была устроена экскурсия в Haus der Geschichte, новый и отгроханный на широкую ногу музей истории Федеративной республики. Тебе выдают портативный радиопередатчик, и ты слышишь речь экскурсовода, даже находясь где-нибудь на другом этаже. В музее особая выставка фальсифицированных фотографий вождей, поддельных кадров и так далее, под названием «Bilder lügen», где, естественно, почётное место занимает достигшее небывалых высот искусство изобразительной липы в Советском Союзе, Германии Гитлера и Италии Муссолини — но не только в этих странах. Умельцы на экране показывают, как всё это делается.

В больнице я читал номера «Нового литературного обозрения», которые оставил мне Джон Глед, и снова убедился, каким высоким

престижем пользуются в этих кругах авторы, почему-то назвавшие себя концептуалистами. Я бывал на концертах Пригова и однажды познакомился со Львом Рубинштейном, чьё творчество показалось мне небезынтересным, хотя найденная им жила, похоже, уже выработана, как рурская железная руда. Что касается Пригова, которого полагается называть по имени, отчеству и фамилии и никак иначе, то после первых забавных выступлений его творчество, по-моему, всё больше отзывает откровенным жульничеством. Весь концептуализм — это голый король, при котором литературоведы выполняют роль ткачей, усердно ткущих для него на пустых станках новое платье. О третьем собрате — Сорокине — мы однажды уже говорили.

Занимаюсь я тем, что правлю небольшие вещи, написанные летом, потратил время на этюды для «Искусства кино», на злополучную статью о советской литературе, ещё на какую-то хреновину, пытаюсь также продолжить роман, который, как больной, сделав десять шагов, должен остановиться, чтобы передохнуть. Сумею ли я когда-нибудь его закончить, неизвестно. Если же говорить о моей работе вообще, попытаться, что ли, подвести итоги, — давно пора, ведь дело близится к порогу, — то получается любопытная история. Мы дожили до того, что можем печататься в России, по крайней мере, в журналах. Но если каждая моя книжка в Германии сопровождается рецензиями, передачами по радио или телевидению, выступлениями и т. п., то в России мои писания падают в пустоту, критики ими не интересуются, у них другие заботы и вкусы, о читателях я судить не могу: их нет. Правда, я слышу иногда устные отзывы, почти всегда они касаются моих давнишних и второстепенных изделий. Вещи, прежде всего романы, в которые я более всего вложил свою душу и в которых, как мне кажется, выразил себя, не читаются.

Конечно, это процесс обоюдный; с одной стороны, мне трудно примириться с мыслью, что мои сочинения до такой степени скучны, занудливы, неинтересны, далеки от русской жизни и от жизни вообще; с другой стороны, я понимаю, что они рассчитаны (как, впрочем, и твои книги) на более или менее квалифицированное чтение, требуют встречного усилия, на которое, возможно, большая часть российских критиков и рецензентов и решающее большинство тех, кто ещё находит время и охоту читать, не способны. Это процесс обоюдный, так как, оставаясь русским писателем, я в то же время дистанцирован вдвойне — как еврей и как эмигрант, безнадежно оторванный от злободневности. Но что это за литература, скажи на милость, которая занята злободневностью, — ведь для этого существует газета. Мне кажется, останься я в России (и если бы мне удалось остаться в живых), я

всё равно не мог бы писать о том, что увидел бы за окошком. Потому что литература живёт памятью, а не актуальностью, пережитым, а не только что услышанным.

Единственное исключение составляет Гриша Померанц, который довольно часто упоминал обо мне, — это было продолжением нашей переписки. Кстати, я давно уже не имею от него никаких вестей, здоровы ли они? Куда они делись, может быть, уехали куда-нибудь? Или окончательно разобиделись на меня. В последнем письме, больше двух месяцев тому назад, Гриша порицал меня за то, что я не прочёл как следует «Записки гадкого утёнка».

Дорогие Марк и Галя, ещё раз поздравляю вас с Новым годом. Вероятно, к прибытию этого письма он давно уже перестанет быть новым. Жду бандероль, обнимаю.

1999

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мі. 11 янв.1999

Дорогой Марк, я писал тебе между западным Рождеством и Новым годом и, как видишь, не унимаюсь. Хочется немного сказать о книге («Способ существования»), которую я получил несколько дней тому назад, распаковал, развернул — и как-то сразу зачитался. Читал её все эти вечера.

Такие книги необязательно читать подряд, я вообще люблю читать с середины. Вышло так, что я раскрыл её на Давиде Самойлове. Я когда-то восхищался некоторыми из его стихотворений, помню многое, хотя не перечитывал с тех пор, как уехал (читал только, года три тому назад, его дневник). Например, изумительное стихотворение о памяти, которое начинается как белые стихи, а в конце появляются рифмы. «Но в памяти такая скрыта мощь, Что пробуждает образы и множит. Шумит, не умолкая, память-дождь, И память-снег летит и пасть не может». Видел я поэта всего лишь один раз. Это было году в 70-м, в доме одной телевизионной дамы, собралась небольшая компания. Дезик, низкорослый, пьяный и раздражённо-самолюбивый, повздорил из-за какой-то чепухи с одним довольно мирным человеком, биологом, наскაკивал на него, как болонка на дога. Я знал более или менее близких к нему людей, они говорили, что не видят его трезвым, и было непонятно, когда он ухитряется писать стихи.

Дневник его меня разочаровал, он оказался каким-то бледным, очень советским, и, конечно, можно было почувствовать, что диарист сам следит, как бы не брякнуть чего-нибудь лишнего.

И вот теперь я читаю эти страницы в твоей книге, читаю вашу переписку, и постепенно вырисовывается как бы сам собой портрет этого человека, о котором, бесспорно, стоило написать; получилось это у тебя превосходно. Я говорю «стоило», потому что задаёшь себе один и тот же вопрос. Этот человек был одним из лучших, может быть, лучшим поэтом своего поколения. Почему же всё-таки он не стал по-настоящему большим поэтом? Из-за своей традиционности, заставлявшей — изредка — чувствовать в нём эпигона? (Эпигона Баратынского, Тютчева, вообще всей этой линии. Другие были тоже эпигонами: Коржавин — эпигonom Некрасова или поэтов «Искры», Вл. Соколов — эпигonom Фета). Из-за постоянной, привычной оглядки на цензуру? Из-за скованности идеологией и этой специфической встроенности в кастовую психологию советского писателя? Просто из-за боязни неприятностей? (На фронте нахлебался достаточно). Из-за алкоголизма?

Страницы, посвящённые «Двум Иванам», поразительны. Тут он сказался весь. Как художник он чувствует высокое достоинство этой прозы. Но оказывается, что есть нечто поважнее — чувство. Книге якобы не хватает любви. На самом деле то, что он именуется чувством, есть не что иное, как идеология. Этот человек остался в плену государственной идеологии, хотя и не сознаёт этого (или старается утаить это от самого себя). Он прекрасно понимает, что с этим режимом что-то глубоко не в порядке. Но с ним надо мириться, альтернативы — для Самойлова, для всей писательской касты — нет. С режимом надо мириться хотя бы потому, что надо печататься. Замечательное высказывание: «Почему мы должны ждать лучшего отношения от власти, к которой сами не сделали навстречу ни одного шага?» Это похоже на то, как Савельич уговаривал Петрушу Гринёва: «Поцелуй у злодея ручку».

И вот происходит бегство в государственный патриотизм. Отечественная история — священна. (Солженицын укорял Тарковского — «Андрей Рублёв» — почти в тех же выражениях: клевета на русскую историю. Сцена с выкалыванием глаз мастерам и мальчику-ученику — злостный поклёп: на Руси так не бывало, только на Западе. Как будто в Повести временных лет нет рассказа об ослеплении князя Василька.)

Находится способ и невинность соблудности, и капитал приобрести. Он делает вид, что не сознаёт, что идёт по стопам всё той же идеологии, которая давно отказалась и от пролетарского интернационализ-

ма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию «любви к Родине», иначе говоря, идеологию имперского самолюбования. Дальше — больше: человек по фамилии Кауфман находит возможным упрекнуть своего товарища в «инородчестве», произносится это замечательное словечко. «Инородческое отношение к истории». А иногда кажется, что человек уговаривает сам себя, — это когда он с ненавистью говорит об эмиграции.

Я как-то завяз на этой главе «История одной влюблённости» (хорошее название), между тем как в книге есть множество других интересных мест, и как жаль, что я не могу поговорить с тобой на все эти темы; кое с чем можно было бы и поспорить. Мне понравилось построение книги, — нелёгкая задача, — и очень понравились рисунки Гали. А на портрете у тебя вид старого всезнающего иудея, какого-нибудь из твоих предков. (Известен ли тебе рисунок, не помню чей: Фет за письменным столом, — где он удивительно похож на старого еврея?)

Я тоже в разное время делал для себя разные записи. Мои юношеские бумаги, дневник, который я вёл подростком, литературная переписка с дядей во время войны и проч. — погибли, когда я был арестован; другие вещи пропали, когда пришлось уезжать. Но и здесь я делал время от времени заметки в связи с разными литературными занятиями или поездками, или просто так, а также наворотил за эти годы огромный ворох писем. Никогда прежде я не писал столько писем. Да и вообще мы живём в неэпистолярное время. Так что всё это, по-видимому, тоже пропадёт. Кто знает, может быть, кое-что, отобрав, стоило бы издать. Но невозможно.

Крепко жму твою руку, прекрасная книга, спасибо.

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.1.99, Москва

Дорогой Гена, ты спрашиваешь про Гришу. После долгого перерыва я в декабре дважды с ним виделся. У него вышла новая книга «Страстная односторонность и бесстрашие духа». Он необычайно активен, публикуется в прессе, охотно ездит выступать, записываться на радио — и это на девятом десятке, да при нашем транспорте, в наши холода! Можно им только восхищаться. Мне предложили недавно выступить в одном музее, я уклончиво пожал плечами: нужно ли это? А он заинтересован в аудитории, в читателях, в слушателях. Не хватает, говорит, выступлений по телевидению. Как-то он участвовал в попу-

лярной телепередаче, упомянул о своей предстоящей лекции. И на этой лекции, говорит, возникло столпотворение, зал не был рассчитан на такое количество пришедших, больше двухсот человек. Можно, конечно, сказать: что такое двести человек? Недавно в небольшом городке группа поклонников издала за свой счет книгу Зины тиражом 250 экз. — тоже немного, но ведь раньше такого вообще невозможно было себе представить, без разрешения цензуры и пр. А если бы их книги могли доходить до аудитории, которая действительно заинтересована, и как! У них обоих несомненно есть что-то вроде общины, и при более нормальных условиях она оказалась бы, думаю, весьма обширной. Книжки, как ты знаешь, дороги, до провинции вообще не доходят, телевидение занято другим.

«Страстную односторонность» тоже издали на средства меценатов-поклонников, они же устроили славную презентацию в нашем ПЕН-клубе. Книга толстая, в нее вошли работы за последние лет двадцать. Многие я знал еще в рукописях. Когда они собраны, становятся, конечно, заметны неизбежные повторения, некоторое однообразие, идеи кажутся, увы, не такими уж новыми. Но время от времени находишь на этих страницах что-то для себя весьма интересное, факт, размышление, пищу для собственного ума. Разве этого мало? Интересны бывают и цитируемые им авторы — тебя он, можно сказать, активно пропагандирует. В конце книги именной указатель — твое имя упоминается 9 раз (мое только три). Одна твоя цитата занимает у него четыре (!) страницы мелкого шрифта, и дальше он пишет: «Этот этюд вызвал страстный отклик Б.Сарнова и, наверное, вызовет другие полемические отклики. А мне не хочется спорить... Очень уж хорошо написано».

Я этой твоей работы не знал и тоже готов был бы поспорить (как готов то и дело спорить и с Гришей). Но разве он все же не молодец?

Ты в своем последнем письме (от 26.12) сетуешь, что известные тебе отклики касаются твоих «второстепенных изделий», эссеистики, а не романов. Дано ли нам судить? Я время назад взял полистать книгу Берберовой «Курсив мой». Она пишет, что только эта книга воспоминаний сделала ее имя известным, принесла всемирный успех. Ее это вполне устраивает, претензии на бессмертие кажутся ей смешными. Пушкина в следующем веке никто не будет читать и не должен.

«Я видела на своем веку почти что гениев, — пишет она. — Это были несчастные, нездоровые, тяжелые люди с разбитой жизнью и жертвами вокруг себя, счастья они не знали, дружбы не понимали. Ко всему примешивалось «нас не читают», «нас не слушают», «нас не понимают», «нет денег», «нет аудитории»... Ничего несчастнее, тоскливее, печальнее нельзя себе представить».

Себя она к этой категории, слава Богу, не причисляет. Да и мы вроде тоже? Такую поправку полезно держать в уме. Ты недавно поздравлял меня с «успехом во Франции». А речь-то может идти всего лишь об откликах прессы и т.п. обычных для Запада вещах. Сам пишешь, как и в Германии такими откликами сопровождается каждая твоя книга. Будем считать это успехом. Платили бы только еще больше денег [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мй. 11 янв.1999

Дорогой Марк, я писал тебе между западным Рождеством и Новым годом и, как видишь, не унимаюсь. Хочется немного сказать о книге («Способ существования»), которую я получил несколько дней тому назад, распаковал, развернул — и как-то сразу зачитался. Читал её все эти вечера.

Такие книги необязательно читать подряд, я вообще люблю читать с середины. Вышло так, что я раскрыл её на Давиде Самойлове. Я когда-то восхищался некоторыми из его стихотворений, помню многое, хотя не перечитывал с тех пор, как уехал (читал только, года три тому назад, его дневник). Например, изумительное стихотворение о памяти, которое начинается как белые стихи, а в конце появляются рифмы. «Но в памяти такая скрыта мощь, Что пробуждает образы и множит. Шумит, не умолкая, память-дождь, И память-снег летит и пасть не может». Видел я поэта всего лишь один раз. Это было году в 70-м, в доме одной телевизионной дамы, собралась небольшая компания. Дезик, низкорослый, пьяный и раздражённо-самолюбивый, повздорил из-за какой-то чепухи с одним довольно мирным человеком, биологом, наскокивал на него, как болонка на дога. Я знал более или менее близких к нему людей, они говорили, что не видят его трезвым, и было непонятно, когда он ухитряется писать стихи.

Дневник его меня разочаровал, он оказался каким-то бледным, очень советским, и, конечно, можно было почувствовать, что диарист сам следит, как бы не брякнуть чего-нибудь лишнего.

И вот теперь я читаю эти страницы в твоей книге, читаю вашу переписку, и постепенно вырисовывается как бы сам собой портрет этого человека, о котором, бесспорно, стоило написать; получилось это у тебя превосходно. Я говорю «стоило», потому что задаёшь себе один и тот же вопрос. Этот человек был одним из лучших, может быть, лучшим поэтом своего поколения. Почему же всё-таки он не стал настоящим большим поэтом? Из-за своей традиционности, застав-

лявшей — изредка — чувствовать в нём эпигона? (Эпигона Баратынского, Тютчева, вообще всей этой линии. Другие были тоже эпигонами: Коржавин — эпигonom Некрасова или поэтов «Искры», Вл. Соколов — эпигonom Фета). Из-за постоянной, привычной оглядки на цензуру? Из-за скованности идеологией и этой специфической встроенности в кастовую психологию советского писателя? Просто из-за боязни неприятностей? (На фронте нахлебался достаточно). Из-за алкоголизма?

Страницы, посвящённые «Двум Иванам», поразительны. Тут он сказался весь. Как художник он чувствует высокое достоинство этой прозы. Но оказывается, что есть нечто поважнее — чувство. Книге якобы не хватает любви. На самом деле то, что он именует чувством, есть не что иное, как идеология. Этот человек остался в плену государственной идеологии, хотя и не сознаёт этого (или старается утаить это от самого себя). Он прекрасно понимает, что с этим режимом что-то глубоко не в порядке. Но с ним надо мириться, альтернативы — для Самойлова, для всей писательской касты — нет. С режимом надо мириться хотя бы потому, что надо печататься. Замечательное высказывание: «Почему мы должны ждать лучшего отношения от власти, к которой сами не сделали навстречу ни одного шага?» Это похоже на то, как Савельич уговаривал Петрушу Гринёва: «Поцелуй у злодея ручку».

И вот происходит бегство в государственный патриотизм. Отечественная история — священна. (Солженицын укорял Тарковского — «Андрей Рублёв» — почти в тех же выражениях: клевета на русскую историю. Сцена с выкалыванием глаз мастерам и мальчику-ученику — злостный поклёп: на Руси так не бывало, только на Западе. Как будто в Повести временных лет нет рассказа об ослеплении князя Василька.)

Находится способ и невинность соблудности, и капитал приобрести. Он делает вид, что не сознаёт, что идёт по стопам всё той же идеологии, которая давно отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию «любви к Родине», иначе говоря, идеологию имперского самолюбования. Дальше — больше: человек по фамилии Кауфман находит возможным упрекнуть своего товарища в «инородчестве», произносится это замечательное словечко. «Инородческое отношение к истории». А иногда кажется, что человек уговаривает сам себя, — это когда он с ненавистью говорит об эмиграции.

Я как-то завяз на этой главе «История одной влюблённости» (хорошее название), между тем как в книге есть множество других интересных мест, и как жаль, что я не могу поговорить с тобой на все эти те-

мы; кое с чем можно было бы и поспорить. Мне понравилось построение книги, — нелёгкая задача, — и очень понравились рисунки Гали. А на портрете у тебя вид старого всезнающего иудея, какого-нибудь из твоих предков. (Известен ли тебе рисунок, не помню чей: Фет за письменным столом, — где он удивительно похож на старого еврея?)

Я тоже в разное время делал для себя разные записи. Мои юношеские бумаги, дневник, который я вёл подростком, литературная переписка с дядей во время войны и проч. — погибли, когда я был арестован; другие вещи пропали, когда пришлось уезжать. Но и здесь я делал время от времени заметки в связи с разными литературными занятиями или поездками, или просто так, а также наворотил за эти годы огромный ворох писем. Никогда прежде я не писал столько писем. Да и вообще мы живём в неэпистолярное время. Так что всё это, по-видимому, тоже пропадёт. Кто знает, может быть, кое-что, отобрав, стоило бы издать. Но невозможно.

Крепко жму твою руку, прекрасная книга, спасибо.

Мюнхен, 30 января 1999

Вчера вечером, дорогой Марк, мы вернулись из Венеции, в этот раз город, залитый солнцем, с мраморными палаццо и сверкающими водами, казался совсем другим. У меня грипп. Я заболел накануне отъезда, ночью меня развезло, но сейчас, как видишь, я снова сижу перед этим агрегатом.

По приезде я нашёл в ящике твоё письмецо от 19.I, «Способ существования» я получил, надеюсь, что и письмо моё, где я писал об этой книге, до тебя дошло. Книжка вызвала много мыслей, и я накатал странное послание.

Обычно Гриша присылает мне все свои *Neuerscheinungen*¹, но на этот раз что-то ничего нет. Правда, я получил от него весточку недели три или четыре тому назад. Я всегда всё читаю, что выходит из-под его пера. Слово «перо» в данном случае нужно понимать буквально, так как Гриша никогда не пользовался пишущей машинкой, о компьютере и говорить нечего. Не способствовало ли это тому, что он стал писателем, для которого однажды сформированная система убеждений, представлений, однажды найденный набор литературных образов, священных имён и т.п. остались непоколебимы навсегда. Чем и объясняется то, о чём ты упомянул: он охотно повторяется. В этом сказывается привычка педагога.

¹ Новинки (нем.)

За эти годы (мы переписываемся с 1982 г.) произошло то, что я, не без некоторой *Überheblichkeit*¹, склонен считать известным окостенением с его стороны, в то время как сам я ушёл сильно в сторону. Впрочем, ещё в Москве у меня было впечатление, что его поход против позитивизма (он называл его евклидовским мышлением — тогдашняя его излюбленная тема) изрядно запоздал. И теперь мне то и дело кажется, что я слышу устарелые интонации, старомодные суждения, воспроизводящие то, что давным давно уже сказано. Например, это сказалось в нашей небольшой дискуссии об иронии. Мне бы следовало, вместо того, чтобы препираться, напомнить ему слова Бенямина о том, что ирония — «самое европейское из всех достижений человечества». Поразительно, однако, что Гриша сохранил в полной мере духовную и физическую активность. Итак, если придётся тебе его увидеть, скажи ему, что я жду его новую книгу [...]

Мои дела... что о них сказать? Я сочинял последнее время какую-то лабуду [...] ПЕН-клуб снова отвалил мне премию, за роман «*Vögel über Moskau*». Но самое удивительное то, что, как меня известили, журнал «Октябрь» наградил твоего слугу годовой премией за «Далёкое зрелище»! Премия мизерная — 2 тыс. рублей, но моему брату пригодится. И всё же — и всё же ты прав: «нам не дано предугадать» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.3.99, Москва

Дорогой Гена,

без малого два месяца назад, 19 января, я написал тебе большое письмо — до сих пор никакого ответа. Последнее полученное от тебя письмо датировано 11 января. Надеюсь, это не более чем обычное наше почтовое безобразия, ничего с тобой не случилось; пропавшее — твое или мое — послание сохранилось в компьютере и может быть повторено. У меня накопилось уже несколько таких неполученных ответов; иногда выясняется, впрочем, что у кого-то попросту не дошли руки. Но ты ведь человек в этом смысле обязательный.

Как ни странно, за эти два месяца у меня не произошло ничего достойного упоминания. Все время работал — без существенного результата. Чтобы вовсе не чувствовать себя бездельником, время от времени возвращаюсь к стенографическим дневниковым записям. Вчера вводил в компьютер лето 89-го — маячит впереди поездка в

¹ Заносчивость, высокомерие (нем.)

Линдау, мерещатся рассказы из цикла «Голоса» (которые там буду кропать), приобретают очертания некоторые эссеистические тексты (которые потом войдут в книгу, а в Линдау я тебе кое-что уже показывал и даже оставил для публикации). Ну, и полузабытые уже с тех пор политические страсти. А осенью предстоит встреча с тобой, я до этого места еще не дошел.

Что, кстати, слышно о Плаасах? Ведь это было десять лет назад, старику уже тогда было за 80.

У нас сейчас за окном метель, белый снег, но уже на днях обещают оттепель и быстрое наступление весны. Я за последние четыре дня набегал на лыжах в лесу 60 км. — очень уж не хотелось упускать напоследок прекрасную солнечную погоду; всюду были следы зайцев. Но сегодня почувствовал, что, пожалуй, хватит, надо передохнуть.

Завтра день рождения у Гриши, собираюсь поздравить. Я тебе о нем писал в прошлом письме. Хотелось бы все-таки убедиться, что с тобой ничего не случилось. Может, даже позвонишь? У нас с позавчерашнего дня увеличили тариф на международные разговоры в 3(!) раза — соответственно падению курса рубля. Но ведь рублевые заработки и гонорары остались прежними. Сейчас поеду получать гонорар за переиздание своего перевода С.Цвейга («Триумф и трагедия Эразма Роттердамского»). Называть сумму смешно, на эти деньги можно прожить неделю-другую. Но все-таки, считай, подарок, да еще за Кафку должен получить, за Канетти: по копейкам кое-что собирается. Живу я, конечно, не на это.

С нетерпением жду от тебя вестей. А пока всего тебе самого доброго

Твой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 23.03.1999

Дорогой Марк, после твоего последнего письма от 19 янв. и долгого перерыва, я получил сегодня письмо, отправленное совсем недавно — 12 марта, из которого следует, что два моих послания, от 11 января и 30 января, до тебя не дошли. Между тем я даже перечитывал, под впечатлением от твоей книги, Давида Самойлова. Посылаю на всякий случай копии, доберутся ли они?

У меня была скверная полоса, я хворал то тем, то другим и в конце концов отправился на три недели в Kurklinik (род санатория) в городок Гризбах, километрах в шестидесяти от Пассау, в Нижней Бава-

рии, прекрасно организованное учреждение, где подвергался разным процедурам; теперь чувствую себя хорошо, но, к несчастью, у меня обнаружили глаукому.

Что было за это время? Карл-Гейнц Плаас (ты спрашиваешь о них) скончался; об этом я узнал из газетной вырезки, которую прислал мне один приятель, живущий неподалёку, а как поживает Эдит, не знаю. Я послал ей письмо. Прелестные были старики.

Из-за болезней я мало писал, но зато получил от «Октября» извещение, что меня удостоили годовой премией журнала за «Далёкое зрелище лесов». Её получил мой брат. Недавно мне принесли рецензию на этот роман, напечатанную в «Новом Мире», довольно недружелюбную. В России я не избалован откликами и прочёл её с большим интересом. Ещё один отзыв, на роман и на рассказы, поместило «Знамя». Там говорится, что общий знаменатель моего творчества — старость. Всё это прекрасно или печально, но все кругом говорят, что литературные журналы всё равно никто не читает.

В данный момент я тружусь над рассказом о вампирах и графе Дракуле. Кажется, кое-что на свободные темы появилось в журнале «Искусство кино». «Дневник сочинителя» напечатан (в том же «Октябре»), а статью о советской литературе, которую я начертал в порыве некоторого не вполне добронравного вдохновения, журнал «Знамя» в лице члена редколлегии К.Степаняна отверг. Вчера я увидел в этом же журнале статью Степаняна о Пушкине и Достоевском, о прияввших мученическую смерть отроках Димитрии и Алексее и других подобных предметах и нашёл там следующую заключительную фразу: «Не моим грешным пером касаться того, что неизбежно возникает в сердце каждого причастного судьбе России: даровано ли нам будет обрести и подобающим образом упокоить останки царевича Алексея, и если да, каким путём пойдёт тогда Россия». Как ты думаешь, каким?

Умер Иегуди Менухин; вспомнил ли о нём кто-нибудь в нашем отечестве?

Известен ли тебе писатель Пётр Алешковский (племянник Юза), только что побывавший здесь?

Марк, дорогой, пиши мне почаще. Гале привет.

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.4.99, Москва

Дорогой Гена,

как ни печально — похоже, что твое письмо опять не дошло. Второе подряд — такого еще не бывало. (Югославское безумие, что ли,

вмешалось?) И тяготит мысль, что не доходят еще какие-то письма, в том числе деловые. Я на некоторые просто давно не получаю ответа. Последнее дошедшее твое письмо было от 11.1. — ты там писал о Самойлове.

Между тем я купил своей младшей дочке новый, более совершенный компьютер. Он включает в себя факс-модем, т.е. теперь можно мне отправлять послания прямо с компьютера по тому же моему телефонному номеру. Я еще не совсем понял, как им пользоваться, дочка моя не вылезает из Internet. Чтобы освободился факс, надо, наверно, мне предварительно — коротко — позвонить. Или держать факс подключенным, когда дочки нет дома. Приспособлюсь. А твой факс по тому же твоему телефонному номеру? Для деловых надобностей это, конечно, бесценно, но обычную переписку в таких скоростных темпах я пока не очень-то представляю. Надо, чтобы проходило все-таки некоторое время, накапливались впечатления и мысли.

А у меня ни того, ни другого даже за такой срок не накопилось. То есть, они, наверно, были, но сейчас, в такой неуютно-неопределенной ситуации, не могу ничего толкового вспомнить, ни на чем сосредоточиться. Будем надеяться, что почта все-таки наладится.

Вчера я по телевизору смотрел, как открывали у вас в Берлине обновленное здание рейхстага. Никак не могу заставить себя полюбить эту архитектуру, вообще Берлин.

У нас уже по-летнему тепло, начало зеленеть. Мы с Галей принесли из леса и посадили под окнами и под лоджией несколько разных кустов, сейчас я на них посматриваю взглядом сельского хозяина: прижились ли? И понемногу работаю на лоджии за столом (за компьютером сейчас не надо). Мне за последние дни подарили целую стопку книг: С.И.Липкин, И.Лиснянская, О.Чухонцев и др., подоспело еще несколько неподаренных, читал с удовольствием и не без пользы.

Напиши, если тебе не надоела еще эта свистопляска. (И утраченные письма, конечно, вложи.) Может, один раз потратиться даже на заказное?

А пока тебя сердечно обнимаю

Твой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 27 apr.1999

Дорогой Марк, дело, я думаю, не в Югославии, а в том, что письма не доставляются или доставляются с большим опозданием. При ничтожности зарплаты, вдобавок нерегулярной, можно только удивлять-

ся тому, что до сих пор почтальоны всё ещё приносили письма Марку Харитонову. Возможно, этому приходит конец. И заказные письма дела не спасут. Так как ты свои письма опускаешь в почтовый ящик сам, они доходят, и притом довольно быстро. Например, сегодня я получил письмо от 20.IV, трудно поверить, не правда ли? Видимо, это звено (извлечение почты из ящиков) ещё не развалилось.

Всё это, может быть, имеет общую причину. Экономическая жизнь России напоминает игру в шахматы после того, как поставлен мат. Короля съели, а игра продолжается. Ты скажешь: хорошо вам там подшучивать...

А может, в самом деле почту вновь опекает набравшее силу ведомство?

Посылаю тебе копию двух моих предыдущих писем, от 30 янв. и от 23 марта. Прошлый раз я тоже посылал копии.

Модема, соединённого с телефаксом, у меня нет. Есть просто факс, номер 089/9304057 (перед кодом Мюнхена вместо нуля нужно набрать код страны). Есть, кроме того, e-mail. Но ты прав: переписываться с помощью экстренных телефонно-электронных средств как-то неуютно.

Неделю тому назад я был на очередной PEN-Tagung, на этот раз в земле Саксония-Ангальт. ПЕН-клуб — организация нищая, да и земля весьма бедная, но компанию опекает фонд Аденауэра, и мы жили в замке посреди леса. Ездили, между прочим, по округу (Kreis), который сохранил название прежнего княжества Anhalt-Zerbst и, очевидно, совпадает с его границами. Отсюда, как ты помнишь, прибыла в Петербург на шестнадцатом году жизни некая София-Фридерике-Аугуста, принцесса Ангальт-Цербстская, чтобы стать через 17 лет матушкой государыней Екатериной Второй. Посетили Виттенберг, город известный, и городишко Цербст, где всё ещё стоит руина — остаток дворца, некогда очень красивого. Собор наполовину разбит, наполовину функционирует, — как червяк, у которого половина тела раздавлена. Хотя прошло уже почти десять лет после воссоединения, восстановить не удаётся: слишком дорого. Город Цербст был сметён в один день, перед самым концом войны, и, кажется, не столько с воздуха, сколько огнём наступающей артиллерии. Город похож на человека, у которого срезано лицо.

Пытаюсь продолжать свой роман, но крайне медленно и с большими перерывами; вдобавок чувство неуверенности, чувство, что делаешь что-то не то, — и хуже, чем когда-либо. Здесь гостит Бен Сарнов. Был вечер Петра Алешковского и вечер писательницы Дины Рубиной. От Гриши снова ничего нет. Переписка ему наскучила.

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.6.99, Москва

Дорогой Гена, да что же это такое? Столь чудовищной почтовой блокады еще, кажется, еще не было. Последний раз я отправил тебе письмо ровно два месяца назад — получил ли ты его? Писем от тебя вообще нет больше трех месяцев. Что делать? Разве что опять сделать компьютерные копии и послать *Einschreiben* — квитанцию по крайней мере можно будет предъявить для выяснения пропажи. Из других стран письма вроде бы доходят — впрочем, обо всех ли мне известно? Надеюсь, во всяком случае, ты здоров, и никаких причин для молчания у тебя нет.

Я на этой неделе завершил небольшую работу, которую назвал «*Amoges novi*». «*Amoges*», как ты знаешь лучше меня, на русский язык непереводимы, в комментариях придумывают что-нибудь описательное: «любовные элегии» или «любовные истории». У меня именно что-то в этом роде, но добавить по-латыни «новые» (чтобы не было простым плагиатом) я вроде бы имел право, как ты думаешь? Я мог бы тебе даже послать распечатку — но как на это решиться, если невозможно полагаться на почту? Надеюсь, это будет все-таки опубликовано в обозримом времени.

Серьезной работы на лето больше не предполагается. Чтобы не чувствовать себя совсем бездельником, буду понемногу вводить в компьютер дневниковую «Стенографию». Сейчас я завершаю 90-й год — интересно, и не раз на этих страницах возникаешь ты. Лето я, видимо, проторчу в Москве. Не собираешься ли ты к нам?

Нет, трудно все-таки писать как бы на пробу, без уверенности, что дойдет. Надеюсь, нормальная связь, наконец, восстановится.

(Вот в этот момент, засомневавшись, я решил просто позвонить тебе — и выяснил, что мое письмо ты все-таки получил, а твои действительно не доходят. Переписывать все равно не буду, отправлю, как есть. Мысли собрать заново уже трудновато. Очень рад был слышать твой голос).

Всего тебе самого доброго

Твой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 27 июня 1999

Дорогой Марк! Уже не первый раз я узнаю о том, что письма в Москву доходят с большим трудом либо вовсе не доходят. В обратном направ-

лении — другое дело, порой даже со скоростью, которая приближается к срокам доставки почты в XIX веке. Посылаю тебе копию последнего письма от 27 апреля, к которому в свою очередь были приложены копии предыдущих писем. Дошло ли оно наконец? В общем — что говорить... От тебя тоже давно ничего не было. Я думал, что вы с Галей укатили на лето куда-нибудь в тёплые края. Недавно видел твою коротенькую реплику в так называемом нулевом номере «Знамени». Там же — выступления других авторов, которые охотно и многословно рассказывают о том, когда и что они опубликовали. «У меня вышла книга...». «В деревне мне особенно хорошо работается». Какие-то архаические обороты речи. Поразительная, наивная уверенность в том, что читатели ждут их новых произведений, что такие читатели вообще существуют. А с другой стороны, о чём же ещё говорить, как не о написанном и напечатанном.

Последние дни я занимался скучной работой: писал доклад на тему «Nationalistische und revolutionäre Versuchung» для выступления в одном университете. Обычно я ничего такого не пишу, вообще чаще всего это бывают чтения, а не «доклады»; но тут надо было представить готовый текст; с удовольствием бы от этого дела увернулся. Написал, между прочим, рассказец на увлекательную тему: о графе Дракуле. Но в общем и целом моя муза, как я тебе уже писал, кричит и ленится. Как всегда, я слушаю прекрасную музыку. Вчера поздно вечером вышел на балкон, который, если ты помнишь, окружает наше жилище, — в темноте, в густой зелени шелестит дождь, жизнь уходит, и я спрашиваю себя в который раз: чем я собственно занимаюсь?

Наш внук в Чикаго понемногу растёт, на-днях мы покупали для него новую порцию книжек с картинками, среди них — «Бременские музыканты», переложённые кем-то в стихи. Эти музыканты, один на другом, стоят в Бремене перед собором, а в другом месте, в старинном районе города, есть мемориальная доска, где написано, что здесь были найдены кости того самого осла, который и т. д., и что тем самым окончательно доказано, что Бременские музыканты — не выдумка братьев Гримм. Между тем, если ты помнишь, осёл и вся компания, прогнав разбойников, поселились в их доме и до славного города Бремена так и не дошли.

Кстати, на почтовой марке — *Bremische Bürgerschaft*, аналог земельного парламента (Бремен, как ты помнишь, — город-земля).

Лето уже почти дошло до середины, осенью мы с Лорой нацелились, если не произойдёт ничего плохого, полететь на остров Майорку, а там надвигается и очередная ежегодная *Buchmesse* во Франкфурте. Не будет ли у тебя возможности, по приглашению какого-нибудь издателя или как-нибудь иначе, приехать на ярмарку? Чем ты сейчас занят? Видишься ли с Гришей? Крепко обнимаю тебя и Галю.

Дорогой Марк,

речь, конечно, идёт не о «блокаде», если только не подразумевать под этим словом очень плохую работу почты, хотя, может быть, по старой памяти, в письма кто-то и заглядывает, — но что там можно найти? Твоё письмо от 20.VI дошло быстро — за две недели. Моё, написанное 27-го, куда я вложил копию предыдущего, конечно, ещё в пути, т. е. лежит где-то там — на Международном почтамте или в вашем почтовом отделении. Доберётся ли до тебя? Но мы с тобой принадлежим к поколению, для которого самый факт существования почты, не правда ли, удивителен.

Amores novi — хорошее название, и, конечно, сразу вспоминаешь папашу Овидия. Когда-то в незапамятные времена, на классическом отделении мы читали знаменитую автобиографическую элегию (из четвёртой книги Tristia), где поэт в первой же строчке называет себя teneorum lusor amorum, «певец любовных походов», но, возможно, имеет в виду не свою поэзию вообще, а конкретно Amores, то есть три книги «Любовных элегий». Но ты не пишешь, что это за вещь, которую ты закончил: цикл рассказов? И где это должно появиться?

Я слышу о том, что в Москве сильная жара. У нас здесь вчера доходило до 35 градусов, но, слава Богу, сегодня посвежело. Пасмурно, накрапывает дождик, из-за густой зелени в комнате совсем темно, и я сижу с зажжённой лампой. Некоторое время я занимался своим романом, похожим на куклу, которая ходит на веревочках: чуть отпустишь, и руки падают, ножки подгибаются. Кроме того, я стал доделывать один рассказик, в котором действие происходит в современной Румынии, точнее, в трансильванских горах, в замке графа Дракулы. У меня собралось довольно много рассказов разного калибра и на разные темы, я бы даже не прочь издать книжку в России, но кто это будет печатать? Я не очень-то русский писатель, Гриша был прав.

Был, как всегда в это время, кинофестиваль. Мюнхенский фестиваль не принадлежит к числу знаменитых, но в этом году ему постарались сделать рекламу. Мы с Лорой видели фильм Месхиева под названием «Американка» и две документальные ленты. Одна о Толстом, другая, в двух частях, о Солженицыне. Режиссёр Сокуров гуляет с писателем по его прекрасному лесопарку, задаёт глубокомысленные вопросы и выслушивает длинные ответы; беседует с женой писателя и благоговейно разглядывает рабочие кабинеты, зимний и летний. Весь фильм снят как бы на коленях и сопровождается ханжеским и слащавым текстом. Вообще герой фильма существенно выиграл бы, если бы фильм был немым. Приехать с таким товаром на Запад было ошибкой.

У меня впечатление, что этот стиль — стиль славословий, банальных сентенций, невыносимой риторики и показного благочестия, весь этот до ужаса провинциальный кич, — не вызывает в России особого протеста. Или я ошибаюсь?

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.7.99, Москва

Дорогой Гена, наконец-то! Наконец-то прорвалось твое письмо от 27 июня (с вложенным апрельским письмом). Воскликнуть бы «ура!» — но как долго шло! И не повторится ли снова? Я тебе последний раз писал 20.6., ровно месяц назад — надеюсь, это письмо ты успел получить. (Письма, вложенные, как ты пишешь, в апрельское, до меня, увы, так и не дошли.)

Я, как ты знаешь, сижу в Москве. Мою 84-летнюю маму уже нельзя оставлять одну, мы чередуемся с братом; впрочем, сидит с ней в основном Галя. Иногда ездим к средней дочери и внуку на дачу в Купавну, купаемся в красивом озере. Полтора месяца продолжалась какая-то аномальная жара, горели торфяники, пожары вообще полыхали на громадной территории, включая Дальний Восток. Но я жарой наслаждался, гулял по лесу, работал в одних плавках на лоджии, с неохотой — поневоле — усаживаясь иногда за компьютер.

В прошлый раз я тебе писал, что закончил небольшой цикл «Amores novi». Его уже взяли в «Знамя». Идея текста была навеяна прекрасным циклом эротической графики, который сделала когда-то Галя и который тоже назывался «Amores». Возникла мысль сделать небольшую книжку, где главным должна быть именно графика, тексты с ней прямо не связаны. В журнале, да и в обычном издательстве воспроизвести графику, разумеется, невозможно; не исключено, однако, что удастся сделать изысканное издание небольшим тиражом за свой счет. Посмотрим.

Во Франции, как я тебе писал, выходят «Голоса» и «Сторож» (осенью мы с Галей надеемся поехать в Париж, потом в Коньяк). Переводчица звонила мне выяснять некоторые вопросы. Меня всегда беспокоит, насколько может быть понятна недавняя наша жизнь людям совсем другой, что ни говори, цивилизации. Там на очереди «Возвращение ниоткуда», совсем уже сложная вещь — и мне захотелось прокомментировать для французского издания некоторые реалии: так возникло «Послесловие на развалинах». Отправив его во Францию, я подумал, что оно может быть интересно и нашему новому читателю —

цивилизация ведь на самом деле изменилась за короткий срок больше, чем замечаем мы сами; моей младшей дочери надо уже кое-что объяснять. Я показал и это «Послесловие» в «Знамени» — они тут же взяли и его. (Думал распечатать его для тебя, но 6 убористых компьютерных страниц вместе с письмом в простой конверт не поместятся — дождемся публикации.)

И вот незаметно я втянулся еще в одну новую работу, о которой пока остерегусь говорить. Без работы нам как-то неуютно, да? Ты это не хуже меня знаешь. Начиналась она, как простенькое эссе — но видимая простота, легкость, с какой это возможно показалось написать, меня почему-то смутила. Время ли, возраст ли вообще невольно склоняет к эссеистике, ее и писать, и читать проще. Сам с интересом читаю, скажем, размышления или воспоминания композитора — но сознаю ведь при этом, что интересен он для меня прежде всего музыкой, которая подразумевается за всеми размышлениями; а музыка — все-таки что-то другое. Словом, замысел невольно, сам собой стал усложняться — оставаясь при этом эссеистическим. Более нормальной, «естественной» эссеистикой я вправе считать, наверно, дневниковую стенографию, которую продолжаю вводить в компьютер (сегодня вводил июль 91-го года, скоро августовские события).

Ты спрашиваешь о Грише. Последний раз я, помнится, звонил ему в марте, поздравлял с днем рождения. Девятый десяток! Он работает, держится, в мае, кажется, ездил в Норвегию. Я ему еще в прошлом году подарил свои книги, подозреваю, что они до сих пор остались не прочитанными; сам он не звонит. Это можно понять. Когда-то и он, и Зина были едва ли не самыми заинтересованными моими читателями; умней Гриши никто обо мне, пожалуй, не писал. Но время, думаю, удалило от меня обоих. (Как и многих других, впрочем. Да прежних почти и не осталось: иных уж нет, а те далече.)

В последней книге, которую Гриша мне подарил, есть один характерный пассаж: «То духовное парение, которое есть в «Троице» и «Спасе», никому в последнее время не давалось. Даже Пушкину и Достоевскому — только мгновениями. Самые светлые гении русской литературы живут ниже рублевского круга и лишь иногда прикасаются к нему. Стержень отрешенности ими утрачен, страсти ведут к помрачению, к опустошенности»... И в непрямом, но очевидном сопоставлении звучат цитируемые по всей книге там и тут стихи Зинаиды Александровны Миркиной. Вот у кого несомненное духовное парение, «стержень отрешенности» — и никакого помрачения страстями.

Но ведь так оно и есть на самом деле, я не иронизирую. Она действительно больше других знает об отрешенности и парении. Оговор-

ка для меня в том, что поэт все-таки Пушкин, куда более далекий от святости, со всеми его земными страстями. Искусство все-таки не иконопись и не духовное песнопение. Хотя иконы и псалмы могут быть великим искусством. А могут и не быть. И я, увы, остаюсь не больше чем в «кругу» литературы. А они с Зиной, возможно, вознеслись уже куда-то выше, в мир «бесстрастного духа», им вряд ли до меня. И дай-то им Бог еще долгих лет! [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 4 авг.1999

Марк, дорогой, здравствуй! Вчера пришло от тебя письмо (от 27 июля), из которого следует, что моё июньское послание до тебя всё-таки добралось. Я пишу тебе регулярно. Вместе с этим письмом посылаю тебе, как и прежде, на всякий случай предыдущее, июльское. Вы собираетесь ехать во Францию, когда именно? Может быть, представится возможность завернуть к нам? Кажется, я писал тебе, что в конце сентября — начале октября мы собираемся в отпуск. До середины октября во Франкфурте будет книжная ярмарка, но похоже, что я туда не поеду. Я побывал недавно в городке Эйхштетт недалеко от нас, делал там доклад в Католическом университете; а в остальном — всё по-старому.

Мой полшуточный роман «Далёкое зрелище лесов» будет предложен, как обычно, издательству DVA, только как они к нему отнесутся — неизвестно. До сих пор они мне мирволили, но это было скорее то, что называется succès d'estime, дань уважения, так сказать. Хотя на мои публикации всегда бывает довольно много откликов, русская литература (современная) большим вниманием не пользуется и, разумеется, не приносит дохода. На этих днях я получил сообщение из «Октября»: собираются вставить в 10-й номер «Понедельник роз». Некое небольшое недоразумение, так как это сочинение, написанное уже довольно-таки давно, собственно говоря, для печати не предназначалось. Бен Сарнов, который попросил его у меня, отдал его в редакцию. Я не возражаю, но не исключено, что они его сократят, а это, пожалуй, хуже, чем вовсе не печатать. Я написал этюд об Отто Вейнингере и доделал — лучше сказать, доконал — графа Дракулу. Кроме того, мы затеяли с Джоном Глэдом (вероятно, ты его знаешь) совместную книжку на основе электронной корреспонденции. Сообщение через океан занимает несколько минут. Можно было бы таким образом переписываться и с Россией, но все предупреждают меня об опасности компьютерных вирусов, да и сама

аппаратура в нашем отечестве, кажется, плохо для этого приспособлена. Происходит одно и то же, seinesgleichen geschieht, по слову Музиля: Россия шагает семимильными шагами, всякий раз норовя перешагнуть через то, что не сделано. Но получится ли что-нибудь из нашей затеи, тоже неизвестно; нужен спонсор и пр.

Ты упомянул о том, что снабдил французское издание «Возвращения из ниоткуда» специальным «Послесловием на развалинах». О «Возвращении» я тебе когда-то писал, это очень интересная вещь (российской критике, как мне кажется, такая проза не по зубам). Мне хотелось бы почитать и Послесловие. Не можешь ли ты прислать мне ксерокопию (или передать, если это небольшая вещь, по телефаксу)?

Время от времени я возвращаюсь к своему роману, который, вопреки всему, достиг всё же такой стадии, когда вещь начинает предъявлять автору собственные требования и претензии. Говоря коротко, это произведение больше, чем мои прежние опусы, сопротивляется правилам композиции, единого связного повествования с началом и концом, вообще сколько-нибудь ощутимой фабулы. Ближе, чем прежде, я стою перед опасностью хаоса. Мои надежды создать синтетический роман — произведение, которое подвело бы итог веку, а заодно и моей собственной жизни, — рассыпались в прах. Я умею создать фразу, абзац, самое большое — главу. Подняться на следующий уровень мне не удаётся, то, что я написал, — нагромождение обломков [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.9.99, Москва

[...] Ты предусмотрительно приложил к письму от 31.8. еще и предыдущее послание, оно до меня действительно не дошло. 31 августа, между прочим, был мой день рождения. Когда-то по этому поводу ко мне собиралось до сорока человек. Вдруг оказалось, что в Москве почти никого нет. Юлик Ким уже год как в Израиле, в мае там умерла от рака его жена, сам он долечивается. Кома Иванов не приехал этим летом, как обычно, из Америки, его жена там тоже перенесла операцию. Ну, и так далее. Моя младшая дочь, только что вышедшая замуж, отправилась в свадебное путешествие на Волгу, там они в каком-то симпатичном заведении близ марийского города Космодемьянска катались на лошадях, на водных лыжах и парашлане. Со старшими детьми мы выпивали накануне. Позвонил мой товарищ Алик Городницкий, извиняясь, что сможет прийти ко мне только после своего концерта. И я вдруг сказал: а давай мы придем к тебе на концерт, там и посидим.

Выступление у него состоялось в одном из новых для Москвы погребков, так называемом бард-кафе на Большой Никитской. Все столики в довольно большом помещении были заняты людьми более или менее молодыми, заявки туда надо подавать предварительно, а входной билет между тем стоит сто рублей. Я прежде лишь понаслышке знал о существовании таких разнообразных, как сказали бы у вас, Lokal, по интересам: где-то собираются джазмены, где-то молодые художники и т.д. Мы сидели в отдельном зале, нас обслуживал сам хозяин, Алика смотрели по телевизору, потом он присоединился к нам. Ты его, думаю, знаешь, он не только знаменитый бард, поэт, автор многих известных песен, но еще и крупный океанолог, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии естественных наук. Как расценить выступление такого седого уже человека в кафе? Для заработка, конечно. В академическом институте денег сейчас практически не платят. Но он в этом жанре действительно знаменит, у него выходят диски, книги, он лауреат премии им. Окуджавы, в Тольятти ему подарили автомобиль, он гастролировал и в Германии (там ему, кстати, в прошлом году сделали операцию). И я видел, каким он пользуется почтением, его хотят слушать.

К чему я все это говорю? Я все пытаюсь понять перемены, происходящие в культуре, в том числе и в нашей с тобой литературной Zunft¹. Ведь мы, как я иногда замечаю, еще по инерции продолжаем жить как бы воспоминаниями времен, когда литература считалась профессией престижной и денежной, когда книги могли издаваться громадными тиражами и раскупались с жадностью — пробившемуся в этот разряд не обязательно было зарабатывать себе на хлеб чем-то другим. И вот теперь мы обиженно замечаем, что раскупают нас не особенно, предпочитают какую-то массовую литературу — ну, и т.д. и т.п.. У нас эти частные перемены наложились еще и на другие, более основательные, но самоощущение так называемого литератора во всем мире подвергается подобным испытаниям давно, не правда ли, и как мне кажется, чем дальше, тем больше. В культуре вообще происходят какие-то убыстряющиеся перемены, я их пытаюсь понять. Чего они требуют от нас? Что значит не отставать от времени (и чтобы худо-бедно было на что жить, чтобы тебя все-таки читали), оставаясь при этом самим собой? В каком направлении идет развитие, что нам сулит будущее?

Приходится постоянно перепроверять себя, прислушиваясь к какому-то камертону. Время, конечно, волей-неволей налагает на нас

¹ Цех (нем.)

свой отпечаток, мы не всегда отдаем себе в этом отчет. В «Послесловии на развалинах», о котором я тебе писал (его обещают напечатать в N 11 «Знамени», и ты его прочтешь), я заметил, как различаются работы, написанные одним и тем же автором в разные годы. (Плохо, если бы не различались — он превратился бы в окаменелость.)

Во Франции скоро выходят мои «Голоса» и «Сторож». Позавчера мне позвонила с вопросами моя переводчица, я с понятной тревогой спросил ее, могут ли сейчас показаться интересными эти довольно давние уже вещи. Она сказала: «К сожалению — возможно, вас это огорчит — последние события могут усилить интерес к этим работам». В «Стороже», если ты помнишь, маленький городок потрясают непонятные взрывы, все ждут следующего [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 5 окт.1999

Я надеюсь, дорогой Марк, что вы оба благополучно вернулись из Турции. Сегодня утром (я обычно слушаю по утрам последние известия) немецкое радио сообщило о новом землетрясении, о том, что туристы в панике выпрыгивали из окон, — правда, я не помню, где именно это произошло. Мы вернулись вчера с Балеарских островов, точнее с Майорки (более правильное название — Мальорка), где тоже провели две недели. К сожалению, отпуск был омрачен тем, что мы оба болели гриппом. Да и в целом я не люблю Юг, южный образ жизни, южный шум, мерзостную музыку, которая преследует тебя повсюду в местах так называемого массового туризма (многие вообще его ненавидят). Хотя всё было очень хорошо организовано, отель с максимальным комфортом, песчаные пляжи и пр. Полёт из Мюнхена меньше двух часов. Остров, самый большой в архипелаге, откуда и название, представляет собой немецкую экономическую колонию, всё германизировано и приспособлено к немецким вкусам.

Александр Городницкий когда-то бывал в редакции «Химия и Жизнь», пел для нас и даже печатался в этом нелитературном журнале. Не так давно, вероятно, около года тому назад, он приезжал в Мюнхен и звонил мне, приглашая на концерт. Городницкий выступал перед русской публикой, соло и вдвоём с каким-то человеком его возраста. Концерт меня, к сожалению, разочаровал: вероятно, я слишком далеко отошёл от этого стиля, содержания и настроения, всё казалось мне безнадежно устарелым. Но народ принял его очень хорошо, и сам певец, кажется, остался доволен.

То, о чём ты пишешь, — место писателя в обществе и т. д., — конечно, и меня занимало уже давно, иногда я писал что-то на эти темы. Правда, я не живу воспоминаниями о временах, когда литература считалась престижной и прибыльной профессией, ведь мы с тобой, не правда ли, никогда к такой литературе не принадлежали. Но что верно, то верно: мне и теперь приходится изредка встречаться с писателями-россиянами, которые всё ещё исполнены сознания необыкновенной важности того, чем они занимаются, для читателей (которых на самом деле нет) и, по-видимому, не отдают себе отчёт в том, насколько всё переменялось за последние полвека, то есть за время становления массового общества в главных странах. Россия идёт, разумеется, по тому же пути. Там хотели построить коммунистическое общество, а на самом деле заложили основы для массового общества, которое теперь и вылезает из своей скорлупы. Ты спрашиваешь, чего эти перемены требуют от нас. Очевидно, одного из двух решений. Либо приспосабливаться, либо сопротивляться. «Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist»¹. Следовать велениям времени, шагать в ногу с эпохой и как там это ещё называется означает перед натиском пошлятины, изящно именуемой массовой культурой. Это значит разделить судьбу большинства писателей. Другой выход — сопротивление гнусному времени, понимание того, что это значит на самом деле, «шагать в ногу», — между тем как смысл писательской работы, смысл литературы и её единственное оправдание как раз и состоят в том, чтобы не «шагать». Иначе вообще не стоит пачкать бумагу. Но за это приходится дорого расплачиваться: у тебя не будет читателей и покупателей [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.10.99, Москва

Дорогой Гена,

из Турции мы улетали 5 октября, не подозревая о случившемся в этот день землетрясения. За два года, что мы в этих местах не были, побережье оказалось почти сплошь застроено (некоторые начатые стройки, впрочем, замерли). Нам все-таки удалось найти совершенно безлюдное место: оплывали скалистый, с красивыми пещерами, мыс, где прохода по берегу не было, и выбирались на плоский камень, где можно забыть о всякой цивилизации. Два года назад тут примерно поровну было немцев и русских, теперь преобладали русские, причем по виду не такие уж «новые», обычные люди вроде нас.

¹ То, что вы называете духом времени, на самом деле дух этих господ (нем.)

Но это уже отдаляющееся воспоминание. Я вернулся к работе, втягиваюсь в нее все больше. Начиналась она с замысла, казалось бы, ясного и простого, на деле все, как обычно, оказывается не так просто.

Одно из интересных впечатлений последнего времени — еще не вышедший на экраны фильм Алексея Германа «Хрусталеv, машину». Ты, наверно, о нем слышал: съемки из-за денежных проблем растянулись на восемь лет, в Каннах фильм провалился. Мне кажется, безумием было его туда посылать: воспринимать его вообще трудно, но и у нас найти отклик он может скорей у немногих людей близкого к нашему поколения. Действие происходит в феврале-марте 1953, связного сюжета нет, вообще осмысленной, поддающейся пересказу истории. Что-то абсурдное, сюрреальное, босховские персонажи, воздух жестокого, бесчеловечного времени, потрясающая достоверность деталей, обстановки, одежды, мимики, языка, движений (и они ведь тогда были другими). Фильм заведомо провальный, по рассказам самого Германа, зрители десятками уходят из кинозалов — можно только восхищаться его смелостью. Правда, у него все-таки уже есть имя, возможно, найдутся желающие и способные прокомментировать, растолковать. Я ощутил тут что-то родственное своему «Возвращению ниоткуда».

Ты пишешь о необходимости сопротивляться времени, требующему «шагать в ногу». Разумеется. Но ты же, помнится, писал, что надо и учитывать, осваивать, разрабатывать постоянно меняющийся язык этого времени — художественный язык, как известно, устареваеt. Быть живым — вообще значит меняться; я в прошлом письме пытался сформулировать, может быть, глупый вопрос: что значит меняться, оставаясь при этом самим собой?

То и дело думал об этом, перечитывая по ходу работы на удивление современного Музиля. Как узнаются у него многие нынешние проблемы, как он восхитительно ироничен! [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 2 ноября 99

[...] Фильм Германа «Хрусталёv, в машину!» мне известен, я смотрел его года полтора тому назад (или, кажется, ещё раньше) на фестивале. Как и в Каннах, он не имел здесь успеха, обстоятельство, само по себе вовсе не говорящее о плохом качестве. Но он показался мне в самом деле какой-то катастрофой талантливого режиссёра, который слишком долго работал над ним, слишком много раз, по-

видимому, кроил и перекраивал; вдобавок впал в ошибку, свойственную скорее начинающим и в кино, и в литературе: захотел в одном произведении сказать всё. Фильм чудовищно перегружен. Утрачено всякое чувство меры. И, конечно, утрачен вкус. Сюжет есть, но он причудлив до неправдоподобия. Персонажи, не исключая протагониста, живописны и мертвы.

Я занимался это время тем, что писал философические ответы на вопросы Дж. Глэда; электронная почта даёт возможность связаться с Вашингтоном за 1–2 минуты. Кажется, я говорил тебе, что мы затеяли книжку, которая получится, если нам дадут грант, либо, что гораздо вероятней, останется ворохом бумаги. Это мысли о литературе — о чём же ещё? — с упором на литературу в эмиграции, но, разумеется, и о «шагании в ногу», о смысле (или бессмыслице) сочинительства. Правда, я уже немного коснулся этих материй в одном тексте, который сейчас, к моему удивлению, напечатан в 10-м номере «Октября», под заголовком «Понедельник роз».

Мы живём в трёх временах, вернее, в трёх разновидностях времени: в нашем собственном, глубоко интимном и по-настоящему единственно важном времени, в большом абстрактном времени, которое называется эпохой или историей, и в конкретном бытовом времени, называемом повседневностью. Для писателя, живущего на чужбине, но пишущего о стране, которую он оставил (что я и делаю, — хотя в последнее время написал несколько небольших вещей, действие которых происходит не в России), это последнее, бытовое, или актуальное, время выпадает — его не существует. Может быть, поэтому мне легче презирать актуальность. Она кажется мне трухой, не успеешь оглянуться — её уже нет. Есть замечательная фраза Петера Вейса: «Помни, что завтра сегодняшний день будет вчерашним» (*Denke daran, daß morgen heute gestern ist*¹).

Разумеется, язык, как всё, устаревает. Это самое яркое выражение скоропортящейся современности. Оставить память людям, которые придут после нас, о нашем времени? Для этого нужно быть слишком высокого мнения об этом времени. Я думаю, что во всяком случае к этому не следует сознательно стремиться; если нам суждено оставить память, это произойдёт само собой. Но я не думаю, что жизнь в своём времени исключает для писателя необходимость противостоять своему времени. Что действительно составляет оригинальность этого времени — это тотальная власть рынка над литературой. Если мы не будем сопротивляться этой власти, литературе крышка — оконча-

¹ Помни о том, что сегодняшний день завтра станет вчерашним (*нем.*)

тельно. Скорей всего так и произойдёт. Либо литература будет отгеснена на обочину, превратится в частное увлечение и утешение любителей. Серьёзная литература для «народа» — вот с чем давно пора попрощаться.

Мю. 12.XI.99

Дорогой Марк, приятная неожиданность: весточка от тебя из Парижа. Очень рад твоим успехам во Франции; что касается «Знамени», то я на-днях видел анонс: твоё имя упомянуто в числе авторов, которых они собираются публиковать до конца года. (Кажется, там говорилось об *Amores novi*) [...]

Журнал «Знамя» я читаю более или менее регулярно, в последнем номере они поместили коллекцию высказываний на тему «Христианство и культура». Ответы можно было предвидеть. Загляни ради любопытства: в некоторых — любопытная смесь наивности и мракобесия.

В «Послесловии...» ты пишешь об абсурде советской жизни. Всё правильно; хотя не думаю, чтобы иностранцу, если только он интересуется Россией (что, само собой, бывает нечасто), всё это было бы так уж непонятно. Тем более, что этот абсурд — не вполне достояние прошлого. Этот абсурд не воспринимается как абсурд, если он встроен в систему обычаев и отношений; тогда его можно по крайней мере понять; больше того, выясняется, что российская действительность без него невозможна; эта страна не была бы тем, чем она была и остаётся, без гротеска и бессмыслицы. Разве не бессмыслица со всех точек зрения (в самом деле поражающая иностранцев) то, что предпринято на Северном Кавказе, вся эта кровавая фантазмагория. Возможно, она-то и будет концом промежуточной эпохи — между советским режимом и ещё чем-то — и положит конец многим иллюзиям.

Вообще в «Предисловии...» есть много интересных мыслей и мест, которые стоило бы обсудить подробно, если бы удалось встретиться. Но перемены последних лет, как бы ни были они велики (это, впрочем, не всегда бесспорно, вблизи многое кажется более крупным, чем на самом деле), — не дело литературы, об этом должна заботиться публицистика. Литература же всегда опаздывает. Во всяком случае ей не подобает спешить.

Я закончил с грехом пополам свой роман, весьма куцый, и дал ему название «Аквариум». Вчера приволок из Stabi (баварской библиотеки) чуть ли не вагон книг и собираюсь заняться старым предметом, когда-то я сделал о нём часовую радиопередачу, — разговором 20

июля, его людьми. Это трагедия большого стиля. Есть ещё кое-какие проекты, но для них нужно время, которого у меня, вообще-то говоря, остаётся не так уж много [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.12.99, Москва

Дорогой Гена,

славно было услышать вчера твой голос. Вернувшись в Москву, я все откладывал письмо тебе, хотелось собраться с мыслями, поднакопить впечатлений. Но, как это бывает, втянулся в дела, а французские воспоминания уходят между тем все дальше в прошлое [...]

Из окна поезда провинциальные французские города показались мне когда-то беднее немецких: обшарпанные старые стены явно нуждались в ремонте. Это было, конечно, обманчивое впечатление: старинные стены здесь предпочитают сохранять именно в первозданном виде; редкие свежоштукатуренные, аккуратные по-немецки дома здесь нарушают стиль и скорей раздражают. Мы жили в доме 16-го века у подножья крепости, массивные дубовые балки поддерживали потолок, на старинном мосту через речку странно было видеть автомобили: естественней смотрелись бы всадники на лошадях. Старые двери и прочие детали интерьера из разрушившихся или снесенных домов реставрируют, продают; профессия реставратора здесь одна из самых ценных. Мы побывали в громадной мастерской у знакомого местного реставратора; сравнительно молодой человек получает заказы со всего мира, реставрирует все: от старинных картин и мебели до поднятых с океанского дна останков «Титаника». Мы видели у него циферблат корабельных часов и только что снятый с него слой донных отложений, отдельные колесики, пружинки — даже дотрагивались до них: в музее, где их положат под стекло, это было бы невозможно. Побывали мы и на квартире, которую реставратор обустраивает в громадном здании (даже не одном — двух или трех) бывшего кожевенного завода. Представить реально жизнь в этих апартаментах, где каждый зал (не комната) размером с прежний заводской цех при всем воображении мне было непросто; в семье всего три человека. Впрочем, жили же герцоги в окрестных шато, в некоторых и сейчас живут их наследники.

Ну, а потом был Коньяк [...] Были великолепные обеды и ужины (о напитках не говорю); но иногда я ловил себя на том, что забываю, как положено, смаковать яства — куда больше увлекали застольные

разговоры. Маркиш¹ должен был вести конференцию вместе с Эткин-дом; увы, в день приезда я узнал, что Эткинду предстоит операция, а уже в Москве услышал, что в день нашего отъезда он умер. Маркиша ты знаешь лучше меня. Он мне очень понравился — человек очаровательного темперамента, крайне категоричный в суждениях. То и дело можно было услышать от него про кого-нибудь: «негодяй», «идиот», «это просто дерьмо». Речь шла, конечно, главным образом, о литераторах и литературе — что может быть интереснее для таких идиотов, как мы? Две недели во Франции побездельничав, (в отличие от Гали), я уже, при всей роскоши этого безделья, начинал немного скучать по оставленной дома работе. Единственное, что хотелось бы продлить — роскошь дружеского общения. (К общению с тобой это тоже относится, имей в виду.)

И вот я уже третью неделю в Москве. Здесь успело смениться несколько времен года. Был дождь, был 16-градусный мороз, был снег, стоял, теперь понемногу сыпет опять. А я с головой втянулся в работу, и когда кажется, что из нее что-то, глядишь, получится, на обстоятельства и настроение грех жаловаться. В другой раз, возможно, тебе что-нибудь напишу на темы нынешних размышлений; пока они расползаются слишком пространно.

Надеюсь, это письмо дойдет до тебя еще в нынешнем тысячелетии. В каковом заранее желаю тебе всяческого благополучия и процветания. Сердечный привет Лоре. Галя к моим пожеланиям присоединяется [...]

2000

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен 7 янв. 2000

На конверте твоей рукой, дорогой Марк, написано «авиа», письмо летело в Мюнхен почти месяц, быстрее было бы дотащить на лошадах. Тем не менее письмо дошло — и вот, на дворе уже новое тысячелетие. Вы совершили прекрасную поездку, завидую вам. Сам я был во Франции (в Париже) несколько раз, ездил в Страсбург, однажды мы снимали домик в Провансе и катались по Югу. И всё же моё знание этой страны скорее книжное. Так или иначе, всё это — дела минувших

¹ Маркиш Симон (Шимон, 1931–2003), филолог, литературовед, переводчик, профессор Женевского университета

дней, passé. Не было ли у тебя по возвращении на родину чувства, что лучше было бы не возвращаться? Что ты сейчас пишешь? Моё предыдущее письмо, ноябрьское, дошло ли?

Несколько недель тому назад я увидел в «Воплях» переведённую тобой переписку Томаса Манна с Кереньи (давно пора было издать эти письма по-русски) и очень хорошо написанное, дельное и содержательное предисловие. Да и Лазарю¹ спасибо, что он всё-таки напечатал этот материал.

Я писал тебе о том, что занимался разговором 20 июля, тема, настолько же интересующая меня, насколько мало занимательная, по-видимому, для публики в России. Всё же я послал этот этюд, довольно большой, в «Октябрь», хотя, разумеется, не вижу больших шансов на публикацию. (Не говоря о том, что, как всегда, неизвестно, дойдёт ли.) Я по-прежнему занимаюсь работой, которую мы затеяли с весны прошлого года с Джоном Глэдом (знаком ли ты с ним?) при помощи e-mail. Это беседы о литературе, преимущественно русской зарубежной, о литературе в эмиграции überhaupt², а также о всякой всячине; можно было бы сделать из этого книжку, если бы нашёлся деньгодатель, но опять-таки трудно представить себе, кого в России могла бы заинтересовать такая книга.

Кроме того, я начал заниматься чем-то вроде романа, в котором мне хочется сломать всю мою прежнюю парадигму, отказаться от манеры, которая стала для меня рутиной, и, в частности, отказаться от так называемого идейного романа, от философических претензий, иронически-историсофской прозы или как там её можно характеризовать. Речь будет идти — если вообще удастся что-то из этого сотворить — о сугубо личных переживаниях, о внутреннем мире или, если угодно, времени человека. Тут мне пришлось очень кстати чтение «Обрётённого времени», последнего тома Пруста; в комментариях я, между прочим, наткнулся на замечательную фразу одного забытого критика, которую можно было бы поставить эпиграфом к моему будущему опусу: «Главный вымысел книги состоит в том, что она якобы вымышлена»[...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.1.2000, Москва

Все-таки еще странно, дорогой Гена, проставлять в начале письма дату с тремя нулями, не правда ли? Новый год мы с Галей поехали

¹ Л.Лазарев — главный редактор журнала «Вопросы литературы»

² Вообще (нем.)

встретить в Малеевку, в так называемый «дом творчества». Два дня почти в полном одиночестве бродили по заснеженному еловому лесу (впервые за эту зиму повалил настоящий снег); под самый Новый год наехали служащие банка, которому принадлежит теперь большая часть акций этого заведения. Народ вполне чужой, что, пожалуй было и к лучшему: не пришлось общаться. Обычная выпивка, танцы, неплохой фейерверк. Отдохнули от домашнего быта. (Дома собирала друзей дочка.)

Никогда не мог обнаружить в себе хоть каких-то трепетных чувств по поводу наступившего (или еще все-таки не наступившего? — есть разные мнения) миллениума. С некоторым недоверием смотрел по телевизору на восторженно вопящих людей. Но неожиданно позаботились все-таки сделать для нас эту дату действительно особой: ушел один президент, намечен другой. Сулит ли это смену эпохи? Некоторые последние впечатления заставляют меня насторожиться — но об этом писать даже не хочется.

А вот в последнем номере «Spiegel» за прошлый год печатают результаты опроса: читаете ли вы книги? 20% ответили, что читают художественную литературу, 52% читают Sachbuecher¹ (засомневался, как точно перевести) и газеты. 24% читают то и другое (думаю, к ним нужно прибавить и первых 20%: кто же не читает газет и поваренных книг?) 4% ответили, что вообще не читают. А на вопрос, будут ли читать в следующем веке, 92% ответили: да, и только 8% — нет. Можно считать результат оптимистичным, не правда ли?

В N12 «Знамени» прочел твою статью о книге Глэда, которого ты упоминаешь в последнем письме (от 11.12). Ты верно замечаешь, что он несколько расширенно трактует понятие эмиграции. Я как-то говорил с одним немецким писателем, который постоянно живет во Франции, спросил его, почему. Он ответил, что терпеть не может Германию, его тошнит от немецких газет и т.п. Не эмигрант же он, в самом деле. Точней иногда говорить об экспатридах, экзильянтах. А вообще можно позавидовать обилию литературы именно об этой категории писателей: нас, здешних, таким вниманием, похоже, не балуют [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 9 февр. 00

Дорогой Марк, я припоминаю, что однажды ездил в Малеевку в гости к моему старому товарищу Боре Володину во времена, когда дом населяли творческие кадры, но и тогда люди, которых я там видел, за-

¹ Зд.: книги по специальности (нем.)

глядывавшие в комнату, писатели или околописатели, были мне совершенно чужды. Все твои письма доходят, в том числе предпоследнее письмо от 8 декабря и последнее от 12 января. Кажется, и моё последнее (январское, по случаю твоей публикации писем Томаса Манна и Кереньи) послание до тебя дошло.

Я ездил на-днях в Штраусберг, тусклый городок под Берлином, где очередная встреча ПЕН состоялась в огромном, сооружённом в хонекеровские времена помещении военной академии. Была устроена экскурсия в Штадлиц, где находилось гетто для бонз в густом лесу за стенами и колючей проволокой, кроме того, нам был продемонстрирован атомный бункер ГДР. Огромное подземное сооружение, жуткое и удручающее зрелище. Зато на обратном пути (я ехал с одним коллегой) завернули в Наумбург, где я был десять назад тому назад, где в соборе вот уже семьсот или восемьсот лет стоят, как живые, 12 каменных фундаторов и среди них — волшебные женщины Реглиндис и Ута с их мужьями, воистину одно из чудес света.

Я занимаюсь, хоть и с перерывами, сочинением, о котором писал тебе прошлый раз; в некотором смысле оно представляет собой перелом и отказ от того, что я писал прежде. Это будет — если удастся добраться до берега — сугобо интимный роман, небольшой, далёкий от всяческих историсофских претензий.

Издательские дела неважные, интерес к русской литературе, похоже, утрачен (да и престиж России, как ты знаешь, упал). Всё же DVA, скрепя сердце, выразила желание заключить со мной договор на «Далёкое зрелище лесов». А то, что я недавно закончил — «Аквариум», — само по себе никуда не годится и лежит, как некий воплощённый упрёк сочинителю. В «Октябре» собирались тиснуть — только когда? — мою статейку под названием «Величие советской литературы», а что касается опуса о Двадцатом июля, то об этом они хранят молчание, — видимо, не понравилось

В начале апреля — не помню, писал ли я об этом, — мы с Лорой собираемся полететь на пятнадцать дней в Новый Свет, причём наш сын намерен показать нам Калифорнию. Надо только постараться, чтобы к этому времени не проснулся снова зверь, называемый радикулитом.

[...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.2.2000, Москва

[...] Мне показалось очень понятным твоё желание «сломать свою прежнюю парадигму» в новом романе, отказаться от рутинной мане-

ры и т.п. Мир меняется ежедневно, все быстрее и быстрее, и надо за ними следить, надо сверять свое самочувствие с происходящим, искать на него постоянный ответ. Мы не можем не меняться — но при этом не можем не оставаться сами собой, вот в чем проблема. Лучше всего сказала Н.Я.Мандельштам: изменяясь, О.М. остается одним, потому что его изменения — это лишь реакция на изменения во внешнем мире, в объекте, открывающие ему новые грани жизни, углубляющие, но не изменяющие основной позиции.

Я долго, помнится, не хотел принимать понятия «постмодерн». Слушал, читал разные толкования — и говорил: это было и раньше. Игра с ценностями разных культур — об этом еще «Игра в бисер». Невозможно сказать ничего нового, остается только пародия — об этом рассуждал еще черт в «Докторе Фаустусе». Вместе с системами, идеологиями рухнула иерархия ценностей? «Предпочитаю не предпочитать», все дозволено? Идеологии и системы рушатся не впервые, но жизнь, смерть существуют все-таки неопровержимо, как и деторождение, как любовь, не сводимая к сексу, как и метафизическое (если угодно, религиозное) мироощущение. А если человек все-таки существо метафизическое (вне этого измерения как объяснить вот эту мою способность мыслить, писать то, что я пишу сейчас?) — тогда прав поэт: «Есть ценностей незыблемая скала».

Ну, и т.п. Но прошло время, и я вынужден признать постмодерн как реальность. Не просто потому, что эти представления целенаправленно, успешно внедрялись. Сопrotивляться им оказалось нельзя, как нельзя сопротивляться экспансии моды. (Мода ведь тоже возникает не сама по себе. Хотя и определяется отчасти появлением новых материалов, технологий, переменами в общественно-культурном пространстве. А как многое уже устарело в литературе!) Реальностью успело стать воцарение электронных масс-медиа, интернета, компьютерных игр — всего, что составляет разрастающуюся основу этой новой культуры.

Но проблема опять та же: как оставаться внутри нее все же самим собой, не утратить основы, формы, не раствориться в искусственных шумах, как растворяется сахар в воде. Отчасти над этим я сейчас размышляю в своей новой работе. Там среди прочего есть пассаж о странной профессии, где процесс работы совпадает с размышлением о жизни. Ну, не я тебе буду об этом рассказывать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8 марта 2000

[...] Отвечаю с некоторым запозданием, так как должен был срочно доделывать книжку, которую мы затеяли с Джоном Глэдом вот уже

почти год тому назад: беседы о литературе и т.п. Вероятно, кое-что в них пересекается с работой, о которой ты упомянул. У нас с тобой часто получается так, что мы движемся параллельными путями.

Теперь всё будет зависеть от того, удастся ли получить грант; конечно, это вилами на воде писано. Занимался я и некой повестью или романом, хотя на роман, кажется, там материала не хватит; сугубо интимное любовно-медитативное сочинение, заведомо обречённое остаться без читателей, по крайней мере в России. Заметил ли ты, что романы о любви — классический жанр, — в сущности, исчезли из русской литературы? Точнее, полностью перекочевали в литературу рынка. Как бы то ни было, и эту работу пришлось временно отложить.

В Америку мы собираемся лететь в начале апреля и пробыть там до 18.IV. Если всё будет благополучно, совершим поездку в Сан-Франциско.

В твоём последнем письме — любопытные мысли на тему о том, можно ли «оставаться самим собой», не отставая от моды. Я думаю, что — нет, нельзя: это вещи несовместимые. Следовать моде можно в одежде, в оформлении книг, выбирая фасон очков или марку автомобиля. В литературе (как, впрочем, везде) мода означает только одно: диктат рынка. Как только писатель становится модным, пиши пропало. Кстати, споры о постмодернизме, как и самый термин, утративший конкретный смысл, а вернее, выродившийся в то, о чём ты пишешь (винегрет из написанного другими), — по-моему уже вышли из моды.

Я бы сказал, что литература не имеет права следовать моде. Во всяком случае, размышляя о литературных и журнальных модах, надо постараться отграничить их от того, что в самом деле определяет литературный процесс, — от течений, направлений, новых импульсов и т. д. Когда новое направление становится модой, это означает, что оно исчерпало себя. мода — это, так сказать, труп новизны.

Строку «Есть ценностей незыблемая скала» любил повторять в своих письмах Гриша (кстати, как он? Довольно давно не имею от него вестей), укоряя меня в том, что я — писатель без ценностей. Без «вертикального измерения». На этом основании он и меня зачислил в постмодернисты. Аксиология — неотъемлемая часть того самого «метафизического мироощущения», о котором ты пишешь. Вопрос не о том, чтобы отказаться начисто от всех ценностей, — эра нигилизма в литературе, как я думаю, осталась позади. И не в том, чтобы предаться эстетической игре с устаревшими ценностями, — это тоже пройденный этап. Вопрос состоит в том, каким образом, не изменяя природе искусства, его абсолютной автономии, остаться на земле, где любовь и смерть, добро и зло определяют человеческое существование, как тысячу лет назад.

Насчёт e-mail. Уверен ли ты, что в твоём компьютере не завёлся вирус? Мы тут весьма напуганы. Хотя вирусы изобретаются не в России, молва утверждает, что риск заразиться больше всего угрожает именно при электронной переписке с Россией.

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.4.2000, Москва

Дорогой Гена,

меня позабавило твое опасение, не заразен ли мой компьютер. Это напомнило мне прочитанный на днях рассказ: двое любовников на время расстались, она уехала в Америку, он сумел выбраться к ней позже. Но когда он кинулся к ней с ласками, она его осадила: сначала проверься у врача, нет ли у тебя СПИДа, у нас этого очень боятся.

Как мы, однако, вас напугали: русская мафия, русские хакеры. Эти русские взломщики компьютерных программ, между прочим, считаются особенно квалифицированными. Впору испытывать патристическую гордость [...]

Я помедлил с ответом, зная, что сейчас ты в Америке. Как раз к твоему возвращению письмо поспеет Виделся ли ты с Юзом? Давно ничего у него не читал, ничего про него не знаю. Старые его вещи у нас продолжают издавать. И совсем ничего не знаю про Фридриха Горенштейна. Ты, я знаю, с ним переписываешься. Как он? Пишет ли? Виделся ли ты в Мюнхене с Фазилом, какое он произвел на тебя впечатление? Я давненько с ним не общался. А вот новый роман Войновича только что напечатан в «Знамени», я прочел в «Лит. газете» первую главу и почувствовал, что дальше читать этого не смогу. Странно, насколько он не ощущает, что нельзя все-таки писать, как сорок лет назад, и тогдашний комизм все менее смешон. Это отчасти на тему последних наших с тобой разговоров. Неверно сводить дело к следованию моде — но время действительно не может многого не менять.

Грише недавно сделали небольшую операцию: удалили на коже пигментное пятно, которое стало злокачественно развиваться. Зина была в тревоге, но кажется, все обошлось. Я звонил ему, поздравляя с днем рождения: все-таки 82 года. Он бодр, деятелен, то и дело собирает вокруг себя небольшую общину слушателей, но от меня удаляется, кажется, все дальше и дальше — в недоступные мне пока выси.

Я, похоже, заканчиваю небольшую (5,5 л.) работу под хорошим производственным названием «Конвейер». Остается только прочесть,

понять, что получилось, и если получилось, подправить, подчистить. А впереди замаячил уже новый замысел (так бывает не всегда), я бью нетерпеливо копытом.

Мы с Галей получили приглашение приехать в августе на три недели в Швейцарию, в Le Chateau de Lavigny, Maison d'ecrivains. Если удастся — будем к тебе поближе.

А ты, небось, уже полон американских впечатлений. Расскажи.
Обнимаю вас с Лорой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 20 апреля 2000

Дорогой Марк, я вернулся вчера из Нового Света и застал твоё письмо (от 4 апр.). На этот раз мы находились не только в Чикаго, но, пробыв там некоторое время, оправившись в Сан-Франциско (больше четырёх часов полёта), провели там три дня, а оттуда на машине поехали за 300 километров в Йосимитский национальный парк, то есть заповедник, с территорией, сопоставимой с федеральной землёй в Германии. Прожили там ещё три дня, созерцали разные чудеса, леса деревьев необыкновенной величины, снежные горы, водопады, вползли на плато, чтобы увидеть семью гигантских секвой, современниц фараонов. Потом вернулись в Сан-Франциско, город необычайной красоты и величия, потом назад в Чикаго. Короткая ночь в самолёте, когда солнце выкатывается из-за чёрной гряды облаков через два-три часа после заката, и снова спокойный Мюнхен, автострада, головная боль после бессонной ночи и возвращения в Восточное полушарие вопреки естественному круговращению Земли и чувство нереальности скобоченного времени.

Ни с Юзом, ни с Джоном Глэдом я, к сожалению, не виделся. Надеялся, что Юз заедет к нам на обратном пути из Москвы (куда он снова собрался), но Gastgeber'ы — слово, для которого трудно подобрать русский эквивалент, — отказались оплатить ему полёт с промежуточной остановкой в Германии. О литературных делах Юза я более или менее осведомлён. Последние годы он мало пишет. Рассказывал мне о романе, в котором главное действующее лицо — слепой человек; но дело как-то не подвигается. Глэд сообщил мне, что в гранте, на который мы рассчитывали, чтобы оплатить перевод и издание нашей переписки, увы, отказано.

Фридрих сделался главным автором выходящего в Берлине русского журнала «Зеркало загадок», название, как я понимаю, заимст-

вованное у Борхеса. Этот журнал выпустил года два тому назад отдельным номером большой памфлет Горенштейна, который лучше было бы не писать. Последний раз, когда я виделся с Фридрихом, он говорил, что собирается громить неонацистов и т.п., от чего я тщетно пытался его отговорить. У него какая-то прискорбная страсть к публицистике, которая ему совершенно не по зубам. Но это по-прежнему самый значительный русский писатель за границей. Последние годы он занимался изучением эпохи Ивана Грозного; не знаю, правда, что из этого получилось.

Я виделся с Фазилем в Мюнхене, он был в гостях у фон Вульфенов в Штокдорфе, где был и я. Мы с ним говорили довольно долго, и с Тоней тоже, потом я их провожал до гостиницы в городе. Фазиль, по моему, в хорошей форме. Его выступление в Баварской академии изящных искусств, куда он был избран, показалось мне не совсем удачным.

С Володей Войновичем мы ехали в одном самолёте в Америку. Он читал нам с Лорой шуточную эротическую поэму. О романе «Монументальная пропаганда» (в «Знамени») я с ним не говорил, хотя успел познакомиться с этой вещью в интернете. Лично для меня она не представляет интереса, но не столько от старомодности письма, сколько в более широком смысле: мы с ним, так сказать, представители разных литературных национальностей. Я предполагаю, что если Володя до сих пор находит заинтересованных и сочувствующих читателей, то это не просто *succès d'estime*, то есть успех из уважения к старым заслугам. Все его вещи обладают неоценимым качеством: они написаны хорошим, чистым, прозрачным языком. Владение русским языком встречается у российских писателей крайне редко, и уж тем более изящество стиля. Большинство пишущих поражено языковой глухотой либо просто некультурно. Вместе с тем проза Войновича не предъявляет к читателю никаких требований. Она общепонятна и общедоступна. Если ещё можно говорить о народной литературе, то это — пример писателя для народа. Но, конечно, ты прав: невозможно освободиться от ощущения, что его последний роман — что-то вроде прошлогоднего снега.

Я не знал, что у Гриши была история с начинающейся меланхолией. По скромности он ничего об этом не писал. Я получил от него недавно письмо, наполовину состоящее из стихов: произведения молодых женщин, которые тянутся к нему и Зине. Сентиментально-поэтическая религиозность, дух, напоминающий околочристианское сектантство, — это, конечно, тоже некий квази-выход из ситуации, сложившейся в России. Все последние годы, мне кажется, эволюция Гриши состояла в том, что он всё дальше уходил от литературы.

Можно ли узнать хотя бы вкратце, о чем «Конвейер»? Я закончил небольшую повесть, о которой писал тебе, но сейчас думаю, что её нужно переделать. В огромном городском парке Сан-Франциско, бродя по волшебному японскому саду, я придумал один фантастический рассказик, но не знаю, сумею ли его написать [...]

1.05.2000

Дорогой Марк! Я писал тебе сразу после возвращения из Соединённых Штатов, и, хотя новостей никаких нет, как-то захотелось снова поговорить. За эти дни весна стремительно превратилась в лето, луга жёлтые от одуванчиков, серо-белые от диких маргариток, брызги крохотных лиловых цветов — забавные названия: Gänsefüßchen, Männertrreu. Уже каштаны увешаны свечами. Как-то, пожалуй, всё слишком рано. Жаль, что я не умею описывать природу, в моих сочинениях, если не ошибаюсь, присутствуют только метеорологические явления: дожди, туманы, закаты. Сегодня Первое мая, в Германии — праздничный день, несколько архаичный, но всё же отмечаемый; а я помню, какой это был весёлый, необыкновенный и волнующий праздник в детстве.

Несколько вечеров подряд, и до отъезда, и после, я снова перелистывал и перечитывал твою эссеистическую книгу, перечитал воспоминания о покойном Дезике Самойлове. То же впечатление, что и год назад. Как-то снова воскрес литературный быт, которого я, впрочем, едва успел коснуться. Поразительны по степени саморазоблачения его письма о «Двух Иванах». Человек, причастный к литературе, попросту отказывается анализировать роман. Всё сожрала идеология, выдаваемая за нравственность. Всё задавил конформизм — притом, что чувство, что всё уже шатается, было очень сильным. Я понял, читая эти письма, почему это поколение, Слуцкого, Винокурова и других, людей очень разных и очень похожих друг на друга, высокоталантливых поэтов, так быстро поглотило забвение. Впрочем, может, когда-нибудь ещё вынырнут.

У меня было намерение написать небольшой этюд о нескольких важных для меня произведениях, например, о трёх, соединив их в некий цикл. (У Андре Жида есть эссе под названием «Десять французских романов, которые...») Я выбрал повесть Чехова «Жена», сравнительно мало известную, которую читал очень давно, удивительным образом в лагере, а теперь перечитал в Чикаго с прежним восхищением; рассказ Хорхе Борхеса «Ульрика», таинственную прелесть которого невозможно передать; и, наконец, «Башню чёрного дерева» Дж.

Фаулза, вещь, которую я сейчас тоже перечитал, через двадцать лет и, к сожалению, по-немецки, так как моё знание английского недостаточно, чтобы наслаждаться прозой, то есть, собственно, это совсем не знание. Правда, и русский перевод, превосходный, но мне сейчас недоступный, насколько мне помнится, не обошёлся без ханжеских редакционных купюр, были опущены некоторые особенно сочные реплики Бресли.

Я читал эту «Башню» в самолёте, немного в Чикаго, вчера закончил; не знаю, отважусь ли я писать о ней, писать этот этюд (который должен был называться «Буквы. Слова. Проза», что-нибудь в этом роде). Но чтение навело меня на унылые мысли.

Вот уже примерно три десятилетия, как я занимаюсь литературой профессионально — конечно, только в том смысле, как я понимаю слово «профессионально»; очевидно, я научился элементам ремесла, технике, научился отличать хорошую фразу от плохой; но чем дальше, тем чаще мне досаждают сознание, что я делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже. Хотя я нахожусь (не только по внешним причинам) далеко в стороне от литературной жизни в России, я всё же более или менее регулярно просматриваю журналы, теперь уже в интернете, кое-что слышу и кое-что читаю. Большая часть прозы, появившейся в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение; я хорошо вижу — и это, ей-богу, не только двойной эффект возраста и географической отдалённости, — что, за весьма немногими исключениями, современные русские писатели, даже даровитые, непрофессиональны (опять это слово), неумелы, глухи к языку, слишком подвержены влияниям и веяниям, от которых завтра не останется следа, слишком порабощены сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. Я уж не говорю о целой поросли жуликов. Как бы то ни было, я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям своё бумагописание. Что же я могу им противопоставить? Благозвучный язык, хороший стиль, строгость, сдержанность, дисциплину, аристократизм. Но всё это не то, что требуется от литературы. Всё это имеет обратную сторону: имя ей — безжизненность и академизм. Лишено свободы и полёта. Я внушаю себе, что писатель должен обладать двойным умением жить в своём материале и дистанцироваться от него, но несчастье заключается в том, что жизнь для меня — это именно материал, только материал. И то, что я считал абсолютно правильным, вдруг оказывается роковым заблуждением.

Мы все приучили себя — и я первый — к сознанию, что общество, в котором мы живём, не нуждается в литературе. Это действительно

так. Оно нуждается в чтиве, в тривиальных подделках под литературу; те же, кто технически обслуживает литературу, то есть печатает и распространяет её, заинтересованы в доходе, который может быть обеспечен только массовостью, и таким образом идут навстречу потребностям массы, — другими словами, воспитывают массу, готовую потреблять продукт, чья пошлость способна конкурировать с пошлостью телевидения, иллюстрированных журналов и т.п. Получается заколдованный круг. Мы, и я первый, внушали себе, что уж мы-то по крайней мере вне этого круга. Но тогда возникает вопрос, кому, для кого нужна литература; этот вопрос перекрывается более общим: имеет ли вообще смысл применительно к искусству спрашивать, «для кого». И я торжественно, по крайней мере для самого себя, объявлял о своём намерении вселиться в оставшуюся без квартирантов башню слоновой кости. Авось найдётся горстка читателей где-нибудь на Северном полюсе, а не найдётся, хрен с ними.

В таком обществе (которое в Европе выкристаллизовалось за последние пятьдесят или сорок лет, и Россия, хоть и не будучи в состоянии догнать её, что бы ни случилось, тащится по тому же пути) — в таком обществе это, действительно, единственно достойный выход для писателя. Означает ли он непременно, роковым и неизбежным образом, разрыв с живой жизнью? That's the question.

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.5.2000, Москва

[...] Тему не востребованности (недовостребованности) настоящей, то есть некоммерческой литературы мы с тобой обсуждали уже не раз. Ощущать себя в башне из слоновой кости — не самое худшее. (Если там есть, конечно, что кушать.) Персонаж моего последнего сочинения предложил термин «элитарное гетто». В этот текст я ввел нечто вроде эссе о Музиле — он ведь ощущал и осмысливал по сути то же самое семьдесят лет назад, и куда острее. В романе есть пассаж о людях, уверяющих «с горькой скромностью», будто они «хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или десять столетий, но все ощущают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперед». Это же он насмешливо — о себе; там много такой самоиронии. Возможно, ты читал, я года полтора назад напечатал в «Литгазете» (№ 1–2, 1999) небольшую заметку о Пушкине, которому не удалось сравняться успехом

с Булгариным. Повторяющаяся история. Хотя в век электронных масс-медиа тема приобретает особое измерение и остроту. Неизвестно, куда забредет цивилизация. Есть надежда, что нынешнее состояние — не ее последний этап.

Кстати, в одной из последних «Литературок» был восторженный отклик Веры Чайковской на твою статью о советских писателях. Меня искренне обрадовало, что люди несколько помоложе нас могут воспринимать это так заинтересованно. Я, признаться, для себя в этой статье ничего существенно нового не нашел: все казалось и так ясно, нечего обсуждать.

Вот в чем нам стоило бы себя упрекнуть — что мы сами друг о друге не пишем. Кто умел и считал нужным это делать — Гриша Померанц. Никто не написал обо мне лучше, чем он. Увы, теперь он пребывает в других эмпиреях. Я, к сожалению, не очень владею критическим инструментарием; разговор о книгах получается иногда скорей эссеистическим, по другому поводу [...]

Пришлось заняться даже самокомментированием — ты читал мое «Послесловие на развалинах» [...]

Ладно, продолжением моего письма можешь считать «Amores novi». А тебе желаю написать все, что хотелось бы [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

6.VI.2000

Дорогой Марк, дорогая Галя! Неожиданный, прекрасный подарок от вас обоих, который я получил только что, замечательная книжка, настоящая современная проза и вдобавок прекрасно оформленная, приятно взять в руки [...]

Повесть (или три отдельных произведения? Маленькая трилогия?) хороша уже тем, что она — о любви. Любовь исчезла из современной русской литературы, полностью перекечевала в тривиальную словесность, где подверглась — как же иначе — чудовищной девальвации. Это что-то говорит об обществе, не правда ли? И поразительное, постоянное скрещение наших мыслей: я как раз вчера закончил переделку одной небольшой повести о том же предмете, примерно такого же объёма.

Насчёт литературы и коммерции — нет, Музиль с его глухим одиночеством, завистью Томасу Манну и этой фразой, что-де пока в литературе царит Верфель, ему, Музилю, в ней нечего делать (цитирую по памяти; что-то в этом роде), — всё это уже прошлое, другая эпоха.

Наша эпоха, хоть и предсказанная, но всё ещё не известная до войны или, пожалуй, до 50-х годов, выкристаллизовалась позже и называется она *массовое общество*. Нечто совершенно новое.

Я тоже не считаю и не чувствую себя литературным критиком. (Лихтенберг сказал: *Die Liebe eines Literaturkritikers zur Literatur gleicht der Kinderliebe von Kidnappern*¹.) Чтобы стать литературным критиком современных мне писателей, тем более — друзей, мне не хватает важного качества: бескорыстия. Или, если угодно, неподкупности. У меня впечатление, что почти вся литературно-критическая продукция в русских журналах (то, что мне попадает) выходит из-под пера приятелей, добрых знакомых и собутыльников. По этой же причине мне трудно, почти невозможно самому выпускать книги в России: нет знакомых издателей [...]

Рассуждать о литературе, философствовать о литературе, отводить душу на разговорах о литературе — вот это другое дело. Это я как-то даже люблю. Но, кажется, я писал тебе о том, что чаемый грант на публикацию книжки, которую мы с Джоном Глэдом составили из наших электронных бесед, накрылся медным тазом. С *Deutsche Verlags-Anstalt (DVA)* я заключил договор на издание «Далёкого зрелища», но это дело нескорое, да я, вероятно, тоже об этом уже писал. Я дочитываю мемуары Берберовой (читал их 20 лет тому назад, теперь они изданы в России), превосходная — и оставляющая горестное впечатление — книга. Я слушаю музыку, три дня назад были с Лорой в опере: «*Ariadne auf Naxos*» Рихарда Штрауса. В августе хотим съездить на Всемирную выставку в Ганновер. Через две недели я собираюсь поехать в Баденвейлер, на сборище под лозунгом «*Rußland im Umbruch*». Юрий Мамлеев, возможно, достоин Пушкинской премии, но писатель он очень плохой. С Титце я всегда был в приятельских, хотя и далековатых отношениях; думаю, что и как писатель я ей не близок. Ну вот, собственно, и все «новости». Как бы это почитать что-нибудь из твоих стенографических записей? [...]

Мюнхен, 2 окт. 2000

Дорогой Марк! Вот уже почти десять дней, незаметно пролетевших, как я дома, и Москва отодвинулась, кажется, ещё дальше, чем была до поездки [...]

¹ Любовь литературного критика к литературе подобна любви к детям у людей, которые крадут детей (*нем.*)

Если не считать встреч с тобою, таких важных для меня, и ещё с несколькими старыми друзьями (до Гриши мне так и не удалось дозвониться, не ведаю, где он), если не считать всего этого, Москва... что от неё осталось? В Москве на этот раз я окончательно почувствовал себя чужим. Конечно, тот город и та страна, в которых я произрос и о которых, хоть и не всегда, пишу до сих пор, остались, но на них наложилась, загородила их другая Россия, чужая и неприветливая. Загородил в известной мере и весь внешний нероссийский мир.

Я почувствовал, что говорю и пишу на другом языке, так что нечего удивляться, что мои писания не встречают почти никакого отклика. Я это особенно почувствовал, когда побывал в «Вагриусе», где хотят издать мою книжку, абсолютно неперспективную, как объяснила мне редакторша. Спрашивается, зачем же её издавать? Но, может быть, это и к лучшему. Встреча с этой редакторшей [...] оставила у меня тяжёлое чувство. Когда я увидел, что она сотворила с моими текстами, я был просто в отчаянии и проклинал себя, что связался; в конце концов это была не моя инициатива. Я отвык от этих нравов и считал само собой разумеющимся уважение к автору. Но главное то, что она не понимала моего языка, моё чувство языка, не понимала строя моей речи — как я, очевидно, не знал и не понимал привычную ей речь. Правда, она согласилась взять свою правку обратно, отказаться от усердной работы с ножницами и т.п., но я уехал, я ничего уже не могу поделывать, и кто знает, что они сделают с моими бедными детищами, с романами и горсткой рассказов, и без того сведённой к минимуму, в моё отсутствие? С ужасом думаю об этой книге, единственное утешение, — если она всё-таки выйдет, — что её не будут читать. Всё равно как если бы она была написана по-китайски.

Мы когда-то думали, что с крушением железного занавеса откроется доступ к «читающей публике». Ничуть не бывало: возможности печатания расширились — но отнюдь не круг читателей.

А пока что я вернулся к прежним занятиям, что мне ещё остаётся. Затеял одно произведение, в котором главное действующее лицо — уличный нищий, и накропал рецензию на три толстенных биографии Томаса Манна, вышедшие здесь в последнее время [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.10.2000, Москва

[...] Через день после твоего отъезда мне позвонили из «Дружбы народов»: пришла верстка «Конвейера». Предложили кое-что сократить, я, как ни странно, все предложения принял; захотелось и самому

сделать некоторые сокращения. Текст появится в ноябрьском номере. Повествование ведется от авторского лица, там есть, между прочим, такой пассаж:

«У одного моего литературного героя тоже остался незавершенный замысел. В отличие от себя, я сделал его, человека пишущего, совсем одиноким. Одна за другой рвутся связи, семейные, житейские, социальные, держаться приходится лишь своим усилием, не надеясь на поддержку и понимание. Разговоры по телефонам, оставшимся в записной книжке, оказываются необязательными, пустыми. Давай встретимся, соглашаешься на прощанье, и заранее знаешь, что никакой встречи не состоится.

Что такое дружеские отношения? — прочел он однажды у философа Мераба Мамардашвили. Их можно описать «как отсутствие человека перед лицом самого себя, поскольку, когда мы общаемся с другом, наша дорога в собственный мир закрыта». Я отчетливо представил себе, как мой герой уперся в эту парадоксальную, требовавшую прояснения мысль. Сам хотел бы в ней разобраться. Мераба об этом уже не расспросишь, а ведь он всегда казался открыт для простого застольного общения и на вопросы отвечал охотно, доброжелательно...

Словом, герою вдруг понадобилось прояснить для себя с пером в руке, что может означать одиночество. Одиночество вынужденное, житейское, несчастное, и одиночество добровольное, может быть трагическое, которого не следует бояться — оно бывает условием вершинных достижений, творческих и человеческих. «Быть солидарным и сотрудничать с другими могут только одинокие люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе», — эту мысль он тоже нашел у Мамардашвили, так на ней и застрял...»

Вот так, первоначально, пока условно была намечена тема, над которой я сейчас и пытаюсь работать. Замысел, как положено, разрабатывается; похоже, это надолго. В разных книгах нахожу самые неожиданные переключки, мысль вообще развивается неожиданно. Время назад в швейцарском посольстве устроили презентацию русской книги von Ilma Rakusa (ты ее, кажется, знаешь). Оказалось, ее диссертация была посвящена теме одиночества в литературе; она составила Lesebuch «Einsamkeit»¹. Я попросил ее прислать, что есть. Может, и ты что-нибудь подскажешь — все способно дать толчок мысли.

Сам я сейчас прохожу эту тему на практике: Галя почти переехала к моей маме, больше за ней некому ухаживать. Перевезти ее к себе мы не можем, пока у нас живут молодожены. Ситуация, впрочем, тебе

¹ Книга для чтения «Одиночество» (нем.)

знакомая. Глазная операция у Галиной мамы в Красноярске оказалась безрезультатной: дело было не просто в катаракте, слишком далеко зашла глаукома.

Я ждал, что ты сразу после возвращения поделиться со мной своими обильными российскими, а теперь уже и немецкими впечатлениями. Если ты мне и написал, письмо пока не дошло. Решил написать тебе сам, не дожидаясь. У нас до середины месяца держалась прекрасная солнечная погода, лес сиял великолепием, и я каждый день, прогуливаясь, вспоминаю, как мы с тобой проходили по тем же местам, болтая обо всем на свете, а потом согрелись и коньячком. Что может быть лучше? Жаль, что ты теперь далеко.

Но хотя бы пиши. (Как ты, кстати, прокомментировал бы мысль Мераба?) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 31 окт. 00

Дорогой Марк! Только что пришло письмо от 16.X; надеюсь, оно пересеклось где-то по дороге с письмом, которое я отправил тебе через десять дней после возвращения из Москвы. [...]

Мои российские впечатления... я о них уже писал. Они равно характеризуют и свой источник, и того, кто «впечатлён». Грустно как-то всё это, и в оставшееся мне время едва ли переменится.

Мысль Мамардашвили — западная и противостоит традиционно российской точке зрения, согласно которой одиночество несовместимо с солидарностью, с патриархальной общностью, православной соборностью и как там это ещё называется. Мне эта мысль (Мамард.) близка, как, вероятно, и тебе. Если говорить о «литературе» по данному вопросу, то тут можно вспомнить многое. Есть этюд Мопассана, который так и называется «Одиночество» (*La solitude*), и у него же в «Милом друге» — длинный монолог старого поэта Норбера де Варенна, на самом деле монолог автора, выламывающийся из романа. Всё это я читал ужасно давно, и всё это когда-то мне очень нравилось. Разумеется, тебе придётся снова перечитать или перелистать дневник Кафки. Вообще дневники; например, *Journal* Андре Жида и особенно дневники Амьеля (о котором я когда-то писал). Если они не изданы по-русски, можно воспользоваться немецким переводом.

Наши с тобой размышления и проекты, как уже часто бывало, пересекаются. Я сочинил небольшую повесть под названием «Третье время», содержащую нечто вроде панегирика интимной жизни, кото-

рая представляет собой подлинное достояние и убежище человека: в этой крепости он держит оборону против двух злейших недругов — истории и рутинного быта. И ещё одно: я говорил тебе, кажется, что пытаюсь написать одну вещь, в которой герой-рассказчик рвёт свои социальные и личные связи, чтобы стать уличным нищим [...]

Мюнхен, 2 дек. 2000

Дорогой Марк, славно было вдруг получить от тебя факс. Я послал тебе небольшой текст на медицинскую тему, послал копию своего последнего письма; кажется, дошло; авось теперь и это письмо доберётся до тебя — к весне, надо полагать. Так что, наверное, и с Новым годом поздравлять уже поздно.

Ведь Москва далеко. Ужасно далеко, дальше, может быть, чем была раньше. Раньше впереди стояла стена, и когда она повалилась, оказалось, что — совсем не рядом. Какой-то ров, через который перекинуты подъёмные мосты на цепях, не успеешь оглянуться, как мост уже висит в пустоте. И вот я иногда думаю, что мой приезд в этот раз, может быть, на самом деле — прощание.

В минувшем месяце я ездил в Рур и Bergisches Land, гостил у Кáзака, который устроил у себя вечер — публичная беседа с Б. Х., такой вечер был уже несколько лет назад. Потом был в Бонне, где происходило благотворительное чтение четырёх писателей, устроенное в городской библиотеке, читателей собралось немногим больше, чем чтецов; потом в Эссене у друзей, потом в Кёльне, в университете. Немного спустя была ещё одна поездка, во Франкфуртский университет, а оттуда на дачу с одним преподавателем и его женой, вдоль Рейна в область, называемую Rheingau. Накануне Нового года мы с Лорой собираемся в Чикаго.

Вчера мы были на «Тангейзере». Чаще всего мы едем под вечер, чтобы схватить билет в Abendkasse. Вагнер — фирменное блюдо в мюнхенской опере, весьма престижной, и за эти года мы видели почти всё; сидим мы всегда на хороших местах, как-то раз оказались в бывшей королевской ложе, а на этот раз в первом ряду партера, отчего можно было заметить мелкие погрешности спектакля, обычно не бросающиеся в глаза. Всё, впрочем, шло более или менее прекрасно, но третий акт был поставлен так убого, что казалось — все деньги израсходованы на два первых действия. Вагнер был событием моей жизни, когда впервые (во время войны он не исполнялся) я услышал его в Большом зале консерватории, это было осенью или зимой 45 года. Без Вагнера нельзя жить.

Занимаюсь я тем, что дописываю (переписываю) некое повествование, в котором действие происходит в эмиграции, несколько условной. Но тема её, собственно, не эмиграция, а желание человека высвободиться из оков социальной рутины: он становится нищим. Ему, однако, не удаётся вырваться из оков старой любви. В «Знамени» есть человек, отвечающий за рецензии; я написал для него два текста в раздел, который у них называется «Книга как повод». Может быть, напишу ещё о книгах Рюдигера Зафранского, популярного в Германии: о Шопенгауэре, Хайдеггере и только что вышедшей книге о Ницше по случаю 100-летия со дня смерти. Эта «биография мысли» начинается так: «Истинный мир — музыка. Музыка есть нечто чудовищное. Слушая её, приобретаешь к бытию. Так переживал её Ницше... Она не должна кончаться никогда. Но она кончается, и нужно решить, как жить дальше, когда музыки уже нет» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.12.2000, Москва

Дорогой Гена, я писал тебе 26.10, ответа до сих пор не было. Похоже, дело опять в почте [...] Попробую отправить это письмо факсом, он у меня появился недавно и еще не опробован. Переписка по факсу кажется не вполне нормальной, если она не деловая: ты мне можешь ответить сразу, а у меня вряд ли накопится достаточно новостей.

За время, прошедшее после того письма, умерла моя мама. Пять последних суток она пробыла в коме, ничего не чувствовала — это можно считать щадящей смертью. Незадолго перед тем мы наняли сиделку, но ей оказалось делать почти нечего.

А последние полгода ее навещал удивительный врач. После тяжелого приступа пришлось вызвать не просто скорую помощь — реаниматологическую. Этот реаниматолог имел с собой совершенную аппаратуру и не только поставил точнейший диагноз, назначил единственно точные лекарства, даже сам их дал, но еще и оставил свой телефон, рабочий и домашний, предложил при надобности звонить — и сам звонил, справляясь о маминем самочувствии, даже с дачи. Удивительное, редкостное по нынешним временам, при нынешней медицине поведение старинного интеллигента (ему лет на вид около сорока). Он поддерживал маму все эти полгода вопреки звучащим приговорам. (Другой вопрос, что это продлеvalo и мучительное состояние — в Голландии, как ты знаешь, решили юридически облегчить проблему.) От денег он отказывался, но с ним работала еще и медсестра, Галя не могла

себе позволить вызывать обоих каждый раз просто так. (При маме была обычно она.) Она подарила доктору мои книги, он оказался благодарным читателем. Не буду передавать слова, которые он говорил.

Особенно тронул меня один эпизод. Как-то он принес мою книгу к себе на дежурство, и молодой коллега, увидев ее, ахнул: где вы ее достали? Я за этой книгой охотился. Я собираю все публикации этого автора, думал, что он эмигрировал. Ну, и, соответственно, разные слова. Ему 26 лет, вот что особенно замечательно. Как-то по-другому стали звучать сомнения, читают ли меня, покупают ли. В магазинах моих книг действительно нет, в издательстве еще недавно говорили, что есть непроданные остатки. И это еще в Москве — до провинции книга просто не доходила.

Я пригласил этого доктора придти как-нибудь с женой (она тоже врач, невропатолог) в гости. Он смущенно сказал: «Но мы такие неинтересные люди». Тебя не поражает существование в наших условиях таких людей? И при такой профессии, такой квалификации! Мне вспомнилось замечание нашего общего друга о том, что для тебя не существует системы ценностей [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 21 дек. 2000

Дорогой Марк! Через неделю мы собираемся полететь в Новый свет, на носу Новый год, в начале этого месяца я посылаю тебе письмо (после того, как получил факс), вероятно, оно ещё не дошло, если вообще сможет добраться до тебя, так что все новогодние поздравления безнадежно опоздали. Всё же поздравляю ещё раз тебя и Галю, примите наши лучшие пожелания. Вот я сижу и думаю, о чём же тебе написать. Сногсшибательных новостей, слава Богу, нет. Зимы тоже нет; довольно холодно, сухо, временами солнечно. Один раз за все последние недели в воздухе порхали снежинки, но до земли так и не долетели. Я заглядываю в календарь и вижу умершие даты. Например, сегодня день смерти Ленина. Это уже не дата. Уже народились и выросли люди, не имеющие представления о том, кто такой был Лукич. Бессмертные умерли. «Всемирно-историческое» пошло прахом. Разве не подразумевали древние что-то подобное, когда говорили об олимпийском хохоте богов? Можно представить себе, как потешаются боги над нашей эпохой. Над историей, которая напоминает длинный запутанный арифметический пример из задачника. Его решали, решали, и в итоге получился ноль.

Я занимался эти недели квази-рецензией (то есть, собственно, статьёй) о трёх книгах Р. Зафранского, когда-то я делал передачу об этом авторе, как-то раз познакомился с ним. Он стал в Германии весьма известен. Книги о Шопенгауэре, Ницше и Хайдеггере написаны в самом деле увлекательно. С Шопенгауэром связаны сентиментальные воспоминания юности. Плохо зная его философию, я чуть ли не бредил им, а два томика «Die Welt als Wille...»¹, которые мне когда-то, когда мне исполнилось 17 лет, подарил ко дню рождения мой двоюродный дядя и самый вид которых, синие переплёты с тиснением, мелкий готический шрифт, производил магическое действие, — два этих томика удивительным образом сохранились: месяца за два, за три до отъезда, когда уже было ясно, что пора поднимать парус, я отдал их, вместе с Фаустом и Новалисом, одному американскому студенту, находившемуся в Москве, и он их потом неведомыми путями переслал мне; книга, явно трофейная, из этих тонн награбленных книг, которыми тогда, невзирая на все спецхраны, наполнились букинистические магазины, возвратилась в Германию. *Nabent sua fata...*² ты знаешь это изречение.

Ну, вот. Повесть о нищем я закончил. Я думаю, что она, если когда-нибудь её удастся напечатать в России, заведомо обречена там на неуспех из-за принципиальной зыбкости замысла, прежде всего потому, что действие происходит как бы по обе стороны некоего магического зеркала, в двух мирах: один — это более или менее реальный мир эмиграции, город, который может напомнить Мюнхен, и его окрестности, а другой мир скорее призрачный: воображаемые визиты в Россию, возможно, сны. Сочинение отнюдь не автобиографическое, но одно, по крайней мере, украдено у автора, — это чувство фантомности оставленного отечества. Да, как ни странно. И мне показалось, что из него можно извлечь художественный эффект. К этой повести, видимо, малоудачной, придётся ещё возвращаться, чтобы по крайней мере попытаться спасти то, что ещё можно спасти.

Happy New Year!

Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.12.2000, Москва

Дорогой Гена, интенсивность твоих путешествий впечатляет. Только что исколесил пол-Германии, а сейчас, когда я пишу эти строки, ты уже, наверно, где-то в Америке. Я до сих пор люблю смотреть по

¹ Книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (нем.)

² *Nabent sua fata libelli* — имеют свою судьбу книги (лат.)

пути в окошко, с удовольствием путешествую, особенно если оплачивают дорогу, да еще дают заработать. Но с еще большим удовольствием возвращаюсь домой, чтобы сесть снова за письменный стол. Особенно, если работа получается (а сегодня — тфу-тфу, не взглянуть — у меня как раз что-то сдвинулось).

Закончив же работу, иду в лес на лыжах. Вчера пробежал свои 15 км, возможно, схожу и сегодня. Красота сейчас в лесу неопиcуемая. Давно не было такого мягкого снежного декабря. Вспоминаются декорации к опере «Снегурочка»: зимняя сказка. В этой красоте есть даже что-то чрезмерное. Проезжая этим летом вдоль Женевского озера, я думал иногда: можно ли постоянно жить в такой красоте, осознавать ее? Поневоле перестаешь замечать, отвлекаешься на повседневные мысли. У вас такие заснеженные ели сейчас, наверно, где-то неподалеку, в Альпах, но до них еще надо ехать, а я могу ходить каждый день.

Раз-другой выбирался в театр, в кино: приглашали знакомые режиссеры. Музыка слушаю последнее время дома, больше всего Баха. Жить без Вагнера для меня оказалось возможно, ничего не поделаешь.

Позавчера были мамини сороковины (и по совпадению католическое Рождество), мы съездили в ее опустевшую квартиру. Когда еще был жив папа, с этой квартирой были связаны хорошие воспоминания, но последние годы оказались тягостными, и подъезжая к ней на этот раз, я подумал: может, это моя последняя поездка. Заботы о имуществе, распродаже и прочем взял на себя мой средний брат. Не хочу сюда больше.

Не похожее ли чувство слышится за твоими словами о нежелании больше ездить в Россию? Слишком много с этим связано тягостных впечатлений, воспоминаний; если что было доброго, оно удаляется, забывается. Можно понять. Будем жить в своих стенах [...]

2001

Б. Хазанов — М. Харитонову

Mi. 17.01.2001

Дорогой Марк! В былые времена мы тоже увлекались немного лыжным спортом, выезжали вечерами в обширный Перлахский лес, поблизости от тогдашней мюнхенской квартиры, четыре раза ездили кататься на лыжах в Южный Тироль, в Доломиты, где всегда останавливались в одной и той же гостинице в горной деревне Deutschnofen, по-итальянски Nova ponente. В таких деревнях, впро-

чем, итальянцы — только полиция, карабинеры. Всё это теперь, увы, дела давно минувших дней. Лыжи и доспехи гниют в подвале. На прошлой неделе вернулись из Чикаго, огромный город завален снегом. Да и здесь в Мюнхене, наконец, наступила зима. Солнце и слабый мороз, кое-где комья снега, сухо.

Сокольники для меня связаны с лесной школой, где я провёл пять месяцев как раз перед началом войны. В то время это было ближе Подмосковье, куда, правда, можно было доехать на трамвае, а дальше пешком по 3-му Лучевому просеку, где находилась школа. Тогда это были довольно девственные места: лес, озеро. От школы (которую я помню во всех подробностях), видимо, не осталось и следа. Когда-то я написал роман, тот самый, который у меня отняли, — я написал его заново, — и в котором часть действия происходила в лесной школе. Теперь мне снова хочется сочинить что-нибудь вроде небольшой повести, связанной с этим озером, с памятью об этих местах; не знаю, получится ли из этого что-нибудь.

В воспоминаниях мелкие события кажутся очень важными; они и в самом деле были очень важны для становления личности; а между тем вокруг совершалось то, что называется историей, нечто зловещее и глубоко враждебное человеку, и в короткое время разорвалось, как бомба, которая смела всю предвоенную жизнь. Человеческая жизнь была полна смысла и значения, «история» же представляла собой в конечном счёте царство абсурда. Что-то подобное, вероятно, происходило в Средние века во время пандемий, косивших без разбора всё население. И всё же, по-видимому, никогда история не была так враждебна человеку, как в страшном столетии, за которым только что хлопнула дверь. Я пытался это выразить в одной повести под названием «Третье время», о которой, кажется, писал тебе. Но мне бы хотелось вернуться так или иначе к этой теме, к этому жуткому противостоянию: с одной стороны, жизнь человеческой души, единственно подлинная жизнь, взаимоотношения мужчин и женщин, мальчиков и девочек, родителей и детей, культура, музыка, литература, — а с другой — тайные замыслы вождей, безумные государства, абсурдные планы, канибализм тайной полиции, бесплодные жертвы, войны и разрушения, «поступь истории», готовой растоптать всё, обесценить человеческую жизнь, обесценить культуру, сделать смешным и ненужным искусство. Всё то, что в конечном итоге разоблачило себя как тотальная бессмыслица. Я никогда не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Другую повесть — о ней я тоже упоминал, она называется «Возвращение» — я переписал. Что с ней делать, надо ли вообще что-либо

делать, не ведаю. «Третье время» я привозил в Москву и оставил его в «Октябре», где меня встретили с некоторым даже почётом, тем не менее у меня осталось впечатление, что я им немного надоел со своими писаниями. «Аквариум», небольшой роман, редактору не понравился; правда, это сочинение в самом деле, судя по всему, дефектное. В «Знамени», куда я послал рецензию, довольно обширную, на три книги Rüdiger 'a Safranski (о Шопенгауэре, Ницше и Хайдеггере), этот текст тоже, кажется, не вызвал энтузиазма [...] Кроме того, мне бы хотелось написать статью или этюд о творческом пути д-ра Геббельса. Вообще говоря, я, конечно, хорошо понимаю, что в России живут совсем другими проблемами, такими, которые меня мало или недостаточно интересуют или даже о которых я вообще не имею представления.

Ты очень скупо пишешь о своей работе. Чем ты сейчас занят? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.1.2001, Москва

Дорогой Гена!

Мне на днях случилось испробовать себя в новом амплуа. Музей Вадима Сидура (бывал ли ты там? прекрасный музей. Во всяком случае ты знаешь, как много значит для меня это имя) — так вот, он предложил мне провести у них вечер. Я согласился после колебаний. Выступать перед аудиторией, казалось мне, лучше со стихами. Моя проза, говорят, не так просто воспринимается даже при чтении глазами, на слух тем более. После чтения, представь, мне сказали, что по-настоящему впервые поняли ее только теперь. Я сам, читая, например, рассказ «Путь к жизни» (кажется, тебе посылал когда-то этот номер «Дружбы народов») воспринимал его отчасти чужим слухом, и открывались какие-то новые смыслы.

Чтение сопровождалось, как водится, трепом и ответами на вопросы. Среди прочего, я рассказал, как не стали в «Лит. газете» печатать фрагмент из моей последней работы «Конвейер». Вначале обнадежили: нам нравится, обязательно будем печатать; время спустя дали отбой, сказали: начальство сочло, что это не для нас. Нам нужно увеличивать тираж, а это слишком для высоколобых. Интересно, спросил я слушателей, стоит ли нам считать себя высоколобыми, не слишком ли это лестно? И предложил им другое словцо, которое мне подсказали совсем недавно. В Москве есть, оказывается, магазин прикольных подарков для новых русских. (Застал ли ты еще это новое молодежное словцо? «Прикол» — розыгрыш.) Мой зять купил в этом магазине к Новому году по-

дарок для своего племянника-скрипача: гжельской работы керамический барабан с надписью «Страдивари». Шутка, как ты, возможно, знаешь, не новая, она была обыграна в замечательном фильме «Барабаниада». Но к подарку был приложен еще и анекдот. Один новый русский говорит другому: «Посмотри, что я купил! Настоящий Страдивари!» Тот засомневался: «Но это же барабан. А Страдивари делал вроде бы скрипки». — «А! — отмахнулся тот. — Скрипки — это для лохов».

Слово «лохи», надеюсь, тебе, иностранцу, еще пояснять не надо. Когда я читаю литературно-культурные страницы иных престижных наших газет и журналов, у меня бывает чувство, что они в самом деле отбирают себе настоящего Страдивари, а всякие там скрипки оставляют лохам, вроде нас с вами, — сказал я слушателям. Беда, что этим высоколобым лохам не всегда хватает денег, чтобы купить хотя бы заваливающую скрипочку.

Вот так я забавлял аудиторию. Отзывы потом были хорошие. Может, в самом деле не стоит все время отказываться от таких выступлений? Ты, будем считать, тоже отчасти поприсутствовал. А «Конвейер», как я тебе уже писал, напечатали в ноябрьской «Дружбе народов» за прошлый год, наверное, можно посмотреть в интернете.

Мне очень интересно то, что ты пишешь о своей работе, хотелось бы почитать. Особенно интересны размышления о «третьем времени» — истории, которая жестоко вторгается в обыденную человеческую жизнь. Я, помнится, в прежних книгах писал о том, что безумства истории порождаются не только прихотями вождей, в дело слишком часто вступают не всегда понятные, иррациональные проявления этой самой обыденной жизни. Людей начинает, например, томить неосознанная скука, нужно каким-то способом обеспечить, как теперь говорят, выброс адреналина. О нашей особой, чудовищной истории не говорю, но вспомни, как приветствовали начало Первой мировой войны разумнейшие, казалось бы, люди. Устали от слишком однообразной, устоявшейся жизни, повторяли вслед за Ницше, что война — необходимая гигиена. И по схожим, порой не столько идейным, сколько эмоциональным причинам готовы были приветствовать революцию. Сейчас на Западе вроде бы научились обуздывать иррациональные порывы, обеспечивать потребность в адреналине спортивными и прочими аттракционами. Бесчинства футбольных фанатов выглядят безобидной забавой, даже если кто-то под горячую руку оказывается убит, национальные страсти считаются достоянием скорей Третьего мира. Но знаем ли мы, какие иррациональные силы начнут проявляться в новом тысячелетии? Нам, возможно, до худшего дожить не придется, чем пока и утешимся. Это достанется уже нашим детям [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 12.02.2001

Дорогой Марк,

Флобер, если ты помнишь, велит читать свою прозу вслух: если при чтении фразы дыхание прерывается, значит, фраза плохая. Это верно, декламирование — прекрасный способ выверить стиль. Я думаю, что нужно читать написанное, шевеля губами, как читают малограмотные люди. Но когда читаешь перед аудиторией, что-то добавляется и к общей концепции произведения, ты прав. Я замечал это много раз. У меня нет никаких иллюзий насчёт необходимости живого «контакта с читателями», к тому же аудитория моя чаще всего нерусская (мне даже легче найти с ней общий язык), и всё же я никогда не отказываюсь от предложений устроить Leseabend, думаю, что и тебе не стоит отказываться. То, что «Литературная газета» отказалась печатать фрагмент из твоей последней вещи, хоть я и не знаком с ней, меня ничуть не удивляет: такая это газета. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что и критики не знают, что делать с твоей прозой. Такие уж это критики.

И «лохи», и «прикол», и многое другое — слова мне не известны. Но завтра их никто уже не вспомнит. Ситуация напоминает послереволюционные десятилетия, когда публицистика и литература были наводнены неологизмами. Редко какое из этих словечек удержалось в языке. Вместе с эфемерными речениями пошли ко дну и произведения авторов, порабощённых разговорной речью — сиюминутной языковой актуальностью. Парадокс: Чехов с его допотопной Россией воспринимается как писатель вполне современный, а какой-нибудь Пильняк — это антиквариат. Кара за преувеличенную оценку своего времени.

Вчера вечером мы вернулись из Майнца, где провели два дня у нашей снохи и внука. В конце этой недели я должен буду поехать на конференцию ПЕН на вилле под Бонном, где я уже несколько раз бывал, а потом в городок Ландау в Пфальце, о чём я, кажется, уже тебе писал. Занимался я последние недели тем, что сочинял повесть, которая должна называться «Следствие по делу о причине». Тема — поза-поза-позапрошлогодний снег; дело происходит накануне войны, действующие лица — подростки, учителя, лесная школа; кулисы более или менее реальные, сюжет, конечно, выдуман. Речь, как и прежде, идёт о том, что зловещий фантом истории уничтожает подлинную жизнь.

Кроме того, я занимался, как ни странно, доктором Гёббельсом, — помнишь такого? Читал его биографии, его речи и пр., прочёл его роман «Michael», вышедший в 1929 году, сочинённый ещё раньше. Мне хочется написать о нём небольшой этюд. Ещё одно: старый приятель, профессор католического университета в Эйхштетте, прислал оттиски немецкого доклада, который я там однажды делал, о «двух искушениях», правонационалистическом и пролетарско-коммунистическом. Речь идёт, впрочем, главным образом о писателях, об особом типе политического эстета, который появился в Европе после первой Мировой войны; всё это немного перекликается с тем, что ты пишешь о восторге войны. Доклад так себе, и я обо всём этом уже писал, но, может быть, напишу теперь более пространную статью для российской публики. Но опять же — какая может быть «публика», кто это будет читать? Не правда ли, мы дожили до эпохи окончательного торжества l'art pour l'art, писания ради писания.

Мюнхен, 28 марта 2001

Дорогой Марк, две недели я мыкался с компьютером, теперь как будто кое-как наладилось [...]

Ты упомянул повесть «Приближение», листки из журнала, которые ты мне когда-то прислал. И, представь себе, я как раз вчера её просматривал. Критика, насколько мне известно, на неё не откликнулась, это говорит и о самой вещи, и о критиках. Повесть требует весьма вдумчивого чтения, а это критикам, тем, которых я читаю и которые больше напоминают бульварных фельетонистов, по-видимому, не свойственно. Позволяю себе так выражаться, потому что сам однажды в сердцах сочинил статейку о литературной критике (она напечатана в «Октябре»), где говорится, что *критики* могут ошибаться, но *критика* — непогрешима.

Ты обмолвился интересным замечанием: стараюсь писать проще. Я тоже стараюсь — но не «проще», а лаконичнее. Как-то всё больше начинает раздражать собственное многословие, обилие белых шумов.

Всякий раз, когда я начинаю брюзжать, кому нужна литература, и т. д., — ты говоришь мне: так всегда было. Вот Пушкин жалуется... Это верно, да не совсем. Литература никогда ещё не имела врага хуже, чем телевидение, хуже, чем все эти «средства», хотя может казаться, что они, напротив, популяризуют литературу. На самом деле это (как говорил о газетах Леонид Андреев, см. воспоминания о нём Горького) «мельницы... они перемальвают всё в пыль пошлости». В виде этого помола литература и выносится на рынок. На всё остальное нет денег

и времени. И никогда ещё, ни в пушкинское, ни в другое время не было общества, подобного тому, в котором мы живём, которое понемногу, вопреки всему, утверждается и в России: массового общества.

Спасибо за поздравление, не далее как два дня тому назад Томас Вебер, славист из Франкфурта, прислал мне один экземпляр моей книжки, которую он купил в Москве. Может быть, пришлёт ещё мой брат Толя. Слава Богу, редакторша отказалась от своей правки. О Б. Акунине я слышал. Детективы меня интересуют, но, так сказать, теоретически, и боюсь, что даже этого автора я уже не смог бы одолеть. А вот на-днях здесь был вечер Люси Улицкой. Такого стечения народа я на литературных чтениях давно не видел. Она сейчас, по крайней мере за границей, едва ли не самый популярный русский автор.

Я закончил небольшую повесть, о которой тебе писал в прошлый раз (называется кудряво: «Следствие по делу о причине», и, между прочим, с лёгким детективным запашком). Доканал и доктора Геббельса. Сейчас начал поправлять кое-что старое, а что делать дальше, ума не приложу. Увлекательных идей нет [...]

München, 10.05.2001

[...] Не знаю, успело ли до тебя дойти моё предыдущее послание, на всякий случай прилагаю копию. Сегодня пришло твоё письмецо из Мон-Нуар. Совсем другое дело: не через месяц, как из Москвы, а на третий день. Прекрасно, что ты там оказался, да ещё в лучшее время года. Прекрасные места. Маргерит Юрсенар, первая и единственная дама Французской Академии, хоть и превосходно переведена на русский язык, кажется, не стяжала популярности в нашем отечестве, возможно, по причине традиционного отталкивания от литературного аристократизма. А я её очень люблю. Поздравляю тебя заодно с выходом книги в Париже. Название звучит великолепно [...]

Я послал доктора Геббельса не туда, куда полагалось бы, а всего лишь в редакцию «Октября». Похоже, однако, что моему затянувшемуся роману с этим журналом приходит конец: «Аквариум» отвергнут (уже давно); в сентябре, когда я был в Москве, я принёс им одну повесть под названием «Третье время», о ней тоже ни слуху ни духу. Тут я, правда, вспоминаю сакраментальную фразу, которую помещают на своих обложках (не чувствуя её постыдности) все российские журналы: «...и по их поводу в переписку не вступает» [...]

Я занимался эти дни — помимо обычных размышлений о тщете и суетности всего земного — одним рассказом. Тема — инцест как некое убежище. Немножко доделывал одну повесть, где, кажется, впер-

вые, если не считать одного парижского рассказика, действие происходит в эмигрантской среде. Вот и всё. Меня по-прежнему весьма интригует упомянутое тобой сочинение об одиночестве. В названии кавычки в кавычках; это не совсем удобно. Может быть, просто: «Проект Одиночество»? [...]

Ну вот, дорогой Марк, дыши воздухом прекрасной Франции, трудись и отдыхай. Крепко обнимаю тебя.

Мй. 11.06.2001

[...] Я закончил рассказ или небольшую повесть под названием «Сера и огонь» (библейская цитата), тема отдалённо напоминает Музиля: инцест как форма бегства от общества. Зёрнышком для этого рассказа — но не больше чем зёрнышком — послужила история, с которой я столкнулся как-то раз в мои медицинские времена, когда был заведующим участковой больницей и врачебным участком в Калининской области. Переделал один старый рассказик и собирал написанные в разное время и по разным поводам тексты на немецкие темы для книжки, которую мне предложил подготовить один писатель и философ, едущий ненадолго в наши края; затея, как водится, крайне проблематичная. Из Новосибирска мне сообщили, что сборник статей они будто бы выпустят осенью. Но и это — вилами на воде. Книга в «Вагриусе», как ни странно, вышла в свет. Об этом я, кажется, уже писал. Мой брат получил за неё смехотворный гонорар.

Брак с «Октябрём», похоже, приблизился к разводу. Правда, они продолжают печатать небеллетристические вещи: в последнем номере я увидел свою гейдельбергскую речь; тиснут ли мой опус о докторе Геббельсе, не знаю. Но с изящной литературой дело однозначно плохо: ничего не публикуется, не делается никаких объявлений, и на мои вежливые вопросы следует такое же вежливое молчание. Охотно допускаю, что я им попросту надоел. Вообще год выдался такой: DVA, хотя и получила перевод моего романа «Далёкое зрелище лесов», а ещё раньше выплатила аванс (ни один из полученных мною за все эти годы авансов я никогда не мог покрыть), но в осенний проспект книгу не включила. Существует гипотеза, согласно которой страной-бенефициантом Франкфуртской ярмарки в следующем году будет Россия, — возможно, они отложили моё детище до того времени. Доживу ли я и доживёт ли Россия? [...]

Я прочёл переписку И. Ефимова с покойным Довлатовым. Забавная и печальная книжка. Нат. Иванова написала на неё (в «Знамени») глуповатую рецензию. Вероятно, книга скажет больше здешнему литератору, чья жизнь так похожа на то, о чём судачат корреспонденты,

чем читателю и писателю в России. В письмах Довлатова есть одна замечательная черта: при всех своих невзгодах он не сомневается в том, что его литература нужна, что занятия литературой вообще имеют какой-то объективный смысл. Мысль о проблематичности этого ремесла не приходит ему в голову [...]

Мй. 13.07.2001

Дорогой Марк, нормальная почта, пишешь ты, имеет свой большой недостаток, слишком уж быстро идут письма. Выходит, что ненормальная стала нормой, н-да. Твоё письмо из Чёрной Горы (но не из Черногории) от 26 июня пришло в моё отсутствие; кажется, я писал тебе, что поехал в Италию. Теперь мы оба дома, ты, вероятно, отдыхаешь от впечатлений; а я собираюсь через неделю в Париж, думаю пробыть там дней шесть. Никаких дел там нет; просто так.

Я помню, что в первые годы жизни на Западе я, как всякий советский человек, тоже поражался существованию открытых границ; помню, как однажды в Захранге, лазая по холмам, увидел столб с гербом Федеративной республики — и никого кругом [...]

Я немного занимался писанием на вилле La Collina, сейчас пытаюсь продолжать. Это рассказ, который рискует показаться автобиографическим, хотя, как всегда, личный элемент изрядно разбавлен фантазией и во всяком случае служит только материалом. Человек с неопределённой биографией приезжает из-за границы в город, похожий на Москву, чтобы встретиться с бывшей сокурсницей и другом, когда-то донёсшим на него. Женщина почти ничего не помнит, а друг сделался богатым предпринимателем.

Вернувшись в Мюнхен, я попал на кинофестиваль, который устраивается здесь каждое лето: фильм под названием «Москва», режиссёра зовут Зельдович, хотя он очень мало похож на еврея, а сценарий написали вдвоём Зельдович и самый знаменитый русский писатель — Сорокин. Несмотря на это, фильм не так плох, операторские съёмки просто замечательны; в целом я так и смог решить, понравилось мне это изделие или нет. Кажется, картина привлекла внимание в России [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7. 8. 2001, Москва

Дорогой Гена,

больше месяца назад я тебе писал из Франции, что почти готов округлить свое новое сочинение. Весь этот месяц и пришлось над

этим закруглением корпеть. Теперь «Проект Одиночество» прочла Галя, работу вроде приняла. Глядишь, и сам скоро прочту. (Вот на этом месте я отошел поужинать и продолжаю после твоего звонка.)

Отработав, позволил себе расслабиться. Мы с Галей недавно вернулись после автомобильного путешествия (с друзьями) по пяти центральным губерниям. Начали с хорошо известного тебе Калязина, захвали в маленький тихий городок Кашин — больше в Тверской губернии не стали задерживаться. Дальше был Углич, мы с Галей не были там 37 лет; сейчас там бродят толпы туристов, все больше японских. А еще дальше был чудный город Мышкин, я прежде там не был. Он, как и мой Нечайск¹, остался в стороне от железной дороги, добраться туда можно только по воде или машиной, и потому остался почти не изменившимся за последнюю сотню лет. В местной краеведческой брошюре Мышкин назван «классикой русской провинции», это действительно так. Еще во время работы над «Сундучком» я слышал о необычном тамошнем музее, сейчас он разросся, занимает целую территорию под открытым небом. Сюда отовсюду свозятся деревянные постройки, предметы утвари, элементы зданий, иногда со следами пожара, резные наличники, карнизы, кованые ворота, купола и кресты исчезнувших церквей, целые деревенские часовенки. Однако подлинный музей — сам город. Чуть ли не возле каждого дома — поясняющая табличка. «Дом почетного гражданина города Мышкина, городского головы Тимофея Васильевича Чистова. Здесь он принимал русских императоров и членов их семей». «Дом старинной мышкинской добровольной пожарной команды, славно отличавшейся при тушении пожаров и общественных городских делах». «Дом торговцев Брусиных. Брусины — потомственные городские мясники». «Потомственные городские мясники» — звучат же слова! Еще здесь есть Музей мыши, Музей валенка, Музей Смирнова — знаменитого водочного фабриканта, происходившего из здешних крестьян. Дальше были Рыбинск, Тутаев (тоже на редкость сохранившийся, живописный городок. Тут, кстати, как и в Мышкине, под табличками с названиями улиц повешены таблички с прежними названиями: ул. Панина, бывш. Комсомольская, Троицкой, Даниловская. Официальное переименование дорого — нужно оплачивать перемены в международных почтовых справочниках, но так даже познавательней). Дальше — Ярославль, Кострома, Иванов, Плес, Суздаль, Владимир. 1200 с лишним километров. Самое интересное, конечно, подробности, но их я тебе описывать не

¹ Провинциальный городок, в котором происходит действие нескольких произведений М. Харитонова

буду; представляю, как ты насмешливо покачиваешь головой, читая про наши путешествия. Но с советских времен действительно многое переменялось, и каждый год замечаешь что-то новое. Один из приятных сюрпризов — превосходное состояние дорог. Чтобы мчаться от Рыбинска к Тутаеву со скоростью 120 км. в час — прежде такого не было. И переночевать можно было в недорогих приличных гостиницах. После совсем недавних поездок по Франции я поневоле сравнивал — и бывали сравнения приятные. Где еще в Европе можно часами ехать по почти сплошным сосновым лесам, собирать по пути чернику? Виды Волги с высоких берегов несравненны, вода в этих местах чистая, мы много купались.

Ну, а, вернувшись, начинаю подумывать о новой работе. К беллетристике, к прозе что-то сейчас не тянет. Буду понемногу расшифровывать свою дневниковую стенографию, попробую эссе, может, даже что-нибудь вроде верлибров. Я в последних работах позволял себе баловаться в подобном духе. Недавно в разговоре с Жоржем Нива я сказал: «Я ведь не поэт, я прозаик». — «Это у вас поэзия существенно отличается от прозы, — ответил он. — Нужна рифма, ритмическая организация. У нас поэзия бывает неотличима от прозы». Как раз сейчас я в этом убеждаюсь, пробуя читать по-французски португальского поэта и эссеиста Пессоа. Очень интересно.

Все, заканчиваю письмо, пошлю сейчас факсом. Завтра мне обещают подключить e-mail. [...] Пиши. Обнимаю тебя

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 8 авг. 2001

[...] Поездка, которую вы совершили, конечно, замечательная. Для тебя, певца и философа провинции, особенно. (Я тоже однажды написал роман, в котором действие происходило в глубокой, почти нереальной глубинке. Там говорилось о воронкообразной географии нашего отечества.) Многое, очевидно, изменилось. Когда я бывал в районных городах хорошо мне знакомой бывшей Калининской области, не говоря уже о более отдалённых местах, впечатления как-то не слишком вдохновляли. Но Углич и Рыбинск я только проезжал, это было совсем давно, в предпоследний год войны, когда мы возвращались по Волге из эвакуации в Москву.

Ну-с, я воротился из Парижа к прежним занятиям. Рассказ или маленькая повесть, о которой я писал тебе в прошлый раз (называется

«Зов отечества»), всё ещё не готов, но даже если бы я разделался с ним, неизвестно было бы, что с ним делать. У меня была мысль предложить его «Знамени», где мне в общем-то мало светит, — просто для того, чтобы подразнить их. Впрочем, там, как и всюду, живут другими заботами. Есть ещё один план, мне хотелось бы составить маленькую антологию мировой лирики, собрав там стихотворения — не больше пятнадцати — разных эпох и языков, и снабдив их краткими комментариями, само собой, не академическими. Могла бы получиться славная книжица.

Кстати: ты собираешься попытать свои силы в поэзии? Верлибр — вещь коварная. Нива, вероятно, как раз это имел в виду. Старая истина: поэзия не сводится к рифмам и метрам. А в дневниках Чорана есть такое изречение: «Настоящая поэзия начинается за пределами поэзии».

Один здешний редактор журнала «Крещатик» выпросил у меня роман, в котором есть псевдостихи, целая поэма под названием «Чудо Георгия о змие».

Издатель Захаров (есть такой в Москве) выразил желание напечатать нашу с Дж. Глэдом книжку — переписку о литературе, которую мы вели через океан с помощью электронной почты. Бен Сарнов написал по моей просьбе предисловие (или послесловие), весьма критическое, подчас даже несправедливое, эхо наших старых споров, но это, мне кажется, и должно придать книге особый смак. Другой вопрос — кому всё это нужно, кого это может заинтересовать. Я получил вёрстку. Но так как мы люди суеверные, нельзя быть уверенным, что получится, до тех пор, пока синица не будет в руках.

Знал ли ты Бору Биргера? Он на-днях неожиданно скончался [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.9.2001, Москва

Дорогой Гена!

В последний день августа (мой день рождения) у меня собрались друзья, и я показал им пленку, снятую Российским телевидением в моем доме ровно десять лет назад. Незадолго перед тем был путч, собирався Конгресс соотечественников, телевидение захотело взять интервью у Кронида, и он дал им мой адрес. Сидя за столом, говорили перед камерой он, Копелев, Кома Иванов, пел Юлик Ким, потом это показывали по телевидению. Не совсем понятно было, почему однажды мелькнул на экране я, кто я там был такой? Из сидевших у меня тогда пятерых уже нет на свете.

Я последнее время предавался воспоминаниям не только по этому поводу. Ты знаешь, что последнее время я между делом расшифровывал свои стенографические дневниковые записи, сокращая их попутно раз в пять. Кажется, я тебе показывал получившуюся распечатку — толстенная папка, 85 листов. Без сокращений получилось бы листов 400, и это записи всего лишь за последние 25 лет, осталось нерасшифрованных еще полстолько. Ни сил, ни желания воспроизводить все целиком у меня нет. Но раздалавшись недавно с прозой, я вернулся к этой распечатке с мыслью отобрать кое-что, может быть, представляющее общий интерес для книги «Стенография конца века». Последнее время этим и занимаюсь. Мне самому многое показалось действительно интересным, посмотрим. У меня теперь, как ты видишь по шрифту, новый компьютер, работа не напряженная. Насчет верлибров, как ты понимаешь, я пошутил, хотя в книге «Способ существования» можно встретить два-три опыта в подобном духе. Там же, кстати, есть мое эссе «Поэзия и литература», которое перекликается с мыслями, высказанными тобой в последнем письме. Можешь заглянуть. Я тебе присылал, кажется, почти все свои публикации.

А вот я, увы, не могу заглянуть в твои сочинения, о которых ты мне последнее время только рассказываешь. Фраза «кому все это нужно» у тебя, наверное, введена в компьютер цельным постоянным блоком, достаточно нажимать одну клавишу. Мне, во всяком случае, считать, нужно.

В день рождения, кстати, мне звонил Гриша — с дачи, из Отдыха [...] Я, конечно, заговорил о желании встретиться. Он сказал, что ближайšie две недели будет занят: приехали друзья из Америки. А летом провел месяц у друзей в Норвегии. И это на девятом десятке! Молодец, право. Чего и нам с тобой желаю [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 24 сент. 01

Дорогой Марк, мы здесь под сильным впечатлением того, что произошло в Америке. Возмездие, конечно, будет жестоким, жесточайшим; ликвидация афганского режима (а может быть, и иракского), возможно, окажется, наименьшей карой. Другие новости? Вчера я вернулся из Фрэнденберга, тухловатого городишки в Вестфалии, где происходила очередная встреча Exil-ПЕН-клуба, снова отмахал туда и обратно тысячу километров. Через две недели мне предстоит ехать в католический университет в Эйхштетте, это не очень далеко от нас, а в

октябре я собираюсь побывать на франкфуртской Buchmesse. Я писал тебе об антологии, которую я затеял. Я её закончил; правда, вместо пятнадцати имён получилось 50. Называется «Абсолютное стихотворение». Это несколько античных и средневековых образцов, а далее русские, немецкие, французские и английские поэты. Оригинальные тексты с прозаическими переводами-подстрочниками, которые я же и смастерил. Выбирал я всё это исключительно по своему вкусу. Бен, с которым я как-то говорил об этом проекте, отнёсся к нему скептически. Гера Либкин («Текст») задал резонный вопрос: а кому он это сможет продать? В самом деле, кому?.. А ты ещё говоришь, что я, как заигранная пластинка, повторяю одну и ту же фразу о никчёмности. Всё же, как ни странно, нашлась одна издательница, проявившая интерес к этой затее, — может, что и получится, хотя всё это у нас, как водится, вилами на воде.

Ты пишешь, что предавался последнее время воспоминаниям; я этим только и занят. Это довольно скверный симптом; правда, у меня, как ты знаешь, на этот счёт имеется своя теория о том, что литература, собственно, и не может кормиться чем-либо иным, кроме воспоминаний, иногда ложных (есть такой термин в психиатрии: псевдореминисценции). Думаю, что тебе нужно непременно продолжать работу со стенограммами. Я написал один рассказ, о котором, кажется, упомянул; даже послал его в «Знамя», предварительно позвонив Н. Ивановой. Ответа, как я и предполагал, нет, можно думать, что сочинение там сутобо не понравилось, и даже независимо от чисто литературных качеств. Если, конечно, его кто-нибудь прочёл, что тоже неочевидно. Вообще же говоря, вещь довольно грубая, лобовая, короче, не удавшаяся. Теперь уже ничего не поделаешь. Писал я её без удовольствия, подчиняясь какому-то внутреннему принуждению. Насколько интереснее было писать о любви или, допустим, об инцесте. Но так как произведение это на тему, только что упомянутую, — о памяти, то посылаю его тебе для пользы и развлечения.

Сюда приехали из Харькова на постоянное жительство супруги Блюменкранц — это гришины друзья. Сам он писал мне, что собирался ехать в Норвегию, где издали его книжку и проч. [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.10.2001, Москва

Дорогой Гена, время назад французское издательство прислало мне какой-то бухгалтерский отчет со множеством цифр, которые я не умею расшифровать; но из него, кажется, можно понять, что мой

«Сторож» продается у них лучше, чем я ожидал. Он был закончен в 1990 году, у нас время спустя по сути не был замечен. Я с понятным сомнением спросил свою переводчицу, может ли это быть сейчас интересно французскому читателю? Она ответила: «К сожалению — возможно, вас это огорчит — последние события в России могут усилить интерес к книге». Разговор происходил в позапрошлом сентябре, когда у нас в разных городах прозвучали страшные взрывы. В романе, если ты помнишь, тоже звучат два непонятных взрыва, и есть угроза третьего, самого страшного. Устраивает их дебильный подросток, одержимый мстительными фантазиями.

И вот теперь — рушатся небоскребы в Америке. По-новому ли станет восприниматься мой текст? В эссе «Послесловие на развалинах», которое у тебя есть, я позволил себе утверждать, что написанное мной — не только о нашей жизни, о наших комплексах. Но реакция (во всяком случае, западная) на взрывы, на гибель людей у нас и в Америке оказывается несоизмерима не только из-за разных масштабов происшедшего — различие качественное. Тогда не возмущались безумной жестокостью террористов, не требовали еще более жестокого отмщения — понимающе покачивали головами, с ходу выстраивая более привычные версии. А тут: «Возмездие, конечно, будет жестоким, жесточайшим; ликвидация афганского режима (а может быть, и иракского)». Назывались также Алжир, Йемен, Иран; американский президент уже обмолвился о крестовом походе. Все ощутимей становится и ответная реакция — с неожиданных сторон. Уже объявляется доказанным, что этот сошедший с ума террорист вначале выполнял в Афганистане задания американских спецслужб, но почему-то с ними не поладил, звучат голоса о исламской солидарности, о конфликте цивилизаций. Я помню, как позабавили меня когда-то умственные построения одного японского американца о «конце истории»: не стало идеологического противника — не осталось проблем, кроме экономических, технологических, экологических. Кажется, начинают понемногу осознать, что мир меняется, уже существенно изменился — но еще не могут преодолеть многолетней инерции, идеологических стандартов, психологических комплексов.

Текст, который ты мне прислал, отчасти на близкую тему. Ты исчерпывающе сформулировал ее в превосходном постскриптуме: деспотизм памяти. Увы, я не могу воспринимать и оценивать этот текст объективно, просто как рассказ: слишком вижу за ним тебя, вспоминаю наши многолетние разговоры. И не без смущения пытаюсь представить себе, каким же взглядом ты, приезжая, смотрел на меня, человека, продолжающего жить в этой невозможной стране? Полемизировать, обсуждать это, конечно, бессмысленно [...]

Я посылал тебе адрес своего e-mail, но знаю, что ты боишься заразиться от моего компьютера. Специалисты, которым я это рассказывал, смеялись: вирус может придти только от неизвестного, если по неосторожности прочесть его послание, или от кого-то, кто уже получил эту заразу по цепочке многочисленных адресов; а придти она может хоть с Филиппин.

Мы с Галей только что вернулись из Болгарии, где провели две недели на Золотых песках. Нам предложили баснословно дешевую, «горящую» путевку (конец сезона), погода благоприятствовала, и мы кейфовали. Курорт на три четверти немецкий, я кое с кем общался, с удовольствием вспоминая язык. Сейчас понемногу возвращаюсь к работе.

Сердечно тебя обнимаю. Привет Лоре

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 17 окт. 2001

Дорогой Марк! Я только что вернулся из Франкфурта, суета продолжается. Поездка была несколько неожиданной. На книжной ярмарке я посетил знакомых и вёл переговоры с одной русской издательницей о моей Антологии; может, что и получится, хотя... кто знает [...]

Обыкновенно писателю бывает приятно, когда оказывается, что в его книге были предугаданы какие-нибудь события, но в данном случае — я говорю о «Стороже» — приходится скорее вздохнуть, сказав: увы, это опять актуально. Конечно, взрывы и даже взрывы крупных зданий, не новость; например, немного лет назад взлетел на воздух огромный многоэтажный универмаг в Нью-Йорке. Реакция была, сравнительно с нынешней, относительно спокойной, посадили пожизненно слепого имама, кажется, ещё кого-то поймали; только и всего. А уж в России это событие, вероятно, вовсе не произвело впечатления. То, что произошло в минувшем сентябре, нельзя сравнить ни с нью-йоркским универмагом, ни с американскими посольствами, ни даже со взрывами жилых домов в России, как бы ни были они ужасны (не говоря уже о том, что осталось невыясненным, кто собственно организовал эти взрывы). Никому никогда не могло придти в голову, что можно, вооружившись ножами, направить два больших захваченных пассажирских самолёта на два колоссальных здания-близнеца (если бы ты видел, что это за сооружения), центр международной экономики с огромным числом служащих, если угодно, символ западного мира. Тут-то и стало понятно, что объект террористической войны теперь уже — не отдельная страна, а весь называющий себя цивилизованным

мир. В этом мире Америка, хороша она или плоха (сам я вовсе не американофил), играет исключительную роль. Непосредственная угроза этому государству не могла не всполошить всех. Нападение совершено в центре самого большого города в мире, с расчётом, что гигантские небоскрёбы, повалившись, разрушат значительную часть Манхэттена и уничтожат население; слава Богу, хоть этого не произошло, здания рухнули, так сказать, в себя. Одновременно — атака на Пентагон и налёт на виллу президента, правда, неудавшийся.

Согласись, что всё это — в самом деле нечто сверхобычное. Но я хорошо понимаю, что взгляд из России, где привыкли считать свою страну главной в мире и где хватает собственных забот, может быть иным. Я, кажется, уже говорил тебе, что клюфт, по моему впечатлению, не уменьшается; если мне приходится что-нибудь читать в русских журналах о современной жизни на Западе, я испытываю недоумение, — вероятно, такое же, какое испытывает русский читатель от иностранных публикаций о России. Другой язык, другое восприятие мира, и хоть ты тут разбейся в лепёшку, ничего не меняется. Важно это осознать и не сердиться, а ведь в нашем отечестве всегда сердятся и даже негодуют по поводу того, что «нас не понимают», хотя сами отнюдь не горят желанием понять других. Но хорошо, по крайней мере, что у руководителей хватило ума в этой истории с бин-Ладеном и его компанией примкнуть к западному миру.

Насчёт моего рассказа... Я его, между прочим, переписал, кое-что переделал, добавил одну главу. Он не нравится не только тебе, но и мне самому. Но было какое-то чувство, что я не могу его не написать. Что надо от него отделаться. Кроме того, в нём есть важная для меня тема памяти, тяжёлого бремени, которое представляет собой память. А вместе с тем и понимание того, что мы не смеем забывать о том, что с нами произошло. Не дождавшись ответа из «Знамени», я позвонил Нат. Ивановой и получил ответ, который ожидал: рассказ отвергнут. Это меня не огорчило. Зато я как-то не могу понять: почему, как ты пишешь, ты не можешь без смущения представить себе, какими глазами я, приезжая в Москву, смотрел на тебя, человека, живущего в этой невозможной стране? Такими же, как я смотрю на себя, всю жизнь прожившего в этой невозможной стране. Какая связь между тобой и этим рассказом, между тобой и персонажами моего сочинения, которое ведь, как ты понимаешь, отнюдь не является ни исповедью, ни проповедью, ни сведением счётов? Да, конечно, если говорить обо мне самом, Москва, особенно в последний приезд, произвела на меня не очень приятное впечатление (многие мои немецкие друзья и знакомые от неё в восторге), ну и что? причём тут ты, причём тут мои дру-

зья, весь наш круг? Разве не естественно для интеллигента, писателя и вдобавок ещё еврея чувствовать себя чужим и ненужным в своей собственной стране? Презирать своё время, критически взирать на свою страну, ценить не общество, а человеческую личность. Мне казалось, что это входит в определение писательства [...]

Мюнхен, 4 ноября 01

Дорогой Марк!

Твоё предыдущее письмо (я ответил на него 17 окт.) снова как-то повергло меня в разные сомнения, и я вернулся к злополучному «Зову родины»; возможно, мне не следовало вовсе браться за это сочинение. Иногда, правда, мне кажется, что и в России рано или поздно произойдёт то, что случилось в 60-е и 70-е годы в Германии, что продолжается здесь до сего времени: Rückbesinnung, критический анализ прошлого. Но не того сусально-патриотического «славного прошлого», памятники которому, наспех сооружённые, герой этого рассказа видит, приехав в Москву, не к орлам и крестам на отремонтированных церквях, а к чудовищному и постыдному советскому прошлому, от которого он не может отвязаться. Но произойдёт это отрезвление — если вообще произойдёт — не раньше, чем преступники вымрут окончательно, а с ними помрём и мы.

Короче, я потратил снова недели две на переписывание, хотя никаких реальных видов на публикацию где бы то ни было нет и не предполагается. «Знамя», как я уже тебе писал, отказалось, так же как года полтора тому назад они отвергли мою статью «Величие советской литературы». Я достаточно критически отношусь к своим писаниям и всё же совершенно уверен, что в обоих случаях причины были внелитературные. Кто старое помянет, тому глаз вон. Мы всё это уже слышали — и довольно об этом. Особенно когда злопыхательский голос доносится из-за рубежа, из стана беглецов. Да и не такое уж плохое было это советское прошлое — даже совсем наоборот, а?..

Журналов мало, печатать тебя могут только знакомые, не говоря уже о том, что читателей у этих журналов осталось тоже до смешного мало. (Борис Дубин прислал мне на-днях свою книгу «Слово — письмо — литература», там приводятся данные социологических обследований. Вообще умная, очень интересная — и очень печальная — книга. Но ведь и она неизвестно кем будет прочитана.) Что касается «Знамени», до сих пор мне разрешалось публиковать в этом журнале только рецензии, да и то лишь потому, что речь всегда шла об иностранных книгах и предметах, так сказать, нейтральных, о Шопенгауэре, Ницше, Хайдеггере, о некоторых эпизодах из жизни Борхеса, о новых биогра-

фиях Томана Манна и т. д., — о вещах, в сущности, весьма далёких от интересов редакции. Теперь человек, печатавший эти рецензии (Агеев), ушёл. Я написал рецензию о двух самых крупных писателях, оставшихся в Германии после 1933 г., — Юнгере и Бенне — и позвонил новой редакторше. Она ответила снисходительно: ну, присылайте. Не думаю, чтобы она вообще когда-нибудь слышала эти имена.

У меня ощущение, что я разговариваю с глухими. Причём дело, как я подозреваю, отнюдь не только в том, что я живу далеко, усвоил другую оптику, оторвался и т.п. Всё это, конечно, «имеет место». Но даже если бы я жил в России, если предположить, что я остался, не был бы арестован, не умер, дожил бы до новых дней и даже каким-то образом продолжал бы писать, — всё было бы то же самое.

Я помню, что ещё в отрочестве очень любил читать критиков, разного рода предисловия и т.п. И по-прежнему я более или менее регулярно просматриваю российские журналы, иногда заглядываю в интернет, читаю по привычке — теперь уже просто по дурной привычке — литературную критику. Но что это за критика! На свои писания я откликов почти не встречал и думаю, что это к лучшему: ничего дельного от этой критики ждать не приходится. То, что приходилось читать, оставляет впечатление, что критик пробежал твой текст одним глазом и совершенно не в состоянии заметить то, что не бросается в глаза; непонятно, зачем ему вообще понадобилось это нетерпеливое проглядывание. Сравнивая это немного с тем, что писали обо мне в Германии, Австрии и т. д., я, к несчастью, вынужден отдать предпочтение немецким авторам. Эти по крайней мере стараются понять, о чём идёт речь в книге. Статьи же российских законодателей литературы, о каких бы писателях и книгах ни шла речь, удивляют прежде всего неспособностью этих людей мыслить. Они узки, вульгарны, скверно воспитаны, малокультурны, не могут обойтись без банальностей и без самолюбования. Кроме того, почти все критики и рецензенты очень плохо пишут, что, конечно, тоже следствие плохого школьного образования: развязно, с провинциальными ужимками и длиннотами, языком кухни и подворотни. Но мы об этом, кажется, уже говорили [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.11.2001, Москва

Совсем недавно, дорогой Гена, мы принесли из леса букет осенних листьев, и вот вчера ночью повалил вдруг обильный снег, кто-то уже пробует ходить на лыжах. Первый снег обычно не удерживается, скоро должен растаять. Кончается осень, время, когда принято считать цыплят.

По совпадению, почти одновременно закружились несколько дел, о которых я уже и не думал. Давным-давно я написал для детей сказочную повесть «Учитель вранья», больше десяти лет назад показал ее в издательстве, потом и показывать перестал. Но рукопись подарил своей французской приятельнице, у которой трое детей, она для них ее потихоньку стала переводить. И вот в начале этого года перевод оказался закончен, я в мае упомянул про эту книжку, разговаривая в Париже со своим французским издателем. Он неожиданно сказал: «Надо посмотреть». Fayard детских книг в принципе никогда не издавал, но тут вдруг решили печатать. (Кажется, я тебе уже об этом писал.) И вот только что книга вышла, я ее еще не получил, но, говорят, вся редакция в восторге — как я понял, от иллюстраций. Попробую теперь показать и у нас — вдруг примеру Запада захочется последовать.

А еще раньше, лет двадцать назад, я для заработка перевел по просьбе одного театра кассовую пьесу двух гэдээровцев — без договора, под честное слово режиссера. Перевод понравился, но в театре стало меняться начальство, все пошло насмарку. Копии моей машинописи годами продолжали ходить из театра в театр, раза два-три пьесу уже собирались ставить, но в одном театре насмерть разбился режиссер, по пьянке свалившись откуда-то с верхнего яруса, в другом внезапно умер знаменитый артист, намеченный на главную роль, в третьем — умерла завлитша. Судьба какая-то. И вдруг на днях получаю факс из агентства авторских прав, пьесу хотят ставить сразу два театра, мне предлагают договор, просят назвать свои условия.

Пришел еще договор за мой давний перевод Гессе — эти небольшие денежки то и дело капают, то за Кафку, то за Цвейга. Тоже из осеннего репертуара: собираем плоды. А я, вернувшись из Болгарии, решил между делом скомпоновать книжку из своих дневниковых записей за 25 лет: «Стенография конца века». Ориентировался я на издательство НЛО, записи отбирал преимущественно литературного характера. В редакции книгу приветствовали, но сама издательша на месяц укатила в Америку, решения придется ждать теперь до зимы.

Мне самому читать было сверх ожиданий интересно. Может, это вообще лучшее, что я написал. И не работа вроде: так, живешь, что-то кропаешь по привычке — а возникает сам собой текст.

Осенние, возрастные мелодии. Я и сейчас что-то кропаю, а больше читаю — преимущественно стихи и о стихах. Один мой недавний герой признавался, что не может долго читать прозу. Многословная, недоделанная, непереваренная литература. Все можно выразить куда более сжато, емко. По Пушкину, «лета к суровой прозе клоняты»; а я что-то, наоборот, оглядываюсь в обратную сторону. Меня очень заин-

тересовала твоя поэтическая антология. Опять похоже на какие-то совпадения в нашем развитии? Может, распечатаешь для меня, пришьешь два-три стихотворения? Очень было бы кстати [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 18 ноября 01

Дорогой Марк, сегодня воскресенье, я сидел и царапал что-то, и вдруг заработал Faxgerät, аппарат, о существовании которого я всё время забываю, и вот — от тебя письмецо. Моё письмо от 17 окт., ты, по-видимому, получил, а следующее, ноябрьское, написанное второпях (и в сердцах), судя по всему, до тебя ещё не дошло. Прекрасно, что старинные вещи неожиданно печатаются, старые времена оживают; бывает даже и так, что случайно находишь какое-нибудь старое сочинение, читаешь его новыми глазами, и кажется, что оно не так уж плохо написано.

Издательский дом «Время» (так это называется; никогда раньше о нём не слышал), в лице его директорши, кажется, всё ещё не остыл желанием выпустить мою Антологию, хотя, по правде сказать и как учит многократный опыт, никаким проектам и обещаниям невозможно верить до тех пор, пока они не осуществляются. Антология состоит, как я уже тебе писал, из стихотворений античных, средневековых, русских, французских, немецких и английских поэтов, отобранных исключительно по вкусу составителя, всего около пятидесяти авторов, включая двух анонимных, с подстрочными переводами и весьма необязательным, любительским комментарием. С удовольствием послал бы тебе, но не знаю, как это сделать; может быть, изготовить ксерокопию манускрипта и послать по почте?

Ты упомянул о переведённой тобою пьесе. Представь себе, и я написал несколько лет тому назад пьесу, называется «Борис и Глеб» (позже в Москве появился роман Ю. Буйды с таким же названием), по мотивам моего деревенского романа. Роман этот, кстати, лежит в DVA без движения. Пьеса тоже так и осталась лежать, дальше мимолётных разговоров с некоторыми театральными людьми дело не пошло. Кроме того, я расхрабрился и в Москве оставил пьесу Марку Розовскому. Он сообщил мне, что пьеса неактуальна, и передал её в журнал «Современная драматургия». Оттуда пришёл ответ: они готовы напечатать моё изделие, если, конечно, я найду спонсора; я поблагодарил, и на этом дело закончилось. Вообще-то пьеса комическая, с музыкой и плясками в псевдонародном стиле, и, насколько я помню, вроде бы ничего.

Литературная переписка с Джоном Глэдом тоже как-то завязла, хоть я и получал то и дело сообщения, что она «вот-вот» выйдет. Допустим, в виде шаткой гипотезы, что она в самом деле выйдет. Ну и что?

Был я в Дюссельдорфе, встретил там некоторых россиян [...] Собрания в Доме Гауптмана и университете посвящены были литературе, но выступил и один, по-видимому, крупный политический деятель из Москвы, — забыл его фамилию, кажется, Попцов, в прошлом комсомольский функционер высокого ранга, — который порицал реформаторов за чрезмерную торопливость, говорил так, что чувствовалось — вот человек, владеющий полнотой истины, готовый преподать её в форме инструктивных указаний и установок; говорил, что Россия — страна постепенных перемен, не надо было спешно разрушать старое, и вообще «в социализме было много хорошего». По его словам, совершена уйма ошибок, ситуация мрачная; что же надо делать? По-видимому, вернуться к старому [...]

Дорогой Марк, я только что послал ответ на твоё «осеннее» письмо, но забыл кое-что прибавить касательно рассуждений о стихах и прозе. У Бродского можно обнаружить признаки поэтического шовинизма: он, кажется, с удовольствием возвращался к мысли о том, что проза есть некая второсортная литература по сравнению со стихом. Поэзия древнее прозы (это верно). Поэзия, сказал Пастернак, это скоропись мысли. Можно ещё вспомнить слова Эмиля Чорана (из дневниковых записей), который ссылался на древних, кажется, мексиканцев: поэзия — ветер из обители богов.

Я бы не стал настаивать на том (хотя это и кажется очевидным), что поэзия — нечто скоростное, вроде авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, медленно постукивающим железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и краткости в прозе — иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две литературных вселенных, с разной метрикой, разной степенью кривизны пространства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенциональности, от корсета. Кажущаяся — после рифмы и классического размера — свобода прозы обманчива. На поверку выясняется, что внутренние скрепы прозы не менее жёстки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация — в количественном выражении другая, но качественно (если можно так выразиться) не уступает поэтической. Музыкальные законы прозы тоньше, сложнее, неуловимей, чем пресловутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягостна, как водянистые стихи. «Лета к суровой прозе клонят» — это сказано в стихах, но с абсолютной точностью [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову*13.1.2002, Москва*

[...] Все, что ты пишешь о нашей стране, наших судьбах, нашей литературе — увы, более чем верно. До торжества правды, справедливости, правосудия нам с тобой вряд ли дожить. У нас любят время от времени повторять, что Моисей не зря водил свой народ по пустыне сорок лет, хотя вполне мог бы прийти и побыстрее — нужно было, чтобы вымерло поколение, помнящее рабство. Подрастают дети и внуки, у них действительно во многом другие проблемы, другие заботы, порой ничуть не более приятные, чем наши, и все-таки более нормальные. На днях я беседовал с пожилым профессором, умнейшим человеком; он сетовал, что чувствует себя живущим не в своем, в чужом времени. Неужели вы жалеете об ушедшем? — спросил я. При всех очевидных издержках этого времени я не перестаю изумляться, как счастьем, что довелось дожить до перемен, на которые, если вспомнить, и не надеялся. Немного удивительно, что ты воспринимаешь все это гораздо более напряженно, чем я. Хотя тебе проще бы, чем мне, махнуть уже на эту страну рукой. Рубцы, видно, остались более чувствительные. Возраст приучает к сознанию, что изменить и улучшить эту жизнь нам не дано, хорошо, если есть возможность делать свое дело — она ведь тоже не была гарантирована. Грех жаловаться.

Хотя и о литературной ситуации ты пишешь вполне справедливо. В «Дружбе народов» собрались было опубликовать мой последний опус «Проект Одиночество». И вот после нового года выяснилось, что дела у журнала совсем плохи. Отказал в поддержке Сорос, отказало Министерство культуры, тираж уменьшился до трех тысяч, они в панике, думают, какими публикациями поднять бы тираж, попросили меня подождать: я массового читателя им вряд ли обеспечу. Немногим лучше и в других журналах. Очевидно, эта своеобразная российская институция вообще дышит на ладан; на Западе даже не вполне понимают, что это такое: толстые литературные журналы? А ведь с ними была связана борьба направлений, тиражи доходили до миллиона — ну, ты все это знаешь лучше меня. Жаль, но не могут же, в самом деле, эти старомодные толстяки конкурировать с тонкими, глянцевыми, западного типа журналами. Раз-другой мне уже возвращали рукописи с вежливыми сожалениями: это прекрасно, но увы, для вы-

соколобых, а нам нужен тираж, чтобы держаться на плаву. Можно было заподозрить известное лукавство (как сказать автору, что просто не понравилось?), но, я думаю, не очень лукавили.

Пока литератору еще есть, на что жить — жаловаться все-таки грех. Вот, только что издательство НЛО подтвердило, что будет издавать мою «Стенографию» — я рад (хотя гонораром тут не пахнет). В этом году удивительно красивая зима, чистая, белая, морозная, я хожу на лыжах — и радуюсь. Здоровью моему полезен русский холод, к привычкам бытия вновь чувствую любовь, — сочинил было в лесу хорошие стихи, но Галя сказала, что их уже написал Пушкин. А она работает вообще удивительно — ну, это надо видеть.

Приезжай, мой милый, есть, о чем поговорить. Плохо, когда не с кем [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 13 янв. 02

Дорогой Марк! Только что пришёл от тебя факс, а позавчера я получил «Стихи и прозу». Письмо шло немного больше месяца, могло идти ещё дольше, годы проходят, всё это нисколько не улучшается, и всё же я взял и написал письмо директору Международного почтамта в Москве. Хоть и понимаю, что это неизлечимо. С такой скоростью письма могли доходить в начале XIX столетия, а может быть, и тогда лошади тащили почтовые кареты, а почтальоны раздавали и разносили письма проворнее. Между прочим, я помню, как брэнчали бубенцы почты по тракту мимо больничного посёлка, где мы жили в эвакуации во время войны, в Татарской республике на Каме, далеко от железных дорог.

Статья (правильней назвать её этюдом) очень хороша, между прочим, и потому, что открыта для новых мыслей, поощряет их. Интересно, как древнее разграничение поэзии и прозы сопротивляется таким же вечным стараниям стереть грань между ними. Самые удачные примеры, «Слово о полку Игореве» или некоторые стихотворения Брехта, не в состоянии были не то чтобы засыпать ров, но хотя бы сделать его не столь глубоким.

Конечно, я не меньше тебя ценю перемены последнего 10- или 12-летия; ни о каких, то есть совершенно ни о каких, сожалениях о советском прошлом не может быть и речи. Но и о возвращении «домой» — для меня, во всяком случае, — тоже, к несчастью (или к счастью), не может быть речи. В сущности, я никогда не чувствовал себя at home в

этой стране. Что тут удивительного? Из чего, однако, не следует, что я могу испытывать к ней лишь простое любопытство, как к какой-нибудь Венесуэле.

Кстати, я получил некоторое время тому назад сообщение из «Октября», что они собираются напечатать в первом номере мою повесть, которая так и называется: «Возвращение». Ещё одна новость: наша с Джоном Глэдом книжка под названием «Допрос с пристрастием» таки вышла. Правда, я её до сих пор ещё не видел. Джон нажимает на меня, чтобы я подыскал рецензентов. Но я плохо представляю себе, кто захочет её читать.

Ситуация с толстыми журналами прискорбна, что и говорить. Правда, «эта инстиутция» выглядела обречённой уже не раз. Спрашиваешь себя: на чём вообще всё это держится? Вечный российский вопрос. Недавно Юра Колкер написал мне из Лондона о новом литературном журнале, который будет называться «Колокол». Мне говорили, что журнал финансируется Березовским, но Юра называет другого предпринимателя, по имени Шлепянов. Я послал туда, по предложению Ю. К., кое-что, но места не оказалось, так как меня перегнули именитые писатели — Быков и Битов.

Я кропаю кое-что, написал две статьи, о Бруно Шульце и о Кристиане Вульпиус, подруге Гёте. Стал заниматься одной более объёмистой работой — может быть, романом, — но у меня беда: я слепну. В последние месяцы зрение ухудшилось настолько, что трудно стало читать и сидеть за этой машиной. Я стою на очереди для операции на обоих глазах.

Насчёт поездки в Москву... *mag sein*¹, только не раньше осени. А до осени надо ещё доскрипеть [...]

Мюнхен, 26 янв. 2002

Дорогой Марк, вместо 2002 года я было напечатал сослепу 3003-й, следуя древней традиции прорицателей, которые были слепцами. Чтобы узреть будущее, надо перестать видеть настоящее. Пишу тебе без особого повода, просто хочется поговорить в оставшиеся свободные часы: вечером снова прибывают внуки, и работа будет нарушена. На дворе сумрачно, над Атлантикой распространяется область низкого давления, как сказано у Музиля, зато над нами густые облака, сыро, зябко, от зимы, довольно холодной и снежной, ничего не осталось. Толья (мой брат) сообщил мне, что получил от Захарова нашу книжку, —

¹ Может быть (*нем.*)

сам я её не видел, — я просил передать тебе экземпляр. Первоначально это была обыкновенная переписка или, вернее, что-то вроде обширного заочного интервью по электронной почте. Джон был увлечён проектом написать дополнительно исследование по «теории эмигрантской литературы», — идея, пожалуй, небезынтересная, даже увлекательная, если согласиться, что существует литература эмиграции *per se*, отличная от литературы «метрополии». Именно это и следовало доказать. Интервью должно было служить иллюстрацией. Но потом, когда надежда получить грант лопнула, а текстов накопилось довольно много, ему пришла в голову счастливая мысль превратить это в подобие допроса. Кое-какие отрывки мы печатали в некоторых журналах. Можно удивляться тому, что для книжки нашёлся издатель.

Теперь мои надежды только на операцию, потому что, если дело идёт такими темпами, то уже через месяц я совсем ничего не смогу делать. Лампа висит у меня чуть ли не на носу. Мне бы хотелось в оставшееся время написать статью или этюд о писателе полузабытом, но которого ты, вероятно, помнишь, — экс-сюрреалисте и экс-коммунисте Роже Вайяне. Лет десять тому назад я делал о нём радиопередачу, главным образом по поводу «*Ecrits intimes*¹», опубликованных после смерти Вайяна. Когда-то, очень давно, когда его роман «Закон» ещё не был переведён, я читал его в России, позже кое-что давала мне читать Ирина Эренбург, ныне покойная, из библиотеки отца. В мемуарах Эренбурга есть глава о Вайяне, — как всё, очень уклончивая.

Вопрос, зачем и для чего (для кого) всем этим заниматься, то есть зачем тратить время на то, что вряд ли кого заинтересует в России, — это вечный вопрос, который отравляет мне всякую работу, не только эти статейки, но и ту, которую я считаю главной. Мы с тобой рассуждали о поэзии и прозе. Вот то, что окончательно закрылось для поэзии: повествование, эпика. «Умчался век эпических поэм», это было ясно уже Пушкину. Может быть, в дебрях Африки или Южной Америки ещё существуют рапсоды. Время от времени охватывает какая-то тоска по эпосу, ностальгия по нарративной прозе. Может быть, это следствие старости. Позади нас — или, по крайней мере, у меня позади — остался целый век, ужаснейший век. Самые омерзительные столетия не знали ничего подобного. Но это было время юности и того, что в конце концов стало самосознанием — сознанием себя и «эпохи».

Для меня ясно, что я не сумел и не сумею создать то, о чём мечталось, — синтетический роман. Синтетический в том смысле, что он представлял бы собой некий синтез этой эпохи — дух, итог и диагноз.

¹ интимные записи (*фр.*)

Сил, а главное, жизненного времени на это больше нет. Всякий раз, когда я пробую оглянуться, я убеждаюсь, что потерпел фиаско как писатель; всё что сделано — это клочки и лохмотья шикарного одеяния, так и не сшитого. То, что на русском языке никто в XX веке такой работы не сделал, — не утешение. В лучшем случае ко всем нам можно будет — и то навряд ли — применить фразу Чехова «в некотором смысле артель». В некотором смысле, как бы ни были чужды и враждебны друг другу братья-писатели современники, мы все вместе — эрзац великого зодчего. (Правда, стоило бы оговориться, что по крайней мере начиная с последней трети столетия, с возникновением массового общества, литература во всех развитых странах стремительно теряет престиж и значение, следовательно, лишаются смысла и её традиционные задачи; но это уже ein anderes Blatt, другая тема.)

Однако я давно уже превратился в Federmensch`а, «человека-перо», как величал себя старик Флобер, наш великий патрон: l`homme-plume, — и что бы я стал делать без работы? Я взялся что-то царапать, само собой, всё через пень-колоду, и опять, как в разные прежние времена, мне начинает казаться, что избранное время действия было самым важным временем не только в моей собственной жизни, но и в жизни страны. Что последствие его дают себя знать и полвека спустя. Речь идёт о последнем военном — первом послевоенном годе. Ты скажешь (и любой скажет) — опять стародавнее прошлое. И что интерес к нему есть двойной и неизбежный результат эмигрантской отторгнутости и всё той же гнусной старости. Вероятно, так оно и есть. Ну и что? Я ненавижу актуальность. Я ненавижу злободневность. Она кажется мне каким-то рабством у сиюминутной действительности, которая уже к вечеру превратится в труху. Эту труху трясут газеты, их задача — отменить историю, истребить память как нечто мешающее жить сегодняшним днём.

Я понимаю, что, занимаясь прошлым (для меня оно в известном смысле и настоящее, и даже будущее), заведомо лишаешь себя читателей. Однако нам не привыкать. Куда серьёзней внутренние трудности. Взявшись за какое-то подобие повествовательной прозы, тотчас начинаешь чувствовать её тяжкие вериги. Правда, мне уже приходилось писать об этом времени. Как-то раз я перелистывал небольшой роман «Антивремя», дела давно минувших дней, его когда-то, прежде чем он был опубликован в России, напечатал в Америке отдельной книгой Перельман; и в том, и в другом случае на него никто не обратил внимание. (Вероятно, его вообще никто не открывал.) Очевидно, горбатого исправит только могила. Конечно (как и тогда), я не решаюсь писать собственно о войне, на которой я не был. Кроме того, я избираю

очень узкий круг персонажей. Я нахожусь в той среде, которую знаю и помню во всех подробностях, но это означает, что я не испытываю ни охоты, ни нужды описывать её подробно, и... вот тебе уже первое нарушение законов эпики. Единственная надежда на то, что герои живут и сами будут решать за тебя твои задачи. Тебе останется лишь комментировать происходящее — без комментариев я, к сожалению, хоть убей, не могу обойтись.

Ну-с, на сегодня достаточно. Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.1.2002, Москва

Дорогой Гена, я прочел «Допрос с пристрастием» — рад поздравить с замечательной книгой тебя и твоего достойного, умного собеседника. Он с явным удовольствием слегка щеголяет следовательским жаргоном, вообще своим действительно превосходным русским языком. Игра в допрос понемногу изживает себя, а читать становится все интересней. Все, казалось, обговорено было не раз, в том числе нами с тобой, при встречах и в многолетней уже переписке. Мы дискутировали о том же на «Свободе» и «Немецкой волне», ты ссылался на Гоголя и Тургенева, говорил о необходимости дистанции; мне свои доводы вспоминать сейчас неловко — какое они имели значение? Вот и Бен Сарнов в послесловии как бы оправдывается, ссылается на собаку с оборванной цепью. Причины отъезда объяснять было куда легче. В Германии жена одного профессора сказала мне за столом: «Вы хорошо говорите по-немецки, почему вы не уезжаете?» А наша близкая приятельница, уехавшая в Израиль, обращалась уже не ко мне — к Гале: Марк побывал в Европе, как он может не увезти всех вас из этой страны? И в твоих письмах время от времени возобновлялся тот же вопрос: ты еще не собираешься рвануть когти? В моей книге «Способ существования» есть эссе «Три еврея» — о трех моих друзьях-поэтах, чье самоубийство было связано с темой отъезда. (Ты почему-то написал, что Габай покончил с собой в Нью-Йорке — он выбросился с балкона в Москве, и ты это прекрасно знал.) Но это уже еврейские штучки, я немного попытался о них размышлять — тоже хватило бы на книгу. Хотя мне твой вьедливый собеседник вряд ли стал бы устраивать допрос с пристрастием — что тут выяснять, о чем говорить? Вспомнилось, как одна знакомая передавала мне свой разговор с американским профессором, специалистом по женской литературе. Он говорил ей об особенностях этой литературы, она заметила: но ведь и

у Достоевского то же. — Писателей-мужчин я не читаю, — ответил тот. Шучу, разумеется. Но особенно стало интересно, когда Джон Глэд заговорил о своей «эмиграции» из американской провинции. И разговор зашел об эмиграции как экзистенциальной категории, о неизбежном одиночестве писателя, об экспансии массовой культуры, о судьбах литературы. О, тут и я мог бы разговориться. Прекрасно, когда книга стимулирует мысли читателя. Я даже подумал о возможности написать рецензию, позвонил знакомому, ведущему отдел в газете. Мне это было бы интересно, — честно ответил он, — но газете нет. Литература у нас проходит по «остаточному» принципу, после театральных премьер, премий и т.п. В других газетах, наверное, то же. В журналах скажут: напишите, посмотрим. Посмотрим. Пока я отчасти высказался в письме к тебе. Это действительно удача: ты высказался, как никогда, полно, собрав воедино многолетние мысли. Передай мои поздравления соавтору.

И не жалею, что не написал свой «синтетический роман» — возможен ли такой? Музиль надорвался на чем-то подобном. Написать бы небольшую «Песнь песней». Или, на худой конец, «Экклезиаста»

Ты говорил о каком-то своем декабрьском письме — оно до меня так и не дошло. Перейду, видимо, на факс. С Америкой ты обменивался электронными посланиями, со мной до сих пор, видно, боишься. Главное, привести бы в порядок зрение.

Сердечно тебя обнимаю. Привет Лоре

Твой

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 28 янв. 02

Дорогой Марк, конечно, телефакс может заменить увечную почту, хотя необязательно отвечать немедленно [...]

Я рад, что наше произведение не навело на тебя скуку, и позволил себе переслать твой отзыв Джону, ему будет тоже приятно. Само собой, было бы здорово, если бы ты написал рецензию — и чем зубастее, тем лучше, но реакцию редактора, о котором ты пишешь, в общем-то надо считать естественной: мы не ошибёмся, предположив, что всё газетно-журнальное начальство в современной России состоит из людей, в жизни которых литература никогда не играла серьёзной роли. Они могут ради приличия ссылаться на не зависящие от них обстоятельства, но суть-то в том, что их самих литература интересует как прошлогодний снег.

В наших с Джоном философствованиях вопрос, почему писатель NN решил отряхнуть от подошв пыль отечества, собственно, не считался достойным обсуждения. Всё давно стало тривиальностью. Когда один из участников второго налёта на нашу квартиру — человек, кстати, небезызвестный в тогдашних диссидентских кругах, все знали, что он из числа специалистов «еврейского отдела», был такой отдел в этом ведомстве, — когда он отозвал мою жену на кухню и недвусмысленно дал понять, что мне лучше убираться из страны, он был трижды прав. Останься я, меня бы снова арестовали, в конце концов я врезал бы дуба. Другой вопрос — возвращение. Недавно я прочёл в «Воплях» большое интервью с вернувшимся в Россию Г. Владимовым. Это серьёзно работающий писатель, эпигон русской реалистической литературы прошлого, теперь уже позапрошлого века. Он делится впечатлениями о своей жизни за границей. Его рассказ напоминает стишок Маршака. «Где ты была, киска? — У королевы английской. — Что ты видала при дворе? — Видала мышку на ковре». Любопытно, что он нашёл ни единого доброго слова о стране, которая как-никак его приютила, дала ему возможность спокойно работать.

Самое лучшее, конечно, было бы уехать в молодости, уехать к чёртовой матери, а ещё лучше — вовсе не родиться [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.04.2002, Москва

Дорогой Гена, как твои глаза? Надеюсь, ты уже сможешь прочесть этот крупный шрифт. Писать мне особенно не о чем. Галя улетела на месяц в Красноярск к большой маме, надо было отпустить сестру в Америку на конференцию. Перед отъездом ей предложили участвовать в небольшой выставке «Германия глазами русских художников», она дала несколько фельдафингских акварелей, 1993. Я тоже вспоминал эти времена, вычитывая верстку книги «Стенография конца века». Говорят, она может выйти уже в мае, ты ее, конечно, получишь. С другими публикациями пока неясно. Я пробовал писать что-то вроде верлибров, сейчас выдохся. Для прозаика это означало бы обычный рабочий тупик, какие уже вроде бы привык преодолевать. Но поэты, я знаю, могли замолчать на годы — как они это время жили (не говорю: зарабатывали)? Неуютное состояние. Пробую над чем-то думать, что-то читаю. Гуляю по прекрасному апрельскому лесу, пью березовый сок. Скоро все зазеленеет. Сегодня вечером собираюсь пойти в Еврейский центр на концерт «Репрессиро-

ванная музыка» — произведения авторов, прошедших через лагеря, запрещенных, погибших и т.п. А в общем, почти ни с кем не вижу, живу один.

Джон Глэд прислал тебе, наверно, как и мне, коллаж «Женщина и мужчина глазами инженера». Мужчина там вроде бы примитивное устройство с единственным выключателем, женщина — что-то более сложное. Но можно растолковать и иначе: мужчина — система, способная самонастраиваться, т.е. более совершенная, женщина требует постоянной настройки [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Ми. 14 апр. 02

Дорогой Марк! Два дня назад мне сделали вторую глазную операцию, я стал видеть значительно лучше, хотя и не без некоторых неизбежных трудностей. Но, как видишь, и письмо твоё прочёл, и перед компьютером сижу, как встарь.

Верлибр? Это уже что-то совсем новое. Коварная штука — как всякое хождение по краю. Или как всякая работа в технике, соблазняющей лёгкостью освоения. Но я помню, как я когда-то в деревне пытался писать раёшные полусерьёзные стихи — слегка ритмизованная, рифмованная проза. Были и всякие другие поползновения в этом роде.

Между прочим, можно заметить, что исконные поэты, в свою очередь, весьма редко справляются с прозой, — но мы, кажется, уже об этом говорили.

Последнее время я был инвалидизирован, но всё же пытался что-то делать. Написал некролог Горенштейна. Нацарапал между делом один рассказ и занимался сочинением, из которого, может быть, выйдет роман (небольшой), а может, и ничего не выйдет. Речь идёт снова об «эпохальном» произведении — в скромном смысле слова, то есть о попытке взглянуть отчуждённым оком на некую эпоху, разумеется, ушедшую. Одним из признаков старости надо считать чувство, что с тобой уходит поколение. «Поколение» — это некоторая фиктивная реальность. И вот вспоминаешь, как чувствовали, как вели себя ребята и девушки в первые послевоенные годы. Спрашивается, кого это может сейчас интересовать. Но мне-то, в сущности, терять нечего. Не говоря уже о том, что я потратил в разное время столько слюны, доказывая, что литература не может быть актуальной. То, что составляет суть литературы, есть её главный, с точки зрения читателей, недостаток, и можно сказать, что история литературы — это история глухой вражды

писателей и читателей, где каждая сторона отстаивает свои права. Читатель хочет увидеть в книге себя и то, что он считает своим временем. Ему некогда ждать, когда это время пройдёт. Между тем как литература живёт в сознании, что у неё впереди много времени и спешить некуда. С точки зрения читателей, литература опаздывает, с точки зрения самой литературы — её час наступает, когда время жизни прошло. И так далее.

Кстати, в связи с этой работой я занимался устройством подводных лодок времён второй Мировой войны (выписал специальную литературу) и читал материалы о потоплении корабля «Вильгельм Густлофф», который увозил беженцев из отрезанной Восточной Пруссии. Слышал ли ты об этой истории?

В Москве есть журнал «Вопросы философии»; я на него одно время, в 70-х годах, даже подписывался. В последнем номере этого журнала несколько неожиданно для автора напечатан мой этюд о Шопенгауэре.

Здесь все потрясены и взволнованы событиями на Ближнем Востоке.

Из Москвы приходят удивительные вести. Некий фашист по имени Проханов объявлен крупнейшим русским писателем и удостоен награды.

О коллаже «Женщина и мужчина» слышу впервые. Жду твоей книги «Стенография», посылаю тебе (по e-mail) для развлечения упомянутый выше рассказик и статью, которую, видимо, тоже не удастся напечатать [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.04.2002, Москва

[...] Я хотел тебя поблагодарить за присланные тексты. «Французский рассказ» мне показался пока недоработанным. «Историю сближения мужчины и женщины», описанную здесь, все-таки не назовешь «главным событием жизни», как было заявлено в первых строках. Для события нужны хоть какие-то отношения, не говоря о чувствах. А тут почти никакого даже интереса друг к другу. Такие мимолетные соприкосновения у кого-то исчисляются десятками, а то и сотнями, на другой день забывают лицо, имя узнавать не обязательно. Что здесь назвать тайной? Можно бы предположить какую-то недоговоренность, вчитываться в подтекст. Но решил ли для себя сам автор, кто такой этот его турист, какого он возраста, привлекателен ли, богат ли?

Вот история, описанная в рассказе «Праmaterь» — это действительно событие. Я прочел его только что в двухтомнике издательства «Вагриус», который мне подарили на торжествах по случаю его 10-летнего юбилея. Ты его тоже, как я понимаю, получишь. Замечательная антология, по ней можно составить представление о современной русской прозе. Там, в рассказе, все: и отношения, и чувства, и драма, и характеры, и узнаваемая жизнь, атмосфера, время. А тут Париж — не более чем топографические обозначения, переведенные на русский (бульвар Святого Германа? — для меня узнаваем Сен-Жермен). Чем он дорог туристу, отчего это сожаление, что не приехал сюда в юности?

Зато сразу чувствуешь, как дорог, близок, понятен автору славный город Бремен в другом тексте. Ты назвал его статьей, это скорей эссе, автокомментарий к известному мне рассказу, который, как я понял, ты дорабатывал. Вновь и вновь стараешься объяснить, почему невозможно вернуться. Да, конечно же, невозможно, не нужно, незачем — с кем тут полемика? «Возвращение по необходимости должно означать забвение». А, может, наоборот, активную борьбу с забвением прошлого? Многие этим и у нас занимаются, полно публикаций о преступлениях прошлого, о незавершенном, несостоявшемся расчете с прошлым, о палачах — благополучных пенсионерах. Poleмические пассажи твоего эссе особых возражений в «прогрессивных» изданиях не вызовут, если его не опубликуют, то не из-за цензурных, идеологических соображений. Отповедь, которую тебе дает условная, но полуузнаваемая «зам. главного редактора», кажется сомнительной: такие люди сейчас так не говорят, стиль иной. Есть другие люди, другие идеологи, другие издания, ненормальна терпимость к ним — вот тут отличие от Германии существенно. Но мне вспоминаются ранние произведения Белля, где недавние фашисты, избежав разоблачения, благополучно прикидываются демократами — симпатичные автору герои скрипят зубами, но ничего поделать не могут. Старым песенкам в послевоенной Германии просто не позволили бы прозвучать — страна была оккупирована победителями, которые устраивали немцам принудительные экскурсии в недавние лагеря: смотрите, что у вас было, не говорите, что не знали! И о конституции позаботились, и за становлением демократии проследили. Нам с этим не повезло, придется самим разгрести дерьмо еще долго; что-то со временем перегниет. Ты приехал в Германию, где все уже окончательно устоялось, по сравнению даже с пятидесятыми — шестидесятыми годами. Тогда прогрессивные западные интеллигенты называли беглецов из Союза предателями, получить гражданство тебе так просто не удалось бы. Недавно вспоминали Марлен Дитрих — когда она в 60-м приехала впервые в Германию, ей тоже пришлось услышать: «предательница».

Ладно, мы уже столько об этом говорили — лучше при встрече. Считай сказанное не более чем замечаниями предварительного читателя, которому показываешь текст до публикации. Мне такого читателя сейчас не хватает — одна только Галя. Но она, мне кажется, человек все-таки объективный, говорит, что думает [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мю. 21.IV.02

[...] С глазами у меня всё ещё неважно, временами всё застилает, твой факс я прочёл с помощью лупы. Но всё же как-то справляюсь.

Ты пишешь, что тебе не хватает вдумчивых читателей. У меня их вообще нет. Ещё когда что-нибудь выходит здесь, можно прочесть рецензии, то да сё; но уже довольно давно книг не выходило. В России появилось несколько коротких откликов на нашу с Джоном книжку. Но это не то, о чём мы — ты и я — говорим.

Я читал твои замечания о «Французском рассказе», и мне стало ясно, что ты прав. Через какое-то время, взглянув на него, я, возможно, пойму, что он вообще никуда не годится. Рассказ в некотором смысле экспериментальный, написан не в моей обычной манере, а скорее во «французской» (почему и назван так). Но, с другой стороны, я подумал, что отмеченные тобой недостатки отчасти вытекают из самого замысла. Он состоял в том, что мимолётное приключение, которое должно было исчезнуть из памяти на другой день, оказалось «событием», и герой рассказа помнит его через много лет. Почему оно так запомнилось, что такого особенного было в этой девице, — это и есть загадка. Кроме того, он не любитель приключений, о чём упомянуто в одном месте, и таких интрижек, вероятно, было не густо в его жизни.

В рассказе многое намеренно не объяснено, опущено в расчёте на читателя, которому благоугодно досочинить многое и разное. Мне казалось, что это можно связать с ситуацией героя: он висит в воздухе, явился как бы ниоткуда. Характерное ощущение одинокого туриста, который приехал даже не из Европы, у которого биографический background остался где-то там, прошлое, семья, обычная жизнь, привычные связи и т.д. как будто исчезли; недаром он говорит: я теперь сам не знаю, кто я; и Париж, описанный крайне поверхностно, — это Париж туриста.

Кажется, уже после того, как я послал тебе рассказ, я вставил коротенький эпизод: человек бродит по кладбищу в Сент-Женевьев-де-Буа и находит камень с собственным именем.

Со вторым текстом дело обстоит, конечно, ещё хуже. И всё же выступления фантастических действующих лиц, в том числе «заместительницы главного редактора», не совсем высосаны из пальца, отчасти подсказаны текстами российского литературного интернета и тем общим и явным сдвигом общественного умонастроения, который отсюда воспринимается довольно отчётливо. Спору нет, я чрезвычайно оторван от этой, то есть от «той», жизни, не чувствую тонких дуновений, стиля сегодняшней речи и пр., что так важно для писателя: вся статья написана чужим, посторонним человеком. Но разницу немецких и российских условий я всё же хорошо понимаю [...]

Я по-прежнему занимаюсь вещью, о которой писал тебе прошлый раз. Хотя история с потоплением «Густлоффа» занимает в ней очень скромное место, мне не хватает нужных знаний. Я видел несколько раз знаменитый телефильм «Das Boot», лазал в имитированной подводной лодке, где происходили съёмки (она стоит на территории студии «Бавария-фильм»), листал роман, по которому этот фильм был сделан, читал разные материалы, рассматривал альбомы и т.п. Сейчас набрёл на воспоминания бывшего рулевого советской лодки «С-13», той самой, которая торпедировала «Густлофф». Там много любопытного; между прочим, говорится, что лодка была последним техническим достижением в этой области и гордостью нашего подводного флота; между тем в большом американско-немецком атласе кораблей второй Мировой войны указано, что советские подводные лодки (большой роли в войне не сыгравшие) страдали существенным недостатком — слишком продолжительным временем погружения, это делало их особо уязвимыми для глубоководных бомб. В этих воспоминаниях описан среди прочего и эпизод с «Густлоффом», правда, так, что читатель думает об атаке на военное судно. Но для меня это неважно, важны «реалии» — при всей сомнительности попыток писать о войне, где сам не был [...]

Дорогой Марк, дорогая Галя, вот я и дома, и опять сижу перед компьютером, и пытаюсь собраться с мыслями. После нашей встречи я снова мотался по городу, провели в Москве ещё несколько дней, побывали, между прочим (кроме двух других театральных вечеров в так называемом Театре наций и у Марка Розовского), на премьере «Хованщины» в Большом театре, где последний раз я был больше 20 лет тому назад. Поездка (я говорю только о московских впечатлениях, Тверь, где мы пробыли первую неделю, не в счёт), как и прежде, вызвала сложные, путаные ощущения; правда, уже без такого волнения, как в первый раз, когда я приехал через 11 лет; в общем и целом можно сказать, что в этом городе, который я так любил когда-то, я чувст-

вую себя плохо, тяжко. Словно плита наваливается на голову и грудь; как будто ожило старое и усилившееся в последние годы нашей жизни в России чувство стиснутости, безвыходности, несвободы. Разумеется, это только моё собственное индивидуальное ощущение человека, который здесь вырос и для которого прошлое смутно просвечивает сквозь навалившееся новое.

Я не берусь судить, хороши или плохи архитектурные новшества и преобразования: должно быть, и то, и другое сразу; впрочем, я их уже видел; могу только сказать, что мне жаль пустоты и простора бывшей Манежной площади, которая расстилалась перед глазами, когда, бывало, выходишь из университета. Студенческий клуб на углу бывшей улицы Герцена, с которым столько связано, захвачен церковью; заодно эта контора оккупировала и весь флигель, над полукруглым фронтоном воздвигнут крест и красуется гордая надпись: «Свет Христов просвещает всех», золотом и вдобавок по старой орфографии, — словно мы снова живём в благословенные времена императора Александра III. Об уличном движении не говорю, оно сделалось за эти два года ещё труднее, город накануне коллапса; каждый день я видел аварии, а однажды утром, когда мы выехали из дома на сравнительно незагруженный в этот день и час Ленинский проспект, я увидел лежащее на проезжей части, лицом вниз, тело женщины, сбитой насмерть. На том же самом Ленинском проспекте, неподалёку от Октябрьской площади, в третьем этаже большого красивого дома полыхал пожар, и языки огня лизали следующий этаж.

Я думаю, что для вас обоих неслыханная удача, что вы живёте в тихом месте, рядом с прекрасным лесом. Вообще наша встреча — это чистое, светлое пятно на не то чтобы тёмном, но каком-то смутном фоне. Очень может быть, что я чувствовал бы себя иначе, видел бы вещи в совершенно ином свете, живи я здесь, — но в том-то и дело, что я не в силах вообразить себя вновь живущим в Москве. Слишком многое разделило и отдалило. Не говоря уже о том, что я не представляю себе, кому нужна здесь моя литература.

Вместе с тем мне показалось, что атмосфера преступности чувствуется как-то не так сильно, как в мой предыдущий приезд. Нет больше и этого ощущения всеобщей люмпенизации. И красота Кремля, мостов над рекой и многого другого по-прежнему ослепительна.

Я сразу же стал читать «Стенографию конца века» и, представь себе, увлёкся настолько, что успел прочесть почти всю книгу ещё в Москве. Сколько там близкого, знакомого вплоть до мельчайших мелочей. Разговоры и мнения подчас кажутся странными, неожиданно наивными или даже абсурдными — как вдруг спохватываешься и по-

нимаешь, что ты сам в таком же или почти таком же духе размышлял и выражался тогда, в 60-е, в 70-е годы. Порой я испытывал и зависть к автору дневника: ведь у меня самого никогда не было возможности столь широкого и многостороннего общения с «узкими кругами», я жил в другом социальном мире, да и поздно вернулся в Москву, а потом оказался в подполье.

Вот, дорогие, наскоро набросанные и, конечно, очень поверхностные и скороспелые воспоминания об этих днях. Крепко обнимаю вас, с нежностью вспоминаю о нашем свидании. Ваш Г.

7 июля 2002

Дорогой Марк, надеюсь, история с ухудшением слуха ненадолго, главное — ты выбрался из более серьёзной передрыги. Gott sei gelobt!¹ Ещё раз поздравляю с возвращением домой тебя и Галю.

Я сейчас заглянул в моё последнее письмо (от 11.VI; вероятно, ты не успел тогда его прочесть) и увидел, что впечатления о Москве описаны там по свежим следам. С тех пор суета и всякие заботы заслонили их. Может быть, это был мой последний приезд. Вообще то и дело говоришь себе о разных вещах: это — уже последнее. Воронка в песочных часах становится всё глубже, струйка стекает всё стремительней с каждой неделей, с каждым днём. Работа же, напротив, идёт всё трудней и медлительней.

Что сказать о ней. Я сижу перед компьютером изо дня в день, как проклятый. Результаты? Если говорить о внешних итогах, то, конечно, они не слишком богаты. Книжка, которую мы сделали с Джоном Глэдом из нашей переписки, — единственная (на русском языке) книга, вышедшая за последние десять лет. Не считая, правда, сборника прозы в «Вагриусе». Но этот сборник возник исключительно по благу — благодаря тому, что Юз Алешковский без моего ведома уговорил редакторшу, свою приятельницу, издать книжку такого-то. Не будь Юза, никто бы, разумеется, и не подумал. Сама редакторша сказала мне: книгу всё равно не будут покупать. «Допрос с пристрастием» был выпущен при условии, что Глэд выкупит на свои деньги часть мизерного тиража. Я получал множество других предложений из России: хотим напечатать прозу, эссеистику, антологию «Абсолютное стихотворение», то, сё; как дурак, тратил время, собирал и посылал тексты, отвечал на замечания и пожелания, исправлял дурацкие вмешательства, доказывал необходимость этой, а не искорё-

¹ Слава Богу! (нем.)

женной пунктуации, ломился в открытые двери. Вычитывал корректуры — даже до этого доходило порой. Всё ушло в песок. Нечего хныкать.

Что касается «внутренних» достижений, ты о них знаешь. Они тоже не блестящи. На этих днях я послал в «Октябрь» статейку под названием «Русский сон о Германии» — так себе, дополненная переделка статьи, напечатанной в одном немецком сборнике. Послал статью о Бруно Шульце; о покойном Горенштейне — они просили, собирався писать и Марк Розовский, с которым я встретился, выходя из редакции. Вещи в общем-то побочные. Снова послал кое-что Л.Бахнову в «Дружбу народов», по его предложению. В ответ ни слова. Вновь все эти недели занимался романом — если из этого получится роман. Вроде бы нашлось название: «К северу от будущего» (слова Целана; к сожалению, напоминает название повести Стейнбека «К востоку от рая»). Нечто из послевоенного времени с воспоминаниями о войне и с отсылкой к сегодняшнему. Некая навязчивая идея: травма войны настолько велика, что не изжита до сих пор, как не отросла нога у безногого (там есть такой персонаж); и надо говорить не о победе, а о поражении.

Как ты? оправился ли от операции? Какие планы? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.7.2002

[...] Я понемногу прихожу в себя (даже слух вроде наладился), только работать на компьютере пока утомительно. После insultников, которых я посмотрелся (четверо по соседству со мной в первые же дни умерли), называть тем же словом свой случай как-то неловко. Впечатлений, житейских и медицинских, за месяц болезни накопилось, разумеется, немало, прозаик назвал бы это жизненным материалом, но я тебе уже писал, что с некоторых пор предпочитаю стихи. Пока я находился в больнице, позвонили из еврейского журнала «Лехаим» (есть, оказывается, такой), попросили что-нибудь им дать, и Галя переслала им один из верлибров «Уход мамы» (о смерти моей мамы). Они сразу ухватились, попросили еще, вроде бы собираются печатать в сентябрьском номере. Я посмотрел несколько номеров этого журнала: «глянцевое» издание, очень хорошая полиграфия, цветные иллюстрации (взяли и Галины рисунки), тираж 30 тыс. Печатаются там многие знакомые, например, в трех номерах Бен Сарнов делится житейскими воспоминаниями об антисемитизме и во-

обще болтает на еврейские темы, между нами говоря, без надобности многословно — впечатление, что набирает объем побольше. Говорят, там неплохо платят. Не хочешь ли туда сунуться? Направленность у них узко-национальная, им надо, чтобы хоть как-то было упомянуто слово «еврей» [...]

Галя в больницу приносила мне для развлечения газеты и журналы, которых я обычно не читаю; из них, среди прочего, узнал, что главным литературным событием последнего времени был памфлет Войновича о Солженицыне. Ты, кажется, его читал, расскажи.

Гена, мне все-таки еще трудновато работать на компьютере, за-вершаю — и обнимаю тебя сердечно [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.7.2002

Дорогой Марк, вчера вечером мы вернулись из Майнца [...] Было весьма хлопотно и утомительно, всё же мы выкроили время сходить (это недалеко от дома) в церковь св.Стефана, чтобы посмотреть витражи Шагала. Мастер создал их, когда ему было за 90. Я их раньше видел, Лора — впервые. Ради одних этих витражей стоит съездить в город. Кроме того, я успел заглянуть в огромный Майнцкий собор, погулял немного и по набережной, откуда на другом берегу Рейна, весь в зелени, виден Висбаден. Это уже другая земля и начало Таунуса.

Сегодня снова взялся за свою повесть — или небольшой роман. Дело близится к развязке, за которой должен последовать эпилог, довольно обширный. Рецензию на «Стенографию конца века» я перед отъездом в Майнц отослал в «Знамя» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.07.02

Дорогой Гена, впервые ты послал мне электронное письмо по-русски — и получилось. Надеюсь, что и ты мое сумеешь прочесть.

В Майнце я был раз пять-шесть, из них раза три с Галей. Каждый раз по пути из Мюнхена на север и обратно мы специально сходили здесь, чтобы посмотреть Шагала. И от Цюриха, где я был дважды, самое сильное впечатление — его витражи.

Я понемногу прихожу в норму, физически уже в совсем в порядке, от умственных занятий, особенно от компьютера, устаю быстрее обычного. Поэтому почти не работаю, Зато каждый день гуляем с Галей по лесу 5–6 километров, приносим роскошные букеты цветов, они стоят у нас сейчас в вазах на лоджии. Солнечная погода, зелень, сияние — чистое счастье.

Меня удивило, как ты прокомментировал мою запись от 24.02.99: «Иногда его охватывает отчаяние». Там как раз об этом необъяснимом, неправдоподобном чувстве счастья. «Что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро» (ты это место заменил многоточием). Оно, это чувство, необъяснимым образом не оставляло меня и в больницах. Я лежал там в палате, даже в послеоперационной (реанимационной) не один, можешь лучше меня представить, чего я там насмотрелся, но вбирал в себя эти впечатления с чувством какой-то полноты и полноценности переживаемого. Выразить это пока трудно, поговорим при встрече [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21.7.2002

[...] Вчера было 20 июля, годовщина неудавшегося покушения, и я как раз читаю только что вышедшую новую биографию Штауфенберга, автор — граф Кроко(в), известное здесь имя. Когда-то, это было в 50-ю годовщину, я делал большую радиопередачу о заговоре 20 июля, с голосами и музыкой Малера; года полтора тому назад «Октябрь» напечатал мой очерк об этих людях, кажется, ты его видел. История, которая притягивает меня то и дело. Кстати, я был знаком с одной пожилой дамой, баронессой (её имя — von Pölnitz — когда-то встречалось мне в письмах Лейбница), которая была секретаршей генерала Штюльпнагеля, командующего оккупационными силами в Париже, неудачно пытавшегося застрелиться, когда стало известно, что Гитлер жив. Штюльпнагель повредил себе зрительный нерв, был вылечен после тяжёлого ранения, остался слепым, и палач вёл его под руку к виллице [...]

Я занимаюсь своим романом, — если это роман, — и, может быть, сумею его закончить в Париже, куда я намерен отправиться на три недели в конце августа. Вещь небольшая, видимо, меньше шести листов, и довольно традиционная, без затей. Действие происходит в первые послевоенные годы, но есть эпилог, можно было бы назвать его меди-

цинским термином: эпикриз. «Действия», впрочем, мало, одни разговоры. Кого это может заинтересовать, вечный вопрос, вроде великой теоремы Ферма. Правда, говорят, что её недавно кто-то решил.

Среди рухнувших или готовых рухнуть проектов — книжка, составленная из этюдов на немецкие темы, о писателях и т.п., которую я по глупости согласился приготовить по предложению В.Кантора, писателя и философа, однажды побывавшего у меня в гостях, связанного с одним издательством, забыл, как оно называется. Мне вручили в Москве мою рукопись, уснащённую поправками. Я похерил почти все исправления и отослал с оказией новый экземпляр; ответа, само собой, нет. Все эти статьи и «эссе» могли бы, вообще говоря, представить некоторый интерес и сравнительно неплохо написаны; но... Не удивлюсь, если и этот прожект, как многое другое, уйдёт в песок.

Среди разных мелких новостей в Мюнхене — подмётный роман Мартина Вальзера под названием «Смерть критика». В этом критике все узнали боевого старца Марселя Райх-Раницкого. Роман в общем плохой. Райх-Раницкий, разумеется, не замедлил ответить ударом на удар. Я успел прочесть другое сочинение в подобном роде — брошюру или памфлет, не знаю, как это надо называть, Володи Войновича о нашем пророке. Сейчас это уже вышло в виде книги. Со всем или почти со всем, что он ставит в упрёк Солженицыну, можно было бы согласиться. Но книжку портит нескрываемое восхищение автора самим собой. Кроме того, он недостаточно знаком с материалом. Уровень этого произведения невысок; полное отсутствие дистанции, что-то эгоистически-раздражённое и неистребимо провинциальное. Думаю, что старик уже готовит ответный залп. В любом случае интерес «публики» к обоим авторам, как я подозреваю, угас — или я неправ? [...]

22.7.02

[...] Я раздумываю над вопросом, который, возможно, является главным для литературы: соотношение (или противостояние) хаоса и порядка. Можем ли мы начисто — если это вообще возможно — отказаться от повествовательности, то есть от упорядоченной прозы? Литература есть «материализованное сознание», верно? Верно. Но поток сознания сам по себе стремится упорядочить себя, есть внутренние регуляторы, существует *сознание сознания*. (Время и пространство, по Канту, — изобретения ума.) Отсюда легитимность литературы, понимающей себя как средство обуздать хаос души [...]

Дорогой Марк, пишу тебе снова, не дожидаясь ответа и в надежде, что электронная почта всё же, хоть и в одну сторону, функционирует. Сегодня вдруг наступила пауза: накануне, несколько неожиданно для себя самого, я добил свой роман. Правда, он коротенький, чуть больше ста страниц. Закончен, разумеется, предварительно; позже — может быть, в Париже — я рассчитываю вернуться к нему, прочесть заново весь текст, как обычно. Что касается размера, это дерево могло бы, по видимому, расти дальше, если не вверх, то в стороны; но я как-то почувствовал, что всё, что я хотел сказать, сказано.

Сочинение — о «времени»; похоже, что я уступил традиции, если не рутине; изменил, во всяком случае, принципам, которые сам же провозглашал. Начинаешь думать о синтезе, точнее, о необходимости примирить противоречия, которые прежде казались непримиримыми. Об одном из них я писал тебе дня три тому назад: это противоречие между хаосом и повествовательностью. Стихию жизни (стихию сознания) приходится волей-неволей усмирять, не забывая, однако, ни на минуту, о том, что под коркой упорядоченной прозы колыхается магма.

Другое противоречие состоит в том, что некто — всякий человек — живёт в собственном времени, единственно реальной жизнью, и одновременно жизнью «гражданина» в фантомном историческом времени. Другими словами, он становится жертвой истории. Эта коллизия особенно болезненна в таком обществе, какое досталось нам. Больше, чем в каком-либо ином обществе, человек оказывается беспомощен перед натиском «истории». История — вампир. И я не могу понять, как можно было гордиться временем, в котором нас угораздило родиться. *Так нам велит времён величье и розоперстая судьба. О, Господи...* Применительно к литературе это означает: о чём, собственно, стоит писать? Не уходит ли вообще в прошлое роман об «эпохе», как ушёл в прошлое социальный роман? То и дело литература спохватывается, что в погоне за «широтой охвата» действительности она теряет квинтэссенцию действительности — человека. И все литературные завоевания минувшего века, новая эстетика, новое видение, — оказываются ненужными для такого романа [...]

27.07.02

[...] Как я уже говорил тебе, я занимался главным образом двумя вещами: рецензией на книгу графа Кросков о Клаусе Штауфенберге и «романом». Рецензия, конечно, не есть в точном смысле рецензия, да и великовата (10 стр.); скорее разговор по поводу; сегодня я её закон-

чил. Тема для меня не новая. Собираюсь послать её в «Знамя», как делал прежде. Но... Спрашиваешь себя, зачем это нужно редактору и кого вообще может заинтересовать в России такой предмет. Здесь 20 июля, как и другие эпизоды сопротивления нацизму, — да и вообще всё гитлеровское время — остаётся горячей темой: всё новые и новые книги, документальные фильмы и пр. В России же — по крайней мере, у меня такое впечатление — существует сознательное или бессознательное отталкивание от недавней истории, а уж от немецкой и подавно. Правда, я слышу о симпатиях к нацизму, появились поклонники Лени Рифеншталь и т.п. Но это скорее злоупотребление историей, чем подлинный интерес к ней. Кроме того, это — молодость, то есть намерение не только начать жизнь, но и начать сызнова историю. А мы, по крайней мере я, — старьё, — и не в силах отогнать призрак прошлого.

Что касается второй работы, то она в основной части тоже о минувших временах, точнее, о последнем годе войны и нескольких следующих. Правда, под конец всё переносится в нынешнее время. (О котором мне известно меньше, чем о Древнем Риме.) Всё вместе называется «По ту сторону будущего», цитата из Целана. Роман, если это роман, в общем довольно традиционный. Три действующих лица: двое молодых людей и девушка. Больше разговоров и рассуждений, чем действия. Тридцать с чем-то коротких глав. Я воспользовался отчасти воспоминаниями о своей учёбе в университете в 1945–49 годах. Хилый сюжет придуман.

Помню, когда я приезжал — не в этот, а в прошлый раз — в Москву, редакторша «Вагриуса», которая занималась моей книжкой, между делом обронила: «Ну, это, конечно, не будет раскупаться...». Она не скрывала своего презрения к моим писаниям и, очевидно, хотела сказать, что только ради блага (по просьбе Юза Алешковского) занялась этим сборником. Я не знаю, где продаётся книга, продаётся ли она вообще, но уверен, что редакторша была права. И то, что я сейчас сочиняю... неизвестно, где печатать. Единственная возможность — «Октябрь», но у них уже лежат мои творения.

Я собираюсь, о чём уже говорил, полететь в Париж 23 августа и вернуться 14 сентября. Потом в Чикаго дней на восемь, из которых два или три дня, может быть, проведу в Новой Англии у Юза [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.8.02

Дорогой Гена, все-таки мы совладали с твоим компьютером. Завидую твоей работоспособности. Мне-то уж показалось было, что я

больше не стану заниматься прозой. Но хорошо ли, плохо ли, который раз почувствовал: если я не работаю, то просто не знаю, чем заняться. И главное: лишь когда я пишу, я чувствую себя полноценно живущим. Вот почему вряд ли стоит изводить себя постоянным вопрошанием: кому это нужно, кто это прочтет? Значит, иначе просто нельзя, ты это сам знаешь. А если уж удастся худо-бедно печататься, если не нуждаешься в хлебе насущном — это вообще просто счастье. Остальное — вопрос социального самоосуществления, не правда ли? Лучше всех об этом сказал Боратынский: «Мой дар убог, и голос мой негромок»... и т.д. Хорошо время от времени повторять про себя эти дивные строки.

В прошлом электронном послании, которое до тебя не дошло, я писал: «Меня удивило, как ты (в рецензии) прокомментировал мою запись от 24.02.99: «Иногда его охватывает отчаяние». Но там как раз об этом необъяснимом, неправдоподобном чувстве счастья. «Что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро» (ты это место заменил многоточием) — и т.д. Оно, это чувство, необъяснимым образом не оставляло меня и в больницах. Я лежал там в палатах, даже в послеоперационной (реанимационной) не один, можешь лучше меня представить, чего я там насмотрелся, но вбирал в себя эти впечатления с чувством какой-то полноты и полноценности переживаемого. Выразить это пока трудно, поговорим при встрече».

Сейчас могу это лишь повторить. Ты, конечно, прекрасно напишешь о Штауфенберге, но о нем написаны уже тома, добавить новое трудно. А вот любое впечатление твоей насыщенной, несравненной жизни, конкретное наблюдение, размышление могут оказаться бесценными. Вместе они составят картину времени, пережитого тобой, твоего мира — без специальной заботы об обобщении, синтетическом романе и т.п. Ты это умеешь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 19 авг. 2002

Дорогой Марк! Гриша прислал письмо, в котором пишет, что моя рецензия заразила его интересом к «Стенографии». Я дал твою книгу прочесть Эйтану Финкельштейну, он потом передал её Войновичам. Вчера она вернулась ко мне, и я снова зачитался — выкапывал разные даты, то там, то здесь. Можно было бы написать ещё одну книжку, «Комментарии к „Стенографии нашего века” М. Харитонova».

Я наткнулся на одно место (на стр. 377), которое раньше не заметил: говорится о «попытке разобраться в отношении Х.-Ф. к своей стране и своему прошлому. В его оглядке, воспоминании, отражённом в романах, преобладает отвращение».

Можно было бы, конечно, возразить, что, хотя версия российской действительности в моих сочинениях в общем безрадостна, автор не питает отвращения к своим героям. Больше того, я всегда любил их: и деда, и девочку, и Бахтырева в «Нагльфаре», и персонажей «Хроники N» — рассказчика, женщин, даже самого «учителя», и какого-нибудь половецкого хана в «Потопе» — не говоря уже о героях «Антивремени», да, впрочем, это относится ко всем моим романам, повестям и т. д. Вчера как раз исполнилось 20 лет, как мы подняли якорь. Двадцать лет! Последняя неделя в Москве, в августе 1982-го была ужасной. Одних этих дней хватило бы, чтобы сказать себе: нет, никогда в эту страну ни ногой. (Почти те же слова — «ноги моей больше не будет» — произнёс Глинка, выйдя на границе из кареты, и даже, говорят, плюнул в сердцах.) И я знаю весьма многих среди уехавших, кто смотрит на вещи так же. Ведь не может же это быть только индивидуальной чертой, капризом или случайностью.

«Оглядываясь» — не в романах, а просто оглядываясь, вспоминая, что в общем является прерогативой старости, — я вижу, что очень многое потерял и очень многое приобрёл. Главное и общее приобретение есть то, что можно назвать новой оптикой или дополнительным измерением. Постепенно и незаметно оно усвоилось в такой мере, что уже невозможно более представить себя и осознать своё отношение к России без этого нового измерения. Вот один пример. В связи с нынешней работой, о которой я тебе писал, я вернулся к послевоенным и военным временам. Автор не был на войне, но её дыхание должно присутствовать в книге, главные действующие лица — это те, до кого чудовище войны не дотянулось (подобно тому, как в другие времена жители государства — это просто те, кто не провалился в концлагерь), наконец, среди них один, ему 22 года, — инвалид, бывший моряк-подводник. Войну вспоминают, ею всё ещё живут. Она преследует в снах и пр. Так вот, я не могу думать и что-нибудь воображать о войне без этого другого, дополнительного измерения. В книгах, написанных в России, мне не хватает ещё одного глаза. С другой стороны — разве не были все мы в те времена внутренними эмигрантами, чужаками, отщепенцами; я, во всяком случае, хорошо помню это чувство полной, окончательной безнадёги.

Ты скажешь — но теперь всё совсем по-другому. Гм...

Среди многого, действительно очень многого, что меня живо заинтересовало (и о чём в рецензии не хватало места поговорить), есть

записанные от разных людей заявления, что-де разговоры о смерти литературы — пустая болтовня. (Есть замечательная по своей наивности и как бы служащая самооправданием декларация «Дмитрия Александровича» Пригова на стр. 424 и комментарий диариста. Сюда же спившийся скоморох Курицын и т. п.) Я бы тоже не решился утверждать, что литература умерла или умирает. Но кое-что, не будучи принципиально новым, тоже предстаёт отчётливее здесь, в Европе. Например, социальный заказ литературы. Приходится так или иначе вернуться к этому термину первых советских десятилетий. Я слушаю музыку, величайшую музыку, когда-либо созданную, — немецкую музыку. Знать, которая была её заказчиком и потребителем, не была озабочена коммерцией. В дальнейшем её функции — в ещё большей степени это относится к литературе — переняла богатая и просвещённая буржуазия. Она тоже сошла со сцены. Но буржуазия, как сказал Адорно, не оставила наследника. И ныне заказчиком является добившийся благосостояния полубразованный плебс. В массовом обществе произошла тотальная коммерциализация литературного «дела». О чём говорить! Это всё достаточно тривиальные вещи. Тривиальная действительность; но в России, по-видимому, к ней ещё не успели привыкнуть. Всё ещё лелеется надежда, что русский человек или, по крайней мере, российский интеллигент не пойдёт служить Мамоне. Кома Иванов всё ещё рассуждает (поразительное место, найди его) насчёт того, что «средний человек» в России предпочитает, — вместо того чтобы... и т. д., — думать о том, как бы стать великим поэтом, расшифровать неизвестную письменность или решить одну из задач Гилберта. Усратья можно, как говорили в старину. Интересно, где он встречал такого среднего человека.

В числе «Приложений» есть красивое, прекрасно написанное место о покойном Крониде. Я знал его, как тебе известно, довольно близко на протяжении восьми или девяти лет. Он остался в моей памяти каким-то чрезвычайно типичным человеком своего времени. Мне кажется, главным противоречием его жизни, его облика и его деятельности было то, что по своим убеждениям он был демократом, а по натуре — авторитарной личностью. Он не терпел какой бы то ни было критики, те, кто ему возражал, были нечестными людьми. Он был то, что называется *Besserwisser*, и всегда выступал с позиций благогородного человека, воюющего с подлецами; читал мораль в открытых письмах, которые очень любил писать. Он был похож на доктора Львова в «Иванове» у Чехова. Между прочим, я помню и тот фильм, о котором ты говоришь в начале (стр. 384). Кронид показывал его нам у себя дома, вернувшись из Москвы после встречи эмигрантов с совет-

скими литераторами, первой после ликвидации железного занавеса. Истерические вскрипы были у него довольно обычным делом; нервы были, что называется, никуда. Он был человеком бесстрашным и самоотверженным, организовывал и сам оказывал помощь многим людям и при личной встрече производил впечатление неотразимо обязательного человека. Но если кто-нибудь преследуемый и нуждающийся из «дальнего» превращался в «ближнего», если контакт становился регулярным и тем более постоянным, это всегда оканчивалось ссорой. Я был свидетелем тому много раз. Он со всеми ссорился, был даже — в той среде, в которой мы находились, издавая журнал, — ненавидимой фигурой. Теперь и его нет [...]

В связи с романом я копался во всякой всячине; занимался Новалисом. Перелистывал труд о сталинской кинематографии, который прислал мне автор, один немец. На этих днях исполнилось сто лет фрау Лени Рифеншталь. Она в превосходной физической форме, что касается умственных способностей, то за последние 50 лет она, кажется, ещё больше поглупела. Когда-то я написал одну вещичку под впечатлением от её фильмов и выступлений, отчасти и в связи с Эйзенштейном (удивительно, что ни здесь, ни в России никто не говорит о нём как о профашистском художнике). Посылаю тебе для развлечения [...]

Плечом к плечу

Чтобы понять, что такое литература, достаточно прочесть один роман. Чтобы постигнуть искусство парадов, мало увидеть военный парад. Надо отвлечься от всего постороннего: от славы, патриотизма, величия победителя и т.п.

Моей дипломной работой в Академии государственных искусств были шахматы на площади. Кони были живые, слоны принадлежали известной цирковой труппе. Лады представляли собой подобия крепостных башен из раскрашенной фанеры на колёсах. На высоких подвижных постаментов стояли полководцы-ферзи, два короля, белый и чёрный, медленно передвигались, сидя под своими балдахинами, под звуки труб, а пешками были молодые солдаты в шлемах и латах ландскнехтов. По обе стороны площади воздвигнуты были трибуны для публики, для удобства выполнения команд буквы и цифры были начертаны на клетках, что же касается шахматистов, то они находились с мегафонами, каждый со своей стороны, на специальных платформах; прибавлю, что меня совершенно не интересовало, кто выигрывает.

Успех этой работы, а также некоторые другие обстоятельства открыли передо мной широкую дорогу; после кратковременной работы в одном похоронном бюро и двух-трёх провинциальных театрах я занимался праздничным оформлением улиц, был назначен инспектором, а затем и главным декоратором столицы.

Не буду говорить о достижениях в этой области, о предложенной мною контурной иллюминации зданий, новой системе подсветки портретов и пр. Лучшие, наиболее продуктивные годы я смог отдать любимому делу — композиции парадов.

Многие считают, что я преобразил искусство парадов. Я скромно принимаю эту характеристику. Парад представляет собой синтез искусств: свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, динамика и гармония, пластика и мощь, обдуманное сочетание классической стройности и дисциплины с элементами модерна и даже авангарда, — да, я не стану отрицать, что эстетика современного парада не только нашла в моём творчестве наиболее совершенное воплощение, но по сути дела создана мною. Спросите: кто отец современного массового зрелища, кто возродил традиции античного народного театра, игр и шествий под открытым небом? Вам назовут моё имя... До сих пор обо мне пишутся диссертации. Изобретённый мною развёрнутый строй вошёл во все руководства. Фильмы с моими работами демонстрируются во всём мире.

В качестве иллюстрации сошлюсь на большой военный парад по случаю 50-летия события, хорошо вам известного и о котором в данный момент нет надобности вспоминать. Дело ведь не в поводе. Повод мимолётен, искусство остаётся. Так вот: в чём главная особенность этой композиции, в чём её оригинальность? Парад начинается с выступления конных барабанищиков, музыка смолкает, слышен только гром барабанов. Они приближаются. Эскадрон построен клином, следом за двумя знаменосцами галопируют три всадника с барабанами по обе стороны седла, за ними шестеро и так далее, причём парад проходит не мимо публики, дипломатического корпуса и трибуны руководителей во главе с вождём, а движется им навстречу! Подъехав к трибуне, знаменосцы опускают свои штандарты... В своё время мне понадобилось немало усилий, чтобы убедить начальство в преимуществах моего проекта: в то время как художественный совет единогласно поддержал меня, а высшая контрольная комиссия хоть и со скрипом, но дала своё согласие, чины госбезопасности забеспокоились. Меня выручили мои связи.

А затем знаменщики расходятся в стороны. То же делают два фланговых барабанищика, средний вольтижирует на месте, сзади

подходят следующие; весь эскадрон разворачивается наподобие веера перед зрителями. Вступает музыка, две колонны военных оркестров расходятся в свою очередь, чтобы уступить место отряду пеших знаменосцев. После чего площадь на короткое время пустеет; звучат команды; весь остальной сценарий вы можете проследить на экране.

Ещё один пример; одна из моих ранних работ... Обратите внимание на этот кадр. Шеренга, плечом к плечу, спускается с парадной лестницы Мемориала побед. Каждый шаг в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Шаг — вспыхивающий блеск сапог — ступенька. Достигнуто абсолютное единство пространства и движения, звука и света.

Можете ли вы мне объяснить, какое отношение это имеет к идеологии?

Я хочу ещё раз подчеркнуть: не надо путать искусство с политикой. В моём лице вы имеете дело с художником. Эти руки привыкли владеть пером и кистью. Они умеют обращаться с чертёжной линейкой, но никогда не касались ножа или карабина. Против меня выдвинуты фантастические обвинения, моё честное имя вываляно в грязи, раздаются требования изъять из библиотек мои теоретические труды. Дело дошло до того, что кое-кто снова, уже в который раз, вознамерился возбудить процесс. Меня хотят упечь в тюрьму. Интересно было бы узнать, где были в те времена эти обвинители!

Не исключено, что они сами были активными пособниками режима, да, я всё больше укрепляюсь в подозрени, что именно они были пособниками — в отличие от меня. А теперь пытаются отвлечь внимание общественности от своего неприглядного прошлого. Старая тактика, вор кричит: «Держи вора!»

Позволю себе заметить, что всю свою историю, на протяжении веков и тысячелетий искусство пользовалось покровительством власти. Так было всегда и везде. Но это не значит, что оно ей служило! Искусство служит людям и самому себе. Напомню, что я даже не был членом партии. Будучи всего лишь скромным композитором парадов, я не имел права находиться на правительственной трибуне. Я никогда не читал произведений вождя! Не говоря уже о классиках революционного учения. Я работал, у меня не было времени этим заниматься. Я не совался в политику. Мне было абсолютно неинтересно, что там написано на всех этих плакатах и транспарантах, что выкрикивали в репродукторы зычные голоса. Свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, стройность рядов и выве-

ренность движений, одним словом — искусство. Вот что было главным, вот что составляло суть и душу моих композиций. Вот задачи, которые я решал.

На меня хотят взвалить ответственность за то, что не имело ни малейшего отношения к моему творчеству. Ответственность — поставим точки над *i* — за некрасивые дела режима. Какой абсурд! Я глубоко сочувствую судьбе погибших. Но я узнал о них только сейчас. В конце концов, мы жили в цивилизованном государстве, где существовали определённые законы, которые надо было уважать. Ошибки, конечно, везде возможны, — назовите мне государство, общество, где царит полная справедливость, нет такого общества! Я полагал, что если кого-то арестовали, значит, для этого есть основания. Я никогда не слышал о концлагерях! Мы, люди искусства, живём в особом мире — в мире наших замыслов, наших грёз. Согласен, это можно поставить нам в вину. Но тогда уж будьте последовательны: обвиняйте искусство — в том, что верно самому себе.

Литература, философия — там другое дело. Ответственность писателя за свои слова очевидна. Но для того чтобы постигнуть искусство парадов, необходимо забыть о лозунгах, отбросить шелуху слов. Ибо в своей глубочайшей сути оно не имеет с ними ничего общего.

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.8.02

Рад был твоему великолепному письму. Спорить тут не с чем. Я написал о Крониде, каким его знал, ты знал другого Крониду. Мы оба вряд ли претендуем на исследовательскую объективность. Замечательно твоё рассуждение о том, что автор не может испытывать отвращения к своим героям, он любит даже самых мерзких. Но человек не может не испытывать отвращения к иным проявлениям реальной жизни. Я лично испытываю, хотя и не в такой степени, как ты. Но у нас разный жизненный опыт. И т.д.

Это уже можно называть «комментариями», «размышлениями по поводу» конкретного текста. Замечательный, плодотворный жанр эссеистики. Я, конечно, лицо заинтересованное, но думаю, это может быть интересно не только мне [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] Статья старика Райха-Раницкого произвела на меня удручающее впечатление. Она должна быть частью книжки о пионерах литературы XX века, отобрано семь таких Wegbereiter, но тут тебе стараются доказать, что Музиль-то как раз им и не был, его новаторство — миф. Посмотрим, что будет в книге. То, что помещено в Spiegel'e, удручает не только тем, что приспособлено к духу и стилю этого журнала с характерной для него топорностью, с его кое-как, в спешке, написанными статьями, всегда по одному шаблону, ибо все они пишутся в редакции. В конце концов, Р.-Р. прошёл очень долгую школу работы в двух больших газетах, научился писать чётко, ясно, доходчиво, дидактично, безапелляционно, всё это обеспечило ему успех у «широкого круга», и если наши пороки, как говорит Ларошфуко, суть обратная сторона наших добродетелей, то здесь мы как раз и находим изнанку его достоинств.

Нет, от статьи у меня осталось такое тяжёлое впечатление и потому, что она, как ни странно это звучит, показалась мне направленной против меня, против таких, как я. Разумеется, я сам как писатель в кругозоре Райха-Раницкого, достаточно широком, не существую. Кажется, он читал или перелистывал мою первую из опубликованных здесь книгу, счёл её автобиографическим романом, и, по-видимому, этим всё ограничилось. Однажды, это было давно, я бегло с ним познакомился, получил от него в подарок книжку статей о Гейне, но, конечно, и это не могло остаться в его памяти. Мне случалось говорить о нём по радио Свобода; однажды я опубликовал в нашем бывшем журнале кое-что о нём, он был в то время в России совершенно неизвестен, и мне казалось (по глупости), что это может кого-то там заинтересовать; я перевёл и поместил в журнале отрывок из одной его беседы. И даже совсем недавно писал о нём в статье под названием «Критик. Критика. Литература», она была напечатана в «Октябре». Но Р.-Р., «римский папа литературы», обитает, так сказать, во дворце, и я даже не могу сказать, хотелось бы мне познакомиться с ним в жизни поближе: вряд ли я нашёл бы с ним общий язык. Насколько я могу судить, он довольно неприятная личность. Как бы то ни было, я всегда читал его, хоть и с некоторой неудовлетворённостью, но с удовольствием. Он в самом деле прекрасно умеет писать.

Его интерес всегда был сосредоточен на немецкой литературе, он в полном смысле слова живёт литературой, и его великая заслуга состоит в том, что, в качестве чрезвычайно влиятельного литературного критика, он, как никто другой, сумел поднять престиж литературы в

обществе, где ей уготовано место в передней и на обочине. Русская литература и тем более литература русской эмиграции его не интересует, если он обращается к русским писателям в своих писаниях или выступлениях, то оперирует обычным, строго ограниченным набором имён: Толстой, в меньшей степени Достоевский и Чехов, в крайнем случае Тургенев и Лесков. В знаменитом «Литературном квартете», насколько я помню, книги русских авторов, в отличие от других иностранцев, например, американцев и англичан, обсуждались за десять лет считанное число раз: переиздание Булгакова, новый перевод Достоевского, однажды дискуссия была посвящена последней книге Битова (оценённой очень кисло), вот, кажется, и всё.

Так вот, о статье. Она поражает своей грубостью, нахрапистостью. По-моему, он больше, чем прежде, играет на публику, хочет приперчить свои доводы привкусом скандала. Некоторые высказывания возмутительны. Нищета Музиля объясняется очень просто: сам виноват. Патологически самовлюблён, до невозможности переоценил себя. Из статьи, как дважды два, выясняется, что Музиль — весьма скромный талант, который лезет в большие прозаики; не умеет создать живые характеры, не в силах построить сюжет, создать романную интригу, рассказать историю; и там, где пытается это делать, вторичен, беспомощен, банален.

Но в статье есть нечто более важное, и оно-то, по правде сказать, меня и задело (возможно, задело и тебя).

Речь идёт об «зссезизме». Речь идёт о противопоставлении того, что называется в статье *das Sinnliche*¹, тому, что он называет *das Begriffliche*². О бесконечных философствованиях автора «Человека без свойств», в которых тонет повествование и которые, конечно же, подвергают терпение читателя непомерному испытанию. Собственно, на эти упрёки, которые делаются не впервые, много раз уже и отвечено. Книга Музиля — не роман, которые читают как обыкновенные романы, скорее это то, что надо читать отдельными страницами, малыми порциями, как крепкий кофе пьют маленькими глотками из крошечных чашек; читать, постоянно возвращаясь к прочитанному, лишь тогда оказывается, что игра стоит свеч. И персонажи его — не действующие лица обычной повествовательной прозы, о них хотя и рассказывается, но гораздо больше делается отсылка к подразумеваемому рассказу, к повествованию в собственном смысле, где они были бы действующими лицами. Вообще можно сказать, что это книга, в которой

¹ чувственное начало, чувственный элемент (*нем.*)

² рассудочный, отвлечённый, интеллектуальный элемент (*нем.*)

как бы содержится другая книга, и в той, подразумеваемой книге «всё в порядке»: есть и сюжет, и действующие лица; но вся беда в том, что реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция действительности. Или, если угодно, нам предлагают огромное зеркало, в котором мелькает то, что, собственно, должно было служить содержанием романа, быть романом в собственном смысле.

Любопытное совпадение: Р.-Р. цитирует то самое место из «Человека без свойств» [...], которое я когда-то, ещё в России, взял в качестве эпиграфа к роману «Я Воскресение и Жизнь». Найди его: о том, что порядок жизни, к которому тянется человек, есть не что иное, как порядок повествовательного искусства. Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler¹, и т.д. Критик находит в этом пассаже некое саморазоблачение писателя: не Ульрих, а сам автор декларирует своё недоверие к повествовательному принципу, ergo, и к художественной литературе, к её незыблемому закону. А почему? А всё потому, что нет сил, не хватает таланта создавать истинно художественную литературу.

И вот я думаю: прав ли он? Ведь сам я, насколько могу судить о себе, тоже отношусь к тем писателям, в общем-то чуждым русской традиции, для которых «эссеизм», рефлексия о происходящем в романе, является неотъемлемой частью повествования, компонентом художественного целого (а не довеском к нему). Означает ли это, что я собственными руками, воздвигая здание, тут же его и разрушаю? Что значит — подвергнуть сомнению повествовательный принцип; значит ли это отказаться вовсе от него и заменить рассказ рассуждениями о рассказе? У меня ведь давно уже нет безусловной уверенности в том, что мой «метод» единственно правилен.

В бумагах Музиля есть такая запись (я когда-то на неё наткнулся и цитировал, конечно, в переводе, в одной статье). Говорится о разговорах Ульриха с Агатой. Всё уходит в песок.

«То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начало, начало вождения — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реали-

¹ Большинство людей — рассказчики по отношению к самим себе (нем.)

стически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания».

Под «теорией», если я правильно понял его мысль, как раз и подразумевается система внутрироманных оценок, сложный комментарий к происходящему, точнее, к тому, что рассказывается о происходящем. Этот комментарий в романе обычно приписывается главному герою, отчего, конечно, и сам «герой» невероятно страдает. При такой нагрузке ему просто некогда жить, понятно, почему он не в состоянии по-настоящему, как положено мужчине, «вождедель» Агату. В записи Музиля, по-видимому, содержится надежда, что эту перегрузку (которую следует отнести ко всему гигантскому роману) можно преодолеть, включив её в повествование, — но как? Я думаю, что по крайней мере в первом томе это ему всё-таки удалось.

Заслуживает ли коротенькая статья вообще такого длинного разговора? Там есть ещё кое-что, вызывающее тяжкое чувство, чтобы не сказать — отвращение. Ключевое слово — *Unterhaltung*¹. Это вообще одно из самых ходовых словечек, которые я слышу по телевидению, по радио.

Статья проникнута убеждением, что литература должна непременно «развлекать». Об этом не говорится, это как бы разумеется само собой. Давно сказано: все жанры хороши, кроме скучного. Совершенно справедливо. Но так можно было спокойно вещать в прежние времена, сейчас к этому афоризму приходится отнестись с большой насторожёностью, потому что за ним стоит рынок. Что говорить! Музиль требует такого встречного усилия, что быстро утомляет. Со смаком, с удовольствием Р.-Р. цитирует Додерера (как будто сам Додерер не скучен) и других. Теперь, спустившись с высот на нашу землю, я легко могу себе представить, как читатель, взявшись за какое-нибудь из моих изделий, зевнув, захлопывает книжку: «Скукота! Заумно...». Собственно, вся литературно-критическая деятельность Райха-Раницкого имплицитно преследует цель разрушить границу между «Е» и «U», то есть между «серьёзным» и «развлекательным» чтением. Это довольно распространённая тенденция, можно сказать — пафос общества, в котором я живу. И уже по этой причине с Музилем, который весь — воплощённый протест против капитуляции перед рынком, надо покончить [...]

¹ Развлечение (нем.)

Дорогой Марк, меня несколько раззадорило упоминание, что текст о Музиле — часть беллетристического произведения, вот бы взглянуть, как этот текст интегрирован в художественной прозе. Нечего и говорить, что он меня весьма заинтересовал, ведь это, можно сказать, «моя» проблематика. Во всяком случае, к ней всё время проходит возвращаться.

Мне кажется, во мне растёт протест против эссеизма. И вместе с тем от него невозможно отказаться — уже потому, что он представляет собой, по-видимому, наиболее адекватный метод обуздать реальность. Вернее, примирить её с художеством. Я когда-то написал статью, где говорилось о крахе эссеизма. Не этот ли крах был причиной грандиозной неудачи Музиля?

Нужно было сотворить некий новый синтез действительности. Но оказалось, что что-то произошло в литературе; синтетический роман стал невозможен. И он схватился за эссеизм, попытался создать синтетический роман о невозможности синтеза. Я, вероятно, слишком кудряво выражаюсь [...]

Дорогой Марк, ты спрашиваешь, что я разумею под синтетическим романом. Нечто не вполне ясное, по правде сказать; некий соблазн, который иногда приобретает вид неисполнимого долга. Возможно, что-то похожее на то, что верховный гуру постмодернизма Льюгар назвал *метанаррацией*: повествование, объединённое высшей, общезначимой, универсалистской идеей. Метанаррациям, сказал он, пришёл конец.

Синтетический роман — мечта, с которой носились Герман Брох, Томас Манн, Роберт Музиль. Правда, они не пользовались этим названием. Брох говорил о «полигисторическом романе». Об этом есть интересные письма от 3 и 5 августа 1931 г.: он упоминает Джойса, А. Жида, Т. Манна, Олдоса Хаксли; но и они не создали того, что ему грежится. Они (за исключением Джойса, вовсе не ставившего такую задачу перед собой) не сумели осуществить слав историософии и художества. «Даже мой друг Музиль, при том, что у него есть преимущество — в его распоряжении отличный, натренированный в науке мыслительный аппарат, — даже он не защищён от этого упрёка».

Нет. Я говорю не об этом. Не совсем об этом.

Время от времени чувствуешь потребность подвести итог.

Это должен быть итог жизни и вместе с тем итог «времени», эпохи, в которую пришлось жить. Разумеется — итог, достигаемый слиянием «художественного» и «эссеистического». Итог, который подводят, подавляя влечущий позыв — преодолевая отвращение к этой эпохе.

Среди колоссальных трудностей, которые воздвигаются перед пишущим, есть по крайней мере одна объективная трудность, препятствие, которое раскалывает всё повествование; а ведь мы говорим о синтезе. Это — дошедшее в этом веке до крайности, до невероятия противоречие между мёртвым временем народов и реальным временем человека; между человеческим, то есть подлинным и единственно достойным, существованием и злодейской, абсурдной, мёртвой, вампирственной стихией — можешь называть её Историей, Национальностью, государственной Необходимостью, как угодно.

Другими словами, цементирующей идеей искомого синтетического романа оказывается анархическая идея — заведомо неконструктивная. Sinngebung, разумное истолкование, «придание смысла», оказывается невозможным, так как исторического разума не существует. История дискредитирована, вера в разумный ход вещей радикально подорвана, подобно тому как подорвана вера в Бога.

Я написал года полтора тому назад небольшую повесть, она называется «Следствие по делу о причине», — вещь, по-видимому, неудавшаяся, но о ней стоит упомянуть. Речь идёт о гибели двух подростков, учеников лесной школы, в результате сложных переживаний; это возраст, когда живут, эмоционально и духовно, с необычайной интенсивностью; собственно, это и есть настоящая человеческая жизнь. Между тем, — о чём, конечно, не знают не только дети, но и учителя и родители, — между тем — лучше я просто приведу цитату: «...что-то клубилось и колыхалось, что-то творилось в лабиринтах государственных канцелярий, в недрах разведывательных управлений и военных штабов, происходили тайные совещания, произносились зловецкие речи, подписывались и визировались многостраничные планы под кодовыми названиями, с чертежами, со стрелами наступающих армий. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное несоответствие того, что происходило на самом деле, с жизнью людей».

Соблазн и необходимость синтетического романа в конечном счёте состоят в этой потребности придать смысл бессмыслице. Но это неосуществимо. По крайней мере для меня поезд ушёл, и горько думать об этом [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.10.02

Какое удовольствие, дорогой Гена, читать умные письма! Сразу начинают бурлить ответные мысли, которые принимают форму во-

просов. Не связана ли принципиальная невозможность «синтетического романа» с исторической ограниченностью самого понятия, самого жанра? Почему непременно роман, а не поэма, не просто, в конце концов, книга, текст? Например, Библия, где соединены история, начиная от сотворения мира, судьбы отдельных людей, любовные песнопения, философская эссеистика? Только эта Книга состоит из многих книг — но не такую ли единую, свою книгу создает в течение жизни каждый пишущий? Может, и ты свою книгу все-таки создал, продолжаешь создавать — зачем непременно называть ее романом? Может, именно тут ошибка Музиля?

Меня очень заинтересовала твоя повесть о двух подростках. Была ли она где-нибудь напечатана? Скажи, где. Я как раз обдумываю повествование об этом возрасте. Для электронной почты такой объем слишком велик, перекачивать не надо, но если есть бумажный текст, может, пришлешь обычной почтой? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, насчёт поэмы — да, пожалуй, можно вспомнить две русских поэмы XX века, напоминающих то, о чём идёт речь: «Возмездие» Блока и «Поэму без героя» Ахматовой. Но первая не случайно осталась неоконченной, а вторая вся в сфере лирики. «Умчался век эпических поэм», это ещё Лермонтов сказал.

Что касается прозы... В том-то и дело, что речь идёт не о совокупности произведений. О Чехове можно было бы сказать, что все его рассказы и повести — это грандиозный мозаичный роман человеческого существования в России в такую-то эпоху. Но нет. Речь идёт о горé, не о цепи холмов; о едином творении, едином в точном смысле слова; это — *conditio sine qua non*¹. Жанр (принадлежность к определённому жанру, жанровая дисциплина) есть, по моему мнению, необходимое условие художественной прозы.

Можно ли считать синтетический роман «принципиально невозможным»? Я в этом не уверен. Очень может быть, что постулаты теоретического постмодернизма окажутся так же недолговечны, как недолговечными оказались пророчества о смерти романа вообще. (Смерть романа означала бы смерть литературы.) Мы говорим об ошибке Музиля; сам он, я думаю, свой замысел не считал ошибкой. Марта Музиль говорила, что он рассчитывал ещё на 20 лет работы. Взвешивались разные возможности выхода их тупика [...]

¹ необходимое, непреходящее условие (*лат.*)

М. Харитонов — Б. Хазанову

31.10.02

Дорогой Гена, трудно обсуждать нечто гипотетическое, так никем и не реализованное. Ты цитируешь: «Умчался век эпических поэм» — и тут же пишешь: «Смерть романа означала бы смерть литературы». Почему? Поэма старше романа, с ней литература не кончилась. Ты пишешь: «Принадлежность к жанру, жанровая дисциплина есть необходимое условие художественной прозы». Как это отнести к «Улиссу» Джойса или к «Египетской марке» Мандельштама? Эпопея Пруста — это «цепь холмов» или «гора»? Ну, и так далее. Нам есть о чем горевать, но все-таки, мне кажется, не об этом.

В твоём прошлом письме меня заинтересовали слова о подростковом возрасте — «когда живут, эмоционально и духовно, с необычайной интенсивностью; собственно, это и есть настоящая человеческая жизнь». Я себя в этом возрасте не очень люблю вспоминать; другое дело детство. Не распространишь ли свою мысль? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] Вчера я послал тебе эту повестушку, дорогой Марк, для которой я, как почти всегда, воспользовался собственными воспоминаниями — в качестве кулис и сценической площадки; сюжет, само собой, выдуман.

Сказать подробней об отрочестве? То, что это — самое, может быть, трудное и самое напряжённое время жизни, объяснений не требует. Но одно дело общее правило, а другое — жизнь конкретного человека, которую мы пытаемся «изобразить», то есть изобрести заново.

Сам я помню это время очень ярко и подробно — лишнее доказательство интенсивности прожитого. Периодизация маркирована для меня конкретными датами: время подростка начинается в декабре 1940 года, когда меня определили в лесную школу (я помню, как мой отец писал карандашом, чёткими красивыми буквами на изнанке ворота моей курточки: «Геня Файбусович, 12 лет»). Кончается в августе 1944-го: мы — я, моя мачеха и брат — вернулись из эвакуации в Москву.

Едва началось это время, как произошёл перелом. Всё, что занимало и увлекало ещё каких-нибудь несколько недель тому назад, перестало быть интересным. Например, детская научно-фантастическая литература: «Пылающий остров» Казанцева, «Морская тайна» Адамова, «Арктания» Гребнева, «ГЧ — Генератор чудес» не помню кого и

т.п. Вдруг как отрезало: я потерял к ней интерес. В лесной школе я стал читать «Отверженных» Гюго, потом «Героя нашего времени», ещё что-то, с огромным увлечением, но речь шла уже не о замечательных изобретениях, таинственных лучах, гидропланах или подводных лодках. Другое новшество — экзотическое существование девочек. Необычайно сильное переживание дружбы со сверстниками: была компания из четырёх мальчиков (один из них был племянником Матиаса Ракоши), которую я оставил ради дружбы с другим учеником, меланхоличным романтиком по имени Ваня Попов; это была измена, которая воспринималось как драма и была ею, в сущности.

Это время огромное, длинное; кажется, что оно растянулось на много лет. Я к нему возвращался в разных сочинениях. Например, в старом романе «Антивремя»:

«В приснопамятную пору мне исполнилось тринадцать лет; это было злое, несчастливое время. Я стал худеть [...] Детство сравнивают с античной древностью, но я бы назвал его средневековьем, восхитительной, на мой взгляд, порой в истории человечества, а вот отрочество — это шестнадцатый век! Сырой ветер, запах тления — гниют какие-то остатки, — томительное чувство свободы, мокрые ноги, кризис плоти и взрывы дикого авантюризма. Голова кружится от наплыва мыслей. Вселенские замыслы: придумать новую религию, создать универсальную формулу человека, написать великую поэму. И, наконец, чихнуть на “всё” и записаться в Иностраннный легион...» [...]

? 11.2002

[...] Я закончил свой роман¹. В Париже мне казалось, что я поставил последнюю точку, но потом пришлось всё заново прочёсывать, кое-что добавлять, менять и т.п. В итоге получилось 145 компьютерных страниц, с полуторным интервалом, для романа, собственно говоря, маловато. Всё же у меня ощущение, что это роман, а не повесть. Так как сюжет и сквозные мотивы отчасти связаны с Германией, то это «немецко-русский роман». Что, конечно, не прибавит ему шансов понравиться российским читателям — если таковые найдутся. Тем не менее написано это не для здешнего употребления, а для России и о России.

Это в некотором роде итог. Может быть, вообще мой последний роман. У меня всякий раз, когда я сочинял что-то длинное, было убеждение, что я подвожу итог; всякий роман есть итог; синтетический

¹ Имеется в виду роман «К северу от будущего»

роман остался неосуществимой мечтой, то, что я сейчас состряпал, — во всех отношениях «не то»; и всё-таки мне кажется, что я подвёл черту, по крайней мере для себя, под определённой эпохой. Очень короткой — речь идёт о послевоенных годах. Но речь идёт также и о войне; правда, она занимает немного места. Я уже писал тебе, что смешно и слишком уж самонадеянно было бы писать о войне, на которой не был. Речь идёт, скажем так, о последствиях войны. О лучезарном будущем, которое раскрылось, как небеса, перед всеми, и особенно перед такими юнцами, какими мы были тогда, в мае 1945 года, — и что из этого вышло. Там есть и нечто вроде эпилога, дань сегодняшнему времени. Теперь это будущее — далёкое прошлое; несостоявшееся будущее.

То, что меня так часто тянет писать о прошлом, объясняется и тем, что я живу вдали от России, от «актуальности», и недоверием к актуальности (быть *своевременным* отнюдь не значит быть *современным*, скорее наоборот), и, конечно, возрастом; и даже (возможно) неутоляющим интересом к военному и послевоенному прошлому, который существует здесь, — влиянием этого интереса. Но не только. Хочется *понять*: что такое, собственно, было это прошлое? В чём его смысл, и не равнозначен ли он драматической бессмыслице.

Триумф победы в 1945 г. можно сравнить только с триумфом 1813 года, и есть даже сходство в общей схеме событий: небывалое по масштабам нашествие, враг под Москвой, а в итоге — русская армия в столице врага. Но какая огромная разница. Война с Наполеоном в самом деле завершилась победой; война с Германией обернулась в конечном счёте — думал ли кто-нибудь тогда об этом, мог ли допустить эту чудовищную мысль? — обоюдным разгромом побеждённых и победителя. Второй великой державой стал инвалид, жестоко покалеченный войною. Оправиться от победы он уже никогда не смог, как не могла отрасти ампутированная конечность у одного из моих персонажей [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.11.2002

Дорогой Гена, почти забытое удовольствие: получить по настоящей почте настоящий конверт с настоящими марками. Спасибо. Ты несправедлив к своему сочинению: хороший рассказ. Не знаю, как насчет современных журнальных вкусов, но место в твоём собрании сочинений он займет по праву. Твои размышления о несовместимости отдельной человеческой жизни с историческим абсурдом, разумеется, справедливы. То, что называется историей, создают при этом не только политики,

военные или тайные службы. Люди идут посмотреть музыкальный спектакль, оказываются заложниками и умирают. Или вообще без людских козней: собираются на пикник в прекрасной долине, вдруг с гор срывается ледник и всех накрывает. Или это называется уже не историей, а стихийным бедствием? А чем была когда-то чума, опустошавшая целые страны? А к кому обращал свои недоумения Иов? Жизнь хрупка и уязвима перед абсурдом — видимо, не только истории [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

31.11.02

[...] Несколько раз я говорил себе (и тебе писал), что кончил возиться с романом, потом снова что-то доделывал, и это могло продолжаться неопределённо долгое время. Но теперь баста, больше я к нему не притронусь. Объём невелик, и я даже был настолько самонадеян, что позвонил в «Октябрь», с вопросом, не прислать ли им. Не надо было, конечно, соваться, — и не только потому, что возможности публикации моих писаний в России становятся всё сомнительней.

Это не поза и не кокетство. (От которых, как известно, писателю или псевдописателю нелегко освободиться.) Нет. Вчера вечером я бродил по нашей окрестности, и не могу тебе рассказать, какое тяжёлое чувство было у меня от мыслей об этом несчастном романе. Главное — ничего уже невозможно поправить. Представь себе человека с мешком на спине: нёс, нес, спускался и поднимался по лестницам, шёл длинными коридорами. И оказалось, что дверь на улицу не то чтобы заперта снаружи, но вообще никаких дверей нет.

«Там», то есть в России, у этого сочинения вовсе нет никаких шансов. Оно и не о том, что интересует людей, и написано не тем языком, на котором говорят и пишут. (Сколько раз я замечал, что в моей прозе то и дело встречаются слова, обороты и даже целые конструкции, которые никогда не употребляются в книгах и журналах, выходящих в России, в российском Интернете, не говоря уже об устной речи.) Смех в том, что то же самое происходило бы, если бы я находился в России. Было бы, наверное, ещё хуже. Здесь я не чужой и не свой, а просто остаюсь самим собою; там я чувствовал себя чужим и абсолютно ненужным и остаюсь им. Но всё это не так важно по сравнению с более существенным; какое мне дело, в конце концов, до этих «шансов», я живу за тысячу вёрст. Выполнить задачу, которую явно или неявно ставишь перед собой, — вот главное. Проза дефектна сама по себе. Что именно в ней не так, я, по крайней мере сейчас, не могу по-

нять: мёртворождённые персонажи? схематизм? плакатность? неслаженность композиции? неопределённость замысла? Внутренние силы, которые разрывают вещь на куски? Слишком мало сказано или, наоборот, чересчур рассуслено?

С горя я взялся за другое, сочинил рецензию о большом томе Œuvres Мишеля Чорана, который привёз из Парижа, начал писать один рассказик, из которого тоже выходит мало что путного

Что ты пишешь? Нет ли желания продолжить расшифровку стенограмм? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.12.2002

Дорогой Гена, мне казалось, в прошлом письме (от 12.11) я сообщил тебе, что видел анонс твоего «Третьего времени» в «Дружбе народов» на будущий год. Даже помню, как приписал слова: «А ты говорил!» Сейчас посмотрел — это место как будто выпало. Во всяком случае, к твоему сведению.

Мне близки и более чем понятны твои сомнения и твоя грусть. Я сам сейчас пребываю в состоянии некоторой неуверенности, отложил начатую прозу, думаю над другими возможностями. Постоянная, необходимая перепроверка, переоценка ценностей.

Ты спрашиваешь насчет стенограмм. Конечно же, я продолжаю вести их и в новом тысячелетии. Даже подумал, что стоит не откладывать расшифровку до конца века, может быть, кое-что даже предлагать для публикации по ходу дела. Из записей последнего года составила небольшая подборка, которую я озаглавил «Состояние культуры». Я предложил ее в газету «Культура», редактору, вроде, понравилось, она ждет решения начальства. Вот тебе пока небольшой фрагмент — читательские заметки.

«По ходу работы понадобилось полистать «Игру в бисер» (можно ли назвать первоначальное устройство для игры подобием счетов) — и невольно зачитался описанием «фельетонной эпохи».

«Люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущей дотопной глупостью, они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка», «с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили на бумаге, полную деморализацию духа, инфляцию понятий», «получали уйму анекдотического, исторического, психологического и всякого прочего материала», «пробирались

через море отдельных сведений, лишенных смысла в своей обрывочности», «склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным правилам». И т.п. Как будто о наших днях. «Образовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в как можно более безобидный фиктивный мир».

Это писалось 60 лет назад. Термина «виртуальная реальность» еще не существовало. «Приближалась ужасная девальвация слова, которая сперва только тайно и в самых узких кругах вызывала то героически-аскетическое противодействие, что вскоре сделалось мощным и явным и стало началом новой самодисциплины и достоинства духа».

Мне здесь нравится эпитет «героико-аскетическое» — таким может быть личное сопротивление упадку. Утопия совместного противодействия виделась Гессе чем-то вроде монастырского ордена. Соотнести ее с реальностью будущего убедительно не получилось: перемены произошли более мощные и масштабные, чем он мог представить (даже не пытаюсь мысленно заглянуть дальше автомобиля и радио). И все-таки сопротивление не может не остаться потребностью, хотя бы на уровне самосохранительного инстинкта. Без него — разложение, вырождение, гибель. Какие-то механизмы, природные ли, духовные, исподволь начинают работать».

Ты как-то мне посылал страничку своего дневника (о пребывании в Венеции), я тебе, помнится, написал, что это производит впечатление конспекта, который стоило бы развернуть для потенциального читателя. Тебя эта идея, видимо, не вдохновила. Но, может, в самом деле неплохо бы на время отложить беллетристику и поработать над какими-то заметками, фрагментами, без обязательной связи: размышления, эпизоды, воспоминания о встречах? И даже не откладывая беллетристику — между прочими делами? Ты ведь природный эссеист, но как будто недоиспользуешь своих возможностей — а лучшая твоя книга, может быть, сложится исподволь именно в этом жанре.

Сердечно тебя обнимаю. Твой Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

4.12.02

Дорогой Марк, я помню, что когда впервые прочёл роман Гессе, очаровавший меня, — это было больше тридцати лет назад, — я вос-

принял это вступление о «фельетонистической эпохе» иначе, нежели мог бы воспринять его теперь, когда мы в самом деле окунулись в эту эпоху. При этом она, конечно, далеко переплюнула то, над чем посмеивался (или чему ужасался) автор «Игры в бисер». Ведь в его время ещё не было телевидения.

Позавчера у нас были в гостях Гарри Просс с женой, старые друзья. Это известный в Германии публицист, бывший главный редактор Радио Бремен и отставной профессор Свободного университета (FU) в Берлине. У меня много его работ. В 1996 году он писал (в книге под названием «Der Mensch im Mediennetz¹»), что время радиопередачи неуклонно сокращается, места для заметки в газете или журнале остаётся все меньше, в результате любое сообщение становится всё более схематическим, то есть примитивным. С другой стороны, и об этом тоже не раз говорилось, всё вплоть до политических дискуссий с необходимостью должно принимать развлекательный характер. Я и сам писал о трёхглавом монстре телевидения и т.д. Если же иметь в виду специально литературу, то я убеждён, что за все века её существования у литературы не было худшего врага, чем телевизор. И это притом, что, как нам постоянно напоминают, телевидение пропагандирует литературу, телевидение рассказывает о книгах, о писателях, отмечает юбилеи, на какое-то время оживляется интерес к такому-то классику, ставятся фильмы, продаётся больше книг, — последнее, собственно, и есть *ultima ratio*². Тем хуже, увы, тем хуже.

Хотя Гессе и сам не верил в касталийскую утопию — об этом, собственно, весь роман, — мне в разное время (думаю, что и не только мне) приходила в голову мысль: то, что старые немцы называли Geist, могло бы возродиться при условии новой инкапсуляции высокой, то есть подлинной, культуры. Культура свёртывается в клубок, забивается в скорлупу, как улитка, — это способ самозащиты. Мы вернулись бы в эпоху Высокого Средневековья, в XIII век.

Э-хе-хе.

Но я не знаю, можно ли вообще вести сейчас разговоры на эту тему в России. Я раскрываю наугад какой-нибудь литературный журнал и вижу почти всегда безвкусицу языка, приблизительность словоупотребления или просто неправильное пользование наскоро усвоенными иностранными словечками, очевидное отсутствие навыков пользования справочниками и словарями, элементарные грамматические ошибки, словом, то, что старуха Шагинян называла высшим образованием без среднего. «Нева», где в конце концов работают культурные

¹ Человек в сетях средств массовой информации (*нем.*)

² последний довод (*лат.*)

люди, печатает в качестве ударного материала чью-то полубеллетристику под названием «Dies unius» — неизвестно, на каком это языке. Разве так уж трудно было заглянуть в словарь, чтобы узнать, что слово *dies* не мужского, а женского рода. И зачем им вообще понадобилась латынь? Недавно я прочёл статью одной женщины-филолога о знаменитом писателе Дмитрие Быкове; там приведены образцы его слога — это ужас. Двойка по сочинению в седьмом классе.

Старческое брюзжанье, скажешь ты.

Кстати насчёт журнальных публикаций: я обнаружил в «Нашем современнике» (хотя репутация этого органа запрещает притрагиваться к нему) материал под рубрикой «Мир Свиридова»: фрагменты из дневника композитора, которого редакция аттестует как русского гения; вдобавок он ещё и «философ-мыслитель», и многое другое. Выясняется, что Свиридов был ко всему прочему ярым антисемитом.

Ты пишешь насчёт эссеистики и пр. Время от времени я записывал разные мелкие заметки под общей рубрикой «Литературный музей». Но кто это будет печатать? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.12.02

[...] В среду у меня был вечер в музее Герцена, посвященный «Стенографии», я прочел там новую подборку («Состояние культуры»). Среди присутствовавших была Жанна, вдова В.В.Налимова, о котором упомянуто в дневниках, я ей подарил книгу. Она мне подарила первый том планируемого собрания сочинений В.В., нашелся спонсор. Тираж 500 экз. В холле была устроена небольшая выставка Галиной графики. А в Доме журналистов более двух недель были выставлены 14 ее живописных работ. На вернисаже она была названа «классиком 60-х годов». Сейчас несколько ее картин везут в Цюрих, они будут выставлены в какой-то новой галерее. Надо, чтобы имя все-таки узнали. Дать ли галеристам твои координаты? Или Цюрих для тебя далековат? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

10.12.02

[...] Я закончил свой роман, на который больше не хочется смотреть. Между делом сочинил коротенький рассказ, который представляет собой некую *Apart* новеллы Томаса Манна «Тяжёлый час»

(Schwere Stunde), знакома ли она тебе? Написал также, неизвестно зачем, отклик на статью Бориса Дубина в последнем номере «Знамени». Вот уже три или четыре дня, как я нахожусь под сильным впечатлением от этой статьи, написанной сжато и сдержанно, как и положено учёному. Статья представляет собой диагноз современного состояния литературы в России; думаю, что тебе было бы интересно прочесть её. (Её легко отыскать в интернете.) В сущности это — отходная литературе; прочитав её, нам всем следовало бы совершить коллективное хакари. Или, по крайней мере, переквалифицироваться в управдомы.

Я встаю рано, ложусь поздно. Музыка слушать невозможно. Читал Лоре вслух «Леопарда» Дж. ди Лампедуза, роман, который сорок лет назад, когда я жил в деревне, произвёл на меня большое впечатление. Мне кажется, он даже повлиял на мои тогдашние опыты сочинительства. Он тогда только что вышел на русском языке. Но когда я вернулся в Москву, стал понемногу знакомиться с писательской братией, оказалось, что книгу никто не читал, и с тех пор я ни разу не встречал упоминаний о ней у отечественных критиков и писателей.

Ночью я читаю всякую всячину. Снял с полки дневники Самойлова и снова стал листать. Это интересное, временами даже захватывающее чтение, которое оставляет тяжёлый осадок. Ловишь себя на том, что судишь сквозь оптику нынешнего времени, но потом думаешь: а почему бы и нет? Кому, как не нам, судить и выносить приговор. Конечно, приговор — слишком громкое слово. Можно представить себе, как Д.С. встаёт из гроба и говорит: я воевал, — а вы?..

Отчётливо видишь, насколько этот человек, умный, тонкий и для того времени достаточно начитанный, был поработён своим временем. Возможно, поэтому (среди других причин) он не стал первым поэтом своего поколения. Хотя шансов было, пожалуй, не меньше, чем у Твардовера. Видно, как менялось, или, если угодно, совершенствовалось, его мировоззрение: от образцового советского (удивительно даже, до какой степени советского) к «околосоветскому» — государственно-националистическому, антизападному и даже чуть-чуть антисемитскому. Постоянной подпиткой для деклараций служит неиссякающий интерес к русской истории. Некоторые части дневника не то утрачены, не то утаены составителем (о чём в предисловии ни гу-гу). Например, отсутствует 53-й и несколько следующих лет. Но и без них многое симптоматично. Ни одного слова о тяжкой и гнусной действительности послевоенных лет. Ни слова о доносах и арестах. Сразу после войны Самойлов оказался в писательской среде, и пошло: бесконечные выступления, конференции и экскурсии по

стране, во время которых узнать страну невозможно, гости, пиры, коньяк, бездельная жизнь, и, разумеется, ни тени сознания того, что все мы — на содержании у государства, как пухленькая бабёнка у купца. Нужно хорошо выглядеть, нужно улаживать, не то прогонит купчина, и останешься на улице в одном платице и туфлях на босу ногу. И всё-таки читать интересно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.12.02

Дорогой Гена, твоя электронная почта приходит нормально, все в порядке. Вот тебе еще несколько кусочков из моего «Состояния культуры».

«Каким жутким казался когда-то «Бобок» Достоевского! Мертвецы получают напоследок возможность разговаривать. «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Но сейчас-то это самое обычное дело, и не только словесно обнажаются — взаправду. Во времена Достоевского тоже об этом писали (комментаторы поминают Боборыкина и других), но критики морщились и зажимали носы.

«Не плоть, а дух растлился в наши дни», — философствовал Тютчев. И тогда это было, и раньше. Сейчас ничто не кажется даже скандалом, вот в чем, пожалуй, новизна. Не морщатся, не зажимают носы, не ощущают мерзкого духа. И что такое дух?»

«Я мало слежу за прессой — неужели никого не покоробили дежурные журналистские штампы? Если Куба, то с добавлением «остров свободы». Ким Чен Ир — «вождь корейского народа». Сотрудники службы безопасности — «чекисты».

С острова свободы пытаются убежать, рискуя жизнью. Про вождя нечего говорить. О чекистах напомнила недавняя идея восстановить памятник Дзержинскому: это они осуществляли массовый террор, расстрелы ни в чем не виновных заложников, стариков, женщин, без суда, следствия, даже без формального приговора — ну, описание их деяний может занять тома.

Употребляются эти слова как бы с насмешливым подмигиванием: мы-то с вами знаем, какая на этом острове свобода, какая цена титулу вождя... Нет, словоупотребление вовсе не так безобидно.

Философ и литератор Федор Степун вспоминал о первых годах советской власти: «Службы для власти всегда было мало, она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их «товарищами», требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности... Как ни ненавидели советские служащие «товарищей»-большевиков, они мало помалу все же становились в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле «товарищами». Целый день не сходявшее с уст и наполнявшее уши слово проникало, естественно, в душу и что-то с этой душой как-никак делало Слова — страшная вещь: их можно употреблять всуе, но впустую их употреблять нельзя. Они — живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей».

Профессиональное исследование темы осуществил в своей книге «LTI» «(Lingua Tertii Imperii) — «Язык третьего рейха») немецкий филолог Виктор Клемперер. Еврей, переживший годы нацизма в Германии, он наблюдал за пропагандистским и бытовым словоупотреблением, в том числе и среди своих товарищей по несчастью (глава «Язык победителей»). Постепенно он стал замечать, что евреи обнаруживали склонность употреблять язык нацистской пропаганды как бы в насмешку, пародируя, ерничая. Они употребляли выражения «кровь и почва», «мировое еврейство», обращались друг к другу, как обращались к ним надсмотрщики: «еврей такой-то». «Они усвоили все антисемитские выражения нацистов, в том числе специфически гитлеровские, и так привыкли к этому способу выразиться, что, пожалуй, сами перестали замечать, насколько высмеивали фюрера, насколько самих себя и в какой степени этот язык самоуничтожения стал их собственным».

Исследует ли кто-нибудь на таком уровне живой опыт нашего языка, недавний и нынешний?»

У нас, наконец, выпал снег, сегодня яркое солнце, мороз. Вчера мы купили Гале лыжные ботинки, я приладил новые крепления. Возможно, сегодня пойдем. Я уже дважды ходил.

Обнимаю тебя, Марк

?..12.02

Наконец-то получилось, дорогой Марк. Отчаявшись, я послал тебе вчера встречное сообщение, но, видимо, и оно оказалось нечитаемым. Сумеешь ли ты прочесть теперь этот мой ответ?

Как бы то ни было, последняя попытка удалась. В твоём фрагменте есть важная мысль: *слова мстят* за злоупотребление ими. То, что газета отказалась от «Стенографии» (хотя бы и небольшими кусочками), меня не удивляет; удивительно было бы, если бы они это печатали. Это — газета, то есть особого рода устройство, назначение которого — размалывать информацию в подобие манной каши и отфильтровывать всё сложное, нетривиальное и требующее умственного усилия. Нет смысла туда соваться.

Кроме того, я сильно подозреваю, что в такие дела вмешивается внутренняя цензура. Последнее время это стало — по крайней мере, глядя со стороны — очень заметно. Некоторые темы табуированы, то, что в Германии называли преодолением прошлого, здесь не поощряется. На худой конец разрешается упомянуть о репрессиях относительно далёкого прошлого; догадки же о том, что эти репрессии, всеобъемлющая ложь, в невиданных масштабах организованная система принудительного труда, самое существование всесильной тайной полиции — с необходимостью вытекали из природы режима, — без этого он не мог бы просуществовать и десять лет, — эти догадки, давно уже не представляющие собой ничего нового, должны быть пресечены. Разговоры на эти темы немодны. «Мы уже об этом слышали». «Поговорили — и хватит».

Вот почему я не верю в оздоровление страны.

Не помню, писал ли я тебе о том, что некоторое время тому назад мне прислали книгу под названием «Москва послевоенная» (я думал, что она мне пригодится для работы над романом). Оказалось, что это вовсе не собрание архивных материалов, как гласит подзаголовок, а огромный парадный альбом. Бесстыдная ложь, рассчитанная на тех, кто не жил в эти годы либо жаждет самооправдания. Задача — заставить читателей всё забыть.

Книгу Виктора Клемперера «ЛТИ» я читал 25 лет назад. Она со скрипом была издана в ГДР. В Советском Союзе о ней вообще никогда не упоминали. Сравнительно недавно выпущен огромный дневник Клемперера, это было большое событие. В *Münchener Kammerspiele*

актёры театра, все по очереди, читали дневник, публика не уместилась в зале, здание было радиофицировано, люди стояли в фойе, в коридорах и на лестницах.

Вчера я писал тебе о дневнике Давида Самойлова. Почему-то он захватил меня. Впечатление в целом, к сожалению, очень тяжёлое — и от этого образа жизни, и в особенности от его рассуждений на разные темы. И как-то ужасно жалко этого человека. Ночью взял твою книгу и снова раскрыл «Историю одной влюблённости» [...]

Крепко обнимаю тебя.

Дорогой Марк, у нас дома хаос — присутствие маленького ребёнка выворачивает наизнанку весь быт. В твоих рассуждениях, лучше сказать — размышлениях, меня привлекает то, что речь идёт о насущных вопросах, о главном, о судьбе культуры, о меняющейся физиономии общества. Сексуальная революция давно отзвучала, «пилюля» сделалась чем-то вполне обыденным, юноши и девушки вступают в половые отношения в школьном возрасте, но я бы не сказал, что следствием этих перемен стал упадок нравов. Общественная мораль изменилась на наших глазах, тем не менее нравственность отнюдь не отменена — по крайней мере, здесь, в Западной Европе. А когда я вспоминаю репрессивную мораль советского общества послевоенных лет, где секс был второй крамолой и ханжество, неслыханное, дошедшее до Геркулесовых столпов, — необходимым компонентом всеобъемлющей лжи, то думаю о том, насколько легче, свободнее и человечнее стали с тех пор отношения полов. Не только такая книга, как мемуары Цвейга «Вчерашний мир», но даже «Второй пол» Симоны де Бовуар, самое знаменитое из её сочинений, написанное чуть больше полустолетия тому назад, сейчас воспринимается как рассказ о потонувшем мире. Но, заметь, литература при этом много потеряла. Литературу занимают драма и трагикомедия человеческого существования и среди прочего — коллизии, которые казались вечными. Теперь они утратили актуальность, и это то же самое, как если бы литературу изгнали из родового поместья или по меньшей мере раскулачили. Я философствовал на эти темы в разное время; вот цитата:

«Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упро-

стились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к “делу”».

Ещё одна забавная подробность (чем не сюжет для бульварного романа?): на-днях я случайно наткнулся на репортаж по телевидению о конторе под названием Seitensprung-Agentur. Респектабельная дама, владелица фирмы, рассказывает о том, как она обслуживает клиентов, чаще всего замужних женщин за сорок, устраивая для них — однократно или регулярно — встречи в приличных отелях. Эти женщины, слегка замаскированные, рассказывают о себе: они отнюдь не желают завести роман, не тяготеют своей семейной жизнью, не чувствуют себя прелюбодейками, любят мужа и детей. «Низ» не имеет отношения к нравственности.

Я исправлял между делом рассказец под названием «Тяжёлый час» (вариация на тему Т.Манна) и, кроме того, стал писать, с твоей лёгкой руки, о Париже. Вчера вечером слушал в Театре Принца-регента «Смерть в Венеции», читал Томас Гольцман, прекрасный артист, которого я много раз видел на сцене. А однажды, уже довольно давно, он читал в Баварской академии изящных искусств юмористические рассказы Антоши Чехонте. Хотя Чехов известен и любим, пожалуй, не менее, чем в России, я сомневался, будут ли они иметь успех у немецкой публики. Зал грохотал от смеха. Но «Der Tod in Venedig», эта рафинированная проза, реликт искусства, опустившегося на морское дно вместе с языком и эпохой, которым оно принадлежало? Представь себе, роскошный зал был набит битком. Всё это сопровождалось музыкой Малера, которая после фильма Висконти срослась с повестью Манна.

А вот на лыжах я не ходил уже сто лет, они гниют в подвале [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.12.02

Ну, Гена, если тебе интересно, вот еще два кусочка о состоянии культуры. (И не возвращай мне мою абракадабру обратно, посылай свою...)

«Гамбургский еженедельник «Ди Цайт» подводит итог последней художественной выставки «Documenta-10». «Важнейшим произведением выставки стал чудовищный четырехтомный каталог общим объемом 2636 страниц». Социологические, политоло-

гические, философские комментарии и концепции практически вытеснили и подменили то, что прежде называлось искусством. Искусством можно объявить что угодно. Художники склеивают картины из пластыря или вырезают бетономешалки из дерева — рынок все время требует чего-то новенького. «Приходится мириться с тем, что произведения живут все более короткое время. Это оглуляющая игра, из тех, что превращают правила в содержание».

Нехитрый парадокс: выгоднейшее из этих правил — нарушать правила. Толковать при этом о бунтарстве и независимости — значит явно лукавить. Менеджеры охотно берут строптивцев к себе в офисы: экстравагантные выходки неплохо служат рекламе, привлекают к фирме внимание. Имена можно использовать как фирменную этикетку, манера и стиль тиражируются по законам рынка. И если деньги платят за это, а не за картины тех, кто продолжает себя называть художниками — какое искусство считать современным?»

«Книга Андре Шиффрина «Легко ли быть издателем. Как транснациональные концерны завладели рынком и отучили нас читать». Я познакомился с Андре Шиффриным в 1994 г. в Париже. Он незадолго перед тем (в 1990-м) основал издательство «Нью Пресс», выпустил по-английски мой роман «Линии судьбы», говорил о желании издавать литературу действительно высокого уровня — и о том, насколько это в Америке непросто. В книге, которая была закончена в 2001 г., он пишет теперь, что как раз тогда, в 90-е годы стала все ощутимее нарастать цензура рынка, массового вкуса и прибыли.

«Изучив издательские планы за несколько десятилетий, я с уверенностью заявляю: здесь перемены произошли значительные и, возможно, необратимые... За последние десять лет книгоиздание изменилось больше, чем за все предшествующее столетие».

В результате «тоталитаризма развлечений» изменилось само понятие «средний человек». Демографический продукт этой «культурной революции» не менее ограничен, чем пресловутый «совок». Сужается круг людей, способных к качественному чтению. Автор статьи пишет: «Видимо, все пузыри, надутые и лопнувшие в России 1990-х годов, отвечали мировой тенденции... Так же агрессивно утверждались представления «о книгах этих пошляков как о неотвратимом будущем издательского дела, которое все теснее сраста-

ется с индустрией развлечений». «Спрос на них формировался целенаправленными методами мощного маркетинга, который породил слой «подсевших».

Вывод приходится сделать такой: покуда качественное чтение было запрограммировано обществом как норма, оно и было нормой для миллионов. Тоталитаризм облегченной, развлекательной, массовой культуры искусственно формирует категорию потребителя, не желающего, да и не способного напрягать мозги для маломальски серьезного чтения.

Единственное, что я могу этому противопоставить — все то же личное, «аскетическое» сопротивление, о котором я писал по поводу «Игры в бисер».

Вот пока все. Ты горюешь о состоянии литературы в России, ссылаешься на статью Дубина (которую я не читал). А в Германии с литературой что, все в порядке? Есть действительно значительные имена и книги? Ты пишешь, что соваться с заметками о состоянии культуры в нашу прессу — дохлое дело? А если предложить это в SZ или FAZ — могут напечатать?

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, как ты знаешь, я всегда с большим интересом читаю твои заметки. (Чтобы не забыть: Documenta — это множественное число, поэтому надо переводить: документы.) [...]

Насчёт того, что я горюю о состоянии литературы в России. Не «горюю», конечно, это не совсем удачное слово. Разумеется, то, о чём мы говорим, — неслыханное доселе порабощение литературы рынком, — удел всех стран, где сформировалось массовое общество, и Германия, может быть, один из самых ярких примеров. Россия, как это бывало не раз, на всех парах догоняет ушедшие вперёд нации, неосознанная цель — создать именно такое общество. Но, достигнув определённого уровня, оно вырабатывает — или пытается выработать — механизмы противодействия, которых я в России пока не вижу. Между прочим, именно сейчас, когда продолжается экономическая депрессия и ей не видно конца, давление коммерции на культуру и литературу даёт о себе знать в наших краях особенно жестоко, а механизмы сопротивления функционируют плохо. Что касается «действительно значительных имён и книг», имеются ли они сейчас в Германии, — об этом поговорим через полвека.

Но в конце концов не в этом дело. Ведь мы говорим о России, не о других странах, и разве нам станет легче, если нам возразят, как встарь: «А зато там негров линчуют!» Мы говорим о России, мы вынуждены говорить о России, потому что мы русские писатели. Посылаю тебе статейку — отзыв на статью Дубина (которую всё-таки стоит прочесть, хотя бы потому, что её написал человек несравненно более объективный, чем такие личности, как твой слуга).

Ров и замо́к

Поводом для этих заметок послужили три публикации последнего времени — статьи Б.Дубина «Литературная культура сегодня» («Знамя», 2002, № 12), С. Чупринина «Нулевые годы: ориентация на местности» («Знамя», 2003, № 1) и В. Новикова «Алексия: десять лет спустя» («Новый мир», 2002, № 10). Речь идёт о выживании литературы, о её месте в жизни общества.

География современной русской литературы обширна. Эта литература существует в Америке, в Западной Европе, в Израиле. Нетрудно заметить, что ситуация той части русской литературы, которая находится в самой России, за десять последних лет приблизилась к ситуации за рубежом: существование на обочине.

Россию привыкли называть литературной страной — может быть, не вполне справедливо. Доля интересующихся серьёзной литературой в общем населении страны никогда не была сколько-нибудь значительной. Лет десять-двенадцать тому назад немецкое телевидение продемонстрировало документальный фильм «Последний читающий народ». Журналистка, владеющая русским языком, посетила бывший Советский Союз. На стоянке такси она увидела, что шофёр в ожидании клиентов сидит за рулём с книжкой. Отличный повод для первого интервью. На вопрос, что он читает, таксист ответил: «Войну и мир» Льва Толстого. Он проходил этот роман в школе, теперь решил перечитать. На Западе не так уж часто можно встретить простого человека, читающего классиков. Дама садится в машину. Водитель отложил книгу, на мгновение мы видим обложку. Неизвестно, заметила ли гостя название; иностранный зритель, во всяком случае, не может его прочесть. Это роман Ю. Дольд-Михайлика «И один в поле воин», некогда популярный образец низкопробной шпионской литературы.

С тех пор многое переменилось, сейчас книжный рынок завален сочинениями этого рода. Несчастье, однако, не в том, что тривиальная литература потребляется в возрастающих масштабах.

Шпионский, полицейский, сентиментальный, псевдоисторический, порнографический и прочие традиционные жанры тривиальной словесности всегда находили и будут находить благодарных читателей. Несчастье в том, что кольпортаж агрессивно вытесняет ту литературу, которая демонстративно не замечала его, ту, которую мы, собственно, и называли литературой.

Ещё не забыты обстоятельства, которые расчистили путь для этого победного марша. Крушение системы государственного управления литературой освободило писателей от страха перед репрессиями, нет больше партийно-государственной монополии на все формы распространения литературы. Ликвидация или ослабление некоторых функций тайной полиции сделали ненужными идеологические барьеры, открылась возможность непосредственного контакта с мировой культурой. Одновременно пишущая братия лишилась верховной опеки: государство больше не содержит литературу.

Эмансипация развеяла популистские мифы. Стало как-то неловко твердить, что писатель — это «голос народа» и т.п. Литература утратила символическое значение и престиж, ушли в прошлое привилегии, которыми пользовались представители этой профессии. Людей, проявляющих интерес к литературе, которых и прежде в процентном отношении было не так уж много, за минувшее десятилетие стало ещё меньше. Как изящно выразился Борис Дубин, «население... свободней признаётся в том, что не читает художественную литературу, не покупает беллетристику». В этом же духе высказываются Сергей Чупринин («...книги перестали претендовать на роль событий национального масштаба, а чтение современной отечественной литературы из нормы жизни превратилось у нас в разновидность хобби») и Владимир Новиков, который даже воспользовался термином из области невропатологии: алексия, утрата способности к чтению. Можно упомянуть и о столь распространённом в издательствах и редакциях, нескрываемом неуважении к писательскому труду.

Приходится, однако, говорить не только о пренебрежении, — о вражде. Наступление на литературу идёт с двух сторон — извне и изнутри. Домашний экран узурпировал досуг потенциальных потребителей литературы: читать современные романы утомительней, чем смотреть телевизионную дребедень. Рынок в его самых грубых формах за короткий срок поработил издателей. Рынок обладает тенденцией к неограниченной экспансии. Он не довольствуется дешёвкой, ему недостаточно многотомной саги о подвигах

Бешеного, сказаний о следовательнице Каменской и т.п. Бери выше. Рынок приручает талантливых писателей, готовых угодить вкусам заказчика и покупателя — цивилизованного плебса, и хватает за горло не желающих приспособиться. Следует прислушаться к Дубину: его анализ, основанный на солидном фактическом материале, показывает, что литературный процесс в целом за эти годы радикально изменил свой характер.

Он переместился наружу. Он выставляет для всеобщего обозрения буйное цветение литературы, которое оказывается не чем иным, как цветением сорняков. Стратегия издательств, каналы, по которым текут деньги, технология «пиара» и эпатажа, деградация литературной критики, девальвация ценностей, среди которых нужно назвать честь и достоинство литературы, пиры и репрезентации, присуждение премий, способы фабрикации литературных звёзд и так далее представляют собой вынесенные вовне, экспонированные механизмы этого процесса. Ближайший итог — превращение литературного производства в составную часть всеобъемлющей индустрии развлечений. Параллельно происходит отмирание традиционных способов существования литературы и её институций, например, угасание толстых журналов.

Это то, что можно назвать внешним фронтом наступления на литературу.

Второй, внутренний, не то чтобы опасней, но заслуживает более пристального внимания, чем то, которое уделяли ему до сих пор, по крайней мере в России. Тут мы натываемся на больной зуб современной культуры.

Некогда нашумевшая, впервые опубликованная в декабре 1969 г. в журнале «Плейбой» статья-манифест «Перешагните через границу, засыпьте ров» (*Cross the Border — Close the Gap*) вышла из-под пера рафинированного интеллигента — 52-летнего критика, эссеиста и романиста Лесли Фидлера. Статья маркирует начало эры, которую именовали постмодернизмом; проще назвать её эпохой капитуляции культуры перед варварством. «Мы переживаем агонию литературного модернизма и родовые муки постмодерна — сегодня это ясно почти всем читателям и писателям. Та разновидность литературы, которая выдавала себя за самую современную, уверяя всех, что она достигла исключительной тонкости, предельного совершенства формы, новизны, дальше которой уже идти некуда, литература, чьё победное шествие началось незадолго до Первой мировой войны и завершилось вскоре после конца Второй, — мертва. Она принадлежит истории, а не действительности. Для

романа это означает, что век Пруста, Джойса и Томаса Манна прошёл, совершенно так же, как прошёл век Т.С. Элиота и Поля Валери в поэзии».

Дальше говорилось о том, что представление о настоящем искусстве для «образованных» и второсортном для «необразованных» годилось для классового общества — в современном массовом обществе оно больше не работает. Итак, махнём рукой на элитарность, задвинем подальше этих писателей, повернёмся лицом к читательским массам. Перестанем гнушаться таких якобы низменных жанров, как триллер, «крими», «фэнтези», порнороман. Таково веление времени.

Много воды утекло с тех пор, и не раз возвечалось, что этот проект замечательно удался. Граница якобы устранена. Как бы не так. Мы и сегодня отлично понимаем разницу между хорошей литературой и пошлятиной. Мы понимаем также, что победу одержала массовая литература.

То, что произошло, — не синтез, не братание, сколько бы ни говорили о влиянии коммерческой словесности на некоммерческую. Это влияние есть попросту сдача позиций. Произошло поглощение серьёзной, то есть требующей встречного усилия, предполагающей достаточно высокую культуру чтения, литературы — литературой развлекательной, «телевизионной», вовсе не требующей никаких усилий от потребителя, как не требует усилий от зрителя домашний экран. Речь идёт о паразитировании массовой словесности на лучших образцах литературы (аналогичное явление хорошо известно и в музыке, ср. поп-обработки Баха и т.п.), паразитировании, при котором, как в биологическом мире, организм хозяина в конечном счёте оказывается всецело во власти паразита.

Очевидно, что такое литературное сообщество едва ли может рассчитывать на уважительное отношение; но опять-таки вопрос — в чьём уважении оно нуждается и нуждается ли вообще. Дело не в отдельных представителях этого сообщества, не в его корифеях, — завтра о них никто не вспомнит. Дело в том, что литература оказалась, как в сказке о золотой рыбке, возле хижинки развалюхи, перед разбитым корытом.

Литература не может себя окупить. Литература, приносящая прибыль, — это почти всегда мусор. Так было всегда. Кто-то должен поддерживать серьёзное литературное творчество: государство, муниципальные власти, фонды поощрения культуры, просвещённая буржуазия. Очевидно, что рассчитывать на это в со-

временной России невозможно. Что же делать? Ничего не делать. Или, вернее, делать своё дело. Нести свой крест и веровать, как говорит чеховская героиня. Веровать — во что?

«Литература есть духовное пространство нации» (*Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation*). Так называлась известная речь Гуго фон Гофманстала, 1927 год. И он же писал в одном письме вскоре после распада Австро-Венгрии: «Мы все осиротели». Он хотел сказать: инфляция разорила меценатов, которые умели нас ценить. Некому больше содержать высокое, рафинированное искусство слова, заведомо неспособное прокормить себя.

Тем не менее оно не погибло.

Фет писал в кратком предисловии к четвёртому выпуску «Вечерних огней»: «Человек, не занавесивший вечером своих освещённых окон, даёт доступ всем равнодушным, а, быть может, и враждебным взорам с улицы; но было бы несправедливо заключать, что он освещает комнаты не для друзей, а в ожидании взглядов толпы. После трогательного и высокознаменательного для нас сочувствия друзей к пятидесятилетию нашей музы жаловаться на их равнодушие нам, очевидно, невозможно. Что же касается до массы читателей, устанавливающей так называемую популярность, то эта масса совершенно права, разделяя с нами взаимное равнодушие. Нам друг у друга искать нечего».

Но Фет был богат...

Мы постоянно говорим об общественной роли искусства; социология поработила нас. Между тем субъект и производитель литературы по-прежнему остаётся существом сугубо индивидуалистическим, противящимся ранжиру; это представитель архаической профессии — род холодного сапожника. В этом состоит принципиальная безнадёжность литературы. В этом, однако, и её шанс.

Духовное пространство нации... эх, эх. Аркадий, не говори красиво... Времена, когда ещё можно было вещать эти словеса, ушли; нужно понять, что литература, как мы её понимаем, собственно, никому особенно не нужна — разве что нам самим да ещё какому-нибудь ничтожному меньшинству. Нужно привыкнуть к существованию на обочине.

Errur si tuiove! И всё-таки она вертится. Перед лицом торжествующего варварства литература выстраивает линии обороны. Разумеется, они выглядят старомодными; обходятся недешево и в переносном, и в буквальном смысле. И всё же в развитых странах, — то есть там, где цивилизованный плебс обладает ещё большими

возможностями навязывать людям духа свои вкусы, — этот самый «дух», казалось бы, обречённый окончательно испустить дух, оказывается неожиданно живучим. Иначе невозможно объяснить тот странный факт, что время от времени снимаются фильмы, о которых заведомо известно, что публика будет уходить, не досмотрев и трети, выходят в свет книги, которые прочтёт ничтожная часть населения. И, однако, они снимаются и выходят в свет, чтобы занять со временем подобающие им места в пантеоне искусства и литературы. Дело в том, что разрушить традицию так же трудно, как перестроить биологическую природу человека; и, подобно природе, она жива постоянным обновлением. Литература — в крови у человечества. Дело ещё и в том, что высокая, то есть заведомо убыточная, культура сама по себе институционализована (прошу прощения за это неудобоваримое слов). Два фактора имеют здесь первостепенное значение: меценатство и новая инкапсуляция культуры, давно порвавшей с народностью. Ничего другого, чтобы выжить, не остаётся. Поднимайте мосты, закрывайте границы. В конце концов демократизация культуры — изобретение недавнего времени; эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение».

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.12.02

Дорогой Гена, твои размышления о состоянии культуры и о возможностях сопротивления, что говорить, убедительны. По поводу разных уровней и возможной »инкапсуляции» я мог бы привести еще одну цитату, которую встретил недавно. Известный тебе теолог Дитрих Бонхеффер писал из нацистской тюрьмы: в 1945:

«В иные времена христианство свидетельствовало о равенстве людей, сегодня оно со всей страстью должно выступать за уважение дистанции между людьми и за внимание к качеству... Мы переживаем сейчас процесс общей деградации всех социальных слоев и одновременно присутствуем при рождении новой, аристократической позиции, объединяющей представителей всех до сих пор существующих слоев общества... С позиции культуры опыт качества означает возврат от газет и радио к книге, от спешки — к досугу и тишине, от рассеяния — к концентрации, от сенсации — к размышлению, от идеала виртуозности — к искусству, от снобизма к скромности, от недостатка чувства меры — к умеренности».

1945 год! Гессе незадолго перед тем завершил свою касталийскую утопию — та же тема. Это и тогда, и сейчас могло быть только утопией: существование не отдельных самоотверженных, аскетических служителей духа, а чего-то вроде ордена, способного влиять на развитие общества, поддерживаемого, может быть, властными инстанциями, обладателями экономических возможностей.

Цитату из Бонхеффера привел покойный В.В.Налимов в книге, которую мне подарила его вдова. На последней странице он приходит к выводу: «В нынешней планетарной ситуации можно надеяться только на вмешательство космических сил».

Тут я, как говорится, умолкаю. (Имеются в виду, насколько я мог понять, вовсе не инопланетяне. Обсуждается физическая концепция, согласно которой «судьба каждой частицы оказывается связана с судьбой всего космоса — не в тривиальном смысле воздействия сил из окружающей среды, но в том смысле, что сама ее реальность включена в универсум».)

Между прочим, свои заметки о «состоянии культуры» я показал в «Знамени», там они понравились, но попросили добавить еще, чтобы публикация получилась солидной. У меня найдется, что добавить. А что если я, с твоего разрешения, процитирую что-нибудь из нашей переписки?

Позавчера мы с Галей были на 10-летнем юбилее издательства НЛО. Как раз к этому дню они выпустили еще одну мою (четвертую у них) книгу — сказочную повесть для детей «Учитель вранья». Я ее сочинил лет 15–20 назад для своих детей, которые с тех пор выросли. Соваться с ними в издательства оказалось тогда делом дохлым. Один машинописный экземпляр я подарил своей французской приятельнице, которая владеет русским. У нее тоже трое детей, она перевела сказку для них. Я, помнится, тебе уже писал, что в прошлом году показал этот перевод своему французскому издателю, он, сверх ожиданий, тут же выпустил книгу. Возможно, вид этой французской книги вдохновил НЛО затеять свой проект «Сказки НЛО» (одновременно с моей вышли еще две книжки). Издательство начиналось как чисто филологическое, некоммерческое, (вначале как журнал), университетские, академические работы издавались за счет грантов, мне гонорар до сих пор выплачивался в виде части тиража. (Теперь вроде бы обещали уплатить.) Меценатством это не назовешь, но уровень малоимущих изданий был достаточно высок, никакой массовой литературы. За счет чего они держатся, не совсем ясно. Сказки к юбилею были отпечатаны за 5 (!) дней, моя книга была сдана в печать 19.12. Это тоже на тему насчет возможностей поддерживать уровень.

Так что будем надеяться. В наступающем Новом году желаю тебе и семейству всяческого благополучия и успехов.

Обнимаю, Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.12.02

Дорогой Марк! Мы тоже, я и Лора, сердечно поздравляем вас обоих с наступающим Новым годом. Этот год, пожалуй, был лучше предыдущего, я снова ездил в Париж, снова в Чикаго, в Берлин; закончил роман; и вот, приближаюсь, — о, Господи, — к 75-летию. Поздравляю тебя также с выходом новой книги, я даже не знал о существовании такого произведения — «Учитель вранья». Прелестное название.

Когда-то я немного переводил Бонгёффера для Самиздата. Что касается Василия Васильевича Налимова, я с ним дружил, бывал у него, был в курсе всей его работы, его мысли. Я и сейчас иногда заглядываю в «Вероятностную модель языка», лучшее, как мне кажется, из его сочинений. Мне приходилось говорить о нём по радио; незадолго до смерти он прислал мне свою мемуарную книгу «Канатоходец». Он эволюционировал от математики к философии и от научного образа мыслей к дальневосточной мистике под гностическим соусом. Тут, мне кажется, не обошлось без влияния Жанны. Он был очень яркой фигурой 70-х годов, сконцентрировал веяния и увлечения этих лет.

Ты хочешь процитировать что-нибудь из наших писем — конечно, у меня нет никаких возражений.

Будь здоров, милый. Со всеми самыми добрыми пожеланиями — твой Г.

2003

Б. Хазанов — М. Харитонову

03.1.03

Дорогой Марк, вот и Новый год позади. Что-то будет дальше? Прогноз (экономический, в Германии) не блестящий, то, что называется *mittelprächtigt*. Но, по крайней мере, нет таких морозов, как в Мо-

скве. Хотя, помню, зимой 61 года в деревне, где мы врачевали, в Калининской области, по ночам доходило до 44 градусов ниже нуля, приходилось топить печку шесть часов подряд, чтобы утром не проснуться в выстуженных комнатах. У нас были куры, мы впускали их на лестницу нашего дома, где они ночевали, сидя на перилах, и всё-таки петух отморозил гребень.

Вчера до глубокой ночи я читал (перечитывал) «Стенографию», которая сейчас вернулась ко мне, — я давал её читать другим. Между прочим, наткнулся на место (7 янв. 1993), где ты задаёшь Аверинцеву свой «давний вопрос», почему касталийцы не занимались оригинальным творчеством, не писали стихов, не сочиняли музыку, не искали новых путей в математике. Я тоже когда-то очень увлекался романом Гессе.

Но я думаю, что ответ содержится в самой книге. И это возвращает нас к сегодняшним мыслям. Буквальный перевод названия — Игра в поддельные жемчужины, в бусинки якобы из жемчуга, а на самом деле стеклянные: в стекляшки. В этом заголовке — а следовательно, и во всей книге — скрыта горькая ирония. Цивилизация вступила в фельетонистическую эпоху. В эпоху, поразительно напоминающую (ты об этом хорошо писал) наше время, не хватает разве только телевидения. И гуманитарная культура, то, что старые немцы называли словом Geist, спасается, радикально отгородившись от всей этой пошлятины и дребедени. Другими словами, отгородившись от общества. (Кто её содержит, неизвестно.) Но инкапсуляция превращает культуру в музей. Творчество заменено инвентаризацией, комбинаторикой, «игрой со смыслами»; элитарные школы готовят новые поколения игроков — жрецов духа. Самый талантливый Магистр Игры в конце концов бежит из Педагогической провинции, но он не может жить вне монастыря культуры и погибает — по видимости случайной, а на самом деле неизбежной смертью.

Конечно, то, что очаровало меня (как и других, как и тебя, наверное) в этом романе, был прежде всего язык, была таинственность «игры» — что она собой представляет, так и остаётся неизвестным, — был чистый горный воздух культуры, как воздух на альпийских лугах вокруг Вальдцеля. И вот теперь, через много лет, когда мы все окунулись в фельетонистическую эпоху, когда пошлость массовой культуры теснит тебя со всех сторон, твердит тебе, что ты какой-то могиканин, когда в самом деле твоя работа никому не нужна, — теперь начинаешь снова верить, что бегство от этого торжища в монастырь духа — единственный выход. Урок Гессе оказывается напрасным. А может быть, он и сам себя хоронил в этом романе? [...]

Дорогой Гена, ты впервые обратил мое внимание на этимологию немецкого слова *Glasperlenspiel*. До сих пор мне это не приходило в голову, и ни у кого я такого толкования не встречал. По-русски переводили: игра в бисер, игра стеклянных бус. Стеклянный жемчуг — существенно другое. Замечательное наблюдение! Сознательно ли проводил сам Гессе мысль о поддельности этой вымечтанной, по его мысли, гениальной игры? Ты знаешь, как начал отвечать на мой вопрос Аверинцев: в акте первичного творения есть что-то нечистое. Жаль, я, дурак, не сумел его дослушать. Игра со смыслами, ценностями, знаками на самом деле представляется некоторым областью более высокой, полноценной, чем грубая заготовка первичного сырья, которой занимаются так называемые творцы.

Но вот в твоём письме упоминается петух, обморозивший гребень — каким дохнуло полноценным жизненным переживанием! Обязательно ли его толковать, вводить в культурный контекст? Просто упомянуть рядом, параллельно с высокими размышлениями... Мне представилась возможность такой, фрагментарно выстроенной прозы. Но это проще неопределенно вообразить, чем сделать.

У нас сегодня опять вернулись морозы, а вчера было — 5, мы с Галей сходили на лыжах. Почти неделю валит, не переставая, снег, в лесу красота неописуемая. Гейне назвал бы это *Wintermärchen*. А у вас какие-то небывалые наводнения, Баварию, вроде, тоже затронуло. Говорят, природа будет теперь все больше буйствовать. Но что с этим поделаешь? Мы и с культурой не можем разобраться.

Будем, как всегда, делать, что можем. Обнимаю тебя [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк!

Мы вернулись из Эссена. С наводнениями покончено. У нас белая снежная зима, холодно, хотя, конечно, до московских и питерских морозов далеко.

То, что ты называешь фрагментарной прозой, этот соблазн создать нечто такое, что не было бы беллетристичкой в собственном смысле, не было бы и чистой эссеистичкой, не было бы набросками к чему-то другому, но оказалось бы и тем, и другим, и третьим, включённым в общую раму, — этот соблазн время от времени искушал и меня, манил какой-то

новой свободой, но и таил в себе риск анархии. А я, мне кажется, чем ближе к концу, тем больше ценю в писательстве дисциплину. Я уже не в состоянии читать облачные, преувеличенно-импрессионистические, по-русски говоря — расхристанные сочинения, где энтропия приближается к той границе, за которой проза попросту распадается, превращается в бесформенную писанину. Такие тексты можно стряпать килограммами, километрами.

Получается, что, чем дальше, тем больше становишься архаистом, каким-то замороженным псевдоклассицистом, — но и понимаешь, что система жанров, доставшаяся нам в наследство после тысячелетий литературы, настолько прочна, что все попытки опрокинуть её приводили в лучшем случае к очень скромным результатам. (Исключением был, может быть, только Джойс.) Скорее можно сказать, что сами жанры, и прежде всего главный — роман, проделали внутреннюю эволюцию, не всегда понятную творцам.

Ответ Аверинцева (возвращаюсь к «Игре в бисер»), если я правильно понял твою запись в «Стенографии», по-моему, бьёт мимо. В нём содержится похвала аскетизму, сквозит религиозная интерпретация, которая, как мне кажется, в данном случае не работает. Или, по крайней мере, не удовлетворяет. Я нашёл одно письмо Гессе 1943 г. (когда книга вышла в свет, — подумать только, в разгар войны!), где он вроде бы отказывается дать собственную интерпретацию романа, наподобие того, как Гёте когда-то говорил Эккерману: меня спрашивают, какую идею я хотел выразить в «Фаусте», — как будто я знаю! Но Гессе добавляет: [Das Buch] will nur eine Dichtung sein, weder eine Philosophie, noch eine politische Utopie. In die Zukunft mußte ich diese Geschichte verlegen, nicht weil Kastalien, der Orden und die Hierarchie zukünftige Dinge wären oder von mir willkürlich ausgedachte, sondern weil alle diese Dinge stets und immer vorhanden waren, im Altertum und Mittelalter, in Italien und in China, denn sie sind eine echte «Idee» im Sinne Platos, nämlich eine legitime Form des Geistes, eine typische Möglichkeit des Menschenlebens¹. Другими словами, он всё-таки даёт своё истолкование. Конечно, это Dichtung уже потому, что всякая интерпретация будет неполна, не объяснит непостижимое очарование

¹ Книга представляет собой всего лишь поэтическое произведение. Это отнюдь не философский трактат и не политическая утопия. Мне понадобилось перенести действие в будущее не потому, что Касталия, Орден, Иерархия будто бы характерны для этого будущего и придуманы мною по моей прихоти, а потому, что все эти вещи существовали всегда, в любое время, и в античном мире, и в Средние века, в Италии, и в Китае, ибо они — истинная «идея» в платоновском смысле, другими словами, легитимная форма духа, типичная возможность устройства человеческой жизни (нем.)

этой книги, не будет исчерпывающей и, хуже того, неизбежно окажется более или менее насильственной. И всё-таки! Мне по-прежнему кажется, что из неё можно вычитать нечто важное о судьбе культуры, что книга в этом смысле очень даже актуальна.

Было время, в 50-х, кажется, годах, — ты это, вероятно, знаешь, — когда «Игра в бисер» и другие вещи вдруг стали чрезвычайно популярны, особенно в Америке, в студенческих кампах, где возник культ Гессе (не в последнюю очередь из-за его особых симпатий к китайской философии, дзэн-буддизму, индуизму и т.п.). В последние десятилетия Гессе — в тени, мода прошла, были и скептические, и даже иронические оценки; классик на полке. Лет десять тому назад я делал однажды большую передачу о Гессе по Немецкой волне, но и для меня на какое-то время он пошёл. Я думаю, что давно пора к нему вернуться.

Нет, дело не в том, что творчество, сотворение нового представляет собой «что-то нечистое» (эротическая аналогия). Кстати, ты, может быть, заметил, что некоторые статьи самого С.С. Аверинцева, те, которые прославили его в узких кругах в 70-е годы, сами напоминают игру в бисер. Теперь это кажется ему чем-то недостойным. Нет, не в этом дело. А в том, что, отгородившись от пошлятины массовой культуры, касталийцы вернулись к александринизму, к тому, что действительно происходило и в позднеантичном мире, и в Средние века. К нетворческому отношению к культуре. К комментированию, к музейно-библиотечной застылости, к бескрылости. Вместо творчества — комбинаторика, игра «со смыслами» и аналогиями, составление остроумных аппликаций, каталогизация подобию, реминисценций, отсылок, вообще Игра. Должен признаться, что мне лично это чрезвычайно близко.

Когда я учился на классическом отделении, сто лет назад, одна студентка как-то раз спросила нашего доцента Александра Николаевича Дынникова, прелестного старика (он преподавал латинский язык и авторов), говорит ли он по-латыни. Он ответил, что говорить по-латыни нельзя, так как это мёртвый язык и любое разговорное употребление будет насилием, искажением (он не сказал — святотатством), ибо мы не в состоянии возродить живую стихию устной речи. Правда, профессор С.И. Радциг, заведующий кафедрой, обратился однажды к коллегам и к нам с прекрасной, выдержанной в стиле античной риторики латинской речью. Но для этого понадобился особо торжественный повод — юбилей. Чтение авторов, и латинских, и греческих, включало подробный разбор и комментирование каждой фразы, грамматический и стилистический анализ, реалии, конъектуры и пр. Только подумать — какой дикой фантастикой всё это вы-

глядело в те годы, сразу после войны и в каких-нибудь трёхстах метров от здания на Лубянке, где сидели в своих кабинетах с зарешечёнными окнами мундирные мужики-орангутаны, которые только вчера слезли с деревьев.

С тех пор я привык к тому, что в изданиях древних авторов три-четыре строчки наверху страницы сопровождается комментарием (петитом), занимающий всю остальную страницу. Может быть, отсюда происходит и эта мания обсуждать свои собственные писания. (Я тут как-то сочинил комментарий к роману, который недавно закончил. Попытка спасти тонущий корабль.) Если же говорить вообще, то тут — культура, давно завершённая, замкнутая в себе и выступающая в качестве сакрального текста. У Гессе филологию и философию дополняют математика и музыка, которые тоже воспринимаются изначально как некое Священное писание. Между прочим, любопытно, что апелляция к музыке ограничена эпохой от 1600 до 1800 года, которая аттестована (в одной из редакций Введения) как *Glanzzeit der deutschen Musik*¹; дальше уже упадок, Вагнер, Брамс отнесены к «бесследно исчезнувшим поздним романтикам», всё это пишется из перспективы XXIII столетия.

Таинственное *Glasperlenspiel*, однако, есть нечто самодовлеющее, самоценный эрзац творчества, и больше того. Об Игре говорится, что это «некий универсальный язык, посредством которого оказывается возможным выражать ценности духа в осмысленных знаках и сопрягать их между собой». Забава с цветными стекляшками — метафора универсализма, как тебе это нравится? Мне когда-то пришла в голову аналогия с «универсальной характеристикой» Лейбница, *Spécieuse générale*, мечтой об универсальном исчислении, с которой он носился всю жизнь. Я когда-то переводил Лейбница, он писал преимущественно по-французски. Вот цитата (если твоё терпение ещё не окончательно истощилось) из одного письма от января 1714 г.:

«Будь я менее обременён делами, я, может быть, дал бы общий метод изложения идей, в коем все истины разума были бы сведены к некоему математическому выражению. Это было бы одновременно и всеобщим языком, или способом записи, однако не имело бы ничего общего с теми, какие были предложены до сих пор, так как и буквенные обозначения, и самые слова здесь служили бы руководством для разума, а ошибки (кроме фактических) были бы не чем иным, как ошибками в математических расчётах».

¹ блестящий период немецкой музыки (*нем.*)

Иначе говоря: система символов, охватывающих все понятия — математические, физические, философские, нравственные. Великий синтез и ключ к решению всех проблем. Всё знание человека о мире закодировано с помощью конечного числа «характеров», которыми можно оперировать, совершая над ними математические действия. Алфавит мышления. Вместо рассуждений — формализованные выкладки, которые с железной необходимостью приводят к единственно правильному выводу [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.01.03

Дорогой Гена, тебя сегодня можно поздравить не просто с днем рождения — с юбилеем. Подумать только: 75! Твоя работоспособность, активность вызывают у людей помоложе, вроде меня, восхищенную надежду: значит, есть чего еще ждать впереди.

Позволь, как в старину, сделать тебе в этот день стихотворное подношение.

Перед закатом

Зависало, не двигалось, переваливая зенит,
Словно прыгун, одолевший планку,
И вот снижается все быстрее, на глазах тает кромка,
Осталась самая малость. Стоит ли суетиться,
Заменять обветшавшую мебель, ввязываться в ремонт?
Как-нибудь еще простоит, на твой век хватит.
Незачем перебирать книги, недочитанного не дочитаешь.
Что еще ты хочешь додумать, вспомнить, прояснить напоследок?
Померещилось вроде уже совсем близко.
До тебя ухватить никому пока не удавалось,
А если и удавалось, не успевали сказать,
Не оставалось сил шевельнуть губами.
Так устроено не без умысла, вот, считай, вся разгадка.
Ничего задержать нельзя, но продолжаешь стараться,
Заново ищешь, бьешься, оставляешь зарубки на память.
Для того мы, наверно, и сотворены:
Восполнять исчезающее, воссоздавать уходящее,
Наращивать усилием безнадежной мысли,
Напряжением новой, еще небывалой жизни.

Я уже писал тебе, что пробую с некоторых пор уходить от прозаического многословия. Составилась небольшая подборка, я ее назвал «Мегафизика». Вот вдобавок заглавный текст:

Метафизика

Выйти из-под опеки родителей,
Обеспечивать себе каждый день пропитание,
По возможности кров,
Защищаться от подступающих отовсюду угроз,
Лучше всего в стае,
Где хорошо бы достичь положения,
Найти партнера, самца или самку,
Выполнить требования природы,
Получая иногда удовольствие,
Произвести таких же, выкормить, выпустить в мир,
Дожить до старости достойной, опрятной.
Что еще нужно? У людей остальное
Называется, кажется, метафизикой.

Еще раз тебя поздравляю. Здоровья тебе и всяческого благополучия!

Твой Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.1.03

Desyatogo yanvaryya skonchalsya Wolfgang Kasack. G.

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.1.03

Гена, только что отправил тебе поздравление — тут же получил печальное известие. Как это неожиданно! Вольфганг казался таким бодрым. Отчего он умер? У меня с ним связаны самые теплые воспоминания. Скорблю вместе с тобой.

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мюнхен, 16 янв. 2003

Дорогой Марк! Вольфганг Казак, с которым я находился в постоянном контакте, у которого бывал много раз, и в Институте славистики, и у него дома в городке Мух, был болен примерно с лета прошлого

года: опухоль тонкого кишечника. Был оперирован, спустя некоторое время отправился в Индию, в клинику Аюрведа, где подвергся весьма жёсткому диетическому лечению. Был очень доволен, чувствовал себя хорошо и много работал. В ноябре наступило ухудшение. Я об этом не знал, неожиданно получил от Дж. Глэда короткое сообщение о том, что Вольфганг очень плох. Фридерике (жена В.) ответила мне, что он вряд ли доживёт до Рождества. Три дня назад пришло извещение о его смерти 10 января.

Для меня это большая потеря. Он был настоящим верным другом. Между прочим, много писал обо мне, больше, чем все критики в России, которые, впрочем, почти ничего не писали. Мне приходилось переводить некоторые его работы. Хотя он очень хорошо знал русский язык, но не был вполне уверен в стилистике. Ему не было 17-ти лет, когда он был мобилизован, это было в самом конце войны. Под Берлином, не сделав ни одного выстрела, он попал в плен и чуть не погиб, как множество других, в лагере немецких военнопленных под Куйбышевым. Его спас один советский офицер, в последний момент вписал его имя в список подлежащих возвращению в Германию. Он был мистиком, верил в провидение и вечную жизнь.

Не знаю, был ли ты с ним знаком лично. Он был в некоторых отношениях нелёгким человеком, ершистым, импульсивным, ссорился со многими, но какая это была добрейшая душа, и скольким он помог!

Я написал некролог, послал в две берлинские газеты и в «Новый журнал».

Ну-с, что сказать. Сегодня мне стукнуло 75. Невероятная дата, и не очень-то радостная. Только что пришло от тебя письмецо со стихами, которые мне очень понравились (в самом деле очень, это не пустой комплимент). Спасибо тебе, милый. У нас смутная полужима, полуттепель. Вечером собираемся с Лорой посидеть в устричном погребе, есть такое злачное место в Мюнхене. Жаль, что тебя нет с нами, выпили бы хорошего вина.

Я пытался подвести некоторый итог. В эмиграции я написал больше, чем за всю прежнюю жизнь. Попробовал подсчитать: всего, и там, и здесь, сочинил 8 романов, 7 повестей, 35 рассказов (если что-то не забыл). Кроме того, настряпал большое количество статей, этюдов, радиопередач, рецензий, воспоминательных текстов и т.п. Написал гору писем. Ну и что? Ну и ничего.

Между прочим, Курт Марко (старый друг, отставной профессор из Вены) прислал мне вчера статейку-репортаж из австрийской газеты «Die Presse». В Таиланде произошло нашествие аистов с воздуха на одну деревню в 70 километрах от Бангкока. Трудно поверить: гро-

тесная история, буквально совпадающая с той, которую я придумал в качестве зачина для романа «После нас потоп». Огромные птицы, которых тщетно пытаются прогнать хлопущками, всё покрыто и обляпано птичьим дерьмом, жуткий запах, угроза здоровью жителей и так далее [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.1.03

Ты спрашиваешь, Гена, знал ли я Казака лично? Но ведь мы с тобой дискутировали у него на «Немецкой волне» и встречались вместе в Дюссельдорфе, уже после его отставки. Я выступал у него в университете, был у него в Мухе, он устраивал мне замечательные поездки по Германии. Последний раз я видел его в Москве несколько лет назад, он выступал с лекцией о трех писателях-эмигрантах, в том числе о тебе. Печально все.

Относительно подсчетов, кто сколько выдал продукции — мне вспомнилось, как молодой Катаев говорил Мандельштаму, что у писателя должно быть собрание сочинений, двадцать томов с золотым обрезом. Мандельштам не дотянул.

В прошлом письме у тебя была фраза: «То, что ты называешь фрагментарной прозой, этот соблазн создать нечто такое, что не было бы беллетристикой в собственном смысле, не было бы и чистой эссеистикой, не было бы набросками к чему-то другому, но оказалось бы и тем, и другим, и третьим, включённым в общую раму, — этот соблазн время от времени искушал и меня, манил какой-то новой свободой, но и таил в себе риск анархии». Я недавно перечитывал «Египетскую марку» и «Шум времени» Мандельштама: не кажется ли тебе, что это образец именно такой прозы? Мне бы дотянуть до такого уровня!

Искренне рад, что ты воспринял мои стихи. Я до сих пор их почти никому не показываю, хотя уже есть некоторые подтверждения, что это можно читать. Вот, если тебе интересно, еще один текст:

Исторические руины

Защита проекта «Исторические руины»:
Сооружения для будущих экскурсантов.
Образцами могут служить Парфенон, Колизей,
Проросшие джунглями храмы Востока,
Иерусалимская Стена плача.

Восстанавливать первоначальный, предварительный вариант
Было бы, согласитесь, кощунством.
Столько понадобилось веков, переживаний, усилий,
Чтобы превратить их в объект восхищения.
Современные технологии убыстряют работу.
Вот скелет собора после бомбежки —
Будоражит воспоминания, мысли.
Стена с тенью неизвестного человека,
Запечатленного атомной вспышкой,
Саркофаг вокруг взбесившегося реактора,
Остатки разрушенной Берлинской стены,
Нечто, называвшееся Мавзолеем.
Архитектурные стили значения не имеют.
Здесь перед нами раздел несбывающихся утопий,
Все, что в перспективе остается от Городов Солнца.
Фрагменты можно будет пустить в продажу —
Есть любители украшать ими свои виллы.
Проект окупится. Особо выделены
Объекты нематериальные. От библиотеки
Вроде Александрийской можно и камней не оставить,
Но вот, пожалуйста, пепел — Эсхил или Аристотель,
Или кто-то из новых гениев, загубленных на корню,
Написанного ими никто уже никогда не узнает,
Но сколько пищи, не правда ли, воображению?
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Конечно, я забыл, что ты знал Кáзака, дорогой Марк. Я посмотрел сейчас статью о тебе в немецком полном издании его «Лексикона», мы там с тобой почти рядом, между нами Хармс. Хорошая статья, и, кажется, без фактических ошибок.

Я нахожу удачным и это стихотворение — «Исторические руины». Очень хорошо найденный ритм, подкупающая тональность, прелестная поэтическая сжатость, почти пунктир. И, наконец, забавные и нетривиальные повороты внутренне серьезной мысли. Если бы удалось выпустить такой сборничек... но не знаю, отыщется ли издатель.

Что касается фрагментарной прозы, — Мандельштам и так далее, — «Шум времени» и другие вещи не могут, конечно, не вызвать восхищения. С другой стороны, вернуться к этой блестяще-декоративной, подчас избыточно метафорической прозе невозможно. Это был богач, сыпавший золотыми червонцами. Мы живём в другое время. Я пытался делать что-то вроде «фрагментарной прозы». Но невольно съезжал в сновидения, в сюжет — правда, совсем простенький. [...]

Я купил только что вышедшую переписку Томаса Манна с Адорно, самое интересное — это, конечно, письма, связанные с работой над «Фаустусом». Участие Адорно гораздо весомее, чем об этом можно узнать, читая «Роман одного романа». Сохранился даже сделанный Адорно подробный музыковедческий и «режиссёрский» план «Плача доктора Фаустуса» (Doctor Fausti Weheklag). Хорошо бы написать рецензию на эту корреспонденцию.

Снова занимаюсь своим романом, к которому я теперь присовокупил некий довольно пространный комментарий или объяснительное послесловие. Нужен ли он? Вопрос. Вышел роман Г. Грасса о судьбе парохода «Вильгельм Густлофф», его я тоже просмотрел задним числом. Потом оказалось, что роман уже напечатан по-русски (какая оперативность!) в «Иностранной литературе», правда, под странным и неточным названием «Траектория краба». (В оригинале «Krebsgang», имеется в виду ракоходное, попятное движение. Крабы, кстати, не летают.) Но Грасс мне несимпатичен.

В моём романе действие происходит главным образом в университете. Я наткнулся на воспоминания об университете в первом номере «Знамени», 2003, относящиеся к 80-м годам, автор некто Александр Терехов, и стал их читать. Скажут, конечно, — старческое брюзжание; но какое это всё-таки убожество. Провинциальность, которую, кажется, даже поднимают, как флаг. Пошлый и набивший оскомину, якобы непринуждённый говорок, дурновкусие, удручающе низкий общий уровень. И журнал, который так гордится собой, это печатает [...]

Пресса и здесь, и там, разумеется, мой замечательный юбилей обошла благоразумным молчанием, если предположить, что кто-то об этом юбилее знает, — правда, я не читаю газет, — но зато я получил поздравление от федерального президента Рау, от его имени, само собой.

Крепко жму руку, твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.1.03

Дорогой Гена, за неделю не набралось ни впечатлений, ни мыслей, о которых можно было бы тебе написать. Даже не читал ничего нового. Даже не читал ничего нового. Раскрыл как-то на произвольной странице «Доктора Живаго» — и не мог оживить, даже понять давнего своего впечатления. С книгой ли что-то произошло, со мной ли? Конечно, со мной. Зато сдвинулась немного работа. Морозы сменила от-

тепел, мы гуляли это время пешком. Но позавчера похолодало, выпал свежий снег, лыжи прекрасно скользили, и мы с Галей незаметно пробежали больше двенадцати километров. Больше ничего особенного и не вспомнишь. Как ни странно, ничего другого мне сейчас и не хочется.

Вот тебе вместо прозаических впечатлений еще верлибр.

Мгновение

Где ты был только что?
Вдруг очнулся от озабоченных мыслей,
Ощутил, увидел себя за столом, на кухне,
Ломоть хлеба в руке не донесен до рта.
Родилось из белесой прорехи солнце,
Затрепетал, закипел оживший в луче воздух,
Засветились крупницы просыпанной на столешнице соли.
За окном возникли заиндевелые ветки.
Женщина осторожно идет по дорожке,
Рука оттянута сумкой с изображеньем певца,
Смотрит под ноги: как бы не поскользнуться.
Для нее не существует ни встречных, ни сиянья деревьев,
Как для тебя только что — лишь на миг вдруг возникли,
Проявились из рассеянного несуществованья,
В следующий миг все растворится, исчезнет —
Уже удаляется, становится все невнятной,
Пока ты шевелишь губами, подыскиваешь слова,
Выводишь на бумаге значки, магический шифр,
Хочешь спасти, удержать, воссоздать для себя, для всех
Трепет еще одного
Начерно прожитого мгновения.

Ну, если не надоело, вот еще один — из другого раздела.

Мы слишком долго живем, успеваем разочароваться,
Пережить торжество недостойных, крушение надежд,
Разрушение целых стран, гибель лучших, непонимание
Современников, оргии непотребств, успеваем
Даже понять кое-что, изучая историю, убедиться,
Что так было всегда. Из-под вековых отложений
Извлекают творения гениев, вспоминают их имена,
Всем воздают по заслугам, объясняют причины упадка —
В прошлом. Чтобы дожидаться такого при жизни,
Времени не хватает — мы слишком мало живем.

Как ты думаешь, можно это где-нибудь тебе показать? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, я задержался с ответом. Оба стихотворения нравятся мне, пожалуй, меньше, чем то, первое, — «Исторические руины». Но и они хороши. А главное, выстраивается цикл с каким-то общим настроением, лирико-медитативным, и выдержанный в одном стиле. Надеюсь, ты будешь продолжать. Надо придумать для него название. Печатать? Конечно, хорошо бы и напечатать. Судить о том, найдётся ли издатель или журнал в России, мне трудно; думаю, что, как и для всякого серьёзного произведения, шансы невелики [...]

Я закончил три дня назад переделку романа и расхрабрился настолько, что послал новую редакцию в «Октябрь» [...] Понравится ли это сочинение, не знаю, я сам отнюдь не уверен, что оно удалось. Вдобавок (о чём я тебе уже писал) прологом служит кратко изложенная трагедия парохода «Вильгельм Густлофф», которая и в дальнейшем время от времени всплывает в романе. Пожалуй, ей придано даже символическое значение. Триумф, обернувшийся крахом; победа, которая оказалась поражением для следующего поколения. Эта история преследовала меня много месяцев. И я совсем не знаю, не оскорбит ли она (что было бы, конечно, недоразумением) патриотические чувства. В сущности, роман противоречит всей концепции войны, мифу о войне, который остаётся незыблемым в России как важнейшая часть — скажем так — национального самолюбования. Сам я ничего оскорбительного в своём романе не вижу; не говоря о том, что там больше говорится о любви, чем о войне. Но я живу на другой планете [...]

Дорогой Марк! Нас завалило снегом. Всё выглядит очень романтично, но на машине ездить трудно. Новостей нет [...] До меня дошёл второй том книги Солженицына «Двести лет вместе» (первый я частью читал, частью просматривал несколько месяцев назад). Не знаю, попадалась ли она тебе. Если о первом томе можно было говорить, что книга не удовлетворяет критериям научного исследования, за которое она себя выдаёт, что она скучна, перегружена цитатами, что подбор цитат выдаёт необъективность автора, и прочее, если возможна была критика, полемика, — то второй том оставляет однозначно тяжёлое впечатление, отбивающее всякую охоту что-либо доказывать. Он просто гнусен, ничего другого не скажешь [...]

Дрогой Гена!

Комментарий к самому себе может быть, наверно, интересным и самостоятельным текстом. Есть тексты, которым без комментария не обойтись. Джойсу на удивление повезло, его сразу обогатили толкованиями мифологическими, астрологическими и какими угодно прочими; ему самому тут не пришлось трудиться. Я необычайно ценю «Шум и ярость» Фолкнера, перечитывал его множество раз, постепенно проникая в этот многослойный раздробленный мир. Спасибо комментатору, он снабдил роман изложением фабулы в хронологической последовательности; сам Фолкнер этого бы не стал делать. Я люблю вспоминать, как он однажды ответил даме, которая пожаловалась, что прочла «Шум и ярость» трижды, но ничего не поняла. «Что мне делать?» — спросила она. «Прочтите четвертый», — сказал Фолкнер. Блаженные времена, когда можно было рассчитывать, что у читателя найдется желание и время перечесть малопонятный текст больше одного раза, вообще хотя бы дочитать его до конца. Возможно, я тебе уже писал, как впервые вчитывался в машинописную перепечатку «Воронежских тетрадей» Мандельштама — понимал с трудом, но чувствовал: это надо перечитать, вникнуть. С тех пор перечитываю, вникаю всю жизнь — они остаются неисчерпаемыми, хотя обросли уже комментариями многотомными. Иногда они что-то помогают понять, иногда скорей мешают: сводят многомерность к плоской однозначности. Сам Мандельштам, по словам Надежды Яковлевны, не желал делать ни шагу навстречу читателю, чтобы стать ему понятнее. Для меня ориентироваться на такие образцы было, конечно, непозволительной роскошью. Кроме всего прочего — не те времена. «Сундучок Милашевича», несмотря на премию, остался все-таки непрочитанным. «Возвращение ниоткуда» вообще, видимо, провалилось и у нас, и во Франции. Я написал для французского издания «Послесловие на развалинах», которое сейчас завершает «Стенографию конца века». Его перевели на французский язык, но включать в книгу не стали и, может быть, правильно: авторское толкование — одно из возможных, пусть у читателя сначала возникнут свои. До меня доходили отдельные отзывы, содержательные, близкие к тому, что я хотел выразить. Они во всяком случае подтверждали, что это действительно можно вычитать из текста. В «Стенографии» есть фрагменты из «Рабочего дневника» 1990–94 гг., там отчасти прослеживается развитие

замысла, в самом дневнике можно найти что-то вроде реального комментария. Остается надеяться, что когда-нибудь найдутся желающие это перечитать, сопоставить. И утешаться сознанием, что сделал работу на максимуме своих возможностей.

А дальше — мы упираемся все в те же сомнения: будут ли со временем вообще читать, интересоваться тем, что было нашей жизнью? Вот тебе напоследок еще стишок из раздела «Исторические руины»:

Анфестерии

Эта дорога вела когда-то в великий город.
Изваяния повалились, замыты песком, заросли бурьяном.
Для нынешних они истуканы, а были когда-то боги.
Жители разбрелись, если не вымерли, перемешались
С пришельцами, пропахшими конской сбруей и потом,
Позабыли прежний язык. Мне на нем говорить уже не с кем.
Пережил свое время, попал в чужое. Хуже оно или лучше,
Обсуждать бесполезно. Пройдет и это,
Но уже без меня. Только бы передать кому-то
Многолетний труд, сочинение «Анфестерии».
Так назывались мистерии обновления жизни,
Когда преисподняя открывалась, чтобы мир предков
Мог незримо слиться с миром людей. Наши беды
От того, что живущие про это забыли.
Беспмятство невыносимо для духов. Они не хотят исчезнуть,
Дают о себе знать. Будут исподтишка мстить,
Покуда о них не вспомнят, не восстановят единство,
Чтобы жизнь могла продолжаться, выздоравливая и обновляясь.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9.02.03

Дорогой Марк. Я разделался со всем: и с романом, и с «постскриптумом». Наступила тягостная пауза, какое-то внутреннее безвременье, — и такое чувство, как будто уже совершенно нечего сказать. Комментировать собственные писания — в самом деле странная затея. Классики этим не занимались, и Томасу Манну, как ты помнишь, понадобился эпитафия из «Dichtung und Wahrheit», где говорится, что, хотя произведение должно быть ценно и важно само по себе, и т.д., полезно рассказать о том, как оно создавалось, — понадобился авторитет Гёте, чтобы оправдать своё намерение реконструировать историю «Доктора Фаустуса», свой «роман одного романа».

Этой цели служили письма. Я когда-то зачитывался письмами Флобера, обожаю их и сейчас. Мне кажется, я уже говорил несколько раз, что на месте какого-нибудь профессора в приёмной комиссии Литературного института я бы первым делом спрашивал каждого абитуриента: читали ли вы переписку Флобера? Не читали? Приходите в следующем году.

В нас всё-таки сидит александрийство. Или наследие предков, толкователей Торы и Талмуда.

Мне понравилось стихотворение, оно мне близко по духу и содержанию. Один вопрос: я никогда не слышал слово «анфестерии». У меня нет под рукой греческого словаря, но оно звучит не совсем по-гречески. Сочетание $\nu\phi$ в древнегреческом языке не допускается, происходит уподобление по звучанию, то есть должно быть $\mu\phi$, как в предлоге (и приставке) $\alpha\mu\phi\acute{\iota}$: ср. «амфитеатр», «амфибрахий», «Амфитрион».

Нужно признать, что «Возвращение ниоткуда» — вещь достаточно сложная, местами загадочная (что, с моей точки зрения, отнюдь не порок), вещь, требующая от читателя серьёзного встречного усилия; неудивительно, что она не нашла массового читателя (критики — это ведь тоже «массовый читатель»). И если считать — как ты пишешь, — что она провалилась, то придётся признать и то, что вся наша литература, та, которую мы с тобой занимаемся, провалилась. *Quod erat demonstrandum*¹. Из текста можно вычитать то, что никогда не приходило в голову автору; это неважно. Важно, чтобы возникло желание вычитывать. Доживём ли мы до времени, когда найдётся вдумчивый критик и интерпретатор наших писаний? Конечно, нет.

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.02.03

Дорогой Гена, слово «Анфестерии» встретилось мне в предисловии к посмертной публикации известного философа-античника Я.Э. Голосовкера. «Древние отмечали такие дни, когда *patet mundus*², когда открыта преисподняя и ради обновления жизни мир предков незримо сливается с миром людей. Общество... справляет сейчас свои Анфестерии» (Вопр. фил., 2, 1989). Я справлялся об этом слове у Г.С. Кнабе — он его, как и ты, не знал и тоже не мог определить, греческое оно или латинское [...]

¹ Что и требовалось доказать (*лат.*)

² мир открыт (*лат.*)

Я понемножку работаю, хожу с Галей на лыжах, читаю все больше поэтов, не прозу.

За отсутствием новостей, вот тебе для развлечения еще стишок:

Апология лжи

Тема доклада: необходимость лжи
Для существования человека. Правда невыносима,
Как жестокий хаос стихий, как пустота
И бессмысленность мироздания, как утверждение,
Что человек — не более, чем ходячий мешок,
На время заполненный внутренностями и дерьмом.
Мало прикрыть наготу — надо себя украсить
Побрякушками или перьями, разрисовать лицо,
Утаить, чем природа тебя наделила на самом деле.
Без обмана нельзя. Любовные обещания,
Серенады, уклончивое кокетство — способ добиться
Цели, в общем-то, голенькой. Моды, искусства,
Представления о красоте, условности, все системы
Объяснения мира созданы, чтоб подменить реальность,
Которую никому не вместить. Ложь компактна,
Как миллионные цифры погибших, нарисованные на бумаге.
Ужасно, говорим — но не пробуем даже представить
Обезображенные тела, вопли, запахи, лица убийц.
Это нам покажут в кино, по возможности эстетично,
Или опишут в истории, составленной из легенд,
Подчищенной, переправленной, приспособленной
К веяниям времени. Замысел подгоняется к результату:
Так и должно было быть. Восхищаемся сооружениями,
Воздвигнутыми на костях — бестрепетно по ним ходим.
Иначе просто нельзя.
За скобки вынесем представления
О некой запредельной реальности. В рамках нашей методики
Их ни опровергнуть, ни доказать. Можно лишь удивляться,
Что жизнь продолжает все-таки существовать.
Но будет ли так вечно, требует еще подтверждения.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, я поправляюсь или стараюсь поправиться — от гриппа. Почти не выхожу. У нас солнечно, снег. Похоже на зимы когда-то в Есеничых [...]

Я проделал с «Апологией лжи» следующий опыт: перепечатал стихи «прозой», не разбивая на поэтические строки. Мне кажется, стихотворение не выдержало этого испытания — ничего не потеряло и ничего не приобрело. Это значит, что паузы, создаваемые разбивкой на строчки, не работают; разбивка оказывается искусственной. Свободный стих коварен. По-моему, стихотворение удалось меньше, чем прежние. Прежде всего оно затянуто. Ему не достаёт того, что наш поэт называл скорописью мысли. Кроме того, сама мысль недостаточно оригинальна, она была бы вполне легитимна в прозе, в эссеистике (где понадобилась бы, вероятно, дополнительная отделка), но в стихах не ошеломляет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.3.03

Wie geht es dir, lieber Genja? Я на днях получил письмо от Симы Маркиша. Оно шло из Будапешта полтора месяца, отправлено было еще в середине января. Он пишет, что собирается в Мюнхен поздравить тебя с 75-летием. Наверное, приезжал. Для меня всегда было удовольствием беседовать с ним. Письмо было откликом на мою «Стенографию», я ему ее посылал. Неожиданным оказалось сопоставление автора с Гришей Ребровым, трифоновским героем. Совсем, признаться, не помню, кто это, надо бы перечитать Трифонова. Сима начал перечислять упомянутых в книге общих знакомых — и остановился: перечислять пришлось бы едва ли не всех. А с ним мы в Москве ухитрились не встретиться.

У нас вторую неделю держится сказочная погода: синее небо, солнце, сияющий белый снег, прекрасная лыжня. В предчувствии, что скоро все это должно кончиться, я каждый день стараюсь ходить на лыжах. Работаю вяло и без особого результата.

А вчера нас с Галей пригласил на свою премьеру «Сны изгнания» режиссер Кама Гинкас. Это фантазия по мотивам Шагала, без сюжета, с минимумом текста — рассказать о спектакле в словах невозможно. Восхитительная работа, есть потрясающие эпизоды. Достаточно упомянуть, как на экране проецируется труппа Михоэлса, танцующая «Фрейлэхс» — а экран с двух сторон поджигается, горит и сторает весь, пока длится танец. Некоторые фантазии, кажется, могли бы понравиться самому Шагалу [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк! Когда-то дочь Эренбурга Ирина показывала мне подаренный, кажется, её подругой, вдовой Шагала, альбом, иллюстрации к Ветхому завету; там была прелестная картинка: три ангела в гостях у Авраама и Сарры. Трое детей сидят за столом, ноги не доходят до пола, за спинами белые крылья. Бабушка Сарра несёт еду. Здесь, то есть на Западе, я видел много разных вещей Шагала: рисунки к «Мёртвым Душам» Гоголя, огромную фреску в здании кнессета в Иерусалиме, голубые витражи в Майнце, в церкви св. Стефана; и, конечно, разную живопись. Это я по поводу спектакля Камы Гинкаса — с удовольствием бы поглядел. О Гинкасе есть упоминания в «Стенографии». Что он за человек, сколько ему лет?

Наша зима кончилась, началась солнечная весна, но и она как-то иссякла; пасмурно, идёт дождь. Я сходил на учёную конференцию по случаю 50-летия смерти Schnurrbart'a. Незабываемая дата: день 5 марта следовало бы объявить национальным праздником. Ты, наверное, этого не помнишь; о смерти было объявлено не сразу. Диктор, это был Левитан (во всех бараках висело радио), провещал гробовым голосом: «Товарищ Сталин потерял сознание». Охватившую всех злобную радость, конечно, опасались показывать открыто: в лагерях, как и на воле, везде были стукачи. Но я помню, что я оказался в один из этих дней на железнодорожном полустанке, в четырёх-пяти километрах от лагпункта, там стоял состав, из окошка товарного вагона высунулось чья-то физиономия, подросток из полувцветных (то есть полублатных, приблатнённых) заорал: «Ус подход!»

С Симой Маркишем я, конечно, виделся; он бывает время от времени в Мюнхене; но мои три четверти века, этот мрачный и неправдоподобный юбилей, мы никак не праздновали, были только, но без Сими, уже уехавшего, в мюнхенском Austernkeller. Кстати, Грише наднях должно стукнуть 85. Жуткие цифры.

Ты удивишься, но я снова переписываю роман. Так ремонтируют только что сданный — краска ещё не высохла, — и оказавшийся непригодным для вселения дом. Я знаю, что это затея в некотором смысле бесцельная, так как сочинение, если его удастся напечатать, вряд ли будет прочитано, но хуже то, что и само по себе оно, возможно, страдает каким-то непоправимым дефектом. Так или иначе, нужно довести дело до конца. Есть потребность (мы уже много раз об этом говорили) подвести итог, сказать о времени, оставшемся позади, — не об актуальном времени, актуальность, пока

она ею остаётся, ничего не стоит, во всяком случае, не представляет интереса для искусства, — но об «эпохе», все эти громкие слова придется ставить в кавычки. А с другой стороны, есть нужда и необходимость вернуться к человеку, к жизни чувств, условно говоря, вернуться к Прусту. И оба этих измерения нужно как-то уметь совместить.

Вопреки тому, что я думал прежде, то есть вопреки собственным декларациям, я вернулся к «рассказу», к обыкновенной, почти линейной повествовательности и к достаточно тривиальной точке зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Будущего, которое стало прошлым. Кстати, не помню, писал ли я тебе о том, что я использовал для названия строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, достигнутость прошлым перекликались с сюжетом), и у него же заимствовал эпиграф — коротенькое стихотворение из сборника «Atemwende».

In den Flüssen nördlich der Zukunft
werf' ich das Netz aus, das du
zögernd beschwerst
mit von Steinen geschriebenen
Schatten.

Попробуй-ка это перевести. Что-то вроде следующего:

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты загружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым; север — это Россия; туда я отправляюсь, чтобы встретиться с вами, с тобой; ты там, на дне; в эти реки я забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, тот говорит правду. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): Кто говорит тенями, выносит приговор.

Такие дела.

Сердечно обнимаю тебя, твой Г.

14.03.03

Дорогой Гена,

вчера я поздравил с 85-летием Гришу Померанца — по телефону. Московский телефон, увы, с годами подменил переписку. Ты, наверное, знаешь больше меня (во всяком случае, более содержательно), что он сейчас думает, о чем пишет. Голос был бодрый, он сейчас в Москве, 23-го ему предложили вечер в малом зале ЦДЛ, возможно, мы увидимся.

Ты спрашиваешь про Каму Гинкаса. Ему 62 года, в «Стенографии» упомянуто, что с двух лет он был с матерью в Каунасском гетто. Его жена, Генриетта Яновская — главный режиссер театра Юного зрителя, там он ставит свои спектакли. Мы подружились с обоими несколько лет назад, они приглашают нас на свои премьеры. Кама сейчас стал очень известен во всем мире, его приглашают ставить спектакли в Америке, Японии, разных странах Европы. Я его высоко ценю.

Пришел по почте 13-й номер «Иерусалимского журнала», там статья Симы Маркиша памяти Горенштейна. Он цитирует публикацию в «Октябре», где был напечатан и ты, и солидаризируется с мнением режиссера М. Левитина: Горенштейн ощущал себя прежде всего евреем. Я взял перечитать «Псалом». Мощный писатель! Картины довоенного крестьянского голода, военной, послевоенной российской провинции потрясают. Но еврейские проповеди на российские темы мне обсуждать трудно. Почему Дан, брат Христа, называет себя Антихристом (слово-то не еврейское, греческое)? С какой миссией он послан в края, где кроме него, евреев, кажется, нет? В последней притче проводится обширное сопоставление — противопоставление — иудаизма и христианства. Моей эрудиции недостаточно, чтобы обсуждать это без подготовки; эмоционально, интуитивно что-то во мне сопротивляется этим безоговорочным, разоблачительным, гневным, карающим приговорам. Но какая резкость, самостоятельность мысли — без оглядки на общепринятые суждения! Не с кем его даже сравнить.

«Иерусалимский журнал» из номера в номер погружает в атмосферу еврейской тематики — все мировые проблемы кажутся производными от еврейской. Я со смущением ощущаю себя недостаточно евреем. Вспоминается, что у Кафки в художественных произведениях евреи практически не упоминаются, это не помешало Макс Броду интерпретировать его как еврейского религиозного мыслителя [...]

Незадолго перед тем я по совсем другим, литературным надобностям перечитывал Пророков и страницы твоего «Антивремени», где излагается легенда о восстановлении памяти из букв.

Меня все больше интересует твоя новая работа — на этот раз заинтересовало упоминание о Целане, «настигнутого прошлым». Что имеется в виду? То немногое, что я знаю по-немецки у Целана — это великая поэзия, но приведенные тобой цитаты подтвердили, что в поэзию такого уровня мне и по-русски непросто вчитываться. Может быть, пришлешь какой-то вариант, какие-то страницы своей работы? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.3.03

Дорогой Марк. Я тоже поздравил Гришу. Он бодр, полон планов. Некоторое время тому назад прислал мне статью, где говорится об упоминаниях о нём в книге Солженицына — второй том «Вместе». Читать эту статью интересно, она добавляет многое к уже известному. Но книжка не заслуживает обсуждения.

Насчёт Горенштейна. Сима Маркиш прав, но наполовину; другая половина — это то, что Горенштейн был и ощущал себя русским писателем. Оттого я выбрал когда-то для моей старой статьи о Фридрихе название-цитату: «Одну Россию в мире видя». Его рассуждения об иудаизме и христианстве — род доморощенной теологии (или мифологии), но у крупного писателя даже недостатки превращаются в достоинства; это такой игрок, у которого все карты становятся козырными; и всё это мутное, как омут, философствование оказывается необходимым. Не говоря о том, что подчас трудно понять, кто говорит: прозаик, сидящий за письменным столом, автор-резонёр, переселившийся в своё творение, или кто-то из персонажей. Одно переходит в другое — не только в «Псалме» [...]

Ты недоумеваешь, почему Дан именуется Антихристом; но это можно объяснить. Он брат Христа — и его противоположность, опровержение, его замена — и отмена. Обессилевшее христианство должно уступить место антихристианству. Может быть, вернуться к своему истоку — иудейству. Такое антихристианство может напомнить христианство Константина Леонтьева. Как бы то ни было, очевидно, что автор употреблял «анти» совсем не том смысле, что это дьявол и дьявольщина, совсем нет. Дьявол, впрочем, присутствует в его произведениях: это злобное простонародье.

О Кафке. Любопытные рассуждения об интерпретациях Брода есть в книге М. Кундеры «Преданные завещания», первой, написанной им по-французски. Кажется, сейчас появился русский перевод. В прозе Кафки о евреях нет упоминаний, ты прав. Но известно, что Кафка увлекался ашкеназийским еврейством, дружил и переписывался с Ицхаком Лёве, актёром идишитского театра, устроил ему в Праге литературный вечер; женщины Кафки (за исключением Милены) были еврейками, Дора Диамант — активистка еврейского молодёжного движения в Берлине; ну и, наконец, дружба с самим Бродом. Сам Кафка, между прочим, на всех своих фотографиях больше похож на сирийца, чем на иудея. А у папаша вид дюжинного арийского лавочника (кем он и был) [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.3.03

[...] Вчера в ЦДЛ был вечер Гриши. Я его не видел года два — он на удивление не изменился, таким был и в 75 лет, даже, пожалуй, похорошел. И Зина выглядела прекрасно. В малом зале собралось человек сто с лишним. Гриша, думаю, мог бы собрать и большой зал, мест на 500–600 — при широком оповещении (я о вечере узнал потому, что позвонил ему по телефону). Он начал с чтения небольшого эссе, потом отвечал на вопросы. Зная, что должен буду послать тебе нечто вроде вот этого отчета, я начал было стенографически записывать на своих листочках темы его рассуждений. О причинах возрождения популярности Сталина в массах (по опросам, больше 30% сейчас считают его роль положительной). Массы растеряны, не знают, как выбраться из смуты, в которую они попали, не верят политикам. Когда слабеет религия, место Бога занимает вождь. Современниками Нерона были Петр и Павел, но слушало их меньшинство. Должно возродиться чувство священного... О важности созерцания...

Тут я листочки свои отложил. Характер размышлений тоже на удивление не изменился, обновляются скорей поводы. Отвечал на вопрос о последнем двухтомнике Солженицына — но это ты от него знаешь. Говорил, как всегда, прекрасно, слушали его влюбленно. Круг близких ему людей, похоже, обновился. Выступали с приветствиями, говорили о нем восторженно. Интересен был один рассказанный эпизод. Гриша с группой летел в Уфу на собрание российской интеллигенции. С самолетом что-то случилось, кажется, возникли проблемы с шасси, он стал кружиться над аэродромом, вырабатывая горючее для

аварийной посадки. И рассказчик услышал от совершенно спокойного Гриши такие слова: «Жизнь представляется мне скрипучей пластинкой. Но одни слышат сквозь музыку скрип, я сквозь скрип слышу музыку». Прекрасно, не правда ли? В одной газетной публикации к юбилею приводились его высказывания, которые вошли в интеллектуальный обиход современников.

Я, наконец, подарил ему «Стенографию», он хотел принести мне свои последние публикации, но забыл. Впрочем, я там получил журнал «Персона» (№ 1, 2003) с его большим интервью. Если есть в интернете, посмотри, очень интересно. О наплыве иммигрантов в Европу — не станет ли она через сто лет мусульманской и чем это грозит европейской цивилизации. Об экспансии американской поп-культуры, об опасности однополярного мира и необходимости диалога. Последние события тогда еще не произошли, но все можно считать верным и сейчас, как было верным и во времена, когда мы интенсивно и близко общались. Его мысль всегда стимулировала мысль слушателя, даже когда хотелось спорить, она и сейчас помогает многим ориентироваться в этом шарахании от кризиса к кризису. Проблема в том, что прекрасные идеи что-то значат лишь для узкого круга — как соединить их с реальностью, на которую они влиять не могут? Впрочем, то же можно сказать обо всех наших умствованиях — но они придают хоть какую-то осмысленность жизни. А можно еще раз вспомнить Петра и Павла [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк. Многостраничный памфлет Горенштейна, который был опубликован в Берлине в виде отдельного номера журнала «Зеркало загадок» (ныне практически прекратившегося), у меня, к сожалению, не сохранился. Кажется, я писал тебе, что чтение этого произведения производило удручающее впечатление. Это был не единственный его опус в этом роде. Всё было ниже его могучего дарования. Однажды я пытался, рискуя потерять дружбу Фридриха, отговорить его заниматься тем, что он считал эссеистикой, — то есть вульгарной публицистикой. Он не обиделся и сказал, что он немцам ещё покажет. Правда, в этом последнем опусе он сводил счёты не с ненавистными немцами, а со всеми недавними и давнишними, мнимыми или действительными недругами-соотечественниками (было там кое-что почему-то и об Австрии) [...]

Конечно, дружеское общение усыхает — и потому, что Москва огромный город, и потому, что все мы стареем. Даже моя двадцатилет-

няя переписка с Гришей как-то стала выдыхаться. Странно, но мы и тут были продолжателями старинной и уже почти исчезнувшей традиции — в данном случае эпистолярной

Я пишу какую-то ерунду, например, сочинил рецензию о только что появившейся биографии Лени Рифеншталь. Казалось бы, тят-ляп, и готово. А я переделываю каждую фразу, пекусь о ритме... Вроде старой графини в «Пиковой даме», которая отправляется на бал, нарумяненная и наштукатуренная, хотя никто к ней даже не подойдёт [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.4.03

[...] Умер Семен Израилевич Липкин. Ему был 92-й год. Он вышел с женой на крыльцо переделкинской дачи, ему стало плохо. Вчера была панихида в ЦДЛ, хоронили его в Переделкино, потом были поминки в тамошнем Доме творчества, я немного посидел. Я высоко ценю многое в его поэзии и прозе, меня восхищала его память, его рассказы. Некоторые из них воспроизведены в моей «Стенографии».

Кажется, уже в четвертом письме подряд я ссылаюсь на эту книгу. Ее персонажи — персонажи моей и не только моей жизни. Персонажи уходящего времени. То и дело возвращаюсь мыслью к тому, что может сделать этот не совсем литературный жанр общим достоянием. В мартовском «Новом мире», который я взял в библиотеке, есть рецензия на новый двухтомник К.Паустовского, там впервые публикуются его дневники. Цитируется запись от 25.10.27: «Я... человек с поврежденной психикой. Повреждение какое-то тихое, упорное, мучительное. Я думаю о жизни, которой не может быть, — наивной, прекрасной до глупости, — за это меня презирают, в лучшем случае снисходят, как к безвредному чудаку... В чужом молчании я чувствую прекрасно мысль о том, что я «слабенький писатель», но никто, никто не видит или не хочет видеть, сколько тоски, отчаяния, крови и заплыванных надежд во всей этой глупой фантастике... Нет ни минуты. когда я не ощущал бы это чувство катастрофы».

Как неожиданно для Паустовского! Судя по рецензии, в дневниках это единственный такой всплеск. Жаль, если так. Еще раз подумал, что у пишущего человека может сложиться само собой повествование более значительное, чем написанное специально, «художественно» — в зависимости от меры таланта, разумеется. От способности не окорачивать себя, не слишком себя жалеть, уходить с поверхности. В том же номере дневники покойного критика И.Дедкова за 1992 — «тоталь-

ное», по его собственным словам, «неприятие происходящего», от-
вращение, отчаяние. Но тотальное неприятие — тогдашних перемен,
политических деятелей — еще не означает понимания, проникнове-
ния в суть, время уже само с такими вещами разобралось [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] О кончине С.И. Липкина я узнал позавчера. Это был славный человек, прекрасный, мудрый поэт и замечательно интересный мемуарист [...] Когда-то, вскоре после того, как С.И. был оперирован по поводу опухоли прямой кишки, мы приобрели и послали ему лечеб-
ный аппарат; между прочим, это была инициатива Кронида. Потом я виделся с ним и Инной в Переделкине, в мой первый приезд в Москву через 11 лет после «отъезда». В байковом лыжном костюме он был похож на большого игрушечного медвежонка. Мы сидели втроем и разговаривали на разные темы. Западная жизнь его, видимо, не интересовала; по крайней мере, он не задавал никаких вопросов. Он повторил свою любимую мысль, что в литературе, точнее, в прозе, остаётся только тот, кто создал человеческий тип (вроде Гамлета, Дон-Жуана и т.д.). Мне хотелось спросить: а как быть с Кафкой?

Он был, я это тоже помню, единственным, кто отозвался на мой рассказ о Картафиле (Агасфере), может быть, единственным, кто его прочёл. Рассказ был напечатан, как ни удивительно, в «Литературной газете», и отклик Семёна Израилевича появился в этой же газете: это было стихотворение. Оно было посвящено автору рассказа, чем я очень горжусь.

Я постараюсь заглянуть в то, что ты прочёл о Паустовском. Запись в дневнике поразительна, но это 20-е годы, когда ещё можно было разрешить себе быть пессимистом. Двухтомник вряд ли до меня дойдёт. Я как-то — возможно, несправедливо — не очень высоко ценил этого писателя. Он был, видимо, благородным человеком, но казался мне писателем, боявшимся жизни, автором благоуханно-музейной прозы для подростков или, пожалуй, для немолодых интеллигентных дам в пуховых платках, где-нибудь в тихих, старинных и таких же культурных, как они сами, провинциальных городках средней России, которые он любил описывать и которые существовали только в его воображении.

Любопытно, что жанр, который я считал невозможным, уничтоженным в Советском Союзе, всё-таки каким-то образом не сгинул. Но, конечно, в том понимании, как он продолжался и даже процветал в Европе, когда дневники подготавливались к печати самими авторами, чуть ли не писались в расчёте на будущую публикацию, а порой даже становились главным занятием прозаика, — то есть рассматривались

как литература и в самом деле превращались в литературу наравне с романами и эссе, — в этом смысле дневниковый жанр в нашей стране не существовал, просто не мог существовать. Жанр ли? Ты интересно пишешь об этом. И действительно, «Стенография», на мой взгляд, оказалась одной из лучших твоих книг [...]

Я сам, к несчастью, регулярных дневниковых записей не делал, если не считать дневника, который усердно вёл, когда мне было от 13 до 16 лет, я вообще в то время был весьма плодовитым сочинителем, писал всё что угодно, от поэм и романов до философских статей. Накопилось несколько тетрадей с римскими цифрами на обложке, я привёз этот дневник в Москву, но, к великому сожалению, порвал летом 49 года, когда был арестован Сёма Виленский и мы с Яшей Мееровичем (теперь уже покойным) «принимали меры». Пропала (в ночь нашего ареста) и моя переписка с дядей во время войны на литературные темы. Жаль. Это уничтожение полудетского прошлого было частичкой, мелким частным проявлением всеобъемлющего процесса уничтожения прошлого, можно сказать — исторического процесса истребления истории.

Маленькое событие последних недель — я прочёл два коротких романа Гайто Газданова, «Вечер у Клэр» и «Призрак Александра Вольфа». Когда-то держал в руках Газданова, но не обратил внимания. А писатель оказался замечательный. Подумать, что ещё немного, и я мог бы застать его в живых, он работал последние годы на радио Свобода, был даже заведующим русской редакцией. По-видимому, то, что он мало популярен в России (хотя издан уже давно), объясняется тем, что это культурный, даже рафинированный прозаик, пишущий хорошим русским языком. Идёт борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у писателей, бессознательная у читателей.

Я тоже, как и ты, запнулся; но работа не то чтобы застопорилась, а просто я доехал до места, где кончается дорога. Куда рулить дальше, неизвестно. Пустота какая-то, нет *насущного*; хотел было написать о графе Платене, зачем, неизвестно, и размагнитился [...] Погода хмурая, время от времени идёт какой-то полуснег, а между тем дрозды под нашими окнами, в углублении, откуда видны окна плавательного бассейна, уже соорудили гнездо, птица сидит там и, видимо, ужасно мёрзнет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.4.03

[...] Ты пишешь, что «далеко уехал от всего этого». Не думай, что дело в географическом отдалении, в другой стране. Что-то от нас всех

удаляется вместе со временем. При встречах я иногда спрашиваю давних знакомых: изменилось ли что-то не просто в их понимании происходящего — в мироощущении? Мне отвечали: нет, всегда понимали то, что понимаем сейчас, уточняются лишь подробности. Возможно, вопрос сформулирован не совсем правильно: я тоже, остаюсь, в общем, при своих давно уже выработанных убеждениях, при своей системе ценностей. Но представления, взгляды на многое меняются, и понимание формулировать все трудней. Какое-то обобщенное понимание, возможно, вырабатывается не отдельным умом, а совокупным интеллектуальным поиском, но этот поиск неизвестно даже, как проследить: все, как никогда, раздроблено, обсуждается по более или менее мелким сектам, тусовкам.

«Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеить двух столетий позвонки?» Боже, доступна ли сейчас человеку пишущему, мыслящему, у нас и на Западе такая грандиозная поэтическая емкость? Ты знаешь таких? И как это мироощущение разрабатывалось, формулировалось, становилось все более мощным с годами! Вот несравненный уровень, вот ориентир. Не хватает силенок — придется это признать, не ссылаясь на неблагоприятную атмосферу.

Обнимаю тебя, друг мой. Vale! Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, благословение Дневника, в данном случае — «Стенографии», как раз и состоит в том, что словно расхаживаешь по музею своей жизни: экспонаты — это и ты сам, и друзья-собеседники минувшего времени, и весь умственный и эмоциональный климат тех лет. Археология, архаическая утварь. Конечно, говоря о том, как «далеко я уехал», я имел в виду и отдаление времени, не только отъезд в другую страну. Хотя — невозможно этого не признать, не видеть — переселение в Европу было для меня в самом деле переселением в другой мир. И я даже это чувствую всё больше и больше (о чём писал тебе, кажется, не раз). Не знаю, что было бы, если бы я остался в России и не врезал дуба (и то, и другое кажется сейчас совершенно невероятным), вероятно, я и там бы всё больше уединялся и отдалялся от «действительности». А переписки бы не было.

Ты повторяешь строчки Мандельштама и спрашиваешь, «доступна ли сейчас человеку пишущему, мыслящему, у нас и на Западе такая грандиозная поэтическая ёмкость». Да, — не поэтическая, может быть, но аналитическая, дискурсивная. Я наткнулся на большую беседу Б.

Дубина с Натальей Игруновой (имя мне незнакомое) в «Дружбе Народов», 2003, № 1; с этой публикацией, по-моему, стоит познакомиться. Там, между прочим, приведён длинный список немецких книг, замечательных авторов, предпринимавших попытку так или иначе отразить совокупный опыт столетия. Многие из них нам с тобой известны, но всё прочесть невозможно. А главное, самые яркие, самые интересные или самые учёные книги не избавляют нас самих от потребности самолично подытожить собственную жизнь. И, наконец, мы понимаем, что никакой философский дискурс не может заменить литературу.

Мне сейчас кажется, что со своим романом (который я тебе послал) я оказался на ложном пути. В который раз я старался встроить индивидуальную человеческую судьбу в историю страны и века, а историю встроить в жизнь и судьбу индивидуума. Причём — и это было главной ошибкой последней книги — начинал танцевать от «общего»; тут всё так и начинается — с войны, и весь роман начинает выглядеть как повествование о молодых людях, которых война, уже закончившаяся, и «общество», отождествившее себя с каннибальским государством, в конце концов добивают.

Ошибка состояла в том, что я занялся не своим делом. Литература занялась не своим делом. Я как-то тыкался в потёмках все последние дни. Может быть, и сейчас обманываюсь, неизвестно, что выйдет, может, вообще ничего не выйдет. Но маячит что-то другое. Я когда-то приводил в нашей книжке с Джоном слова Пруста из одного письма (к графу Georges de Lauris). Возможно, я перевожу не совсем удачно.

«Величие подлинного искусства... в том, чтобы обрести заново, ухватить и постигнуть действительность, от которой мы живём вдали и уходим тем дальше, чем сильнее спускается и становится непроницаемым привычное, затверженное представление, которым мы подменяем действительность, ту действительность, так и не познав которую мы в конце концов умираем, хотя она есть не что иное, как наша жизнь. *Подлинная жизнь, наконец-то открытая и осветленная, и потому единственная по-настоящему прожитая нами жизнь*, есть литература: та жизнь, которая в известном смысле осуществляется в каждом человеке в любое мгновение совершенно так же, как в художнике. Но люди её не видят, так как не пытаются вынести её на свет: их прошлое — это нагромождение бесчисленных негативов, которые пропадают втуне, так как владелец их не „проявил“».

То, что я подчеркнул курсивом, довольно выпукло выражает мысль, близкую к тому, о чём, вообще говоря, я всегда думал. А именно, о том, что, хотя смысл жизни — в ней самой, она не даётся и не пе-

реживается в её смысловой полноте; прежде чем это понять, надо её прожить; понимание приходит в тот момент, когда от нас уже почти ничего не осталось. Размышление о жизни, не отделимое от памяти, — это способ увидеть в ней то, чего мы не видели, пока жили. Такая ретроспекция — королевский домен литературы, собственно, она и есть литература. Ну, и так далее. Хотя, как уже отмечено выше, — посмотрим, что получится на этот раз. *Mal sehen, sagte der Blinde*¹. Каждый раз, когда я за что-нибудь принимался, я думал: ну всё, это последний раз, дальше — крышка. Твой Г.

S.V.V.E.E.V. (Аббревиатура, которой принято было заканчивать письма в Риме: *Si vales bene est, ego valeo*².)

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.4.03

Дорогой Гена,

твой роман я прочел в один присест. Поначалу не совсем ясно, как связан один эпизод с другим, постепенно втягиваешься, под конец все соединяется в целое. Мозаичная панорамная картина, множество точных, узнаваемых подробностей, разнообразный быт, городской, деревенский, университетская атмосфера, знакомая (порою до совпадающих мелочей) по твоим прошлым книгам, юношеские, девичьи любовные томления «репрессивных времен» — это еще понятно, но как ты сумел достоверно воспроизвести ощущения подводника, брызги в лицо, многое другое, какими трудами откопал такие убедительные реалии? Если бы я писал рецензию, я мог бы перебрать множество несомненных достоинств. Для полноценного отзыва роман надо, однако, перечитать, он сложно организован. Пишу, немного устав после чтения, пока наспех. Главное — передан воздух времени, чувство чудовищной эпохи. Работа, на мой взгляд, состоялась, можно тебя с этим поздравить. Но поскольку глина еще не совсем засохла, ты еще можешь что-то подчищать, спешу сделать мелкие оговорки.

Главная касается эпилога (эпикриза). Он довольно близко воспроизводит сюжет твоего рассказа «Зов родины», который я в свое время раскритиковал. (Задним числом, кстати, сопоставилось: новому русскому бандитского типа в рассказе тоже должно быть под семьдесят — нет, сейчас это не возраст для такого персонажа.) Мне показалось вначале, что ты начинаешь повествовать от своего имени. Даже

¹ Увидим, сказал слепой (*нем.*)

² если ты здоров, хорошо; я здоров (*лат.*)

конференция по приглашению журнала оказалась знакомой, вспомнилось, как после заседаний мы бродили по Москве. Вот, подумал, к кому он, оказывается, еще заходил, а мне не сказал. Но повествователь вдруг называется «приедем», «гостем», и отбывает он в Америку. Надо отчетливой дистанцироваться от этого «я», не только у меня может двоиться. И разговор о Сталине кажется мне здесь излишним. Для твоего читателя это уже давно одно из общих мест, вне обсуждений. Вопросы о судьбе знакомых, персонажей романа — вот это по делу.

То же — о некоторых внесюжетных эпизодах. Женщина в «Доме привидений» — очевидно, Цветаева, перенесенная в послевоенное время? Зачем? На повествование это не работает, что-то не соединяется. «Интермедия в костюмах эпохи» — тоже необязательная публицистика, есть частные претензии, но дело не в них. А вот пересказ «Клятвы» — замечательный, я давно это забыл, герои могли фильм смотреть.

Сомнения по поводу этой работы, которыми ты делился в письмах не раз — понятные сомнения художника, но об ошибке ты говоришь зря. Другое дело, как можно понять из твоего последнего письма, что какой-то этап этой книгой закончен. Она действительно подыживает некоторые твои темы, охват более широк. Ты хочешь теперь перейти к повествованию более личному? От истории тебе все равно вряд ли удастся совсем уйти. От нее никому из нас не убежать, а эссеистическая составляющая всегда была сильным местом твоей прозы. Мы что-то подобное уже с тобой обсуждали. Могу вслед за тобой повторить: посмотрим.

Еще раз тебя поздравляю. Успехов тебе.

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

[Апр. 03]

Дорогой Марк. Сегодня воскресенье, весна вернулась, мы с Лорой отправились на Feringasee, от нас 10 минут езды; гуляли вокруг озера, сидели в пивном саду, ели жареные рёбрышки и пили пиво, за которое можно продать душу (что и случилось порой в этой стране). Что ещё? У меня бывает бессонница, довольно неприятная вещь, я даже сочинил рассказ под названием «Бессонница». Сегодня ночью я сидел, смотрел, в поистине идиотском оцепенении, под электронную музыку на экране снимки Земли, сделанные из космоса. Есть такая передача Space night для неспящих. Потом включил канал «Феникс» и увидел, правда, не птицу, восставшую из пепла, но, к своему изумлению, нечто

подобное: репортаж из петербургского университета — на юридическом факультете церемония присуждения титула почётного доктора нашему канцлеру. Надевают на него *sar and gown*, словно мы в Оксфорде, квадратную шапку с кисточкой и мантию, похоже, сшитую специально по этому случаю; вся учёная братия в шапках и мантиях, герб университета, цвета университета, почётный диплом, чего доброго полатыни, речь декана по-русски, речь новоиспечённого доктора по-немецки, выступление президента, тоже, оказывается, выпускника этого факультета. Всё как у людей — казалось бы, надо радоваться. Но я отравленный человек. Стоит только подумать о том, что ещё совсем недавно — башмаков не успели сносить, как говорит принц Гамлет, — не кто-то там, а эти же самые люди внушали своим питомцам нечто противоположное, писали и вещали, и защищали диссертации о великих преимуществах социалистического правосудия перед буржуазной юриспруденцией, и... и гнусная Прокуратура, и крысы-следователи — тоже ведь с юридическим образованием, это вам не сталинские времена, и законы, которые сочинялись самим ведомством, дабы всё было «в рамках законности». Что такое закон? Закон, господа, это система правил, по которым надлежит творить беззаконие.

А теперь эти суки как ни в чём не бывало, глазом не моргнув, словно ничего не было: ни лагерей, ни заочных судилищ, ни гигантских полей захоронения, словно не было и всей этой лженауки, этого театра лжи, — соорудили новые декорации, напялили новые бутафорские одежды, теперь они изображают из себя европейцев, И канцлер Шредер, и тут же сидящий Ширак, охотно участвующие в этом фарсе.

Ну вот, лучше поговорим о вещах, несравненно более интересных. Я прочёл и перечёл твой отзыв о романе. Твоё мнение для меня очень много значит, всегда много значило, и в критической части ты, мне кажется, во многом, если не во всём, прав. Так что я даже сразу принялся кое-что исправлять, менять или дополнять. А ведь мне казалось, что я к этому сочинению больше не притронусь.

То, что мне остаётся сказать, отнюдь не служит оправданием. Дитя родилось, будет ли оно жизнеспособным, про это бабушка надвое сказала; но пересаживать органы опасно, дитя по своей хилости может просто не перенести хирургическое вмешательство. Кое-что, однако, придётся предпринять.

Ты говоришь, от истории не убежать, — конечно; «проснуться от кошмара истории», как говорил Стивен Дедалус, — по крайней мере в России это вряд ли кому удавалось. Сверхидея романа (или одна из идей) состояла в том, что «история» настигает идущее следом поколение молодых людей, как она настигла и умертвила отцов, история — это новая редакция античного рока. Война убивает того, кого она не

добила, пока продолжалась. Общество, которое без остатка идентифицировалось с государством, видит своё главную функцию в том, чтобы последовательно репрессировать всю юное, свежее и независимое. И так далее... Но ведь это не может стать содержанием литературы. Это может быть только «фоном». Потому что «жизнь в истории» — это неподлинная жизнь. Сейчас мне приходится снова заглядывать в роман — со страхом, ибо я боюсь испытать отвращение, — и вот, впечатление такое, что история поработила героев настолько, что их подлинная жизнь — для литературы главная, центральная тема — оказалась побочной.

С этим связано всё, что говорится о Сталине. Вождя в романе нет, и вместе с тем он существует везде. Так было на самом деле. То, что сейчас никто не хочет об этом вспоминать под предлогом того, что «мы это знаем», пройденный этап, общее место и т.п., — другой вопрос, я не хочу в него влезать. (Конечно, никакого настоящего знания нет, оно *прекращено*.) Как бы то ни было, был такой феномен времени, обойти который в рассказе об этом времени невозможно. Вождя нет, но есть то, что в романе называется полем, по аналогии с физическими полями. Люди могли это не чувствовать, как не чувствуется радиоактивное или рентгеновское излучение — до тех пор, пока не появятся симптомы лучевой болезни. Речь идёт о поколении, поражённом лучевой болезнью. Поэтому мне казалось необходимым, даже естественным то, что приезжий в Эпикризе, вместо того чтобы говорить об исчезнувших друзьях, ни с того ни с сего начинает разговор с вопросов о Сталине.

Другая тема — смерть поэзии. (Или шире — смерть искусства.) Персонаж по имени Марик Пожарский — поэт. (Я воспользовался довольно нагло некоторыми стихотворениями моего товарища и однокашника по университету Яши Мееровича, умершего недавно; он тоже был арестован, в ту же ночь, что и я, получил срок меньше, чем я, и подпал под амнистию 1953 года, что позволило ему вернуться в Москву; впоследствии стал довольно известным поэтом-переводчиком фантомных национальных поэтов и публиковался под псевдонимом Яков Серпин.) То, что Пожарский пишет стихи, по логике романа бросает на него, — как история с потоплением парохода «Вильгельм Густлофф» на Юрия Иванова, — тень смерти. Тут всё время переклички: мне казалось, что с этой линией связаны и глава о поэтической студии, о её руководителе, похожем на Вл. Луговского, и далее глава «Дом привидений». Вернувшаяся из-за границы поэтесса — это, конечно, не Цветаева, хотя опять-таки смахивает на Цветаеву; надо было усилить фактическое несходство. Выбросить эту главу совсем? Как-то жалко.

Обе темы, смерть искусства и повсеместное присутствие Вождя, соединены в главе о режиссёре (Эйзенштейн? Письмо — почти буквальными цитатами из письма Э. из Кремлёвской больницы Сталину от 14 мая 1946 г. Правда, Эйз. умер позже). Конечно, это отдаёт публицистикой.

Наконец, заключение — «эпикриз». Весь он, за исключением вступления о приезде в Москву, выдуман, и я боялся, что он покажется искусственным (вместо того, чтобы, как делали классики, написать обыкновенный эпилог). Во всяком случае, ты прав: нельзя, чтобы приезжий мог быть спутан с автором.

Спасибо тебе, дорогой Марк. Ведь, кроме тебя, вряд ли кто-нибудь даст себе труд анализировать этот роман, не говоря уже о том, что вряд ли кто-нибудь его прочтёт. Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.4.03

Дорогой Гена!

С твоей подачи я нашел в «Дружбе народов» интервью Б. Дубина — действительно интересно. Он упоминает понятие «первый читатель» — человек, который, знакомясь с новинками, рекомендует их другим. Ты делаешь что-то подобное. Особенно интересен там список литературы, обсуждавшей после войны проблемы, существенные для всего мира. Многие имена мне знакомы — действительно первостепенные, и это только немецкие! Не говорю о беллетристике — но какой напор идей! Ясперс, Хайдеггер, Адорно, Тиллих, Пoppers, Арндт, Хоркхаймер... Возможно, само время после катастрофы требовало интенсивного осмысления. До нас эти книги доходили с опозданием чуть ли не на поколение — уже как классика, популяризированная, отрефлектированная, разошедшаяся на цитаты. Но сейчас мы вроде имеем возможность знакомиться с новинками свежими, в переводе и на языках. Я пробую мысленно составить список работ, где осмысливались бы перемены последних пятнадцати лет ушедшего века — не менее эпохальные. На ум приходят больше французские философы, но они, кажется, сосредоточены скорей на анализе мышления, языка. Конечно, не с моей эрудицией обсуждать это. Может, вообще требуется время, чтобы значительные идеи были по-настоящему освоены, вошли в обиход достаточно широкий. Быстрее подхватываются концепции более популярные, вроде «конца истории» или «войны цивилизаций».

Страницы интервью, где обсуждается современная беллетристика, напомнили мне, как я отстал от развития последних лет. Каких-то

имен не знаю, какие-то лишь слышал. Беда в том, что и знакомое, прочитанное редко производит впечатление, убеждает. Когда собеседники восторгаются некоторыми именами, я пожимаю плечами. Возможно, моя вина. У меня и собственная проза вызывает все больше сомнений. Требуется время, чтобы какое-то понимание все-таки углубить, укрупнить. Я даже попробовал, как ты знаешь, обратиться к поэзии — она всегда представлялась мне явлением более высокого порядка. Не без смущения стал эти тексты показывать, некоторые отзывы меня ободрили, я послал небольшую подборку в «Знамя» — понравилась. Когда я по телефону стал бормотать, что не считаю себя поэтом, мне ответили: «Что вы! Чувствуется поэтическая культура». Передаю тебе эти слова с юмором. Для шестого номера отобрали девять стихотворений, не те, которые больше нравились мне самому (некоторые я тебе посылал). Может, профессионалы из отдела поэзии понимают больше, надо положиться на их вкус. И вместе со стихами публикуют подборку дневниковых эссе «Состояние культуры», часть их я тоже тебе посылал. Там, среди прочего, цитируется фрагмент твоего письма. Вот все мои достижения последнего времени.

Беда в том, что стихи не пишутся каждый день. У поэтов молчание затягивалось, бывало, на годы — чем они заполняли пустовавшее время? Переводами, поденными заработками? Непривычное состояние. Прозаик отсиживает свои часы за столом, даже если не получается ничего. Я сейчас все же вернулся к отставленному время назад замыслу, может, что-то получится.

Да, забыл тебе в прошлый раз сказать еще об одном замечании к «эпикризу». Надо, по-моему, убрать рассуждения писателя, который презирает успех — когда он умрет, журналисты спохватятся, осознают, кого они потеряли, да будет поздно. И т.п. Это не кажется мне темой для обсуждения [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, хорошо это или плохо — плохо, конечно, — но то, что ты пишешь о своих взаимоотношениях с сегодняшней, актуальной и современной литературой, я могу отнести к себе, и даже в ещё большей степени. В особенности если говорить о современной русской прозе[...] Я довольно часто, теперь благодаря интернету, проглядываю главные литературные журналы, читаю критику, рецензии, то да сё [...]Многое — почти всё — из того, что, по-видимому, встречает благосклонный и даже восторженный приём, мне отсюда кажется многословным, безвкусным, провинциальным, малозначи-

тельным, просто скучным; я даже улавливаю некоторые общие тенденции, которые вызывают у меня чувство, близкое к брезгливости. Это нехорошее чувство [...]

Есть несомненно даровитые люди, их немало; есть вещи, которые заслуживают обсуждения. Спрашиваешь себя, почему, прочитав две, три или десять страниц, теряешь охоту продолжать. Ответ напрашивается сам собой. Я слишком стар; по достижении определённого возраста теряется вкус к беллетристике, интересней читать о писателях, чем читать самих писателей. Я слишком далеко; жизнь вне России не проходит даром; и мне легко представить себе, что мои сочинения, в свою очередь, встречают такое же презрительное неприятие. Но тут, похоже, и что-то другое.

Писатели часто не читают своих современников. Корректный Томас Манн с похвалой отзывался о произведениях, которые в лучшем случае только раскрывал. Если же — как это случилось, трудясь над «Фаустусом», с «Игрой в бисер» — читал, то с растущей подозрительностью: почудилось нечто похожее, родственное, почувствовался соперник. Литературные этюды Манна посвящены только классикам. Человек остро интересовался актуальными событиями, но литературные (и музыкальные) предпочтения были сугубо старомодными. Я тут как-то раз достал с полки старый номер «Merkur» за 1985 год, журнала, с которым я долгое время был связан, и перечитал воспоминания Канетти о Музиле. Он рассказывает (это, впрочем, хорошо известно), что Музиль просто не выносил упоминаний о современниках в своём присутствии. Презирал Броха — в награду за то, что тот его нежно любил, был членом Общества помощи Роберту Музилю и регулярно платил взносы. О Джойсе слышать не мог и т.д.

Одним словом, мы с тобой просто старые пни. «А древо жизни пышно зеленеет» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.4.03

Дорогой Гена!

У нас понемногу расходуется весна. Начало было зеленеть, но вчера похолодало. Я пью в лесу березовый сок. Обнаружил неподалеку от леса бассейн, недорогой, встаю рано утром, хожу туда плавать. К сожалению, пока без Гали, у нее разболелась нога, причину установить не могут. Понемногу что-то кропаю, пока без особых результатов.

Признать себя, как ты предлагаешь в последнем письме, «старым пнем»? Объективно так оно, может, и есть, но если это при-

знать, лучше бы покончить с писанием, греться на солнышке, вкушать поздние тихие радости. (Если, конечно, есть еще, чем прокормиться. Так ведь в нашем случае литература прибавляет немного.) Другое дело, что ничем другим заниматься мы попросту неспособны. Я перебираю писательские биографии. Пастернак примерно в моем возрасте завершил роман, который считал главным трудом своей жизни. Возможно, и ошибался; недолгий остаток жизни был ему просто отравлен. Томас Манн в семьдесят лет дописывал «Доктора Фаустуса» — действительно свою вершину; потом он говорил, что лучше было бы на этом закончить — творчество последующих десяти лет казалось ему «необязательным послесловием». Тут он, пожалуй, несправедлив, я очень люблю «Избранника». Но многие ли доживали до этого возраста — физически и тем более творчески? Гете, Лев Толстой — эпические старожилы, но главное создано было ими задолго до конца. Когда сюжет, жизненный и творческий, оказывается завершен, можно увидеть со стороны подъемы и спады, периоды кризиса, затянувшегося молчания, неожиданное второе дыхание. Мы пока что живем. И, главное, иногда кажется, что лишь сейчас начинаешь что-то действительно понимать, обнаруживаешь, как много не понимал до сих пор, сделанное прежде не удовлетворяет. Может, это и значит, что мы все-таки живые? Другое дело, что получается все трудней. Не знаю, насколько оправдано появившееся у меня чувство какого-то нового этапа, может быть, не просто возрастного. Что-то меняется в моем мироощущении (да и в мире меняется, как ты думаешь? У тебя не бывает чувства, что лишь сейчас ты начинаешь видеть что-то по-новому?) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Мой дорогой Марк. Берёзовый сок я когда-то пил в лагере, где, правда, любоваться природой как-то не приходилось. Как ты его добываешь? Сегодня воскресенье, мы с Лорой собирались съездить в Регенсбург — просто так, — но испугались прогноза погоды, а она на самом деле оказалась превосходной: ветрено, но не слишком, солнечно, иногда набегают тучи, Изар пенится на порогах, лес в зелёном дыму. Мы отправились к св. Эммераму и дальше тропинкой через чащу вдоль реки.

Живём пока что, — как ты изволил заметить. И даже кажется (тут ты совершенно прав), что только теперь вот-вот начинаешь понимать или хотя бы улавливать нечто существенное, о чём прежде не ведал.

Всматриваешься во что-то отвлекающее от «современности» и уверяешь себя, что оно-то и является по-настоящему, выше всяких мод и актуальностей, современным. Я когда-то писал об одной из своих героинь, полусумасшедшей старухе, что старость живёт сразу во всех временах; в этом что-то есть, а?

Между тем каждая новая работа кажется последней. При этом постоянно уличаешь себя в эпигонстве по отношению к себе самому. Я взялся было за одну тему, достаточно трудную, речь идёт о том, что именуется клинической смертью, — и то и дело перепеваю прежние свои писания, съезжаю на накатанную лыжню. Выработался стереотип интонаций, мотивов, речевых оборотов, и всё это само утягивает в какую-то подлую тривиальность

Неожиданно прорезалась редакторша (это называется Издательский дом «Время», они выпустили в прошлом году дневники Самойлова) и напомнила мне о моей Антологии, которую я составил года полтора тому назад и на которую давно махнул рукой. Я и сейчас не особенно верю в это предприятие, провалившееся, как все литературные проекты. Речь идёт о книжке под названием «Абсолютное стихотворение», я подобрал сто стихотворений — одно другого лучше — русских, античных, французских, немецких и английских поэтов, начиная с Пушкина, а затем хронологически от Сапфо до Бродского, — любимых или таких, которые сыграли роль в моей жизни. Иноязычные тексты приводятся в оригинале, с русским подстрочником (от поэтических переводов я отказался). Каждое стихотворение снабжено комментарием. Зачем я ухлопал столько времени и труда на это дело, сам не знаю. Но зато я теперь всё заново вычитал и в полном смысле слова погрузился в волшебный сад.

Я сижу дома, как тунядец; Лора ищет работу, это стало затруднительным, отчасти из-за скверной экономической ситуации в Германии. Вечерами слушаю великую музыку или перелистываю что-нибудь до поздней ночи, пока не сморит сон. Правда, сплю плохо. Я выписал томик рассказов и воспоминаний Тэффи, они оказались неинтересными. Во второй половине мая, если буду здоров, собираюсь отправиться в Париж, возьму с собой свой laptop [...]

1 мая 2003

Дорогой Марк, пишу тебе, не дожидаясь ответа на предыдущее. Сегодня День труда, в Германии нерабочий день. Тепло почти как летом. Всё цветёт, возле нас — луга, усыпанные жёлтыми одуванчиками и теми похожими на маргаритки цветочками, которые в здеш-

них краях называются Männertreu. С утра я, как обычно, протираю джинсы перед этим экраном. Начал было (недели две назад) сочинять один рассказик или небольшую повесть, но сегодня занялся статьёй на тему, о которой писал тебе, — о преодолении истории. Не знаю, получится ли что-нибудь путное. Речь идёт о двойном разочаровании. О том, что великие указующие в будущее историсофские концепции, будь то марксистский прогноз, пророчество Шпенглера или что-нибудь другое, провалились, — и о крушении веры в исторический разум вообще. Ничего тут, конечно, особенно нового сейчас уже нет, но надо отдать себе отчёт, что делать с историей в литературе, в эпоху, когда история в её самых ужасных проявлениях настигает буквально каждого. Кстати, позавчера я был на докладе Рольфа Хоххута о Шпенглере в Баварской академии; народу сбежалась тьма тьмушная.

Вчера мы слушали в известном тебе Nationaltheater, бывшей королевской опере, «Золото Рейна» в новой постановке. Без Вагнера нельзя жить. За эти годы мы с Лорой пересмотрели почти всего Вагнера, но он и всю жизнь для меня очень много значил, начиная с той послевоенной осени, когда впервые (во время войны он не исполнялся) в Большом зале консерватории были сыграны отрывки из опер, впрочем, самые популярные, и восторг и неистовство публики после антракта к 3-му акту «Лоэнгрина» были таковы, что я никогда, ни до, ни после не видел ничего подобного. Состав певцов, дирижёр и оркестр в Мюнхене всегда высшего класса, этот театр считается одним из самых престижных в Европе, но, к несчастью, новый постановщик пошёл по пути, который давно уже нельзя назвать новаторским: вся мифология, а с нею и грандиозный замысел автора похерены. Вместо этого — спектакль в спектакле (вся задняя часть сцены — это второй зрительный зал, амфитеатр с живыми людьми), Рейн заменён аквариумом с красными рыбками, которых ловит дураковатый Альберих, Rheintöchter — кафешантанские дивы в платьях с разрезом до бедра, Walhall — макетик храма где-то вдаль, почему-то античного, великаны Фафнер и Фазольт — подозрительные хитрожопые субъекты, не то архитекторы, не то чиновники строительного треста, боги в костюмах конца XIX века, и вся история выглядит, как скандал в буржуазном семействе. Когда-то эти изобретения удивляли, восхищали, казались чем-то необычайно смелым и современным, сейчас — такая же рутина, как и старые оперно-помпезные представления в пышных декорациях, и я не понимаю, почему театр с хорошими средствами не нашёл лучшего режиссёра. Но голоса, но музыка! Шествие богов по радуге в Валгаллу! [...]

Дорогой Гена!

Как интересно то, чем ты сейчас занимаешься! Сама постановка вопроса об истории вызывает на размышления. Мы «преодолеваем» историю — просто живя в ней? Кому-то ведь удается жить вне истории. (Недавно смотрел по ТВ сюжет о северных оленеводах — они даже радио не слушают. Впору позавидовать.) Разочарование в истории — не есть ли разочарование в жизни? И т.п. Хотелось бы почитать, когда напишешь. И что говорил Рольф Хоххут о Шпенглере? (Он все еще популярен?) Очень интересно бы почитать твою поэтическую антологию — я ведь сейчас, как ты знаешь, пытаюсь понять, что такое поэзия. Да когда она еще выйдет! Попросить тебя прислать распечатку? Но это, небось, накладно.

Увы, мне о своих занятиях рассказать нечего. Топчусь на одном месте, время от времени заполняю странички своими стенографическими закорючками. Потом, может, не без удивления обнаружишь, что из таких повседневных записей само собой складывается нечто, глядишь, более значительное, чем все остальное, написанное мной — сюжет проживаемой жизни.

Ты спрашиваешь об отзывах на «Стенографию». Прессы я не знаю, это бывает малоинтересно, отклики приходят от читателей близких, которым я дарю книгу сам. Померанц задержался на какой-то из первых страниц: «Ваше сожаление... что я сдвигаюсь к богословию»... (Не помню, кстати, чтобы я писал о богословии.) «Это не совсем так. Меня захватывает не богословие, а личный опыт глубины, иногда вопреки мировоззрению». И дальше все письмо на эту тему, цитировать, думаю, нет надобности. Весьма интересно было суждение Симы Маркиша: он называет «Стенографию» «историей души подпольного, и главное, принимающего свою подпольность человека (такого варианта задушенности я не знаю в российской словесности)». И сравнивает меня с трифоновским Гришей Ребровым (которого я совсем не помню — кто это?): тот «неудачник и все тут, а он (т.е. я — М.Х.) «богат и счастлив» без надрыва, без насилия». Неожиданно резко отозвался о книге мой товарищ, упомянутый там с большой симпатией: какое я имел право цитировать его высказывания и оценки, не спросив на это разрешения? «Тебе не кажется это неэтичным?» Я, признаться, об этом не думал, возможно, он в чем-то прав. Но тогда мне бы пришлось похерить едва ли не треть книги [...]

А два дня назад пришло письмо от редактора «Иерусалимского журнала»: «Мне кажется, что аналогичного воссозданному Вами портрету литературной эпохи просто не существует, и в этом смысле, не боясь высокого штиля, могу назвать Вашу работу подвигом». Ну, вот уж чего нет, так этого.

Жизнь между тем идет как обычно. Только что вернулся из бассейна, нашел в компьютере твое письмо. Шел через лес, он все никак не зазеленеет. Весна в этом году поздняя.

Обнимаю тебя. Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк! Вдруг навалилась жара, днём выше 30 градусов. Скверный признак: слишком рано. Мы-таки успели прокатиться в Регенсбург, прекрасный древний город на Дунае, на месте римского лагеря *Castra Regina*, столица германских императоров, вдобавок город не разбомблённый во время войны. Через одиннадцать дней, несмотря на то, что материальные дела наши оставляют желать лучшего, я собираюсь, как уже писал тебе, на три недели поехать, точнее, полететь, в Париж.

Гриша Ребров (ты пишешь, что Сима Маркиш сравнил с ним автора «Стенографии») — это из повести 1975 года «Долгое прощание», если ты её забыл, перечти, это прекрасная вещь. Вообще Трифонов был замечательный писатель, так неожиданно и нелепо умерший (лёгочная эмболия после операции на почке, когда он уже выздоравливал), обещавший ещё очень многое. Редкий, кстати, пример прозы после Чехова, чтение которой доставляет эстетическое наслаждение.

Но я плохо представляю себе, что собственно — и конкретно — навело Симу на мысль о таком сравнении.

Я состряпал эту статью, о которой писал тебе, она называется «Долой историю», — но едва только закончил, как она до такой степени перестала мне нравиться, что даже не хочется на неё глядеть. Подожду немного и, может быть, попытаюсь что-нибудь сделать. Вместо неё я послал тебе почтой Антологию; авось дойдёт к концу лета.

В докладе Хоххута для меня вроде бы ничего особенно нового не было, за исключением, пожалуй, одной подробности: он упомянул одну забытую и, видимо, в своё время не обратившую на себя внимание статью Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа (*Wilamowitz-Moellendorff*). Мне это имя очень хорошо известно, это патриарх античной филологии, доживший до 30-х годов. Между прочим, он, ещё молодым, был одним из тех филологов, которые раскритиковали

«Рождение трагедии» Ницше, когда она появилась, и эхо этой критики донеслось до нас: я помню, с каким пренебрежением отзывался о книге Ницше профессор Сергей Иванович Радциг.

Так вот, Виламовиц сочинил за десять лет до Шпенглера концепцию мировой истории, напоминающую «Закат Европы»: история — это цепь великих культур, которые, однако, не обособлены, как у Шпенглера, но похожи за звенья цепи, каждое кольцо замкнуто, но кольца сцеплены друг с другом. Что-то в этом роде.

Странный отзыв о «Стенографии» — ты упоминаешь кого-то, кто нашёл неэтичным цитирование, причём сочувственное, его высказываний. Добро бы ещё речь шла о каких-нибудь интимных признаниях. Но ведь ничего такого там нет. Вообще же это означает непонимание того, чем, собственно, является дневник. Всякая публикация дневниковых записей рискованна; с этим нужно мириться [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

10.5.03

Итак, Гена, через недельку ты отбываешь в Париж. Год назад примерно в это же время ты собирался в Москву. В Париже, конечно, атмосфера приятней, но есть ли там, с кем общаться? В Москве все-таки есть. До сих пор издательство традиционно приглашало меня в Париж по случаю выхода новой книги, трижды оплачивало даже поездку Гале. В этом году решили сэкономить. Как объяснил заезжавший ко мне на днях Жорж Нива, у них сейчас некоторые проблемы. Посмотри, есть ли там на прилавках моя последняя книга «L'esprit de Pouchkine»¹, а может, и предпоследняя, «Le professeur de mensonge»². По-русски ты их не читал. Интересно, продается ли? Издательство мне об этом не сообщает, я не спрашиваю.

А два года назад, точно в эти же дни, мы совершали автомобильную поездку с моими коллегами по вилле Mont-Noir, испанцем и чехом, вдоль Ламанша, через Булонь и Кале. Там тоже отмечалось окончание войны, мы лазали по бункерам, которые союзные войска штурмовали при высадке. На эту тему был известный американский фильм, я узнавал места. Мне прислали “Les annales de Villa Mont-Noir”, там напечатаны фрагменты из моего «Учителя вранья» и фрагменты из дневников моих спутников. Оба, не сговариваясь, описали нашу поездку, и в описаниях фигурирую я. С испанцем мы кое-

¹ «Дух Пушкина» (фр.)

² «Учитель вранья» (фр.)

как объяснялись по-французски, с чехом — на полурусском, полуанглийском. Оказывается, я ухитрился что-то им рассказать о своих впечатлениях времен войны, как мы прятались в бомбоубежище и т.п. Я увидел себя глазами сравнительно молодых иностранцев: “le ‘Russian oncle’, comme l’appelai affectueusement son neveu tchèque”¹, Когда мы выехали на побережье, я, помнится, спустился к морю умыть лицо, для этого понадобилось встать на колени. Вот как это выглядело в описании испанца: “Ces ablutions du visage, c’est un vrai rituel, et ces gestes, si russes, si majestueux... tel exactement qu’il fallait les effectuer, a ce moment et de cette façon... je ne me risquerais pas à l’imiter”². Забавно. Я снова подумал о «Стенографии»: такими увидел кто-то себя в моих описаниях. Мы все, возможно, уже существуем неизвестно в чьих описаниях, какие-то еще возникнут, ничего не поделаешь.

Из Парижа ты электронные письма посылать вряд ли сможешь, разве что из каких-нибудь интернет-кафе. Значит, прощаемся на три недели. А то, может, напиши обычное письмецо; из Парижа, как ни странно, почта идет быстрее, чем из Мюнхена [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.05.2003

[...] Я отправляюсь в следующий понедельник [...] Настроение у меня смутное, мне кажется, что я снова забрёл в тупик. Париж — это лекарство; поможет ли? Я попытаюсь переписать статью об отношении к истории, буду каким-то образом продолжать повесть, которую начал, если из неё вообще что-то можно сделать. Кстати, «Дружба народов», где появилась новая редакторша, осчастливила публику одним моим изделием, кажется, в третьем номере.

С кем общаться в Париже. Вообще-то есть с кем, но мне хотелось бы побыть solo. Одному в огромном волшебном городе. Марию Вас. Розанову видеть не хочется. Эткинда больше нет в живых. Есть ещё одна моя бывшая переводчица, но с ней потерял контакт; прошлый раз я звонил ей, никто не подходит. В «Русскую мысль» я не вхож. Кто ещё?

Последнюю неделю мы с Лорой вели рассеянный образ жизни: то музыкальный вечер в доме одной старой приятельницы, то то, то сё. Лекция Джорджа Стейнера (George Steiner, у меня есть его книжки; имя

¹ Русский дедушка, как любовно его назвал чешский племянник» (фр., англ.)

² Эти омовения (я умыл лицо морской водой), почти ритуальные, эти движения, такие русские, такие величавые... они были такими точными, настолько соответствовали обстоятельствам, моменту... я не берусь это воспроизвести (фр.)

весьма знаменитое, но в России, кажется, малоизвестное) в Literaturhaus — свободный, увлекательный рассказ на тему о взаимоотношениях ученика и учителя. Либо ученик предаёт и уничтожает учителя, либо учитель уничтожает ученика. Либо, наконец, ученик верен учителю и продолжает его дело. В Японии существуют династии наставников и учеников, восходящие к XIV веку. Или хасидские ученики Баал Шема и ученики учеников, традиция, угасшая вместе с уничтоженным еврейством Восточной Европы. Предательство Хайдеггера по отношению к Гуссерлю. Тайный роман профессора Хайдеггера и студентки Ханны Арендт. (Когда-то я об этом писал в одной рецензии.) И всё в таком роде. Стейнер — это замечательный гибрид европейца с еврейским мудрецом. Когда я выходил, меня окликнула одна знакомая — лектор издательства Langen Müller Herbig (с которым лично у меня никаких дел нет), и мы просидели в кафе ещё часа полтора [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.5.03

Дорогой Гена, огромное спасибо тебе за «Абсолютное стихотворение». Бандероль я получил вчера, текст пока лишь просмотрел бегло. В стихи надо, конечно, вникать, не спеша, читать хочется на обоих языках (кроме греческого и почти забытой латыни), подстрочник помогает. Это вообще лучший способ публикации поэзии — на языке оригинала с прозаическим переводом. Но комментарии я сразу прочел — они превосходны. Отбор текстов и характер комментариев вне обсуждений — это авторская работа. Чувствуется, насколько ты человек действительно европейской культуры — это прекрасно. А мне стихи сейчас необычайно кстати — я все-таки отставил очередной раз свою прозу, которую несколько месяцев безнадежно вымучивал. Какое-то, возможно, внутреннее развитие поощряет все более концентрировать, фокусировать мысль. Посмотрим, что получится, но, главное, я испытываю удовольствие от этих занятий — зачем сопротивляться? Твоя антология будет еще одним стимулом [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.05.2003

[...] Как приятно, как утешительно было прочесть, что Антология пришла тебе более или менее по душе [...]

Ты возвращаешься к поэзии; что ж. Стих может дать романисту — ты ведь всё-таки изначально прозаик — возможность выразить то, че-

го не получается в прозе. Стихи — это какая-то другая творческая личность; другое мышление. А может быть, перед тобой вообще открылся новый путь [...]

Вчера ночью я взял с полки «Способ существования» и перечитывал твой этюд «Три еврея». (У покойного Илюши Рубина было стихотворение, которое начиналось так: «Идут на плаху три еврея».) Карабчиевского мы когда-то издали, печатали в нашем бывшем журнале, а с Толей Якобсоном я встречался ещё в Москве у старого друга, ныне покойного Бори Володина. Это было в те времена, когда я работал в 20-й больнице в Бабушкине. Как-то в воскресенье я оказался у них на завтраке. Якобсон читал за столом из своей работы об Анне Ахматове. Гораздо позже услышали о его смерти. Ты пишешь, что у самоубийства не бывает одной единственной причины, их всегда много. К этим причинам нужно добавить, конечно, и медицинскую. Гений самоубийства ищет читателей, чтобы распахнуть перед ними свой серебряный плащ. С точки зрения этой причины остальные, даже самые серьёзные, оказываются поводами. Между прочим, я заметил, что многие из моих героев накладывают на себя руки.

Сегодня мы снова гуляли в наших местах, шли по тропинке вдоль канала и возвращались в густом лиственном лесу между каналом и быстрой, местами стремительной рекой. Не зря она называется «зелёный Изар», die grüne Isar. Птичий гомон, щёлканье, посвистыванье, изумительно красивая и вместе с тем дружелюбная, человеческая природа, и, казалось бы, жить и жить посреди этой вечной жизни, и наслаждаться жизнью. Между тем радио вещает о новых взрывах в самых неожиданных местах, отвратительное восточное средневековье, фанатичное и одновременно продажное, давно уже не создающее никакой культуры, очнувшееся от многовекового сна, чтобы схватиться теперь уже не за кинжал, а за ракеты и бомбы [...]

18.06.2003

Дорогой Марк, у нас жарища, высокая влажность, мы ездим купаться на озеро, иногда поздно вечером, но и это мало помогает. Итак, я вернулся в понедельник из Парижа, прожил там снова три недели, поселился в той же маленькой гостинице на улице Tholozé, на Монмартре, и в том же номере. Странно сказать, — особенно для человека, который бывает там лишь урывками, — но когда я вышел и почувствовал особенный запах, присущий этой узкой и круто уходящей наверх улочке, то у меня было ощущение, что я дома.

Я послал тебе оттуда два письма, но они, вероятно, до сих пор лежат на международном почтамте в Москве, как это обычно бывает.

После завтрака я обычно сидел у себя в комнате за компьютером часов до 12, потом отправлялся куда-нибудь в город пообедать и к вечеру возвращался, еле волоча ноги от усталости. В конце мая прилетел из Вашингтона Джон Глэд, мы много бродили вместе, ездили в Версаль и так далее.

Я написал вчерне (здесь доделал) то, что обещало стать по меньшей мере повестью. Получился рассказ — 21 страница, — пожалуй, несколько экспериментальный, называется «Светлояр». Речь идёт о человеке, который находится на грани жизни и смерти и говорит (то есть думает) о себе, что от него уже ничего осталось, и так оно и есть, — если не считать целую жизнь, которая проворачивается в его сознании. Кроме того, докончил одну довольно сумбурную статейку, о ней я писал тебе, под названием «Долой историю, или о том, о сём». Она в самом деле — о том, о сём [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.6.03

Дорогой Гена, ты опередил меня своим звонком. Я надеялся завтра получить все-таки твое второе письмо из Парижа. Первое дошло за десять дней. Славно было хотя бы мысленно прогуляться с тобой по знакомым улицам. Ты пишешь, в Париже было чувство, будто ты приехал домой. В Москве с некоторых пор не всегда бывает такое чувство. Казалось бы, прожил в этом городе почти всю жизнь — но попадая после месячного отсутствия в давно знакомое место, почти его не узнаешь. Так все быстро и неузнаваемо застраивается, перестраивается. Вот, знал, например, Гостиный двор, построенный, кажется, Кваренги, там ютилось множество разных контор, мне случалось в некоторых бывать, сокрушаться, как запущен памятник архитектуры. Теперь это роскошное заведение, бывший двор перекрыт стеклянной крышей, на днях там состоялся знаменитый Венский бал. Прекрасно, ничего не скажу, но это уже не для меня. Туда теперь так просто не попадешь.

Возможно, старожилам Парижа тоже есть о чем вздыхать. Я уже никогда не увижу знаменитого Монпарнаса — американский небоскреб кажется мне бессмысленным, не парижским. Не увижу воспетое Золя «чрево Парижа» — снесенный не так давно рынок. Стеклянные сооружения на его месте, конечно, эффектны, но тоже не для меня — внутрь я не заходил, не знаю, что там. Я уже писал в «Способе существования», что Москва для меня — мало известный другим уголок, Рос-

токинский акведук, Лосиный остров. Приношу оттуда букеты цветов, они стоят передо мной на лоджии, где я обычно работаю (и где меня застал твой звонок).

Некоторые пробелы в моем знании Москвы не так давно мне случилось неожиданно ликвидировать. Получил Государственную премию журнал НЛО, «Новое литературное обозрение», на базе которого выросло издательство, выпустившее четыре моих последних книги. Это высокого уровня филологический журнал, пользующийся признанием у славистов мира; говорят, все университетские факультеты славистики его выписывают. Я вместе с другими порадовался, что это некоммерческое издание смогло удержаться и даже удостоилось почестей, в то время как многие шумные начинания не выдержали испытания временем. Так вот, торжества по случаю присуждения премии были устроены в ресторане «Огород», стеклянном, на двух этажах, сооружении, которое возникло у входа в Ботанический сад МГУ. Третья от меня станция метро «Проспект мира» называлась когда-то, как ты наверно, помнишь, «Ботанический сад», я большую часть жизни обитаю неподалеку, но в ботаническом саду побывал впервые. Если не считать закрытой оранжереи, это, в сущности, небольшой, не очень ухоженный парк среди многоэтажных зданий. Одно из них — Институт Склифосовского, где мне в прошлом году делали операцию, я смотрел на этот парк из его окон. Кстати, в одном из писем ты упоминаешь 20-ю больницу, где, оказывается, работал. А я туда попал после инсульта. Недавно с этой больницей оказалась связана скандальная история: хирургов обвинили в незаконном изъятии у покойников органов для пересадки.

Таково наше краеведение — общее с тобой. Еще я впервые побывал в доме Брюсова — рядом с тем же ботаническим садом, там, в филиале Литературного музея, устроили презентацию двух книжек критика Натальи Ивановой. А вообще последние месяца три, как я тебе рассказал по телефону, мы были малоподвижны. Галю до сих пор беспокоит нога. Работа идет вяло, тут мне похвастаться нечем. А вот твои тексты жду с интересом.

Не видел ли ты в 6-м номере «Нового мира» статью Солженицына о Самойлове? Загляни, если она есть в интернете, она меня задела — речь о не чужом мне, как ты знаешь, человеке [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк. После рецидива тропической жары у нас снова буйный дождь, в северных землях град, в Берлине повалило деревья,

но нашу Верхнюю Баварию на этот раз пощадило. Мы с Лорой были сегодня на *Voraufführung* «Дяди Вани», театр, который прежде назывался *Münchener Kammerspiele* и куда я уже много лет хожу на предварительные просмотры, с некоторых пор называется иначе, переехал в помещение *Residenztheater* (рядом с оперным, ты, вероятно, помнишь), много новых актёров. «Дядя Ваня» очень хорош, хотя это, конечно, не русский Чехов, а немецкий и даже немножко напоминающий Гауптмана; спектакль умеренно модернизирован, кое-что мне показалось спорным.

Монпарнас, ты прав, мало напоминает «тот» (в том числе и русский) Монпарнас, зато Монмартр остался прежним. Перед отлётом я в последний раз прогулялся по улочкам, послушал шарманщика и пообедал в одном из многочисленных маленьких кафе. И вот теперь Париж снова ушёл в сказочную даль. Жаль будет, если моё второе письмо до тебя не дойдёт.

Что это за книжки Натальи Ивановой — вероятно, воспоминания о соседях по Переделкину? Я с ней знаком, но заочно, это большое литературное начальство, но знакомство, пожалуй, нельзя назвать удачным.

Прочёл я (в интернете) и статью-эюд нашего пророка о Давиде Самойлове. У меня, как ты знаешь, есть кое-какие претензии к покойному. Но статья Солженицына оставляет тяжёлое впечатление. Стихи Самойлова превращены в лапшу и цитируются по опробованному методу: строчки — словно полоски бумаги, вырезанные из контекста и подклеенные одна к другой с отчётливым умыслом. Нужно разоблачить не поэзию, а человека. Показать, что он трус, приспособленец, плохой солдат, не успел по-настоящему нюхнуть пороху, как был тотчас же спасён от фронта. Кем же? Разумеется, евреями, того же поля ягодами, как и он. Отвратительный нравоучительно-высокомерный тон, ужасный язык. И странно сказать о мировой знаменитости: суждения о литературе, общий уровень удручающе провинциальны.

Вчера я послал тебе по почте свою статейку, о которой мы говорили, под девизом: *A bas l'Histoire!* Авось не застрянет где-нибудь на международном почтамте. Послал и повесть, точнее, рассказ, со смутным каким-то чувством. Я представляю себе, как импульс кружится в склеротическом мозгу автора по замкнутой цепи нейронов, словно в заевшем граммофоне, вместо того, чтобы перескочить на новую борозду; отсюда и затверженность письма, тривиальность мнимых находок. Я вовсе не хочу «удить комплименты», по немецкому выражению. Ситуации (и состояния), описанные в этом рассказе, описывал и ты. Но я сделал больше уступок «беллетризму» [...]

26.06.03

Дорогой Гена,

дошло, наконец, второе твое парижское письмо. Мне интересны твои размышления, связанные с работой. Будет, надеюсь, возможность поговорить об этом подробнее. А «Знамя» ввело все-таки в интернет подборку моих стихов (вслед за эссе, в печатном варианте было наоборот, и шрифт был одинаковый). Посмотри, мне интересно твое мнение. Увидишь, во всяком случае, почему мне была так кстати твоя антология «Абсолютное стихотворение». Всегда хотелось читать стихи в подлиннике, для знающего язык лишь приблизительно — с подстрочной подсказкой. Увы, и добросовестный подстрочник не всегда помогает понять стихотворение адекватно. Чувствуешь, как гениален Верлен: «De la musique avant toute chose», но как понять: «отдай предпочтение Нечетному»? Почему? Смотрю в словаре: *im-paire* — действительно «нечетный, непарный». Иначе не переведешь, и все равно непонятно. Лишь поэтический перевод Пастернака прояснил, что имеется в виду:

За музыкаю только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.

Сопоставляю с французским подлинником — по-моему, конгениально. Это вошло и в его собственную поэзию. («Не занимайся точками в пункте И зерен в мере хлеба не считай»...)

И даже в более понятном немецком языке подстрочник, увы, не всегда подсказывает... «Интерпретирующий перевод-пересказ Неусыхина» так и не помог мне проникнуть в Рильке. Да что там! Даже русский Бродский остался бы, может, не вполне для меня понятным, если бы не твой комментарий. Интересно, что из всего Бродского наиболее близким для тебя оказалось именно это стихотворение.

Что говорить, поэзию надо уметь читать, приходится и этому до старости лет учиться. Первые отзывы профессионалов на мои стихотворные опыты немного меня ободрили, позволили преодолеть некоторую стеснительность. Продолжаю время от времени что-то кропать в этом роде. Но каждодневное сидение за столом тут мало помогает, это не проза. В собрании сочинений Бродского стихотворения распре-

делены по годам, и в 1984–85 годах, например, у него оказалось по три-четыре стихотворения. Чем он занимался остальное время? Переводами? Эссеистикой? Не спрашиваю: на что жил? Для прозаика паузы кажутся временем безделья, бесплодности. «Есть блуд труда, и он у нас в крови».

Что я продолжаю писать более или менее регулярно, так это свою стенографию. Иногда складывается что-то вроде эссеистических подборок, я предложил «Знамени» очередную для публикации.

Твоя работоспособность, активность, подвижность меня восхищает. У меня внешних впечатлений последнее время почти не было. К счастью, у Гали, кажется, дела пошли на поправку (тьфу-тфу, не взглянуть).

Обнимаю тебя Марк.

Б. Хазанов — М. Харитонову

30.06.2003

Дорогой Марк. Как понять строчку: *Et pour cela préfère l'Impair*? Нечего и говорить о том, что я не занимался основательным анализом текста, да это было бы мне и не по зубам. Но мне кажется, что в контексте всего стихотворения Верлена, в системе «полярностей», противопоставлений, которая там выстраивается, смысл более или менее внятен. Я понимаю его так: нечет связан с нарушением искусственной упорядоченности, правильности, навязанной дисциплины, нечет означает освобождение от утомительной симметрии, возврат к спонтанности. Чёт — это неволя, скованность и закрытость, нечет — воля и открытость. Чёт — «литература», нечет — «музыка». Тут можно было бы вспомнить весьма древнее представление о магических свойствах простых нечётных чисел 3, 5 и 7, а также числа 9 (трижды три). Три и семь — священные числа. Есть старая (1978 г.) книжка Вяч. Вс. Иванова «Чёт и нечет», он там, между прочим, упоминает об одном тексте С.Эйзенштейна под таким же названием. Ты можешь поговорить с ним об этом.

Любопытно, что сам Верлен не очень-то настаивал на непогрешимости своей программы: «В конце концов это не более чем стихотворение» (...n'allez pas prendre au pied de la lettre mon Art poétique qui n'est qu'une chanson, après tout). И ещё одно: *préfère l'Impair* — внутренний ассонанс, который перекликается с *qui pèse ou qui pose* в 4-й строчке.

С переводом Пастернака я не знаком. Четверостишие, которое ты приводишь, звучит здорово. Но, по-моему, оно всё-таки весьма

далеко от подлинника, не передаёт его смысл, а первая строчка просто совсем не то. Это не Верлен, а то, что в XIX веке могло бы называться «из Верлена».

Третью Дуинскую элегию Рильке я выбрал просто потому, что она когда-то поразила меня — соединением жизненной, психологической правды с головокружительным мифологизмом. И, конечно, звучанием стиха. Я даже помню, как я ехал весной 82 г. с огромным грузом продуктов в посёлок Бейнеу, в Западный Казахстан (где отбывал ссылку Витя Браиловский), и читал эту элегию, правда, уже не первый раз, в битком набитом вагоне. Читать Рильке непросто. Но ведь это свойство новой поэзии. Это не Твардовский, который сам сказал о себе: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке».

Ты, вероятно, прав, надо было сесть и как следует, без затей, строчку за строчкой, перевести Третью элегию. Или, может быть, вообще не браться за неё, выбрать что-нибудь покороче, например, замечательное *Geschrieben für Karl Grafen Lanckoroński* («Nicht Geist, nicht Inbrunst...») — некое возражение Верлену. Есть ли у тебя немецкий Рильке?

Чем занимался Бродский в паузах между стихами... Я мало знал его, виделся с ним всего дважды, в Америке, в его жилище (которое трудно было назвать домом), с перерывом в 10 лет, но зато оба раза провёл в его обществе целый вечер. С ним дружили Юз и жена Юза Ира. Бродский преподавал, писал по-английски свои эссе, за которые получал, видимо, приличные гонорары. Свою Нобелевскую премию он чуть ли не наполовину раздал. Путался с женщинами, у него их было несметное множество; незадолго до смерти женился. Вообще вёл довольно хаотический образ жизни. Мы с Лорой ездили на его могилу на острове Сан-Микеле.

О Солж. (в связи с Самойловым) я писал тебе два дня назад.

Сейчас я открыл номер «Знамени» в интернете и увидел, наконец, твои стихи. (В тексте «Стенографии» редактор переврал мою фамилию, видимо, потому, что есть такой С. Файбисович.) Похоже, верлибр в самом деле становится новой тропинкой в твоих литературных странствиях. Новой, начиная от формы и кончая мировосприятием. «Стихи пишут поэта». Не человек идёт по дороге, а дорожка уводит его — куда?

Общее впечатление удачи, может быть, даже большой удачи, хотя изредка ты оказываешься (как мне показалось) в опасной близости от прозы. Это особое коварство свободного стиха. Он прикидывается поэзией, а на самом деле — проза. Или притворяется прозой, а на самом деле — стихи. Некоторая избыточность, лишние слова, пояснения, без

которых можно обойтись, длинные, тягостные причастия и причастные обороты — всё то, что в прозе терпимо, порой необходимо. Стих, мне кажется, требует большей эллиптичности.

Например, в первом стихотворении («У дороги...»), в самом начале, так и хочется опустить «две женщины», «обе». В целом стихотворение очень хорошее. В «Боевой подруге» (без названия) несколько коробит слух «кинозвезду, исполняющую её роль». Я бы этот причастный оборот вообще похерил, ведь сразу же становится ясно, кого играет актриса.

Кое-что мне уже знакомо, напр., «Мы слишком долго живём...»

Прекрасное и трогательное стихотворение, лучше сказать, маленькая поэма, «Уход мамы», мне особенно близка, потому что недавно я писал почти о том же — но грубой и громоздкой прозой. В то же время у меня впечатление, что над этим стихотворением стоило бы ещё поработать, освободить его — в двух-трёх местах, чуть-чуть — от некоторой сентиментальности.

Стихотворение о французском психологе, может быть, самое лучшее.

«Глаз художника» — тоже очень хорошо. Какой-то новый сюрреализм (во французском смысле).

«Восстановленная недавно церковь...» — весьма актуальная тема. Это и я мог заметить. Когда я однажды увидел памятники бандитам в особом некрополе возле Востряковского кладбища и ещё на одном городском кладбище поменьше, у меня было странное и смешное чувство прямой дороги, которая ведёт от от этих мраморов, чудовищных гробниц, икон и позолот к роскошному кичу вновь отстроенного храма Христа Спасителя. Они как-то связаны между собой. Стихотворение прелестное, но в нём есть, кажется, некоторый привкус плакатности, фельетонности.

Набирается материал для целой книги стихов. А может быть, для нового тома «Стенографии», где прозаические заметки будут перемежаться стихотворениями.

Обнимаю тебя, твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.6.03

Дорогой Гена,

спасибо тебе за квалифицированный, весьма точный разбор моих «стишков». Я, прочитав, сразу стал просматривать некоторые тексты и увидел, что кое-что действительно стоит почистить, уточнить, ужать.

Если бы можно было показывать тебе свои опыты уже по ходу работы! Мандельштам, кажется, говорил, как важно иметь некоего «первого читателя». Меня первой драконит, конечно, Галя, но еще одна корректировка не помешала бы. Насчет «опасной близости к прозе» — тут, конечно, не возразишь. Но если у тебя есть под рукой замечательная поэма С.И. Липкина «Техник-интендант», посмотри. Меня этот образец в свое время ободрил. Вроде и прозой можно бы изложить то же, но нет — поэзия. Дело лишь в уровне. Насчет возможности составить книжку — у меня уже набралось более полусотни таких текстов, выделены даже разделы или циклы. Но всерьез я об этом пока не думаю. А вот идея сделать стихи частью «Стенографии» мне и самому пришла в голову; читавшие «Знамя» уже говорили мне, что вместе они усиливают друг друга. Но ведь стихи невозможно привязать к дате, работа над ними требует времени, иногда немало. Я один раз вставил стишок в дневниковую запись, он действительно первоначально возник вместе с ней, но потом переделывался. Поэтому даты лучше тут убрать. Вот небольшой кусочек из прошлогодней «Стенографии».

[...]

Между прочим, к чему-то подобному я призывал, если помнишь, тебя: перемежать беллетристику фрагментами эссеистики, воспоминаний. Ты как будто не сознаешь ценности своего опыта. Вот хоть эпизод из твоего письма: как необычайно звучал для тебя Рильке в замызанном поезде на пути в казахстанскую ссылку. Это бы развернуть, восстановить в памяти — может, и я заново понял, почувствовал бы что-то и в Рильке, и в тебе.

Рильке у меня по-немецки есть, но он для меня все-таки трудноват. А вот Целан в твоей антологии ошеломил меня. Это поразительная поэзия. Я в одном из последних писем спрашивал, не можешь ли ты мне напомнить обстоятельства его самоубийства [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк. Должно быть, лет тридцать тому назад, если не далее, Бен Сарнов показал мне поэму Липкина «Техник-интендант», я её не забыл и помню, что она мне понравилась. Она как-то странным образом связывается у меня с «Февралём» Багрицкого. Сравнительно недавно я выписал и прочёл книгу С.И., теперь уже покойного, «Квадрига», там одна прозаическая повесть и воспоминания; читал ли ты это?

В Мюнхене, как всегда в это время года, международный кинофестиваль, по этому случаю мы с Лорой посмотрели фильм А. Кончаловского «Дом для дураков» (так звучит английское название, фильм идёт по-русски с английскими субтитрами). Перед сеансом сказал несколько слов сам режиссёр. Вероятно, это замечательный фильм, хотя мне трудно судить о его художественных достоинствах, настолько сильное и тяжёлое впечатление он произвёл (речь идёт об эпизоде чеченской войны). Вдобавок эта картина подстроилась к мыслям, которые меня одолевают время от времени — об истории как царстве бессмыслицы.

То, что стихотворения не имеют точной датировки, не столь важно для «Стенографии»; в конце концов, можно оговорить где-нибудь, что они не относятся к определённому дню, но написаны, допустим, «около этого времени». Можно сделать и по-другому, вынести их в отдельное приложение. Важно — помимо их самостоятельного значения, — что они создают новое измерение, дополнительный ракурс тех сквозных мыслей и лейтмотивов, которыми так или иначе пронизан дневник.

Ты вспомнил Целана. Время от времени и понемногу я занимался им, вернее, возвращался к нему, но, конечно, страшно далёк от того, чтобы считать себя компетентным. Целан опрокидывает наши представления о лирике. В воздухе Целана нельзя находиться долго, как нельзя долго находиться в разрежённом атмосфере нагорья. Читать его можно строго дозированными порциями, одно-два коротеньких стихотворения зараз, не больше.

У него, между прочим, есть такое место в речи под названием «Меридиан», по случаю присуждения в 1960 г. премии им. Георга Бюхнера, самой престижной литературной премии в Германии:

Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, der zugegen ist und... nicht richtiginhört. Genauer: jemand, der hört und lauscht und schaut... und dann nicht weiß, wovon die Rede war.

Попробуй-ка перевести.

«Но, когда речь идёт об искусстве, всегда есть и некто присутствующий, тот, кто слушает и... не слышит. Точнее, кто-то, кто слышит, и вслушивается, и смотрит на говорящего — и в конце концов не знает, о чём шла речь».

Существует его переписка с Нелли Закс и особенно — с Ингеборг Бахман; у них даже было что-то вроде мимолётного романа. Была ещё очень важная — и неудачная — встреча с Хайдеггером в доме Х. в Шварцвальде, «несостоявшийся разговор». Целан жил в 50-х и 60-х годах в Париже, был женат на художнице Люсиль (кажется) Лестранж. В

последний день апреля 70-го года был выловлен мёртвым из Сены, много ниже того места (скорее всего моста), с которого он бросился в реку. Но я об этом писал, подробностей не знаю или не помню [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.7.03

Дорогой Гена, с огромным интересом прочел присланные тобой работы. Эссе об истории просто великолепно. Первая главка сразу придает ему личный, необщий тон. Общие концепции, теории, имена могут быть кому-то знакомы. Я тоже, как ты знаешь, писал об истории, разбирался, можно ли ее знать объективно, отделить от мифов, что в ней вообще можно понять. Ты напоминаешь читателю, в какой истории угораздило жить его лично — от этого не отмахнешься, теориями не отделаешься, фанфарами не заглушишь. Хорошо, если бы это удалось напечатать; у нас массовое сознание все еще формируется фальшивками.

Есть ли смысл у истории, абсурдна ли она? Но ведь так можно спросить и о человеческой жизни. Смысл мира лежит вне мира. Смысл жизни лежит вне жизни. Смысл истории лежит вне истории. История абсурдна. Жизнь абсурдна. Мир случайно возник из хаоса и должен исчезнуть. Существует божественный замысел. Нужно подчеркнуть.

Я, между прочим, совсем недавно перечитывал «Феномен человека» Тейяр де Шардена. Для него, натуралиста, человеческая история — лишь краткое пока мгновение в истории земли, а в этой истории есть направление; развитие — по непреложным законам природы — ведет к созданию принципиально нового качества: ноосферы. Главное еще впереди, только с этой точки зрения можно правильно оценить нынешнее переходное состояние. Я сделал на эту тему несколько записей в своей «Стенографии», может быть, стоит ввести их в компьютер. С этим же связаны его размышления о цивилизациях, которые обречены на угасание, потому что хотят уклониться от общего, природного закона развития. Злободневно, не правда ли? Но об этом надо писать обстоятельней, сейчас я о другом.

Твой «Светлояр» — очевидный *pendant* тем же размышлениям, озеро оттуда же. Замысел сильный, многого требующий; мне кажется, над ним стоило бы еще поработать. В начале особенно ты считаешь нужным уточнять, комментировать алогичное, иррациональное сознание умирающего авторскими рациональными пояснениями — от лица умирающего. «Но я не то чтобы без сознания, я *над* моим по-

меркшим сознанием». Это ты, автор, даешь читателю совершенно ненужные пояснения. «Одно тянет за собой другое, минуя месяцы, минуя годы». Как будто мы без тебя не поймем. Таких мест много; надо, мне кажется, перепроверить весь текст с этой точки зрения: чьи это мысли, от чьего лица? Чье сознание? Больше уважения к читателю — пусть напряжет мозги. Пусть вначале что-то покажется не совсем понятным, лишь названным — потом прояснится, повторится. Мысль может быть более спутанной, не такой линейной... Но проще давать советы, чем решить действительно сложную, предельно сложную задачу, этакий *tour de force*. Я рад, что ты здесь вернулся к лагерным воспоминаниям — в работах последнего времени ты этой теме как будто избегал. (Там, кстати, где-то мелькнули «электропилы» лесорубов — могло ли такое быть в лагере, после войны?) А вот рассказ брата о военной бойне — не воспоминание рассказчика, не его жизнь; в памяти скорей возникнет свое. Может быть, врачебный эпизод? Тоже область твоей жизни, о которой ты сказал пока мало.

Ну, что говорить, додумаешь сам. По-моему, стоит. Могу лишь еще раз завистливо восхититься твоей продуктивностью. У меня пока ничего не получается [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, я рад, что моя статейка и этот лозунг — долой историю — не вызвали у тебя решительных возражений. Разумеется, все подобные заявления недоказуемы; речь идет об отчаянии. С другой стороны, история, как бы её ни оценивать и сколько бы ею ни возмущаться, продолжается. Просто мы перестали верить в её разумный, поступательный, и как там его ещё называли, ход. История абсурдна не менее, чем жизнь отдельного человека? Вот тут начинаешь задумываться. Субъект человеческой жизни — сам человек. А кто является субъектом истории? Очевидно, всё человечество. Как бы не так. Во всяком случае, тут огромная разница; такая же, как разница между свободой воли индивидуума и «свободой воли» человеческих масс. Историческое сознание формирует историография. Человеческое сознание — философия и литература. Опять же разница. Все остатки моего оптимизма сосредоточены на литературе.

Теперь насчёт «Светлояра». Я возился с этой вещью несколько месяцев, в том числе и в Париже, и думал, что покончил с ней. Не то чтобы остался ею вполне доволен, о нет, но считал свою задачу художественно выполненной. Твоё письмо заставило меня очень задуматься. Ты во многом прав. Видимо, я вернусь к ней.

Тут дело вот какое. Между прочим, мне пришлось однажды пережить состояние близкое к тому, что называется клинической смертью. Я заболел, это было вскоре после второго обыска, когда у меня отняли бумаги и написанный роман. В больнице после довольно мучительного обследования меня положили на операционный стол, и после дачи наркоза у меня исчезло артериальное давление. (Это бывает очень редко, — если только в дело не вмешалось тайное ведомство.) Меня смогли вывести из этого состояния какой-то огромной дозой кортизона и, вероятно, с помощью других средств. Конечно, я ничего этого не помнил. Но могу сказать, что ничего кроме чёрного провала, как показалось, очень короткого, я не испытал. В повести сделана попытка представить несколько последних минут в сознании человека, находящегося в агонии; разумеется, чистое изобретение беллетриста. Кто-то сказал, что смерть не может быть событием жизни, так как смерть нельзя пережить. Так и тут.

Я помню твой роман «Возвращение ниоткуда» на близкую тему. Ещё я просматривал Броча, «Der Tod des Vergil¹». Есть, конечно, и «Смерть Ивана Ильича», и другие вещи. Задача, как я её понимал (замысел), менялась по ходу работы. Но мне показалось важным изобразить не только и не столько угасающее сознание, сколько некое сверхсознание. (В тексте это называется *над-сознанием*.) Я попробовал представить себе, что в последний момент перед концом наступает особого рода озарение. Появляется двойное сознание. Человек ощущает себя и самим собой, и вместе с тем парит над собою. Сохраняя (в какой-то мере) прежнее сознание, он владеет ещё и метасознанием — или оно владеет им. Он превращается — не знаю, удачно ли я выражаюсь — в сверхавтора собственной жизни. Его жизненный «путь» хотя и предстаёт перед ним в каком-то подобии хронологической последовательности (раннее детство, первая любовь подростка, взрослое состояние и т.д.; то, что образует «сюжет» повести), но время продолжает существовать только в его сознании, тогда как для метасознания время и временность никакого значения не имеют. При этом умирающий сознает и своё «нормальное» сознание, и своё метасознание. Именно оно, это метасознание, способно охватить всё сразу и всё осмыслить. Это и есть признание к тому, что мы называем смыслом жизни: нужно споткнуться на пороге смерти, чтобы обрести этот смысл. Рациональные пояснения, о которых ты пишешь, принадлежат, таким образом, не автору повести, а самому «повествователю», то есть его высшему, сверхрациональному надсознанию. В техническом же, литературном, смысле оно позволяет организовать хаотический материал, организовать прозу.

¹ «Смерть Вергилия» (нем.)

В общем, над этим надо ещё подумать.

Рассказ двоюродного брата о войне — инородное тело, ты абсолютно прав.

Последнее — насчёт электропил. В 50-м году, когда я приехал в лагерь, лес пилили ручными лучковыми (канадскими) пилами, или, проще, лучками. Потом появились электрические пилы: «Вакопш» и другая, ещё более мощная и тяжёлая, стрекотавшая, как пулемёт. У меня на левой руке сохранился шрам от её зубьев [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.7.03

Представь себе, Гена, вчера у меня был Джон Глэд. Приехал в Россию с женой. Посидели, пообедали, поговорили о том, о сем. Главным образом, об американской политике, которую он резко не одобряет (как и большинство университетских интеллектуалов), о господствующем конформизме, об ангажированности масс-медиа. На мой вопрос об эмигрантской литературе ответил, что ее как таковой уже не существует.

Пока мы разговаривали, в Тушино прогремели взрывы, устроенные террористками.

В своем письме ты размышляешь об «историческом сознании», которое формируется историографией. Но у тебя она, похоже, сформировала скорей неприязнь. Ты отплевываешься, может быть, от нее, а не от истории. Это вообще забота образованного европейца. Миллиардам людей в мире не до исторического сознания, им бы прокормиться и выжить. Враждебная человеку история выглядит историей династий, государств, войн, политики. А засуха, нашествие саранчи, голод, эпидемия — это, видимо, не история? А история культуры, языка, быта, одежды? История религии? История науки и техники? История географических открытий? Стоит ли называть все вместе кошмаром? Примитивные племена и сейчас живут вне истории, не будем им завидовать.

Может быть, надо точнее определить термины [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] Я пересмотрел статейку «Долой историю...» и кое-что поправил. Конечно, речь идёт о европейском (и российском) историческом сознании, даже не столько о «сознании», сколько самочувствии. Но о

каком ещё сознании вообще может идти речь? Это сознание по необходимости есть достояние меньшинства. Не только в Африке, но и в России огромное множество людей живёт как бы вне истории, я это видел, чувствовал то и дело в разных условиях моей жизни. Да и ты это хорошо знаешь: выйди на улицу и поговори с первым попавшимся мужиком. Ты можешь услышать такую дичь, что ушам своим не поверишь. И, конечно, под «историей» подразумевалась политическая история, а не история латинского языка (к примеру), история медицины или история филателии. Попробуем снова задуматься над этими словами: «проснуться от кошмара истории». Литература — способ проснуться. Или?..

Сегодня утром послал тебе ответ, дорогой Марк, но забыл написать насчёт того, какой ответ дал Дж. Глэд на твой вопрос об эмигрантской литературе. Вернее, подумал, какой ответ дал бы я. Мы с Джоном, как ты знаешь, довольно долго мусолили эту тему (для читателя в России, очевидно, малоинтересную), он, между прочим, любит напирать на то, что литературу и публицистику Третьей волны кормила холодная война, то есть Америка: кончилось противостояние, кончилась и литература. На это можно возразить (что я ему и говорил), что да, конечно, политических эмигрантов из Советского Союза использовала в своих целях американская политика и пропаганда. Почти вся зарубежная русская печать, не говоря уже о радио, и это отнюдь не было секретом, существовала на средства, выделяемые Конгрессом США, Центральным разведывательным управлением или ещё какой-нибудь конторой в этом роде, и дай им Бог здоровья. Ибо так же верно и то, что публицистика и литература, в свою очередь, использовали Америку. Томас Манн во время войны выступал по вещавшему на Германию «Голосу Америки», который содержали — на деньги налогоплательщиков — эти учреждения; ну и что? В конце концов получилась целая книга «Deutsche Hörer!»

Жива ли ещё русская литература в эмиграции? Бабушка надвое сказала. Живучесть эмигрантской словесности поразительна. Настолько поразительна, что хочется, озорства ради, сказать: вот есть русская литература и есть её часть — та, которая существует в самой России.

Эту литературу изгнания, литературу осколков и отщепенцев, литературу «надтреснутых чашек» (словечко Эриха Носсака) и как там её ещё величали, — как ты знаешь, хоронили много раз. И Ходасевич, и Георгий Адамович, и другие, и, казалось, было совершенно ясно, что у неё нет будущего. Но началась война, из СССР явилась вторая волна

эмиграции, а с ней и вторая эмигрантская литература, правда, много скромнее первой. Стала вымирать и эта вторая — явилась третья. Мы её последние могики. Вместе с тем выяснилось, что понятие эмиграции приходится время от времени пересматривать. Почти всем (и Джону в том числе) кажется, что после крушения советской власти, после конца холодной войны, открытия границ и т.д. понятие это вообще лишилось содержания.

Я так не думаю. Всё проходит. Эмиграция Третьей волны поднялась на политических дрожжах, и теперь эта опара опала. Писатели, ещё недавно знаменитые, лишились читателей, пусть так. Между тем многим пришлось убедиться, что если бегство из страны могло быть вызвано преходящими обстоятельствами, то эмиграция сама по себе есть, если воспользоваться твоим выражением, способ существования. Границы могут стать проницаемыми, а с эмигрантством ничего не поделаешь, оно становится пожизненным. При этом оно может, хоть и далеко не всегда, называться по другому, например, жизнь в большом мире. Я говорю не только о себе и даже не только о русском рассеянии. Об этом есть замечательное стихотворение Брехта «Gedanken über die Dauer des Exils».

Лена Тихомирова (с которой ты знаком) выпустила в 98 году по-немецки справочник «Современные русские писатели в Германии». Если ты эту книжку не видел, то не поверишь: там 89 душ прозаиков и поэтов. С тех пор приехали новые. А есть ещё США, Израиль, Канада и пр. В Израиле литературная жизнь, можно сказать, бурлит. Но и у нас тут чуть ли не во всех более или менее крупных городах есть литературные общества и кружки. Я знаю очень немногих людей. У них своя жизнь. Некоторые называют себя Четвёртой волной. Это уже не политические изгнанники, но это тоже эмигранты, и они повторяют всё те же характерные черты эмигрантской психологии. И это тоже — как бы к ней ни относиться — литература.

Ну вот, я вижу, что снова начал растекаться по древу [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.7.03

[...] Об эмиграции не мне рассуждать. Но если этим словом ты называешь «жизнь в большом мире» — она будет все более расширяться. Что-то вроде глобализации в экономике. Нынешний Гейне может жить во Франции сколько угодно, чувствуя себя не более одиноким и чужеродным, чем у себя дома. Да еще при этом распространять свои

творения в интернете. Если что меня удивляет, то не 89 человек, называющих себя в Германии поэтами и писателями, а готовность многих тысяч по всему миру предаваться этому малоодоходному занятию. Вот уж что, казалось, должно было усохнуть раньше, чем эмиграция (то бишь, жизнь в большом мире) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM100

16.7.03

Дорогой Марк. Сотое письмо к тебе, каково? До этого были ещё другие. От тебя что-то ничего не слышно. У нас снова изнурительная жара.

Вчера был скверный день. С утра фён. Днём, проклятье, снова лопнул экран — как два года назад или около того. Перегорел трансформатор или что-то там такое внутри. Потасили его в магазин, оказалось, как и тогда, отремонтировать нет смысла.

Я было принялся — как всегда, с тяжёлым чувством — за новую работу, но потом занялся одним старым рассказом, «Музыка бдения», и увяз в нём. Сегодня как будто доделал.

Теперь я могу спросить, как поживает твоя лира. Продолжаешь ли ты писать стихи? Я тут перечитывал воспоминания Ал. Кушнера о Бродском, там много любопытного, и как-то снова погрузился в трясицу, называемую миром поэзии. «За городом жили поэты...» Это в самом деле какая-то совершенно особая литературная порода, литературное гетто, отгороженное стеной и колючей проволокой от остальных, нормальных людей, то есть прозаиков. Ты занимаешься опасной работой, хождением по запретной полосе, — я имею в виду верлибры [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.7.03

Ты прав, Гена, я продолжаю искать что-то на полосе, которую ты называешь запретной. Опасность, собственно, в том, что ничего может не получиться — но в литературе все мы этим рискуем. Попутно иногда стенографирую в дневнике что-то вроде мыслишек. Поводов хватает.

Например, недавно Лена Макарова (ты ее, кажется, знаешь, она дочка Инны Лиснянской) подарила мне книгу, в которой собраны

дневники обитателей Терезинского концлагеря. Бытовые подробности, склоки, болезни, слухи, размышления о книгах, занятия живописью, театральные впечатления. Член совета старейшин, сионист, еще лелеющий мечту попасть после войны в Палестину, сокрушается, как непросто составлять списки для отправки с эшелонам в Освенцим, решать, кому оставаться (пока) в живых. Девочка, прослушав оперу «Тоска», восхищается: как все-таки талантливы евреи, даже здесь способны заниматься искусством. Удивительный народ.

Но в Освенциме, поневоле подумал я, евреи становились такими же доходягами, как все заключенные. В Терезине просто собрали интеллигентов со всей Европы, позволили им на время пользоваться бумагой и красками, ставить оперетты, сочинять музыку, вести дневники. И следом мысль: не были ли мы все, так называемая советская интеллигенция, кем-то вроде этих терезинских евреев? Тоже что-то имели возможность сочинять, заниматься искусством, рассуждать о высоких материях — поеживаясь, когда из соседней квартиры кого-то опять уводили. А какой-нибудь Фадеев переживал, вынужденный визировать списки, кого-то старался вычеркнуть. Потом он, правда, мог на месяц уйти в запой, в Терезине такой возможности не было. И там трудней было считать это все-таки нормальной жизнью, находить для нее обоснования.

Осмыслить это до сих пор не вполне удастся. Ты, наверно, смог бы это лучше меня.

Мы недавно обсуждали с товарищем известную тебе статью Солженицына о Самойлове. Он сказал: »А вообще оба они остались в прошлом веке, сейчас это мало кого интересует«. Всем нашим спорам и обсуждениям там, наверно, и место. Но поэзия должна быть все же более долговечной — хотелось бы так думать. Я поэтов перечитываю сейчас больше, чем прозаиков.

Чувствую себя иногда бездельником, отлынивающим от настоящей работы — привычного, ежедневного, многочасового корпения за рабочим столом. «Счастливы праздные», как выразился Пушкин. Вопрос в том, на что при этом жить [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, то, что называется историческим сознанием, есть в большой мере проблема оптики: историческое зрение меняется с возрастом, подобно тому как с годами развивается дальность зрения, а близко лежащие предметы становятся неразборчивыми. Я хорошо помню, что, когда мне было 18–20 лет, мне совершенно не интересо-

вало то, что для старших было недавним и всё ещё актуальным прошлым, — как твоему собеседнику сейчас кажется, что «всё это» боль-ём поросло. Самойлов и Солженицын для нового поколения в самом деле — не тема, пожалуй, и я начинаю склоняться в ту же сторону; но если говорить о преимуществах старости перед молодостью, то одно из них, по крайней мере для меня, очевидно: это умение жить в разных временах. Сейчас отмечается юбилей Ингмара Бергмана. Профессор Борг в «Земляничной поляне» («Wilde Erdbeeren») живёт в настоящем, как сидящий за рулём следит за дорогой, но думает совсем не о том, что несётся ему навстречу. В моём романе «Нагльфар...» была старуха, которую считали сумасшедшей, отчасти правильно, но она обладала этой способностью жить одновременно в разных временах.

Ты пишешь о евреях-интеллигентах в концлагере, которые сочиняли или исполняли музыку и т.д. (Между прочим, на нашем лагунке одно время тоже был оркестр заключённых, они стояли по утрам возле вахты во время развода, пиликали и трубили какой-нибудь марш, пока конвой с собаками выводил бригады на работу, вечером оркестранты встречали возвращавшихся работяг. В лагере существовала так называемая культбригада заключённых, разъезжавшая по лагункам с концертами или театральными постановками патриотического содержания; нечто подобное описано в одном рассказе Довлатова, и очень смешно. Конечно, Терезин, не говоря уже об Освенциме, — это одно, а советский концлагерь 50-х годов — несколько иное. У нас не было газовых камер и печей.) Не были ли мы все, так называемая советская интеллигенция, спрашиваешь ты, кем-то вроде этих терезинских евреев. Да, конечно.

Тут есть, однако (схематически говоря), два разных взгляда, извне и изнутри. Может быть, ты читал книжку воспоминаний покойного Лакшина «Открытая дверь» — кажется, так она называется. Недавно я увидел в «Новом мире» статью Аллы Латыниной под названием «Пора гасить костры», имеются в виду костры, на которых пытались было подвергнуть аутодафе советскую культуру и литературу. Там есть замечательная фраза: «Мне культурная ностальгия по прошлому кажется все же явлением более предпочтительным, чем культурный нигилизм». Там же сочувственные отсылки к выступлениям Нат. Ивановой и т.п. Даже в послесловии Бена Сарнова к нашей с Джоном книжке звучали эти ноты. И, наконец, я вспоминаю, что моя статья «Величие советской литературы», которую я по глупости послал в «Знамя», была отвергнута. Потому что это был взгляд не изнутри, а извне.

Я понимаю, что на исходе целой жизни, прожитой в литературе, потраченной на писание и проталкивание книг или пьес, проведённой

в редакциях, издательствах, кулуарах ЦДЛ, в домах творчества и на писательских кухнях, взирать на юнцов, отплясывающих на костях этой литературы, теперь, когда «всё позволено», — тягостно и обидно. И в конце концов, что ни говори, шестьдесят лет просто так не перечеркнёшь. Советская литература — часть истории, наследник — какой ни есть — классической русской литературы. Вместе с тем это пусть не сразу сложившийся, но в своей зрелой форме исключительный, почти уникальный и отвратительный феномен [...]

Посылаю тебе рассказик. Крепко обнимаю.

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.7.03

Дорогой Гена, ты согласился с мнением, что многое в нашей литературе осталось достоянием ушедшего века — но не откликнулся на вторую часть моего вопроса: относится ли это и к поэзии? Мне кажется, испытание временем выдержали (пока) некоторые стихотворения Самойлова — это очень много. Не про всех это можно сказать. Я недавно листал антологию поэтов нашего «Серебряного» века. В предисловиях почтительно рассказывается про манифесты, объединения, выступления, скандалы — но как поэты иные, по-моему, просто уже не существуют. Может, именно манифесты, диспуты и пр. составляют литературную историю, поэзия проходит по какому-то другому разделу.

Твой рассказ мне показался топтанием на месте. Рефлексии на темы эмигрантского самочувствия повторялись у тебя уже множество раз, иногда почти в тех же выражениях. Любовная история напоминает очень похожую в твоём последнем («парижском») рассказе: пожилой приезжий (эмигрант) и местная официантка (продавщица). Както все это пробуксовывает.

Что мне более чем знакомо: желание твоего alter ego писать, даже если ничего не получается. Я почти полгода вымучивал небольшой рассказец, не хотел признавать его нежизнеспособность. Наконец, все-таки решил отложить, может быть навсегда. Почувствовал, что пауза скорей может пойти мне на пользу.

Опустошены закрома. Бесплодное время,
Невыносимый простой. Безделье смущает,
Как бессилие — неспособность постыдна.
Благослови эту паузу, передышку,
Промежуток, ожидающий наполнения,

Безмолвие после звука, предвестие звука.
Дышат пустоты, поры уже открыты,
Готовы впитывать соки — вот они подступают,
Поют, поднимаются от корней. Будет цвести.

Видишь, как я стал объясняться. Всего этого я тебе и желаю [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, да, ничего не поделаешь... я, действительно, буксую. Правда, этот рассказик был написан раньше, я снова занялся им в надежде поправить его. Но это лишь подтверждает твои слова. Exit — не только моя личная тема, это тема XX столетия, может быть, поэтому я возвращаюсь к ней время от времени. Каждый век облюбовывает свои главные темы: например, девятнадцатый век был увлечён наполеоновской темой — молодой человек хочет подняться из неизвестности и любой ценой утвердить себя — или темой адюльтера. «Музыка бдения» сперва мыслилась как вариация новеллы Т. Манна «Schwere Stunde», но постепенно меня увлёк некий поворот любовной темы. Видимо, не получилось. Вообще я как-то скис. Начал было одну вещь, сочинил несколько страниц и почувствовал её нежизнеспособность. Продолжается душная жара. «Благослови эту паузу...» Но я тогда подохну от тоски.

Ты вспомнил Дэ Самойлова. Странно, что этот поэт, которого я уважал, но никогда особенно им не увлекался, то и дело напоминает о себе. Странно и то, что он, поэт гармонии, не воспринимается (мною) как светлая фигура [...] Я стал читать [его] мемуарную прозу. Там есть, среди прочего, диатриба об Эренбурге, очень пристрастная и довольно странная, и «Литература и общественное движение 50–60-х годов», род аналитического очерка. Многое показалось мне уязвимым, даже каким-то узким, временами даёт о себе знать, при всей независимости, советский человек. А ещё сильнее чувствуется принадлежность к писательскому сословию. Государственная литература превратила писателей в особое сословие. Они не только следовали велениям идеологии, изображая выдуманную жизнь, они сами отгородились от реальной жизни. Одно из поразительных свидетельств — поэма Твардовского «За далью даль», демонстрирующая удивительное незнание реальной жизни страны; попробуй для интереса перечитать. К Дезику, конечно, это относится в гораздо меньшей степени.

Но ты говоришь о его поэзии; переживёт ли она своего творца, пережила ли. Может быть, и нет; может быть, несколько стихотворений

(ты оговариваешься: пока). Мы как-то уже говорили об этом. Мешают — как камень, который тянет на дно, — национально-государственное мировоззрение и слишком сильная зависимость от традиции. Любопытно и обидно, как много поэтов, в том числе самый главный, признанный первым номером, — Твардовский, — завяли у нас на глазах. Скольких буквально уничтожила поэзия Бродского.

А проза? Её недолговечность поспорит с недолговечностью поэзии. У меня есть представительный сборник «Серапионовы братья». За исключением, может быть, Лунца, который, правда, больше обещал, чем успел сделать, да ещё Каверина, сумевшего как-никак сохраниться с «Двумя капитанами» в литературе, всё остальное пошло на дно. Удивляешься, почему их находили такими талантливыми. Трогает преданность литературе, воспоминания, как они собирались в прокуренной комнатёнке Миши Слонимского. Но что выпало в осадок?

Продолжаю это письмо на другой день, Bayern-4-Klassik передаёт юношескую 1-ю симфонию Шуберта, песнь вечной молодости, счастливую, нежную, кокетливо-задорную, доносящуюся откуда-то из иных времён, а затем Nachrichten, голос диктора сообщает о гибели сыновей Саддама. Два негодяя, выданные кем-то из «местных жителей», очевидно, за большие деньги. Таков этот мир.

Так вот, о недолговечности. Удручающий пример — романы Солженицына. Следовало бы, вообще говоря, плюнуть на актуальность, своевременность и т.п. («своевременный» отнюдь не означает современный, чаще всего наоборот) и подумать о том, что литература будет продолжаться после нас. Этот корабль пришёл издалека, стоит у дебаркадера и вот-вот отчалит, отправится в далёкое и неведомое будущее. Скорее купить билет и взбежать на палубу! Легко сказать... Писать для будущего, о котором — ни малейшего представления. Писать надо не для потомков, а для себя. Стараться думать о главном. «Величие замысла», выражение, которое любила Ахматова и подхватил Бродский [...]

Дорогой Марк. Мы вернулись вчера вечером из Рурской области (из Эссена). Обычный маршрут теперь изменён, дорога укорачивается почти на два часа, но поезд уже не идёт вдоль Рейна, где самый красивый участок — от Майнца до Кобленца. С каким волнением я глядел в окно, читал названия городов, когда ехал там первый раз! Вдруг оказалось, что всё существует на самом деле, и холмы с развалинами замков, и скала Лорелей, и какой-нибудь Бахерах, где жил Бахерахский раввин. После двадцати лет жизни в Германии всё выглядит привычным, по-прежнему романтичным, но уже лишённым таинственного

очарования; нет больше и этого déjà vu, мнимого узнавания, когда кажется, что всё это уже видел однажды во сне или в другой жизни. Теперь все узнавания — обычные, прозаические.

На другой день после приезда мы отправились небольшой компанией за сто километров в Bergisches Land, где возле небольшого городка, в тихом и живописном месте находится протестантское кладбище, на котором лежит Уве Графенгорст. Как-то совсем непривычно писать его имя Gravenhorst русскими буквами. Он был мой ровесник. Я познакомился с ним и его женой в Лиссабоне, месяца через два после отъезда из России. В Лиссабоне происходили не без некоторой помпы (одним из организаторов был Кронид Л., а патроном — тогдашний премьер-министр Португалии) «Сахаровские слушания», так это называлось. Я подружился с Графенгорстами, с ними и со всей семьёй, приехал к ним потом с моим сыном, приезжали и с Лорой, вообще бывал у них много раз. Вместе ездили в Данию, в Швейцарию, не говоря уже о Рейнской области. Однажды провели вместе несколько дней в Москве. Уве был инженер, только что вышедший на пенсию (преждевременную, так как дела фирмы, где он работал, пошатнулись), но все его интересы были сосредоточены не на технике. Он занимался историей, особенно немецким средневековьем, а также новейшей историей, философией, искусством, Дюрер был особой темой его жизни. Он был студентом, точнее, вольнослушателем Рурского (Бохумского) университета, куда и я с ним ездил не раз на лекции и собрания, Бохум находится рядом с Эссенем. Кроме того, он то и дело погружался в общественную работу — это слово следует понимать не в советском смысле. Уве и Зиглинде много раз ездили в Зибенбюрген (то есть Трансильванию), где восемь веков существовало компактное немецкое население со своей особой культурой, трудолюбивое и хозяйственное; в результате реформ Чаушеску некогда благоденствующий край обнищал, люди голодали. Для них закупали продукты, одежду, лекарства. Везли с собой огромные короба сигарет для румынских пограничников. Румыния была страшной страной, но ужас умерялся, как и в России, плохим исполнением законов и всеобщей коррупцией. Как-то раз я встречал и провожал Зиглинде и ещё одну женщину голландку на мюнхенском вокзале, обе дамы, очень худенькие, выглядели толстухами — на каждой было по три шубы. Вообще Уве и Зиглинде сделали много всяких добрых дел, при том, что никогда не были особенно богатыми людьми, вечно хлопотали о ком-то, приютили у себя множество людей, помогли и нам. И вот теперь он умер.

Кладбище находится возле того места, где примерно за 8 лет до нашего приезда первая жена Уве погибла, бросившись спасать чужого ребёнка, который чуть не попал под автобус. Машина вынеслась неожиданно из-за поворота. Мальчик отделался ушибами, а она с тяжёлыми повреждениями пролежала в коме два месяца и скончалась. Уве остался с четырьмя детьми, из которых старшему было 12 или 13 лет, а самой младшей лет пять. Теперь все дети взрослые, сыновья обзавелись семьями и живут в разных местах, но неподалёку, а дочь стала медицинской сестрой и акушеркой и работает в Камбодже, одной из самых несчастных стран мира.

Вернувшись, я нашёл письмо от д-ра Ульрике Ланге, славистки, которая устраивает в октябре в Майнце, на кафедре Ф. Гёблера, — я его знал когда-то аспирантом покойного Вольфганга Казака, теперь он профессор, — некое сборище под названием *Tagung zur Literatur der russischen Emigration*. Сколько я побывал на таких собраниях, — всё какая-то труха. В лучшем случае соревнование самолюбий, вроде состязания певцов в крепости Вартбург. Она прислала мне статью, которую написала для немецкого «Словаря современной иноязычной литературы». Это уже не первое произведение такого рода и назначения, посвящённое *meiner Wenigkeit*, подробный и неглупый анализ главных вещей, ничего подобного тому, впрочем, немногому, что я мог прочитать о себе в России. Казалось бы, надо ещё выше задрать нос. Между тем выясняется, что мы пишем — для кого? — для учёных филологов. А что пишешь ты?

Прошлый раз я писал тебе о Самойлове. Кое-какие мемуарные очерки — о Слуцком, о Наровчатове — я читал ещё раньше. Теперь прочёл ещё кое-что в его книге: воспоминания о войне, о последних месяцах, неделях и днях в Германии. Это вообще очень неплохо. Но как далеко от того, чем я живу, как представляю себе события и, самое главное, как интерпретирую их. Нечего и говорить о том, что тут патриотизм, а я «изменник». Тут гордое чувство законной причастности к истории, а я изгой. Тут размышление и свидетельство участника, а я и не был на войне, и живу позже. Вдобавок в «той самой» стране. Была такая песня: «В Германии, в Германии, в проклятой стороне», — и с каким чувством выпевалось это слово «проклятой». Видно, кстати, как далеки от него её культура, её стиль и образ жизни, — хотя до культуры ли было в то время. Представляю себе, какой дичью показалась бы самому Дэ моя словесность, если бы он в неё заглянул.

Прочитал сейчас твоё последнее стихотворение (очень хорошее). «Дышат пустоты, поры уже открыты...» Уверенность, что увядшее дерево зацветёт сызнова. Гм, гм... Обнимаю, твой Г.

29.7.03

Дорогой Гена,

замечателен твой рассказ о покойном друге, замечателен сам этот человек. Помянутую тобой дорогу вдоль Рейна, от Майнца до Кобленца и я необычайно любил, прилипал когда-то к окну; потом тоже привык. Увы, ни о каких поездках, впечатлениях, даже встречах рассказать сейчас не могу. О чем тогда рассказывать? О прогулках по лесу? О работе? В прошлом письме я упомянул рассказец, который отставил после долгих попыток. Вдруг подумал, что можно бы его решить. На эту мысль навели главы из поэмы «Горацио» замечательного, до сих пор совершенно неизвестного мне поэта Хаима Плуцика, их перевел Бродский. Возможно, ты читал, это стихотворные нерифмованные рассказы о встречах шекспировского персонажа. Я подумал: может, и мне удастся извлечь из моей идеи («Игра с собой») какую-то поэтическую квинтэссенцию? Мысль о стихах сразу отпала, но повествование стало вдруг выстраиваться по-новому. Всего шесть компьютерных страничек, меньше полулиста, неловко признаваться, что столько над таким пустячком возился. Но что-то, может, получится [...].

А пока воспроизведу здесь парочку стихов из своего нового цикла «Орфей». Лучше показать, чем рассказывать, чем я занимаюсь. Благо, ты относишься к этим моим опытам благосклонно.

Памятник

Черное изваяние, тени снега
На голове, на плечах —
Негатив подменяемого все весомей,
Памятник вместо памяти.
Непоправимей
Может быть лишь восковая фигура
С розовыми, как у живого, губами,
С той же окраской глаз,
С волосами от скальпа.
Страшнее
Был бы озвученный ходячий двойник,
Выращенный из клеток жившего тела —
Опухоль без памяти о душе.
Не горюй, не томись испугом,
Памятники тоже не вечны,
Простоят еще тысячу лет, другую,
Имена сотрутся.

Облака

Ветер уносит невесту. Развевается, тает фата.
Уплывает ладья, паруса разодраны в клочья,
Тоже бледнеют, растворяются в синеве.
Остается лишь память их видевшего. Исчезнет и он.
Навсегда ли? Как утверждает наука,
До конца в этом мире не исчезает ничто.

Обнимаю тебя
Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, имя Хаима Плуцка и отрывки из поэмы «Гора-цио» мне известны. Сейчас я вспоминаю, что однажды в Баварской академии был вечер памяти Плуцка. Nachdichtungen Бродского хороши, хотя второй, длинный отрывок нравится мне меньше первого.

Стоило тебе вернуться к начатому рассказу, как «мысль о стихах сразу отпала». Вот видишь [...]

Из двух последних стихотворений, «Памятник» и «Облака», первое мне понравилось безусловно. Оно подкупает прежде всего мыслью, вернее, пучком мыслей. Не вполне удачной, неловко звучащей, хотя и удачной ритмически, кажется строчка «Негатив подменяемого всё весомей». И, конечно, вместо «С точно той же окраской глаз» было бы достаточно сказать: «С той же». Разумеется, читатель, знающий тебя как прозаика, будет, сам того не желая, ловить автора на любой шероховатости, ощущать мнимый или действительный привкус прозы. Но, может быть, это частный случай проблемы, с которой, по-видимому, сталкивается твоя поэзия: неуравновешенность мысли и поэтической формы. Между ними возникает зазор — мысль перевешивает «форму», — зазор, которого не должно быть. Не должно вообще возникать вопроса, по крайней мере в стихах, о содержании и форме: они — одно; содержание, идея и т.п. — это и есть форма, и наоборот.

К «Облакам» это относится в большей степени. Уносящаяся фата невесты — замечательно, лучше не скажешь. Но дальше следует ненужное и даже не совсем понятное «тоже» и неудобопроизносимое нагромождение возвратных глаголов: рассеиваются, растворяются, остаётся... Вкупе с последующим («память их видевшего», «как утверждает наука») вещьца оставляет впечатление, я бы сказал, перевода с какого-то иностранного языка. Таково коварство верлибра [...]

Спасибо, Гена, за профессиональный разбор моих опусов. Некоторые замечания я сразу принял, внес поправки.

* * *

Говорят, чтоб запомнить хотя бы стишок,
Нужно усилие, а уж забудется
Все само по себе. Если бы так!
Сколько мусора застрекает навечно
Неизвестно зачем: магазинные цены
Двадцатилетней давности, изображения
На стене сортира, запах блевотины,
Торт с надписью жирным зеленым кремом:
«Слава КПСС!»
И каким усилием отменить, изгнать
Школьное унижение, хамский гогот,
Разочарованную усмешку женщины, безнадежный позор,
Ревность, нагнивающую, как заноза,
Хотя того, к кому ревновал, уже нет давно,
Мертворожденный замысел, неоправданную надежду,
Упущенный выигрыш, обман, в который поверил,
Миг малодушия, предательство мимоходом,
О котором никто не узнал и уже не узнает,
Обошлось без очевидных последствий.
Считай, этого не было, не имеет значения,
Ты другой, у тебя теперь все другое,
Выбрось из головы, очисти, как мусорную корзину.
Очень кстати в газете реклама: надежное средство,
Освобождение от ненужного, эффективная анестезия.

Поражение

Поражение, неудача. А мог бы и проскочить,
Как удавалось раньше, на фу-фу, без оглядки,
Не ободравшись — глядишь, так и прошла бы жизнь,
Не замечая, что ты с ней играешь в прятки.
Удостоен, считай, отметины — скажешь спасибо.
Ощутил на собственной шкуре бодрящий хлыст.
Напряглись, встрепенулись чувства, ожили силы.
Заработала, пробудившись, уязвленная мысль.

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, жара продолжается. Купанье в озере не помогает. Первая половина дня ещё туда-сюда, после обеда я превращаюсь в инвалида. За 21 год нашей жизни здесь (ведь в этом месяце исполняется уже двадцать один год! *Horribile dictu*, как говорили сограждане Цицерона) не было ещё, по-моему, такого лета. Зато в Чикаго, как ни странно, не так знойно. Лора собирается лететь через восемь дней. Я отправлюсь в начале сентября.

Конечно, мне трудно судить о стихах. Если поэты обыкновенно говорят о прозе и прозаиках глупости, то обратный случай не менее рискован. Кроме того, я начинаю разглядывать поэтический текст через лупу, и это разрушает общее, целостное впечатление. Общее впечатление от первого стихотворения самое положительное; как всегда, подкупает мысль. «Говорят, чтоб запомнить... нужно усилие». Почему «говорят»? Это ведь тривиальная истина. Скорее надо было бы сказать: говорят, чтоб запомнить стишок, не нужно никаких усилий. Как бы не так, стишки застревают в памяти и вместе с ними всякий мусор: лозунг «Слава КПСС» и т.п.

Меня смущает выражение «безболезненная анестезия». Это тавтология: анестезия и есть устранение болевой чувствительности. Греческое слово, собственно, это и означает. Процедура анестезирования (местное обезболивание, проводниковая анестезия, спинномозговая и проч.) сама по себе тоже безболезненна.

Второе стихотворение нравится мне больше. Очень хорошая концовка.

Я что-то пописываю, что-то почитываю. Кажется, я упоминал о томе интервью и бесед с Бродским, книжку только что выпустил издатель Захаров. Незачем говорить о том, что я давнишний, ещё до всяких премий, и восхищённый почитатель Бродского. Я даже имел счастье встречаться с ним. Но эти интервью... Он готов рассуждать о чём угодно. Можно было бы не обращать внимания на глупости, которые он говорит о музыке, о Марксе, Фрейде, ещё кое о чём, — в конце концов, мы все дилетанты и недоучки, — если бы не эта самоуверенность, этот апломб. Он называет Пушкина или Достоевского только по имени и отчеству, словно чай вместе пили. О Фрейде и других: этот господин. И как будто не чувствует, что это дурной, пошлый тон.

Обнимаю, твой Г.

Дорогой Марк, пишу тебе, не дожидаясь ответа. Знаменитая запись Кафки в дневнике о начале Мировой войны, как ты помнишь:

Австрия объявила войну Сербии, после обеда — плавательный бассейн. Так и я могу сказать, что ничего особенного за эти дни не произошло, не считая того, что в разных странах Европы на обширных пространствах пылают леса. Жара продолжается. Прогноз неутешителен. Я тут сидел над коротеньким, меньше десяти страниц, рассказом на тему о самоубийстве, почитывал известный трактат Жана Амери «Hand an sich legen»¹ (что автор и сделал в конце концов). Но работа закончилась, колодец окончательно высох.

Мне принесли новое, только что вышедшее издание мемуаров Гриши «Записки Гадкого утёнка». Теперь это книга в 460 страниц убористого шрифта. Расширена главным образом за счёт философско-религиозных рассуждений. В одном месте он упоминает о женщине, которая плакала, слушая стихи Зины. Возникает вопрос, не написана ли вся книжка (или составлена: читая, то и дело наталкиваешься на опубликованное в виде отдельных статей) для таких слушателей. В предисловии высказана любопытная мысль: «Стиль — это установка на разговор с известного рода людьми». Приводятся примеры: Расин, который «мысленно обращался к придворному», Зоценко, Булгаков... «У каждого крупного писателя был свой стиль, то есть чувство собеседника». Странно, не правда ли? Каждый так сказать, подстраивался к своей аудитории. «У меня, — добавляет Гриша, — это не получалось». Но к нему-то это определение как раз и подходит. К несчастью, я снова убеждаюсь, что к аудитории, для которой он пишет, я не отношусь. Всё же — если не читать книгу подряд — есть много интересного. Рассыпано множество мыслей, если не всегда оригинальных, то во всяком случае достойных обсуждения. Как всегда, прекрасный язык, благородная интонация. Немного юмора ей бы, правда, не повредило. По-прежнему всё одно и то же. Всё тот же набор имён. Непохоже, чтобы мыслитель развивался, менялся, пытался критически пересмотреть свои взгляды за последние двадцать лет. Интересно (так было всегда), что в своих суждениях о России, о Европе, о ситуации во всём современном мире, при всей широковещательности, он начисто игнорирует экономику. Видимо, это устойчивая реакция на марксизм, хотя производство, рынок, финансы и т.д. изобрёл не Маркс.

Я думаю, что особый дар Гриши — педагогизм, замечательное умение упрощать сложные вещи.

Что ты читаешь? Продолжаешь ли «Стенографию»?

Твой Г.

¹ Покончить самоубийством (букв.: наложить на себя руки нем.)

7.08.03

Дорогой Гена,

я, кажется, уже тебе писал, что Гриша, начав читать мою «Стенографию», откликнулся на какие-то мои суждения четвертьвековой давности доводами, которые я тогда, четверть века назад, от него и слышал, даже с цитатами из тех же авторов. Помню, как много значило для меня тогда общение с ним — я развивался в ходе таких обсуждений. Если я с тех пор изменился (в чем не всегда уверен), то благодаря ему тоже. Но он остался прежним на удивление; я, во всяком случае, не заметил существенно новых оттенков в характере его мышления — о чем ему уважительно написал. Больше откликов от него пока не было. Надеюсь, он во всяком случае здоров. Меня от новых писем удерживает боязнь показаться навязчивым — как будто дожидаюсь отзыва.

Как много ты все время читаешь новинок! Покупаешь или тебе присылают, привозят? Я нового последнее время читаю мало, может, оно и к лучшему. Когда, бывает, навалятся сразу несколько журналов и книг, приходится отвлекаться от работы, пока их не переваришь. Больше перечитываю. Недавно перечел, например, «Гамлета» — непостижимо! Как ограничены после него классицизм, сентиментализм, романтизм! ... Наивные, конечно, возгласы. Перечитал блистательное эссе Н.Я. Мандельштам «Моцарт и Сальери», обнаружил не воспринятые прежде мысли. И постоянно лежат на столе поэты. Например, португалец Pessoa, я пробую читать его по-французски. Переведен он, как принято, верлибрами, отчасти верлибры и сам писал — это то, что мне сейчас нужно. Он, как ты, наверное, знаешь, выступал под именами нескольких разных поэтов, биографии которых сочинил. Блистательно! Мне тоже пришло на ум сочинить небольшой цикл от имени провинциального стихотворца, чем я сейчас и занимаюсь. Рассказец, над которым я долго мучился (о чем тебе писал), все-таки удалось закончить. Я доволен — не столько самим рассказом, сколько тем, что все-таки не оставил работу незавершенной. Текст, во всяком случае, существует, можно читать. И, конечно, продолжаю так называемую «Стенографию», т.е. отчасти дневник, отчасти уже скорей дневниковую эссеистику. После опыта с публикацией я стал несколько бережней относиться к возникающим то и дело мыслям, кое-что оформляю старательней, переносу в компьютер [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

В центре и на юге Европы неподвижное, как солнце ада, стоит огромное Н, то есть Носх, область высокого давления, — никаких перемен, дорогой Марк. Каждый день температура далеко за 30. Ночью духота, невозможно спать. Вокруг Германии пояс стран, где уже которую неделю горят леса. Понизился уровень воды в реках, кое-где приостановлено судоходство. Энергетические концерны грозятся ограничить снабжение током, так как повсюду на полную мощность работают холодильные установки, а вода в реках, которая используется для охлаждения атомных электростанций, чересчур нагрелась; некоторые реакторы отключены.

Я, между прочим, хорошо помню, как летом 50 года вокруг лаг-пункта горела тайга, страшное зрелище. Бригады даже не пытались тушить пожары, это было невозможно, нельзя было приблизиться к стене огня, за сто метров дрожал раскалённый воздух, было больно глазам, стоял непрерывный гул, и, конечно, не было никаких противопожарных установок. Единственное, что можно было сделать, это окапывать горящие пространства. Позже бродили по растянувшейся на много километров, чёрной и горячей, курящейся дымом, пустыне — горели высохшие болота, тлел дёрн, его заливали кто чем мог, на него мочились, и, наконец, пошёл дождь [...]

Сочинить стихотворный цикл, якобы созданный провинциальным поэтом, — забавный и соблазнительный проект, поглядим, что получится [...]

Литературные новинки — я их вижу нечасто, читаю ещё реже. Пожалуй, я слишком резко отозвался о новом издании гришиных мемуаров. Всё-таки это хорошая книга, хоть я и не могу читать всё подряд. Очень хорошо написано о войне, об армейском быте, есть много других удач, ярких портретов, талантливых зарисовок, тонких замечаний. А главное — вырисовывается своеобразная, очень цельная, всегда верная себе, незлобивая и, бесспорно, благородная личность [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.8.03

[...] Вдруг подумалось: ты в своей филиппике против истории — не противопоставлял ли ей что-то вроде такой жизни: с семейными, частными, профессиональными заботами? Что еще нужно? И вспомнилась провинциальная утопия моего Милашевича: если подумать,

что-то весьма близкое. Сочиняя ее, я вспоминал слова Мандельштама (в его статье о Чаадаеве): «Великая славянская мечта о прекращении истории... Еще недавно сам Толстой обратился к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать «просто жить»».

А я как раз завершил цикл «Из тетради провинциального стихотворца». Пошлю тебе парочку — будешь хоть знать, чем я занят.

Тетрадь

Серенький свет в окне, все тот же пейзаж
Из грязи или из пыли, разъезженной колеи,
Поленницы у забора. В разреженной пустоте
Можно бы задохнуться — если бы не тетрадь.
Набиты соломой чучела, в окаменелость
Зябких палат музея уже не вернется жизнь,
Усыплены экспонаты, выцвели или покрыты
Патиной, — хочешь сказать, паутиной, — звучит.
Гласные поневоле растягиваются в зевоте,
Полууродство слышится в полуродстве.
Надо открыть тетрадь. На голубые линейки
Слетаются — ласточками на провода — слова
Выстраиваются в строки, хотят вместить
Полноту неприглаженную, без красот.
Вдруг возникает что-то, бутылочное стекло
Замечено солнцем, сверкает, как бриллиант.
На патефонной уже инвалидной пластинке
Слышишь не хрип одышки — музыку сквозь него.
Тоска находит слова, чтобы в них раствориться.
Не совладать бы с жизнью, если бы не тетрадь.
Лужу внезапный ливень ландышами засадит.
Небо очистится снова. Засияв синевою,
На тоненьких детских шейках поднимут
Капельные головки восприявшие купола.

Сверчок

Уродец с длинным грустным лицом замолк,
Смущенный, что обнаружен, такой невзрачный,
Такой нескладный. Воображали б лучше
Эльфа с изящной скрипкой, как на картинке,
С фалдами, как у кузнечика. Затаился
В своей застенной провинции, самоучка
Застенчивый, интеллигентный бобыль. Играет

Ночами всегда на той же нехитрой ноте,
Не зная, как эта музыка может кому-то
Скрашивать неуют одинокой печальной жизни.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, я сижу один, вода в колодце не поднимается, за всё последнее время удалось написать только рецензию о Вагнере, да ещё рассказик, сугобо литературный, не слишком серьёзный, который посылаю тебе. Я стал снова слегка переписывать «Светлояр», — в общем, в делах застой.

Конечно, я тоже не раз вспоминал статью Мандельштама, «великую славянскую мечту о прекращении истории в западном значении слова, как её понимал Чаадаев». Историю, как я сам для себя пытался её определить, игнорировать невозможно. Мы родились и умрём в этом китовом чреве. Истории можно сопротивляться тем единственным средством, которое у нас в руках: это средство — литература. Но опять же, что это значит, сопротивляться? Провинциальная утопия Милашевича есть нечто тупиковое (думаю, что это можно вычитать из романа). Тут затронута тема, чрезвычайно болезненная для современной русской литературы. Вопрос — или, может быть, великая задача — в том, чтобы писать о человеке, который не в состоянии выпрыгнуть из истории, хоть и пытается изо всех сил, сознаёт он это или нет. Это и значит отстаивать, вопреки всему, достоинство человека, попранное, как, может быть, никогда, в минувшем веке.

Утопия Милашевича может быть сопоставлена с утопией России. Эта утопия жива и представляет собой антитезу (или pendant?) мессианской утопии — лучше сказать, мессианскому бреду. Любопытно, как обе крайности, мечта о тихой, благолепной, деревенской, природной, народной, провинциальной России — и фата-моргана России, величаво указующей путь кораблям всего мира, России как главной, ведущей нации, отравили нашу литературу. В конце концов оказалось, что, во-первых, «Россия» («народ») важнее человека, представляет собой нечто первичное по отношению к индивидууму и, во-вторых, мифическая Россия не есть часть мира, но противопоставляет себя миру. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и Чехов писали о России, но эта Россия была представителем мира. В этой России существовал не «народ», а человечество: народ как репрезентант человечества. Со смертью Толстого бремя мировой литературы свалилось, она стала провинциальной. Восторжествовало в разных обличьях нечто затхлое,

именуемое русской идеей. Или скажем так: нечто равное самому себе. А надо, чтобы выше себя. Здесь больше уже не создавалось великой синтетической прозы, где, как у Пруста, у Джойса, у Томаса Манна или у Кафки, или у Фолкнера, речь идёт о «провинции» (что такое Дублин или Комбре? Не говоря уже о Йокнапатофе) и в то же время — о человечестве.

Из двух стихотворений мне больше, и даже очень, понравился «Сверчок». Называть первое стихотворение «Тетрадь» (с красивой концовкой), по-моему, не нужно, коли весь цикл носит название «Из тетради провинциального стихотворца». Пришли, пожалуйста, ещё.

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.8.03

[...] Хороший у тебя получился рассказ, не совсем для тебя обычный. Надо будет его перечесть, чтобы вникнуть в тонкости. Возможно, ты знаешь: целую большую книгу «Писатель и самоубийство» опубликовал не так давно Григорий Чхартишвили, известный теперь как Б. Акунин. Исследуется история вопроса со времен античности, теории на этот счет, географические особенности (самоубийство писателей по-русски, по-немецки, по-японски; Чхартишвили — специалист по японской литературе), самоубийства эмигрантов, приводятся 350 биографических справок. (Я, кстати, впервые слышу версию о самоубийстве Бахман. С чем она связана?) С Гришей я был когда-то знаком, он для своей книги уточнял у меня сведения об Илье Габае.

А вчера ко мне приезжали японские телевизионщики тоже поговорить о Габае. Они снимают фильм об августовских событиях 1968 года и вообще о московских диссидентах. Как ни странно, их это еще живо интересует — кажется, больше, чем людей у нас. Разговаривали мы в день другой годовщины — августовского путча, у «Белого дома» собралось человек 50, чтобы помянуть это событие.

Сима Маркиш написал мне в недавнем письме, что ему кажется бессмысленным вспоминать советское время: кому передать эту память? Никому это сейчас не интересно. «Наши копошения и умождения не ведут никуда, разве что к вершинам маразма». Я ответил ему, что существует просто потребность осмысливать время и место, в котором нас угораздило очутиться — независимо от того, интересно ли это другим. В твоих последних письмах проскальзывали, кстати, замечательные лагерные воспоминания: о тамошних музыкантах, о пожарах. Мне кажется, ты все-таки недооцениваешь, как этот опыт ценен —

экзистенциально ценен. Венгр Имре Кертеш не зря получил Нобелевскую премию за книгу об опыте Освенцима. Хотя копаться в этом опыте, конечно, невелико удовольствие.

О себе мне рассказать нечего. Пошлю еще стихок из провинциальной тетради.

Овладевают уверенно жизнью умеющие
Отбросить сомнения, оговорки, знающие,
Что истина должна быть одна и доступна,
Во всяком случае, им. Такие долго не станут
Распутывать там, где практичнее разругать,
Рассуждениям предпочтут чеканные фразы,
Общепринятым вкусам не противопоставят
Своих, не станут слишком тонко шутить —
Могут не так быть поняты. Достаточно вообще
Клавиатуры не слишком сложной. Полутона,
Оттенки, тонкости лучше оставить другим,
Неуверенным, непрактичным. Эти готовы
Задержаться на несущественном, их смущает
Мысль, что истине противостоит иногда
Не заблуждение — истина еще глубже.
Не восхитившись вовремя тем же, что все,
Остаются каждый раз на обочине, могут там
Смаковать переливы соловьиного пения,
Тонкой мысли, сравнивать движение звезд
С поведением никому не видных частиц,
Ловят в воздухе звуки, не слышные уху,
Напевают что-то, бормоча про себя, сочиняя
Музыку или стихи.

Обнимаю тебя Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

20 авг. 03

Дорогой Марк. Со страхом ждал я, что ты раздолбаешь мой рассказик, но этого вроде бы не произошло [...] Жарища, слава Богу, прошла. Вообще в Мюнхене относительная тишина, отпускное время. Правда, я почти безвылазно сижу дома. Что сказать нового? На-днях я получил, в конверте с траурным ободком, как принято, известие о смерти баронессы Пёльниц. Это имя когда-то мне встретилось, сто лет назад, когда я переводил Лейбница: он упоминает в одном из писем

1704 г. к прусской королеве Софии-Шарлотте некую мадемуазель фон Пёльниц. В Германии по закону дворянский титул считается частью имени и не должен быть опускаем в официальных бумагах. Полное имя той, о которой я сейчас говорю, Friderike Freifrau von Pölnitz, geb. Gräfin von Podewils-Dürniz. В семейном кругу её называли Tante Mädy. Ей было 93 года. Я знал эту даму.

Однажды она прислала мне свои, к сожалению, очень короткие, чётко и ясно написанные (неопубликованные) воспоминания о генерале Генрихе фон Штюльпнагеле. Может быть, тебе известно это имя. Он был командующим оккупационными силами во Франции, был начальником Эрнста Юнгера, дружил с ним, был участником заговора 20 июля и по условленному сигналу приступил к решительным действиям: арестовал главарей парижского СД и гестапо, запретил войскам покидать казармы и пр. После того, как пришло сообщение о том, что Гитлер остался жив, Штюльпнагель получил из ставки приказ явиться в Берлин. Он отправился туда из Парижа на машине с двумя подчинёнными, по дороге вышел и выстрелил себе в голову. Но не был убит и с тяжёлой черепно-мозговой травмой, ослепший, был доставлен на место. Его лечили, а затем казнили в Плёцензее (сейчас там находится Мемориал героев сопротивления). Палач вёл слепого под руку к виселице.

«Тётя Меди» была его секретаршей в Париже. Вообще она не была разговорчивой, но однажды был такой случай. Я гостил у моих друзей в Альгое — у отставного профессора Гарри Просса, известного немецкого публициста, и его жены Марианны. Туда приехала Пёльниц. Мы сидели позади дома — перед глазами луг, холмы и вдали, на небе, австрийский Форарльберг, — разговор шёл о том, о чём, между прочим и о войне. Где-то во второй половине 30-х годов, когда баронесса была молоденькой девушкой, она служила машинисткой ни много ни мало — в генштабе. Гарри, который в 19 лет был танкистом и чуть не лишился руки под Яссами в Бессарабии, остался, впрочем, инвалидом, спросил: знала ли она о том, что готовится нападение на Польшу? Она ответила: конечно; мы все знали.

Она была сестрой графа Клеменса Подевиляса (полное имя Podewils-Juncker-Bigatto), а Барбара фон Вульфен, в чьём доме, точнее, во флигеле, мы прожили вскоре приезда в Германию девять месяцев, а до нас обитали Ира и Володя Войновичи, — дочерью Подевиляса. К этому времени самого Подевиляса уже не было в живых, он умер мучительной смертью от рака в конце 70-х. Но я довольно много знаю о нём. Был когда-то португальский фильм «Три зеркала». Три женщины связаны с одним мужчиной, который на экране вовсе не появляет-

ся. Так и я увидел отражение графа фон Подевилса как бы в трёх зеркалах — по рассказам трёх женщин: его дочери Барбары, его невенчанной жены Марианны, той самой, которая уже при мне вышла замуж за Гарри Просса, и ещё одной дамы, Кáрен Вестерман, она вела бухгалтерию в нашей бывшей редакции «Страна и мир». Карен не принадлежала к этому кругу баварской знати, происходила из Восточной Пруссии и была Trümmerfrau, так называют женщин, чья молодость прошла среди развалин. Но она долгое время работала в издательстве Век, где Подевилс был частым гостем. Его называли там за глаза «граф Бобби».

Кроме этого, у меня есть подаренный дочерью томик его стихов, я читал его весьма любопытный военный дневник «От Дона до Волги», о Подевилсе упоминает в парижских дневниках Юнгер (они были на «ты» — большая редкость для Эрнста Юнгера), однажды в Баварской академии изящных искусств был вечер, посвящённый годовщине Подевилса, который был, между прочим, генеральным секретарём Академии. Подевилс был интересная личность.

Он был помещиком в Egerland, в бывшей Судетской области, был журналистом, дипломатом, во время войны состоял при штабе дивизии на Восточном фронте и дошёл, точнее, доехал до Сталинграда, но прежде, чем успело замкнуться кольцо окружения, схватил, на своё счастье, инфекционную желтуху и был транспортирован в Германию. В конце войны лишился своего поместья, дома, пышно именуемого замком, немцы были изгнаны из Чехословакии, семья бежала в Баварию. Подевилс был избран генеральным секретарём Баварской академии (звучит громко, на самом деле — что-то вроде делопроизводителя на скудной зарплате). Здесь произошла история, которая в благородном семействе и для всего круга означала скандал.

Подевилс был высокий, стройный, худощавый и, по-видимому, очень красивый человек, прекрасно образованный, с отменными манерами. Это был талантливый дилетант: поэт-дилетант, музыкант-дилетант, дипломат-дилетант. Был каким-то запоздалым романтиком, консервативным националистом, поклонником патриархальной России и так далее — к этому достаточно запылённому букету нужно присоединить и увядшую розочку несколько отвлечённого антисемитизма. Нацистом, однако, не был и в партии не состоял. К бумажно-канцелярской работе был абсолютно не приспособлен, и работу за него выполняла его секретарша Марианна Кац (из-за этой фамилии, которую принимали за еврейскую, у её отца после 1933 года были неприятности). Она и сейчас привлекательная женщина, между прочим, очень много сделавшая для нас, а в те времена, по всему судя (есть и

фотографии), была красавицей. Подевильс, который был вдвое старше, влюбился в неё, бросил жену Софи-Доротею — она была ученицей Хайдеггера и писательницей — и детей, двух девочек, одна из них — Барбара. Жениться на Марианне он не захотел, жил с ней в Мюнхене (а законная жена — на Штарнбергском озере, там же и умерла). У Марианны родилась дочь. Её зовут Кáро (Каролин). Теперь это взрослая молодая женщина, красивая, ироничная и холодная. Союз был, по словам Марианны, трудным, не говоря уже о её двусмысленном положении; Клеменс был обаятельным человеком, мог быть и невыносимым, в припадке гнева швырял о пол посуду. Потом он заболел, и она ухаживала за ним.

Видишь, как я разговорился.

Ты упомянул Ингеборг Бахман. В её жизни остаётся многое неизвестным. В романе «Мáлина» расшифрованы, уже после её смерти, скрытые цитаты из Целана. Они встречались в Вене, позже однажды сидели рядом на одном из собраний группы 47 (есть фотография), но письма Бахман к Целану лежат под спудом, и характер их отношений не прояснён. Это были родственные души. Что касается обстоятельств смерти, то, как ты знаешь, она погибла при пожаре в квартире, видимо, заснула с сигаретой. Но в романе (и в фильме) героиня поджигает свои бумаги и сгорает сама. Не могу сейчас сказать, выдвигалась ли версия о самоубийстве или это просто моя выдумка: ведь к Бахман «подходит» такой конец. Вообще я плохо знаком с её биографией.

Надо ли, стоит ли вспоминать советские времена. Сима Маркиш в своих суждениях часто бывает максималистом. Его выражение «вершины мааразма» забавно; надо бы сказать: низины. Хотим мы или не хотим, мы не можем вспоминать эту эпоху, эту, лучше сказать, *Unzeit*. В конце концов это наша жизнь и наша страна. Я уж не говорю о том, что мне то и дело попадают (из России) статьи, высказывания и т.п., нескрываемый смысл которых: хватит, забудем. Удивительно, но Сима как будто солидаризуется с ними. Но я полагаю, что мы *обязаны* вспоминать, не имеем права забывать — как обязаны, например, не забывать о национал-социализме. Вообще помнить *обо всём*, — что оказывается, по крайней мере, в моём возрасте, тяжким бременем. И разве мы с тобой, в большей или меньшей степени, не занимаемся прошлым, не пытаемся как-то справиться с этим бременем? Литература, сказал Арман Лану, это сведение счётов. Роман, который я сочинил, «К северу от будущего», строится на исходном эпизоде последнего года войны, хотя на войне я не был.

В Японии интересуются Габаем, о котором в России никто не вспоминает, не странно ли? Нет, не странно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.8.03

[...] Какое интересное у тебя в Германии было общение! Аристократы, европейские интеллектуалы. Насколько они представляют современное германское общество? Позавчера по ТВ был фильм о детях немецких нацистов. Эти дети до сих пор не могут найти общего языка со своей семьей, окружением, соседями. Одна девушка, чтобы искупить вину отца, вышла замуж за еврея (странное, вообще говоря, обоснование для женитьбы), в семье этого не принимают, не любят евреев, оправдывают нацизм. Только их дети общаются с детьми греческих иммигрантов, другие их игнорируют. И т.д. [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27 авг. 03

Дорогой Марк. Мне осталось восемь дней до отлёта. Жара начала понемногу спадать, но в Чикаго дует горячий, как из Сахары, ветер. Оба мальчика дома: в детском саду каникулы.

У меня какой-то тупик. Ничего не могу делать. Возникают разные проекты и тут же рушатся. Вчера я сидел в Stabi (т. е. Staatsbibliothek) и читал военный дневник графа Подевилльса «Дон и Волга», изданный в 1952 году. Автор был прикомандирован весной 42 г. в качестве военного корреспондента к штабу 6-й армии, которой командовал будущий GFM (ген.-фельдмаршал) Фридрих Паулюс и которая частью погибла, частью сдалась в плен в Сталинграде и под Сталинградом. Дневник мне знаком, я читал его лет 15 тому назад.

В зале рядом с Общим читальным залом небольшая выставка по случаю 60-летия гибели библиотеки в 1943 г.: документы и фотографии о главном воздушном налёте, позже были и другие. Копия английского военного отчёта о рейде нескольких сот самолётов Royal Air Force в половине двенадцатого ночи, военная карта города с пунктами основных попаданий, не вернулось на базы 8 самолётов. Библиотека была разрушена несколькими попаданиями, но главный урон нанесла тяжёлая фосфорная бомба, в огне погибла огромная масса книг, включая уникальные собрания. Персонал и девушки из соседнего училища пытались спасти, что могли, затем прибыла пожарная охрана. Книги срочно переносили, передавая из рук в руки, в стоящую рядом Ludwigskirche (может быть, ты её помнишь, две башни видны из Англий-

ского сада). В отдельной большой витрине — я говорю о выставке — почерневшие обгоревшие фолианты, другая витрина, вдоль стены — реставрированные инкунабулы, вид до восстановления и после, описание технологии реставрации, фотографии реставраторов и пр.

Я проглядываю в интернете последние номера московских толстых журналов, что-то читаю или перелистываю и как будто погружаюсь в какой-то подводный мир. Время от времени выныриваешь набрать порцию воздуха и видишь, что вокруг ничего нет, вода, небо. Литература начинает казаться какой-то иллюзией. А главное, я теряю способность (если вообще когда-нибудь ею обладал) связывать оба мира, здешний и российский. Там одна действительность, здесь совершенно другая. Там одна история, здесь другая [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.08.03

Дорогой Гена!

Вчера к нам приезжали японцы уже со всей аппаратурой, и два часа мы с Галей и Юликом Кимом вспоминали Илью Габая, события 1968 года, размышляли о том, что значило когда-то «выйти на площадь», что такое диссидентство и какой протест возможен сейчас. А потом мы вместе поехали на выступление Юлика в Клуб авторской песни, там собралось множество давних знакомых, Юлик вспоминал песни 60-х и прочих годов, продолжая те же размышления. Недавний опрос показал, например, что 37% процентов опрошенных одобряют сейчас ввод войск в Прагу и только 32 осуждают, что 67% считают вышедших к 68-м году к Лобному месту безумцами и только 23 — героями. (Возможно, цифры запомнились не совсем точно, соотношение примерно такое.) Среди слушателей был мой внук, вернувшийся только что из путешествия по Кавказу, другие молодые люди, я пытался представить, как это звучит для них.

Ты пишешь, как трудно тебе связать два мира, здешний и тамошний. Наверно, не более трудно, чем связать оба времени, тогдашнее и нынешнее. Связать для себя самих, в своей душе. Постороннему, быть может, проще описать это как одну и ту же, нашу жизнь. Ты читаешь в библиотеке военные дневники немецкого знакомого — что они значат для тебя, не побывавшего на войне? Насущней ли они для души, чем свидетельства о войне прежних соотечественников? Между тем мы продолжаем что-то осмысливать, соединять, даже задавая себе эти безответные вопросы. С возрастом может естественно ослабеть лите-

ратурная потенция — но тот же возраст способен обогатить мысль, это тоже чего-то стоит. Ты пишешь, что в современной российской прозе находишь для себя мало питательного — ну, а в немецкой прозе, которую ты, наверно, не хуже знаешь? Возможно, не только мы — время ищет чего-то другого. Не будем смущаться ощущения возобновляющегося тупика. Это поощряет думать. Говорят, состояние кризиса — творческое состояние [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29 авг. 03

Дорогой Марк, вчера вечером диктор телевидения объявил: лето закончилось (как в «Снегурочке»: «Конец весне пропели петухи! »), и точно: сегодня прохладно, облачно, я снова был в библиотеке и шёл назад до автобуса по прекрасному, привольному городу под морозящим дождичком.

Почти 40 процентов опрошенных одобряют ввод советских войск в Прагу, вот-те раз. Пора бы уже привыкнуть к подобным настроениям, и всё-таки не устаёшь им поражаться, чтобы не сказать — ужасаться. Но странное дело, — может быть, они по-своему сигнализируют о том, что прошлое не забыто, память жива, вопреки усилиям вытравить всё из сознания, заменить историю мифологией. В том-то и дело, что есть тайное сознание не только ужасного, но и постыдного государственно-национального прошлого. И вот начинают возвращаться в обратную сторону колёса самооправдания. «Не так уж всё было плохо». «Что ни говори, а Сталин — великий человек». «Была держава». «Пора гасить костры» (название последней статьи Аллы Латыниной. Подразумеваются костры, на которых собрались было сжечь советскую литературу, — не-ет, не такая уж она была плохая).

Трудно связать два мира. Нет, пожалуй, именно два мира, а не два времени — если говорить о моём собственном самочувствии. Мне не кажется, что я сам изменился. Для этого я был недостаточно молод, точнее, достаточно стар, когда мы уехали. Но вот узел, или реле, где осуществляется (в литературном, конечно, смысле) сопряжение: это война. Конечно, это уже весьма далёкое прошлое. И всё же мне казалось, что война парадоксальным образом сблизила миры и страны. Я попытался перебросить мостик в романе (который так и лежит без движения) «К северу от будущего». Теперь у меня брезжут какие-то мысли, и, например, чтение дневника «Дон и Волга» было, так сказать, не вполне бескорыстным занятием. Сегодня я его дочитывал и досматривал. Ты спрашиваешь, что он значит для меня, на войне не

побывавшего. А вот то и значит — я переворачиваю бинокль. Насущней ли эти записки, чем свидетельства соотечественников. Если я собираюсь предпринимать что-то литературное — то да, насущнее, потому что оптика отечественных участников войны (последнее, что я читал, — Д. Самойлов) для меня не представляет ничего принципиально нового. Кроме того, я хочу кое-что узнать из первоисточника и присоединить это к тому, что я знаю из здешней жизни. В романе Георгия Владимова есть страницы, посвящённые Гудериану, генерал-полковник сидит в Ясной Поляне, размышляет о войне, о стране. Очень может быть, что автор, писатель очень добросовестный, читал записки Гудериана или каким-то образом знакомился с ними (Владимов не знает по-немецки). Но в романе мысли Гудериана звучат фальшиво, неубедительно.

Вдобавок я вообще по части чтения сделал большой крен в сторону разного рода мемуаристики. Это ответ на твой второй вопрос: нахожу ли я что-нибудь для себя интересное в современной немецкой прозе. Я читаю современных прозаиков очень мало. Есть, правда, писатели (среди ныне живущих), которые мне нравятся, но это люди старшего поколения. Вчера до полуночи я читал и разглядывал необычайно интересную книгу-альбом «Thomas Mann in München 1894–1933», она вышла два года назад. Читал «Hitlers München», только что вышедшую книгу англичанина по имени David Clay Large. Но также листал и Юрия Трифонова, которого я очень люблю [...]

Покуда сам с собой

Марк Харитонов. *Стенография начала века. С иллюстрациями Галины Эдельман. М., «Новое литературное обозрение», 2002. 450 с.*

«Зачем люди пишут дневники? Единого ответа быть не может. Разные люди, разные дневники...» — пишет автор в предисловии к своей книге. Дневник писателя есть особый литературный жанр. Это звучит как парадокс, ведь в заметках для себя, нередко сугубо интимных, писатель как раз и не хочет быть литератором, сочинителем историй, в которых он прячется за спиной у вымышленных героев, притворяется, что его нет, в лучшем случае надевает личину условного автора. Дневник писателя представляет собой протест против самой сути художественного творчества — его конвенциональной, игровой природы. Хуже того, он оттесняет

художество. Журнал Гонкуров сейчас интересней читать, чем их романы. Этот огромный, полностью обнародованный лишь в XX веке Журнал — вообще одна из самых увлекательных книг французской литературы. Четырнадцать (или уже пятнадцать?) томов подённых записей недавно скончавшегося патриарха европейской литературы Жюльена Грина, «кладбище запрещённых радостей», как он однажды их назвал, — возможно, лучшее из всего, что он создал. Интерес к полузабытому Михаилу Пришвину оживился после недавней публикации его интереснейших дневников. Дневник Юрия Нагибина оказался его главной книгой.

Для чего пишутся дневники? Для кого? Разумеется, в первую очередь для себя. В дневнике можно позволить себе предельную откровенность; всё равно что рассказывать голым в запертой квартире; diarист всегда более или менее Нарцисс, хотя бы эротика писания дневника и не была для него очевидной. Дневник может служить инструментом самоанализа, самолюбования, самобичевания. Он может стать и орудием мести, особым, коварным способом сводить счёты с современниками.

Тот, кто пишет дневник, не одинок. Девочка Анна Франк, обречённая жить в тайнике и в конце концов погибшая в концлагере, так и начинала каждую запись — очередное письмо к воображаемой подруге: «Дорогой Дневник...» Роберт Музилл имел обыкновение заканчивать вечернюю запись в дневнике пожеланием спокойной ночи самому себе. *Gute Nacht, Herr Musil!* Известная книга Густава Рене Гокке (Носке) «Европейские дневники четырёх столетий» снабжена эпиграфом из Петрарки: *nes metuit solus esse, dum secum est* (И не страшится одиночества, покуда сам с собой). Можно назвать ведение дневника ежедневной борьбой со смертью, с отмиранием жизни, с превращением времени в песок песочных часов. «Летят за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия...»

Собираясь начать жизнеописание композитора Левверкюна, Томас Манн разыскал старую, 42-летней давности запись 1901 года, три строчки — план книги о договоре Фауста с князем тьмы. Дневники литератора — это хроника его трудов, архив идей и проектов, попытки собраться с мыслями, пробы пера. В замечательном дневнике Кафки осели наброски новелл, сны, путевые заметки и горестный итог размышлений о себе.

Дневник писателя имеет величайшую ценность. Писатель не может не думать о том, что когда-нибудь его дневник будет опубликован, не при жизни, так после смерти, если не литературоведами, то им самим. Таков случай Марка Харитоновна.

Харитонов, первым удостоенный (за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992) российской Буковерской премии, четверть века вёл дневник с помощью стенографии. Было ли это конспиративным приёмом (знаменитый зашифрованный дневник Сэмюэла Липса дождался разгадки не один век; Канетти пользовался собственным вариантом скорописи) или просто способом сэкономить время? И то, и другое; автор пишет об этом в предисловии. При этом он оговаривается, что отобрал для печати лишь небольшую часть дневника, общий объём которого, по его подсчётам, — не менее 400 листов. Публикуемые записи — 28 листов — охватывают период от января 1975 до декабря 1999 г. Собственно дневниковые записи чередуются с отрывками из особого «Рабочего дневника». Отдельные заметки разных лет сгруппированы под рубриками «Уколы памяти», «Сочинение снов», «О литературном процессе», «На темы Л. Толстого», «На темы Достоевского», «Кафка, “Замок”» (напомним, что М. Харитонов, прекрасно владеющий немецким языком, — переводчик писем Франца Кафки), «Мужчина и женщина», «Заметки о критике», «Заметки по истории» и др.

Прежде всего и главным образом — это литературный дневник. Биограф почерпнул бы из него сравнительно немного сведений о личной жизни писателя, зато историк литературы нашёл бы для себя много поживы. Хотя диарист не раз, в согласии с русской традицией, декларирует приоритет «жизни» перед литературой («Уважение к трепету реальной жизни мешает мне формулировать теоретические положения и писать статьи... Все духовное должно вырастать из жизни, из быта, из повседневности. Писатель должен иметь детей и зарабатывать на хлеб насущный. Если он из этого извлечет величие, оно будет настоящим...»), он живёт литературой. Собственно, литература для него и есть жизнь. Такое впечатление, по крайней мере, вынесет из «Стенографии начала века» читатель. Флоберовская одержимость литературой, мысли о творчестве, о классиках и современниках, литературные новости и разговоры о литературе; собеседники, друзья, по большей части знакомые всем нам, — иных уж нет, а те далече, — известные имена: М. Бахтин, Д. Самойлов, Н. Эйдельман, Г. Померанц, Л. Баткин, Ю. Ким, М. Мамардашвили, Вяч.Вс. Иванов, Ф. Искандер, С. Липкин, А. Битов, В. Сидур, Л. Копелев, И. Габай, Ю. Карабчиевский, К. Любарский... Разумеется, и дискуссии о «политике», о переменах, надеждах, разочарованиях, об угасших звёздах последних десятилетий. Читать всё это необыкновенно интересно.

Дневник Марка Харитонова не станет сенсационным документом. То, что так часто приносит успех авторам дневников и

мемуаров — сплетни, разоблачения, соперничество и ревность, старые счёты и обиды, годами скрываемая и вдруг открывшаяся вражда, — в этой книге начисто отсутствуют. Зато здесь есть нечто существенное, назовём это литературным размежеванием. Кратко и по возможности точно, обычно в тот же вечер, автор «Стенографии конца века» пересказывает суждения своих собеседников; некоторые из этих высказываний представляют собой маленькие литературные манифесты. Автор комментирует их — по большей части это осторожно формулируемые сомнения. Перед нами человек, которому в высшей степени не свойствен авторитарный тон. Человек, умеющий слушать оппонента; редкое качество, скажем прямо. И, однако, мало помалу из этих записей вырисовывается собственная концепция. Два вопроса — две коллизии — оказываются едва ли не самыми жгучими.

Семидесятые, восьмидесятые годы: время отчаяния — то тот, то этот уезжает. Одного вытолкнули, другой, не дожидаясь пинка, сам поднимает якорь. Уезжает русская литература, — не перестанет ли она от этого быть русской? Вправе ли писатель оставить родину? Вправе ли оставаться там, где он дышит воздухом несвободы и где в лучшем случае ему предстоит выбирать между конформизмом и молчанием? Дилемма принимает драстический характер, если русский писатель имеет неосторожность быть евреем. — И второй, более обширный, в сущности нерешаемый, вечный и мучительный вопрос: чем должна, чем может быть литература? Зачем она нужна и нужна ли?

В вышедших почти одновременно с дневником М. Харитонова двухтомных «Подённых записях» Давида Самойлова (М., «Время», 2002) есть примечательная запись от 9 июля 1978 г.:

«У евреев есть одна привилегия — избирать нацию. Но нация часто вовсе и не стремится, чтобы её избирали евреи... Если выбор не означает перевеса обязанностей над правами, он ничего не стоит. Поэтому с величайшей осторожностью надо относиться к эмиграции евреев. Еврей-эмигрант перестаёт быть русским, как только покидает Россию... Русский эмигрант — русский изгнанник. Еврейский — человек, воспользовавшийся привилегией выбора нации и — часто — отдавший предпочтение правам над обязанностями. Все слова о защите русской культуры в устах еврейских эмигрантов — блеф».

В намерения автора рецензии не входит спорить с этим абсурдным заявлением. Да и речь у нас не о Давиде Самойлове. Если, однако, мы упомянули это имя, то потому, что общение с известным поэтом, беседы и постепенное выяснение точек зрения, посте-

пенное размежевание, наконец, открытый спор — всё то, что обозначается ёмким немецким словом *Auseinandersetzung*, — имеют значение для самого важного и принципиального вопроса о назначении писателя; можно считать это главной сквозной темой «Стенографии конца века». И тогда оказывается, что обе коллизии, о которых сказано выше, — это две стороны одной и той же проблемы.

О своих взаимоотношениях с Д. Самойловым Марк Харитонов рассказал в книге «Способ существования» (1998; очерк «История одной влюблённости»). Дневник, в котором не менее 50 раз упоминается имя Самойлова — наставника, друга, собутыльника, критика, оппонента, — существенно дополняет эту историю; её общелитературное значение несомненно.

Центральный эпизод — несостоявшаяся публикация романа «Два Ивана». Роман был закончен в 1980 году, тогда же Харитонов дал его прочесть старшему брату. Самойлов, в свою очередь, показал рукопись тогдашнему главному редактору «Нового мира» Сергею Наровчатову, товарищу молодости и военных лет. Автора знали в редакции: несколько лет назад в «Новом мире» публиковалась повесть Харитонова «День в феврале» с посвящением Д. Самойлову.

Ещё две цитаты из «Подённых записей» Давида Самойлова. 11 мая 1980 г.: «Марк привёз повесть из времён Ивана Грозного. Он писатель высокой квалификации, но в нём недоложено души». 16 июня: «Читаю повесть М. Харитонова “Два Ивана”. Много роскошества стиля, ещё больше ужасов. Нет любви и жалости к России. Раздражает, вызывает неприязнь».

Мнение Наровчатова совпало с оценкой Самойлова, роман был отвергнут. Забегая вперёд, скажем, что «Два Ивана», одно из самых значительных произведений русской литературы всех последних десятилетий, вещь поразительной красоты, оригинальности и таланта, опубликованная, наконец, восемь лет спустя (в сборнике прозы «День в феврале») и переведённая на другие языки, ни при первом появлении, ни позже не привлекла внимания профессиональных критиков в России; очень похоже, что она оказалась им не по зубам. Упрёки Давида Самойлова касались, однако, не столько поэтики, сколько мировоззрения автора — каким оно, это мировоззрение, было истолковано рецензентом. В конечном счёте речь шла о мировоззрении самого Самойлова, которое в двух словах можно охарактеризовать как государственно-патриотическое. «Есть, — писал Самойлов, — взгляд на историю нации и её культуру “изнутри”, а есть “извне”. Взгляд “извне” даёт право на “объективность” и “ума холодных наблюдений”. Или на необъективность, но “внешнюю”».

В появившейся за границей примерно в это же время статье А.И. Солженицына о фильме «Андрей Рублёв» писатель обвинил Андрея Тарковского в клевете на русскую историю. Упрёки Солженицына напоминают критику Самойлова: режиссёр изобразил русское Средневековье как царство жестокости, сцена ослепления мастеров неправдоподобна, выкалывали глаза на Западе, а на Руси — никогда (писатель, по-видимому, забыл рассказ летописца об ослеплении князя Василька Теребовльского) и т. д. Отсюда его представление о сверхзадаче литературы: она должна воспитывать любовь к России; иное отношение к стране и её истории — критическое, объективное, неоднозначное, дистанцированное — есть отношение «инородца».

Между тем только такой, по мнению Харитонов, и может быть позиция художника. Отношение художника — всегда «иное».

*Мы сказали, что дневник — разговор наедине с самим собой — освобождает от одиночества. Но сущностное одиночество, *solitude essentielle* Мориса Бланшо, есть родовая черта писателя. Он похож на холодного сапожника. Он всегда сам по себе, что-то кропает в своём углу под толевой крышей. Может быть, изоляция и есть единственное условие, при котором художник может сказать людям что-то по-настоящему важное, единственно достойный «способ существования» литературы в массовом коммерциализованном сверху донизу обществе, какое складывается в России на наших глазах*

Трудное, но необходимое размежевание с современниками, — не с официальной советской литературой, тут и так всё более или менее ясно, но с теми, кто пытался ей противостоять, оставаясь «внутри», и вместе с тем сохранил уважение к её догмам и требованиям, — сквозная тема «Стенографии конца века».

Превосходная книга.

М. Харитонов — Б. Хазанову

31.8.03

Меня заинтересовала, дорогой Гена, твоя мысль о возможности найти «узел сопряжения» между двумя мирами в военном времени. Мне это до сих пор не приходило на ум.

Незадолго перед тобой мне позвонила приятельница [...] Она занимается проблемами беженцев, переселенцев. Сказала, что просто в отчаянии, все начинания идут прахом, милиция творит произвол, мы снова превращаемся в закрытое общество и т.п. Я в ответ смог лишь напомнить ей старинную еврейскую молитву: «Господи, дай мне силы

сделать, что я могу, дай мне стойкости выдержать то, чего я не могу изменить, и дай мне мудрости отличать одно от другого». Возможно, одно из немногих (и не слишком радостных) приобретений возраста — большая способность отличать.

Впечатления последних недель делают мой взгляд на происходящее несколько более мрачным.

Вот отчасти на тему еще стишок из цикла «Орфей»:

Апология выжившего

Выжил — хватило силы или ума стерпеть.
Плевков, как роса, не оставляет следа.
Кожа оказалась достаточной толщины,
Тоску приспособился заглушать без лекарств.
Выжил — не спился, не бросился вниз головой
Из своего окна. Когда вводили других,
Вправе был, честно проверив себя, сказать,
Что не повинен ни в чем. И помочь не мог.
Выжил — тайком иной раз ухитрялся вдыхать
Ворованный воздух, в кармане кукиш держа.
Свободой (внутренней) это разрешалось считать
Даже в зоне малой, не говоря о большой.
Выжил — не силился заглядывать за предел,
Где, не выдержали бы, перегорев, мозги,
Не задавался вопросами, на которые хорошо,
Если просто мог бы не получить ответ.
Выжил — надежду сделать осмысленней мир
Оставил тем, кому еще предстоит узнать:
Жизнь продолжается, может быть, потому,
Что на развод оставляет способных к ней.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

3.9.03

Дорогой Марк, вот решил написать тебе напоследок, завтра утром я отправляюсь на аэродром. Полёт занимает три часа: улетаешь в 11, прилетаешь в 14. В эти три часа на циферблате впихиваются восемь с половиной часов, которые пассажир проводит в самолёте. Самолёт тащит с собой запас времени, расходуя его понемногу, как испанские каравеллы везли в бочках запас пресной воды.

Я не знал о существовании ещё одного цикла «Орфей». Я обратил внимание (в твоём стихотворении) на строку о внутренней свободе

«даже в зоне малой». Очевидно, имеется в виду лагерь. О такой свободе в почти идиллических тонах писал Гриша в своих воспоминаниях. Боюсь, что это иллюзия, чтобы не сказать — неправда. Малая зона была миниатюрной моделью огромного государства. Лагерные институты воспроизводили государственные институты. Армия, тайная полиция, чиновничество, «культурно-воспитательная часть», военно-дисциплинарный социализм, последовательное неравенство, феодальная иерархия везде и во всём, коррупция, стадное существование, труд во славу родины, т.е. ни для кого, проволочное ограждение, пулемёты на вышках — всё было, лагерное общество было точным подобием «советского народа», но как бы очищенным, человек этого народа являл себя в чистом виде, без всяких покровов. Всё было в этом мини-государстве, чему полагалось быть в большом государстве, и не было ничего, чего не было в большом государстве. Конечно, у меня были друзья (я их никогда не забуду), были французские, немецкие и т.д. книжки, был «Фауст», был лагинский Гораций, никто их не воровал, никто не покушался на них; когда мне их присылали из дома, надзиратель, который вскрывал почту, равнодушно перелистывал непонятную книжку и швырял на стол, и, собственно, книги эти и составляли всё моё имущество, я таскал их на спине в чемодане, когда перегоняли с одного лагпункта на другой. Но «внутренняя свобода» в лагере — это звучит смехотворно и печально. Внутренняя свобода — это не свобода от начальства, начальство — как природа, как погода и климат, к любому климату привыкаешь; внутренняя свобода — это свобода от среды, от лагерного социума, не говоря уже о принудительном труде, а от них никуда не спрячешься, никуда не денешься уже потому, что в лагере невозможно остаться одному. Разве только бесконвойному: когда меня расконвоировали, я работал на разных работах, но уже не в бригаде и не в конторе, и порой ночевал далеко от лагпункта.

А в общем я нахожу в твоём стихотворении нечто горделивое и поднимающее.

Я начал было что-то вроде рассказа или повести, в которой действие происходит в двух временах, но главным образом во время войны, и в двух странах, но преобладающий угол зрения — «оттуда», то есть из Германии. Теперь придётся прерваться по меньшей мере на полтора месяца, так как по возвращении из Чикаго мне предстоит отправиться на Франкфуртскую ярмарку, потом на конференцию в Майнц, а потом ещё на ПЕН-сборище; всё это, строго говоря, труха, пустая трата времени. Между тем то, что мы оба назвали узлом сопряжения, продолжает меня занимать, занимало и прежде. Я не имею в виду

«сближение между народами», всю эту чепуху, меня это вообще не касается. Но с войной происходит то, что — правда, в небольшой степени сходства, уж слишком разные времена, — происходило с войной 1812 года: огромное нашествие, а затем откат назад, давший возможность буквально погрузиться в другую страну. Есть какая-то связь между войной с Наполеоном и началом золотого века русской литературы, когда она вырвалась из самой себя. Я думаю о том, что нынешняя русская литература, которая там, в России, полагает себя единственно стоящей русской литературой, а здесь, в рассеянии, — если уже не единственной (как думала Зинаида Гиппиус), то хотя бы её легитимной частью, — русская литература на языке, которым, слава Богу, выговаривают себя 150 миллионов, или сколько там, — что она по-прежнему, как в советские времена, стоит перед сужающейся перспективой остаться закрытой провинциальной литературой. В воспоминаниях о Борхесе одна дама по имени Беатрис Сарло говорит о том, что он «осознал опасности, которые подстерегают национальную литературу отдалённой страны: местный колорит, воодушевление, с которым утверждается собственный голос, ностальгические этнографические описания либо ангажированность, объясняющая миру наше своеобразие». Война, особенно война победоносная, неслыханно подстрекнула сознание пресловутого своеобразия и вместе с тем подорвала его.

Вчера я до поздней ночи читал и перелистывал книгу, присланную Ульрикой Ланге из Кёльна, только что вышедшее исследование под титулом «Erinnerung in den metafikcionalen Werken von Boris Chazanov und Jurij Gal'perin. Verfahren zur Konstruktion von Realität, Identität und Text»¹. Ничего себе название. Гальперин — писатель, живущий в Цюрихе, я однажды с ним познакомился, уже довольно давно. Мне казалось, что между нами нет ничего общего. Ему посвящена примерно треть книжки, две трети — моей особе. Всё глубоко и солидно, и делает честь осведомлённости и проницательности автора этого объёмистого и основательного трактата, разъясняется многое в моих творениях, о чём я даже не подозревал. И всё же чтение оставляет какое-то уныние. Не потому, что интерпретации, мысли и выводы вызывают протест или что-нибудь такое; наоборот, со всем и почти со всем можно согласиться, и вообще книжку можно считать лестной. Во всяком случае, она — хотя мне и трудно судить об этом — должна будет, вероятно, считаться в учёных кругах серьёзным исследованием, «вкладом», на

¹ «Воспоминание в метафизических произведениях Бориса Хазанова и Юрия Гальперина. Конструирование действительности, идентичности и текста» (нем.)

неё будут ссылаться и т.п. Но уныние и горечь — от сознания того, что она на свой лад, но достаточно внятно говорит, что писатель, о котором идёт речь, — за сто вёрст от русского читателя и, само собой, от российской литературной критики и «общественности» и что это расстояние будет увеличиваться до тех пор, пока упомянутый писатель не превратится в еле различимую букашку.

Ну-с, до моего возвращения, если буду жив. Крепко обнимаю, жму руку. Будь здоров.

Твой Г.

2.10.2003

Дорогой Марк, вот я и вернулся. Надеюсь, ничего плохого с тобой за этот месяц не случилось. Я проделал довольно утомительный вояж. Сначала прилетел в Чикаго, пробыл там около недели. Потом отправился к Юзу Алешковскому в Новую Англию. С Юзом поехали на машине в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка в Принстон, где на вилле Мигдала (сына известного физика) происходило выступление Юза. Оттуда назад к Юзу, пробыл у него некоторое время, потом вернулся самолётом в Чикаго и жил там ещё неделю. Из Чикаго полетел в Вашингтон, прожил пять дней во второй квартире Джона Глэда — он называет её офисом, — и, наконец, в Европу.

США — страна довольно тяжёлого климата, почти всё время, кроме последних дней в Вашингтоне, стояла жара, особенно душная в Принстоне. В Чикаго я помогал Лоре пасти внуков (одному семь лет, другому два года), но, конечно, побывал, в который уже раз, на этот раз трижды, и в замечательном Institute of Art. У Юза слушали прекрасную музыку, угощались его кушаньями, ездили к океану; как всегда, я с удовольствием слушал его разглагольствования. Подумать только, как сложилась жизнь, — мне кажется, я ещё совсем недавно прыгал по шалам в колонне заключённых. Ты скажешь — неужели других воспоминаний не осталось от России?..

В Нью-Йорке посетили Metropolitan Museum, огромный, вероятно, самый богатый в мире музей, там я однажды уже бывал. В Вашингтоне я был впервые. Это изумительный город, просторный, чистый, зелёный и величественный. Совсем непохожий на другие американские города. Когда видишь мосты через реку Потомак или стоишь на ступенях перед главным входом Западного здания National Gallery of Art, — справа за купами деревьев Обелиск, налево Капитолий, — охватывает восторг перед этой красотой, несколько неприличный в моём возрасте.

На этом путешествия не закончились. Я собираюсь ехать на ярмарку во Франкфурт (с 7 по 13 окт.), потом в Майнц. Потом (20–22-го) будет ПЕН в замке Банц под Нюрнбергом. Уже не такие далекие поездки, но всё же.

В Чикаго я, среди прочего, читал «Glasperlenspiel» — что-то тянет вновь и вновь к этой книге; перечитывал Кафку, «Die Verwandlung», поразительная вещь, и как написана! Я помню, как я приехал из деревни, сто лет назад, готовиться к экзамену в медицинскую аспирантуру и решил, наконец, прочесть в Ленинской библиотеке «Превращение», но почему-то боялся, что текст окажется запутанным, и выписал французский перевод (русского тогда не существовало), думая, что французский текст, как обычно, разоблачает немецкую мистику. Между тем никакой мистики не оказалось.

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.10.03

Дорогой Гена,

три дня назад мы с Галей вернулись с Черного моря, впервые были в Анапе. После того, как Крым и Грузия стали заграницей, это побережье, видимо, станет новым курортным центром, провинциальная недавно местность уже застраивается современными отелями, пансионатами. Европейская архитектура, немецкие проекты, немецкие инвестиции. Нам повезло с погодой: теплое море, солнце, я изрядно загорел — вопреки медицинским запретам. Умный врач сказал нам, что важно не лежать, надо стимулировать кровообращение — ходить, плавать. Мы наплывали за день больше километра, часами гуляли по многокилометровому песчаному берегу, обедали виноградом, вечером пили местное разливное вино. Надежда продолжить здесь свою работу оказалась наивной: мысли словно выдуло ветром.

Вспомнился Мандельштам: «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни». «Мы совсем не скучаем», — говорит поэту хозяйка. Много ли надо, чтобы рождалась великая поэзия? Чувство полноценной жизни (полноценное чувство жизни) в тихой провинции, «печальной Тавриде».

Тут же подумалось: почему-то в самой провинции такой поэзии не возникало. Нужно было, чтоб эту полноценность, полновесность ощутил приезжий из суматошного, шумного города, человек с напряженной, обостренной нервной организацией.

А следом вспомнил Волошина: он-то жил в Тавриде почти постоянно. Хотя все-таки не был совсем уж местным провинциалом — принес с собой, что ни говори, столичную ауру.

И про себя вдруг отметил: почему же мне кажется, что голова здесь совсем опустела? Вот, мысль все-таки продолжает работать, надо ее лишь фиксировать, додумывать, углублять. За эти дни накопились листочки с разными набросками, попробую кое-что оформить дома [...]

В твоём последнем (перед Америкой) письме меня озадачила оценка моей «Апологии выжившего». «Я нахожу в твоём стихотворении, — пишешь ты, — нечто горделивое и поднимающее». Неужели в нем не улавливается откровенный, мне казалось, сарказм по отношению к персонажу? «Плевок, как роса, не оставляет следа». Готовность довольствоваться тем, что **«разрешалось»** считать свободой (внутренней) — в зоне. И т.д. Если это воспринимается как действительно »горделивость» — значит, я чего-то не предусмотрел [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, странно, но я, очевидно, по тупости своей, не почувствовал иронии в стихотворении «Апология выжившего». [Apologie eines Überlebenden]. Не обратил внимания на строчку «Плевок, как роса...» (очевидно, намёк на знаменитое присловье) и слишком прямолинейно истолковал заголовок. Мне казалось, что смысл стихотворения — да, и кукиш в кармане, и ворованный воздух Мандельштама, и не мучил себя вопросами, а всё же личной вины за мной нет, и внутреннюю свободу я сохранил, и выжил, дабы «сделать осмысленней мир».

Но не будет ли такой же реакция других читателей? [...]

Дорогой Марк! Как ты живёшь, здоров ли? Мои поездки закончились. Я был (как уже писал тебе) в Чикаго, оттуда отправился к Юзу Алешковскому в Новую Англию, вместе с ним и его друзьями ездил в Нью-Йорк, оттуда в Принстон, где на весьма богатой вилле Мигдала, сына известного советского академика, происходил вечер Юза с пением его песен, потом назад, потом снова в Чикаго, последние пять дней гостил в Вашингтоне, прекрасном, очень красивом и привольном городе, где я был впервые. Необъятность Америки не так чувствуется, когда летишь, а не едешь, и всё-таки.

Вернувшись в Мюнхен, я через несколько дней поехал на книжную ярмарку во Франкфурт, куда, как ни странно, меня пригласили из

Москвы (и даже поместили, неизвестно за что, в пятизвёздном отеле), и пробыл там от начала до конца. После Франкфурта, снова вернувшись домой, двинул в Майнц на конференцию «Русская литература в изгнании». Последнее путешествие было в монастырь Банц возле Бамберга: собралась в очередной раз ПЕН-братия. Огромное, с двумя башнями, здание замка-монастыря высится на горе над долиной Майна, по утрам всё в тумане, затем постепенно прорезывается солнце, и открывается вся сказочная страна.

Конечно, все эти Tagungen и ярмарка с приёмами, речами, «круглыми столами», с шумом и громом, всё это, в сущности говоря, труха, потеря времени. Всё же мне было интересно. На франкфуртской Buchmesse я бывал много раз, когда-то, я разумею наш бывший журнал, мы даже участвовали в ней раза два, но в те времена стенды стоили много дешевле; в этот раз, однако, происходило нечто не совсем обычное, тигульной страной (Gastland) была Россия. Приехало не то 130, не то 150 писателей, я получил возможность увидеть многих знаменитостей, которых раньше знал только по имени. Настоящая vanity fair, ярмарка тщеславия.

Приду в себя, напишу тебе, если это интересно, подробнее. Сердечно обнимаю, твой Г.

[...] Я понимаю, что значит быть эмигрантом, это не значит жить в чужой стране, ведь страна постепенно и незаметно перестаёт быть чужой; зато чужими начинаешь видеть бывших соотечественников, особенно когда их много. Убеждаешься, что ничто из того, что теперь тебя окружает, ничто из того, чем ты теперь живёшь, их не интересует, что ты сам для них мгновенно становишься неинтересен, как только они почувствуют, что не могут извлечь из тебя конкретной пользы. Так что даже если они разговаривают с тобой, смотрят на тебя, они на самом деле смотрят мимо. Может быть, я преувеличиваю, а может, я прав. На ярмарке я увидел такое большое количество гостей из России, какого давно не видел, несмотря на то, что русский язык (и русский мат) теперь слышать в наших местах не редкость. Пожалуй, общий итог скорее неблагоприятен, но вместе с тем — и вопреки предрассудку, который, возможно, мною владеет, — встречи и разговоры с отдельными и разными людьми оставили впечатление весьма приятное.

Всё происходило с немалой помпой, на первом этаже 5-го павильона, где под крупными вывесками помещалась Россия, толклось множество народу. Мне бросилась в глаза одна особенность. Все писатели российские, не исключая совсем даже неглупых и немало тёршихся за границей, таких, например, как Андрей Битов, выступая на

разного рода круглых столах перед публикой, которая почти всегда была больше чем наполовину немецкой (все выступления переводились весьма квалифицированно), попросту забывали о том, что они находятся не в Москве среди себе подобных. Многословие, шуточки и подробности, не только непонятные, но и абсолютно неинтересные для иностранцев. Иногда, как это было с Виктором Ерофеевым, — откровенная пошлость. А ведь цель этих встреч была «наладить контакты», «сблизить культуры» и как там это ещё называется.

Были столы и репрезентации. Небольшое немецкое общество собралось послушать о только что переведённой книге воспоминаний Александра Яковлева и поглядеть на автора, немолодого грузного дядьку с грубым и значительным лицом. Рядом с ним сидели известный социал-демократический политик на покое Эгон Бар, издатель книги и некто Фридрих Хитцер, переводчик, лицо, известное в Мюнхене. До перестройки этот Хитцер был то, что называется наш человек в Гаване; грязная личность. В публике, в первом ряду находился и произнёс хвалебное слово личный друг мемуариста Чингиз Айтматов, вельможный, дородный и, видимо, очень состоятельный писатель, странный какой-то человек, чьи книги, неизвестно на каком языке написанные, здесь с успехом издаются. Раньше он выступал в качестве живого примера расцвета культуры советских национальных республик. Похож на крупнокалиберного прохиндея. Я помню, как я был однажды на его вечере, до всех событий. Хитцер сидел тогда рядом с ним, вечер происходил в зале, принадлежащем коммунистической партии, которая теперь куда-то сгинула. Сочувствующая молодёжь заполнила зал. В дверях выперли, не дав ему войти, корреспондента ZDF. Хитцер и Чингиз Айтматов вели себя отвратительно, при этом Айтматов говорил так, что трудно было поверить, что это интеллигент и даже писатель.

Во время дискуссии на тему о мемуарной литературе в современной России произошёл небольшой скандал. Я сидел (как участник, не зря же меня пригласили) рядом с Анатолием Найманом, который говорил о своей новой книге; едва он успел, со стаканом воды в руках, закончить, как сзади подошёл какой-то хмырь, немолодой, — потом оказалось, что это тоже писатель и его знают, — громко сказал: «Найман — лжец, клеветник» и ещё что-то в этом роде и отвесил моему соседу пощёчину. Вода расплескалась. Дон Педро Алешковский (есть такой писатель, племянник Юза) крикнул с места: «Это — успех!». За другим «столом» Татьяна Толстая, полная, величественная дама, страшно разгневалась в ответ на какую-то вполне безобидную критику и отчитала оппонента, как заправская классная дама. На встрече, по-

свящённой каким-то очень современным проблемам, И. Прохорова, привлекательная молодая женщина, очень напористая, редакторша журнала «Новое литературное обозрение» (который я иногда почитываю, однажды даже неожиданно обнаружил там один свой текст), говорила о том, что в наше время смешно делить литературу на массовую и элитарную. Теперь-де всё едино. Эти рассуждения я слышу уже много лет. Станным образом никто или почти никто в России, включая докладчицу, не произносит слов, которые в данном случае являются ключевыми: рынок, коммерция, прибыль. Никто не решается сказать, что речь идёт о капитуляции перед рублём и варварством. Вместо этого тебе рассказывают о том, что такой-то серьёзный писатель пишет детективы, как будто детективный сюжет и есть окончательное доказательство того, что ров (словечко Лесли Фидлера в статье 30-летней давности), отделяющий серьёзную литературу от пошлятины, засыпан раз и навсегда.

Говорила она, в точности воспроизводя интонации Бори Гройса, главного теоретика этой компании, сидевшего тут же. Сам Гройс толковал о сталинизме и советской власти, которые представляют собой не что иное как художественный проект, не хуже и не лучше всякого другого. После этого и уже под конец выступила Мариэтта Чудакова, с которой я потом, во время банкета в ресторане, познакомился и проговорил весь вечер. Эта женщина с грубым, мордовским каким-то лицом, обладает неизъяснимым шармом. Она не то чтобы возражала Прохоровой и Гройсу, но стала говорить о том, какой была реальная жизнь в СССР, какой была её собственная тяжёлая жизнь, и, я думаю, всем стало ясно, какую собачью чушь представляют собой все эти словоупреждения о художественном проекте и сталинизме как авангардизме [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.10.03

Ну, вот и я, дорогой Гена, заглянул благодаря тебе хоть глазком на знаменитую ярмарку. Мне случалось прежде бывать на подобных тусовках, удовольствия особого я не получал, но если попутно перепали небольшие деньжата — это уже чего-то стоило. Я и в Москве перестал посещать обычные мероприятия, разве что по приглашению знакомых. Даже на годичных заседаниях нашего ПЕН-клуба уже два года не появлялся. Все менее понятная для меня организация. Создана вроде для защиты прав писателей — но какие права сейчас защищать? Последний раз мне предложили подписать пети-

цию в защиту Лимонова — я отказался. Его отдали под суд не за литературную деятельность. При начислении мне пенсии выяснилось, что нарушаются наши экономические права, но это уже не по части ПЕН-клуба. В Союзе писателей я вообще за десять с лишним лет не был ни разу, не представляю, чем эта организация занимается, в дома творчества не езжу, никакими привилегиями не пользуюсь. Да их (прежних), вроде, уже и нет. Все это характеризует, конечно, только меня, поэтому я и живу на отшибе.

Тем не менее, всех упомянутых в твоём письме лиц я, как ни странно, знаю. Даже Яковлева (главы из его книги, напечатанные в газете, показались мне содержательными, загляни, если случится), даже Хитцера (он приезжал как-то в Москву вместе с покойным Унзельдом, его коммунистическую публицистику я когда-то читывал), даже Борю Гройса. Он, кстати, был главным идеологом описанной тобой концепции (и сопутствовавшей ярмарке художественной выставки) с немецкой, не с российской стороны. У вас, немцев, это почему-то пользуется успехом, всерьез обсуждается. Как и оформление российского павильона, которое я видел по телевидению, с матрешками, ремеслами и прочей этнографией. Какое тут предполагалось взаимопонимание, «сближение культур»?

Жаль, что ты не рассказываешь подробней о встречах и впечатлениях. Какие из них показались тебе «приятными»? О чем были разговоры? Чем было вызвано твоё «эмигрантское» чувство, что ты для этих литераторов чужой и твои проблемы для них неинтересны?

Что-то подобное обсуждалось, наверно, потом и в Майнце? Мне, кстати, недавно попала на глаза речь американского философа и германиста, австрийского эмигранта-еврея Джорджа Стайнера. Он получал в Германии премию Бёрне, говорил о проблемах эмиграции. Слово «ксенос» на древнегреческом языке, сказал, между прочим, он, означало и «чужак», и «гость». И говорил в этой связи об особом, эмигрантском менталитете евреев. «Еврей — так сказать, по определению — гость на этой земле, гость среди людей. Его предназначение заключается в том, чтобы служить человечеству примером этого состояния». Следуя этому призванию, «на протяжении двух тысяч лет преследований, массовых убийств, геноцида и гетто евреи никогда не унижали других людей, не мучили их».

В этой речи меня смутила ссылка на одного авторитетного еврея: «Лев Давидович Бронштейн, называвший себя Троцким, утверждал, что границы существуют для того, чтобы их преодолевать». Самого же автора смущает реальность нынешнего Израиля. «Для того чтобы выжить в фанатичном, враждебном, полном ненависти окружении, сей-

час Израилю приходится мучить и унижать своих соседей, ужасно унижать. Ему приходится это делать. Не слишком ли высокой является цена, заплаченная за выживание? Лишил ли Израиль еврейство его нравственно-метафизического благородства?

Недавно Гриша Померанц побывал на конференции в Иерусалиме, он написал мне о засилии там неких «неоконсерваторов» — несогласные почти не имели возможности высказаться, ему удалось лишь вставить реплику «против течения». Но о чем была эта реплика, кто такие были эти неоконсерваторы, что вообще обсуждалось на конференции — про это не написал ни слова. В письме лишь повторялись уже известные мне мысли о понимании «целого», о поиске глубины, с цитатами из Виттгенштейна и др. Я попросил его рассказать обо всем подробней, жду ответа [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

31.10.03

[...] Разумеется, и я бы никогда не подписал петицию в честь Эдички Лимонова. На ярмарке Наталья Иванова, отвечая на вопрос из публики, как она относится к Лимонову, произнесла странный вердикт: «Плохой, но талантливый писатель». Эту же фразу я обнаружил в её книге «Скрытый сюжет» (сборник статей), которую она мне подарила. Удивительно, что творчество Лимонова, образец хлестаковщины, принимают всерьёз столько лет [...]

Ты спрашиваешь, о чём я разговаривал с разными людьми на ярмарке во Франкфурте. В этой суматохе разговаривать о чём-нибудь серьёзном невозможно. К тому же вечно приходится спешить: все хотят успеть на какое-нибудь очередное толковище. Мне было очень приятно повидаться с Борисом Дубиным (он преподнёс мне своё новое издание Чорана; вообще я возвращался с грузом книжных подарков, русских и немецких), с Аланом Черчесовым, некоторыми другими; о Мариэтте Чудаковой, с которой я прежде не был знаком, я уже писал. На приёме в доме, где обычно устраивает приёмы DVA, выступал старик Райх-Раницкий, блистал, как всегда.

Ты упомянул Джорджа Стайнера, это имя мне знакомо давно, у меня есть его книги. Я даже хотел упомянуть о нём на мемуарном круглом столе, но потом передумал. Его воспоминания, вышедшие несколько лет тому назад в Лондоне, почти сразу же переведённые во Франции и Германии, называются «Errata». Так обычно обозначают в книгах перечень замеченных опечаток. Английский подзаголовок

книги — «An Examined Life», а еггата, как ты догадываешься, буквально означает «заблуждения». Так вот, заблуждения заблуждениями, но экзамен свой Стайнер, конечно, не провалил.

Не так давно я был на его вечере в Литературном доме. Он прелестен. Ему 74 года. Он родился в Париже, вырос в Вене, стал профессором в Оксфорде, в других университетах, европейских и американских. Сказать, какова его профессия, так же трудно, как и ответить, какой язык для него родной: английский, немецкий, французский. Он одинаково хорошо говорит на всех языках. Он автор замечательной книги о Хайдеггере, а также филолог, критик, религиовед, музыковед, знаток изобразительных искусств и Бог знает кто ещё. Как еврей он мог благодарить судьбу: он не угодил в лагерь уничтожения. Он даже считает себя счастливым. Но один из неотвязных вопросов его жизни — и одна из тем его воспоминаний — как могло случиться, что в недрах европейской культуры родились человекоядные учения, из которых немедленно были сделаны соответствующие практические выводы [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.11.03

Дорогой Гена, рассказывать о себе сейчас — значит рассказывать о работе. Детская сказка, написанная много лет назад для моих детей, получила неожиданное признание у критики, возможно, принесет и небольшие деньги (до сих пор все никак не уплатят). Я попробовал взяться за продолжение (обещанное там в последних строках). Остались с тех времен некоторые заготовки, вначале дело пошло неплохо, потом идеи иссякли, надо накапливать. Но в той книге большая часть находок была заимствована у детей, теперь они выросли, внуки живут не с нами — нет прежнего источника питания. Между делом додумываю мысли, которые померещились мне на берегу моря. Чтобы не пересказывать — вот последний стишок. который у меня сложился.

Новый век

Оставить на глобусе точки в местах своего пребывания
Технически не сложнее, чем мухе. По всемирной сети
Сообщается адрес, куда приглашают слететься,
Потанцевать, побить стекла, выражая протест
Или солидарность с теми, кто вправе нас ненавидеть.
Тут же советы, как оживить выброс адреналина,
От дома не удаляясь, мифология на сегодня,

(Ритуалы, игры, татуировка, выбор по каталогу),
Возможности кейфовать наяву, сокрушать мировое зло,
Предотвращать катастрофы нажатием клавиш, отодвигая
Возвращение в неизбежный сон, где снова надо искать
Способы заглушить тоску. От этого не укрыться.
Время все набирает скорость. Подростки стареют,
Не успев повзрослеть. Новинки прошлой недели
Свалены на блошином рынке вместе с игрушками детства,
Словарями исчезнувших языков, вчерашней аппаратурой,
Смысл которой забыт. Художник подыскивает объекты
Для инсталляции «Новый век». Должен возникнуть образ
Россыпи или осыпи, нарастающего навала. При этом
Хорошо залепить бы пощечину вкусу общества —
Если только найдется щека.

Там, на побережье, проходил, между прочим, международный
конкурс песчаной скульптуры — этим навеян еще один стишок:

Вечность

Галерея скульптур. Тема: «Вечность».
Материал: песчаник или песок.
Степень плотности не имеет значения,
Как и меры объема, веса,
Единицы времени или таланта,
Не говоря о подписях. Ветерок
Выдувает где песчинку-другую,
Добавляя оспин в лицо, где осыпет
Сразу струйку. Материал возвращается
Дюнам или пустыне.

С этим тебя обнимаю Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

5.11.03

Дорогой Марк, читая оба стихотворения, «Новый век» и «Вечность», я вспомнил эссе Вилема Флюссера о трёх образах времени, оно называется «Drei Zeiten». Флюссер был примечательная или попросту замечательная личность, венский еврей, бежавший в 39 году сначала в Лондон, а затем обосновавшийся в Сан-Паулу, где был профессором науковедения и средств массовой информации, колумнистом и публицистом крупнейших газет, основал Институт человека и прожил 25

лет, после чего вернулся в Европу, точнее, на юг Франции. В 1991 году, возвращаясь с какого-то из бесчисленных симпозиумов, на которых он выступал, к себе в Прованс, погиб в автомобильной катастрофе. Я познакомился с ним бегло в Альгове на одном из ежегодных семинаров у Гарри Просса, перевёл и поместил в нашем бывшем журнале его этюд о Бразилии. Флюссеру было 70 лет, он был щуплый нервный человек с очками на огромном голом черепе и по манере говорить и вести себя, даже по складу ума, поразительно напоминал Лео Нафту из «Волшебной горы».

Флюссер говорит о том, что вначале время уподоблялось колесу — день за ночью, ночь за днём, лето после зимы и зима после лета, рождение и смерть и опять рождение, — потом, три тысячи лет тому назад, время превратилось в поток, всё утекало, и ничто уже не повторялось. А теперь, на наших глазах, река превращается в кучу песка. «Время-Колесо — в нашем чреве, и мы видим его, глядя на диск часов; Времени-Потоку нас обучила история; о Песке нам толкуют учёные, но что с ним делать, мы не знаем. Жаль; ибо песочница — игровая площадка Искусства. Искусство есть сознательное изготовление комков в текущем песке».

Мне почудилась у тебя переключка с этими мыслями (и образами).

Дети уехали, у нас наступила тишина, стоит изумительная красивая поздняя осень, ночью холодно, днём тепло, но ко мне привязалось что-то вроде гриппа, вообще я не могу до сих пор придти в форму. Кропаю, конечно, кое-какую прозу, но... Этих «но» всегда более чем достаточно. О твоей детской книжке я случайно узнал, прочитав очень сочувственный отзыв в Интернете. Из него можно было по крайней мере узнать, о чём книга. Большинство книжных рецензий, которые я читаю в толстых журналах (опять же в Интернете), — это не рецензии и не обсуждение, а какая-то хаотическая болтовня о себе, для которой чужая книга — просто повод. Ты когда-то писал в «Стенографии» о том, что размножились художники, не умеющие рисовать, писатели, которым неплохо бы посидеть лишний год в средней школе, и т.д. Слишком часто возникает подозрение, что за разговорами о стирании жанровых границ и проч. стоит самая обыкновенная непрофессиональность.

Я занялся (начал ещё перед отъездом во Франкфурт) одной работой, может быть, повестью, в которой речь должна идти о мимолётном романе офицера-немца, допустим, с учительницей из какого-нибудь украинского захолустья; спустя годы сын приезжает в Германию. Оказывается, что страшная война — всего лишь повод для того, чтобы про-

изошла встреча; так сказать, придумка судьбы. При моём полном незнании конкретных обстоятельств подобной истории — довольно-таки самонадеянное предприятие [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.11.03

Дорогой Гена! Литературную мысль может расшевелить впечатляющее событие, яркая книга, чья-то встречная мысль. Событий у меня последнее время не было, новых значительных книг что-то не попадалось. Я в основном перечитываю, иногда детские книги (сейчас читаю по-английски «Гарри Поттера»), чаще разных поэтов. Сюжетная проза (о детективах не говорю) у меня с некоторых пор отклика не вызывает. Попробовал было составить представление о новинках по журнальным критическим обзорам — лучше бы этого не делал. Сюжеты и содержание книг пересказываются иногда в духе известной старой эпитафии на «Анну Каренину». Все можно ополнить, снизить, оценкам доверять не приходится. Конечно, я чего-то существенного не знаю. Ты писал мне, что увез с Франкфуртской ярмарки целую кучу новинок. Наверно, уже прочел — не порекомендуешь ли мне что-нибудь?

Разумеется, это говорит прежде всего о моем собственном умственном состоянии. При обостренной чувствительности событием, как известно, может стать что угодно: полет птицы, осенний лист, бессонница. Но для этого надо стараться, думать, работать, рвать и выбрасывать черновики — мотор, глядишь, разогреется.

Вот тебе (если еще не надоело читать мои опусы) недавний стишок, который я назвал бы «Отрезвление Сальери»:

Не гений, слава Богу. Проще жить
Не надрываясь, вровень с остальными,
Которым ты понятен. Пропитанье
Надежней, жизненные наслажденья
Доступней без запросов. Для детей
Сомнительное наследство — имя,
Сопоставление с которым непосильно.
От прочего их бережет природа.
Она без надобности не плодит
Тех отклонений, что сродни болезни.
Основа жизни — норма. Кто взыскует
Высот духовных, по ее подсказке

Приходит в монастырь. Растолковать
Не сразу ясное, разбавить в меру
Для общего употребления — этим
Со временем займемся. Будем вправе
Гордиться, как законным превосходством,
Сознанием сопричастности.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

11.11.03

Какое-то сомнительное стихотворение, дорогой Марк, вернее — сомнительное настроение. (Сами по себе стихи, по-моему, удались. Именно потому, что передано это настроение. В очень компактной форме значительное содержание.) Меня немного смущает заголовок, я бы, может быть, вычеркнул имя Сальери. «Отрезвление» — звучит сильнее. Но это уже скорее придирка. Образ Сальери в моём сознании иной, ближе к историческому. Сальери не был рядовой фигурой и еще меньше — посредственностью. Совершенно так же, как не были ими поэты пушкинской поры. Просто Моцарт, как и Пушкин, затмил в нашем восприятии всех своих современников [...]

Я занимаюсь тем же, о чём писал тебе прошлый раз. Вчера просматривал (в Интернете) солидный труд о танковых войсках Второй мировой войны, технические характеристики знаменитой Т-тридцатьчетвёрки и пр., да и вообще приходится то и дело заглядывать в самые разные сочинения. Казалось бы, история, дела давно минувших дней, а как сильно даёт себя знать двойная оптика, русская (советская) и немецкая (западная). Но суть, конечно, не в истории, а в том, что война оказывается единственной дорогой, на которой два сердца, созданные друг для друга, встречаются друг друга.

Ещё я решил написать рецензию на одну французско-немецкую биографию Маргерит Юрсенар, — хотя столько раз давал себе слово не заниматься рецензиями. Темы, которые кажутся мне важными, «там» (т.е. в журнале «Знамя»), по-видимому, не слишком интересны, и рецензии мои лежат долгими месяцами. В этом году Юрсенар исполнилось сто лет, не знаю, вспомнил ли кто-нибудь в России об этой дате.

Интересно, как вторгается эта проза, давно ставшая классической, в те самые дебаты, о которых пишет Н. Иванова и отзвук которых донёсся до меня с «круглых столов» во Франкфурте. Повторялись заклинания об устарелости границ между серьёзной литературой и

пошлятиной, — «Мемуары Адриана» суть живое опровержение. С презрением говорится (Анна Кузнецова в «Дружбе народов», — кстати, редактор библиографического отдела «Знамени») о «философическом занудстве», о том, как плохо, когда действительность обрастает умствованиями, и т.п., — и снова проза Юрсенар смеется над этой чужью. Целая дискуссия была посвящена разговорам о том, что художественную литературу оттесняет «литература факта», шикарно именуемая pop-fiction, а между тем вот пример, когда отношения как бы вывернуты наизнанку: роман имитирует мемуары, которых император в действительности никогда не писал. Роман как жанр, чья смерть регулярно провозглашается каждые 20 или 30 лет, снова и снова воскресает, чтобы остаться там, где он существует по меньшей мере три столетия, — на переднем крае литературы [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

13.11.03

[...] Гриша в письме рассказал мне подробности о саммите в Иерусалиме. По его словам, ситуация Израиля трагическая, путей выхода из кризиса не видно, к разумным мнениям меньшинства не прислушиваются.

Насчет Сальери ты, безусловно, прав, я вообще убрал заголовок. Но что ты называешь сомнительным настроением? Тебе кажется, автор здесь говорит о себе, от своего имени? То же было, видимо, с «Апологией выжившего». Я изменил заголовок, стихотворение называется теперь «Выжившему»: обращение со стороны, к какому-то второму лицу. Так же правильной прочесть и «Слава Богу, не гений» — читается точнее. Попробуй перечесть, если у тебя сохранилось. А за отзыв спасибо — он, как видишь, мне в чем-то помог.

Не уверен, что я тебе не докучаю своими текстами, вынуждаю что-то о них говорить. Ладно, напоследок еще один стишок, больше не буду:

Резонанс

Среди невнятицы, разноголосья, шума
На ощупь ищешь, вслушиваясь, множишь
На шевеленье мысли трепет листьев,
Настраиваешь воздух, напряженный
Предчувствием и ожиданием. Сейчас! ..
Струна откликнулась струне. Дрожь дрожью

Усилилась, окрепла. Всколыхнулась
Поверхность вод, волной пошла трава.
Совпало! Чувство встречи, узнавания,
Единственности, камертон без фальши,
Мембрана чуткая открывшейся души.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] Вчера позвонила из Нью-Джерси жена Виктора Перельмана и сообщила, что он умер. Как будто снайпер откуда-то из укрытия отстреливает то одного, то другого. Витя был моим старым (и первым, если говорить о литературе) издателем, ещё когда я находился в России, и после России, в разные годы; мы не то чтобы дружили, но время от времени возобновляли переписку. Три года тому назад с ним случился первый удар, он писал мне, что хочет перевести издание журнала в Москву, подыскал нового редактора — Л. Анненского, потом оказалось, что с Анненским ничего не получилось. В конце концов журнал «Время и мы», после тридцати с лишним лет, закрылся, так как не нашлось никого, кто пожелал бы его перенять даже бесплатно. Всё это само по себе было достаточно грустно. А теперь эта смерть.

Сегодня у нас неожиданно осенне-зимняя весна, яркое солнце, бледно-голубое небо. Всё усеяно жёлтой листвой, и ещё много тускло-го золота на деревьях.

Под «сомнительным настроением» — ты угадал — я, конечно, подразумевал настроение автора, хотя понимаю теперь, что вовсе не обязательно и даже совсем не нужно искать и находить в стихотворении что-то автобиографическое. Всё же заголовок «Отрезвление» нравится мне больше: в нём есть нечто дистанцирующее, объективное. В стихотворении «Резонанс» прежде всего я обратил внимание на строгий ритм — пятистопный ямб. (Ср.: «Наряжены мы вместе город ведать». «Всё чаще я по городу брожу...» В 3-й строке снизу, очевидно, нужна усечённая форма: *узнаванья*.) Мне это очень нравится. В самой музыке стиха совершается то, о чём сказано в стихотворении, уловлена гармония, скрытая вовне, и душа поэта резонирует с миром. И название абсолютно точное.

Кстати, совсем напрасно ты думаешь, что «докучаешь» мне поэзией. Мне вообще интересно наблюдать, как ты прорубаешь для себя новую, как мне кажется, прорезку [...]

Странное дело. Я вспомнил, что в аннотации (сочинённой кем-то в издательстве) на обложке моего сборника «Город и сны» проза авто-

ра названа несвоевременной. В рекламном контексте это звучит как похвала. Мне же кажется, что моя проза — не старомодная и не новомодная, просто это нормальный русский язык. Просто всё дело в том, что вульгарный говорок, некая разновидность сказа, якобы адекватная современному языковому сознанию и словно бы максимально приближенная к «жизни», на самом деле сама давно превратилась в рутину и в общем-то надоела до оскомины [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.11.03

Дорогой Гена,

по какой-то попутной надобности открыл завалившуюся у меня немецкую книгу о Шостаковиче, там есть вставные главы о Чайковском и Малере — и зачитался. Как многого я, оказывается, не знал или не замечал, как поверхностно слушаю иногда музыку! Когда-то Ростропович подарил мне компакт-диск с 6-й симфонией Чайковского, которой он дирижировал, я много раз ее слушал. И вот впервые прочел, что писал о своем замысле сам Чайковский. Бравурный марш третьей части, который у публики нередко вызывал аплодисменты, воспринимался как жизнеутверждающий финал, оказывается обманчивым, пошлым, издевательским торжеством (Ростропович, кажется, это сумел передать, но я до сих пор не улавливал). Подлинный, необычный для симфонии финал — *adagio lamentoso*, который Чайковский в другом письме назвал своим реквиемом. Премьера состоялась 28.10.1893 и не имела успеха, через неделю с небольшим Чайковский покончил с собой. Вещи, наверно, общеизвестные, но я еще раз вынужден был напомнить себе, что так называемое «непосредственное» восприятие музыки может быть недостаточным, важно соотносить ее с биографией, жизненными обстоятельствами, авторским замыслом. А если музыкант еще показывает сам себе язык? С Шостаковичем тут вообще не всегда разберешься — как соотносится его музыка с халтурными советскими текстами, с его словесными заявлениями? Ну, и так далее. Что такое вообще «непосредственное» восприятие искусства? В литературе, в живописи вроде бы уже что-то различаешь, в музыке не хватает образованности. Всего и не охватишь. Я даже не представлял, что Малер до 60-х годов оставался практически неизвестным, упоминался лишь как выдающийся дирижер. Крупнейшими немецкими композиторами конца 19-го — начала 20-го века в справочных

изданиях назывались Регер, Вольф, Пфцицер (знаешь ли ты эти имена?) и Рихард Штраус. Его начал пропагандировать лишь Адорно. Это ведь при нашей жизни — не то, что Бах [...]

Под музыку у меня зашевелились кое-какие литературные мысли, надо работать. А то я что-то расслабился [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.11.03

Конечно, дорогой Марк, имена, которые ты упомянул — Регер, Пфцицер, Вольф и кто там ещё, — мне известны, и, например, не далее как на прошлой неделе мы с Лорой были на пробном концерте в Баварской академии (перед главным выступлением в Nationaltheater) Вальтрауд Майер, сравнительно недавно взошедшей звезды и в самом деле замечательной певицы, которую мы однажды слушали в Байрёйте: она пела Изольду в «Тристане и Изольде». В этот раз исполнялись песни Брамса, Шуберта и Гуго Вольфа. (Может быть, ты помнишь, что частичным прототипом Левверкюна был не только Ницше, но и Г. Вольф, погивший от того же заболевания.)

Ты уверенно говоришь о самоубийстве Чайковского. А ведь это, в сущности, писано вилами на воде. Между тем существуют довольно надёжные сведения о смерти от холеры (правда, высказывалось предположение, что он напился инфицированной невской воды сознательно). Кстати, я хорошо помню время — первые послевоенные годы, — когда Чайковский был необыкновенно популярен и любим, официально считался величайшим русским композитором, — в каждой области культуры и науки был свой Величайший, — и популяризаторы лезли из кожи вон, доказывая, что в его музыке совершается «победа светлого начала», что *Allegro molto vivace* в VI симфонии, о котором ты упоминаешь, — пример такой победы; и, разумеется, предпочитали не вспоминать о том, что балеты и «Орлеанская дева» написаны на западные сюжеты, что музыка Чайковского вообще очень западная, «французская» с отчётливым присутствием Шумана; конечно, ни слова об известных обстоятельствах его жизни и т.д. Был снят сусальный псевдобиографический фильм, где я помню такое место: какой-то мужик бренчит на балалайке, а наверху, в окне, Чайковский, замирая от восторга, слушает эту музыку, потом бросается к столу и пишет что-то народное. Смехотворно-выспренный эпигонский памятник перед консерваторией — это памятник не Чайковскому, а тому времени.

Да, конечно, работу писателя (особенно прозаика) трудно представить себе без более или менее интимного знакомства с музыкой.

Так же как я не могу представить критика, чуждого музыке. Потому что музыка — я когда-то писал об этом — выражает всю полноту внутренней жизни человека, то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы. Записанная по правилам нотной грамоты, музыка представляет собой удивительный пример сочетания весьма строгой знаковой системы с крайне зыбким невербальным содержанием. (Здесь есть некоторое сходство с астрологией.) Невозможно, мне кажется, прикоснуться к истокам литературного творчества, невозможно заглянуть в тёмную глубину, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, без знакомства с историей итальянской, русской, французской и, конечно, в первую очередь немецкой музыки [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.11.03

Дорогой Гена!

На прошлой неделе у нас выпал снег, синоптики обещали, что к воскресенью растает — нет, вчера напал ещё. В лесу уже ходят на лыжах, я пока медлю.

С лесом у нас намечаются проблемы. По железной дороге, которую мы с тобой однажды переходили, собираются к Новому году пустить скоростной поезд. Поэтому вдоль полотна устанавливают металлическое ограждение. Для нас проход пока оставлен, но скоро, видимо, придется делать крюк через переходной мост, лишних полкилометра. Не так уж много, но досадно менять маршрут, к которому привык за тридцать пять лет.

Что еще? [...] Понемногу продвигаю детскую сказку, что-то намечалось впереди. Читаю английского «Поттера» — неплохая книга.

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять, —

это написал совсем молодой Мандельштам. Временами возвращается такое желание.

У тебя, наверно, более содержательное чтение, есть о чем рассказать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.11.03

[...] Я тут не так давно сочинял (если помнишь) статейку о преодолении истории, о том, как бы очнуться (вместе со Стивеном Дедалусом) от кошмара истории, а сейчас опять оказался в когтях этого

монстра, листаю то свои записи, то энциклопедию, то книгу Rees «Война Гитлера на Востоке», то писания советских военных историков, то ещё что-то (перечитал, кстати, дневник графа Подевильса, о котором я тебе писал). Рыскаю по Интернету, разглядываю карты и фотографии, высчитываю даты, короче говоря, ввязался в предприятие, вдвойне рискованное: во-первых, вынужден писать о немцах и Германии, стране, в которой я не родился и не вырос, а во-вторых, дело идёт о войне, на которой я не был. Правда, то, чем я занимаюсь, — не исторический роман или повесть, «история» — это только фон, нечто переживаемое заново, но ведь минимум иллюзии необходимо создать, не так ли? Один режиссёр-документалист, Кристоф Бёкель, с которым я недавно провёл вечер, прислал мне свой фильм о Прохоровке, речь идёт о колоссальном танковом сражении возле этой деревни, на Курской дуге. (На небольшом пространстве 850 советских танков 5-й гвардейской танковой армии и 270 немецких танков корпуса СС). Ему удалось найти живых участников, немцев и русских, собрать архивные материалы и пр. К моему проекту это прямого отношения не имеет, это 1943 год, а у меня действие происходит главным образом во время летней и осенней кампании 42 года, от катастрофы под Харьковом до Сталинграда (что как раз и совпадает с хронологией дневника Подевильса.) Но какое ужасное впечатление, какое чудовищное время.

В этом фильме, между прочим, участники битвы отвечают на вопрос, какая была погода 12 июля; все говорят — хорошая, ясный летний день. Между тем в метеорологических сводках, которые приводятся в документах, говорится о пасмурной — облачной и дождливой — погоде в этот день

Ну, вот; а в общем-то новостей особых нет. Что я читаю? «Чукча не читает, чукча сам пишет». В данном случае чукча больше перелистывает, чем читает, и увы, чем дальше, тем всё меньше художественную литературу. Перечитал кое-что Маргерит Юрсенар. Как и прежде, просматриваю (в Интернете) московские толстые журналы и, кстати, наткнулся в последнем, 11-м, номере «Знамени» на статью Сигрид Лёфлер под названием «Кто решит, что нам читать?» Кто-то перевёл её доклад. В редакционной врезке говорится, кто она такая, но не сказано главное: она много лет была литературным критиком Neue Zürcher Zeitung, а это одна из лучших газет в Западной Европе. Известность ей, конечно, принесло и участие в «Литературном квартете» Райха-Раницкого (дело кончилось разрывом — старик ей нагрубил, — после чего она основала журнал Literaturen, то есть «литературы»). В статье речь идёт о нынешней ситуации, мне в общем-то знакомой, в книгоиздательском и литературном мире в Германии, но многое относится и к нашему отечеству. Советую прочесть. Не захочется больше писать [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.11.03

[...] Гриша в ответ на какой-то мой вопрос прислал замечательные рассуждения о Ветхом и Новом завете, иудаизме и христианстве. «Редкостная дружеская привилегия, — написал я ему, — получить по почте не просто письмо — приватную лекцию такого уровня». Он не без законной гордости, между прочим, замечает, что круг их с Зиной читателей ширится, «Великие религии мира» выходят третьим изданием, общие тиражи Зининых книг достигают десяти тысяч. Я за них от души порадовался.

К такому разнообразному активному чтению, как сейчас ты, я был тоже когда-то способен. Ради пустячной детали (которая потом, может, и не понадобится) перелопачиваешь сотни страниц. Твой последний роман дает некоторое представление, каким фоном в повествовании может пройти военная тема. Покойный Галин отец был, между прочим, ранен под Прохоровкой, он служил в артиллерии. Мне случилось мимо этих мест проезжать, там у самой дороги поставлена церковь. Сияющий золотой купол среди убогого окружения, я этот образ однажды использовал.

Сигрид Лёффлер я когда-то в Германии видел по телевизору вместе с Райх-Раницки, об их размолвке в свое время читал. Сейчас немецкая пресса до меня доходить перестала. Что же у вас читают, что вам предлагают читать? Не знаю, доберусь ли я до статьи, но, судя по заголовку, тема близка тому, что мы с тобой не раз обсуждали.

Твои письма для меня ведь тоже питательное чтение, я из них набираюсь чего-то, чего мне не хватает. Я, как ты чувствуешь, сейчас не в самой активной форме [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

30.11.03

Дорогой Марк! Нужно ждать, когда накопится вода в колодце; творческая пауза — нормальное явление, и ты это знаешь не хуже меня. Я бы непрочь познакомиться с рассуждениями Гриши об иудаизме и христианстве. Что он тебе написал. Сам я снова давно ничего не имею от него.

Посылаю тебе статью Лёффлер.

Крепко обнимаю, жму руку. Пиши.

Твой Г.

[...] Пишу тебе, так сказать, внеурочно, хотя никаких сверх-обычных поводов, происшествий и т.п. нет, как нет и блестящих мыслей, которыми надо непременно и поскорей поделиться. Вчера я закончил своё сочинение, нечто вроде long short story, — или даже просто рассказ (35 стр.). Впечатление от написанного, как это часто бывает, — не блеск. Мечталось другое. Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption¹, как сказал Бенъямин; надо бы выразиться покрепче: произведение — это выbledок замысла. Ну и, конечно, всегдашние мысли: кому это нужно, кто это будет читать. Правда, в этом сочинении есть и кое-что новое для меня, новая точка зрения. Но главная мысль не нова, мысль о том, что интимная жизнь человека обладает экзистенциальным приоритетом перед исторической жизнью. Там главный герой говорит: я знаю, для чего нужна была война. Для того, чтобы мы встретились. В общем, пусть пока лежит, да и что ним делать.

Между делом я накропал и отослал рецензию на французскую биографию Юрсенар, о чём тебе уже писал. Напечатают ли, Бог весть. В предисловии С.Апта к одному тексту Томаса Манна, напечатанному в 9-м номере «Иностранной литературы» (мне подарил его во Франкфурте главный редактор журнала, когда я стал жаловаться на то, что роман Грасса «Krebstgang» напечатан с искажённым названием; тут же был и переводчик), я нашёл выражение «писатели немецкого языка», вполне, по-моему, легитимное — по аналогии с Dichter deutscher Zunge, — а между тем в одной из моих рецензий для «Знамени» было употреблено это же выражение, и редакторша переправила его на «немецкоязычные». Когда я спросил, в чём дело, она ответила: «Так по-русски не говорят», — очевидно, подразумевая, что человек в эмиграции, даже если он прожил в России 54 года, непременно забывает русский язык.

Я купил переписку Лидии Чуковской с отцом, чего, вероятно, делать не следовало: переписка скучная. Мелкие домашние дела и незначительные редакционные приключения. Я в общем-то люблю такую словесность, люблю читать примечания. Здесь более или менее интересные вещи появляются только в самом конце. Незаметно вырисовывается быт: действующие лица проводят время в домах творчества, санаториях, в переделкинской даче. Конечно, Малеевка, Узкое и т.п. всплывают то и дело потому, что обмен письмами может происходить лишь когда кто-то находится не дома. Но это часть жизни особого

¹ Произведение — это посмертная маска замысла (нем.)

социального слоя, где все общаются только с себе подобными и как будто даже не подозревают, что своим положением, доходами, свободным образом жизни, возможностью отгородиться от тягот советского существования они обязаны тому самому чиновному начальству, которое они бранят.

В Дневнике Корнея, я помню, есть замечательное место: он лежит в Кремлёвской больнице, и вот оказывается, что медицинские сёстры не знают Фета, Тютчева, пробавляются бульварной литературой и телевизионной пошлятиной. Человеку 80 лет, и это для него — открытие. Или ещё я перечитывал не так давно поэму Твардовского «За далью даль». Вещь, которая свидетельствует о поразительном незнании реальной жизни страны.

В последнем номере (они называются выпусками) «Воплей» есть любопытная и даже просто хорошая статья К. Азадовского — я с ним немного знаком, ты, вероятно, знаешь его лучше — под названием «Переписка из двух углов империи», о В.П. Астафьеве и об Астафьеве с Эйдельманом. Мы когда-то опубликовали их эпистолярную дуэль в нашем бывшем журнале, и в статье, как ни странно, есть ссылки на него. В России эта переписка ходила по рукам, у тебя в «Стенографии» есть тоже кое-что о ней, позже она была напечатана. В те времена высказывания наподобие астафьевских ещё шокировали публику. Я немного читал прозу Астафьева, но лишь немного. Он мне как-то совсем неинтересен, хотя, по-видимому, был незаурядным писателем. Я понимаю, что с точки зрения самого автора иного отношения к нему со стороны надменного образованца, вдобавок еврея, ожидать не следовало. Но дело в том, что я, очевидно, в самом деле закоснел в своих вкусах и взглядах на литературу как на нечто ненародное, даже отгороженное от «народа». Русская литература XIX века клялась народом и была ему, за редкими исключениями вроде детских стихотворений Некрасова или народных рассказов Льва Толстого, абсолютно чужда. После революции явилась новая народность, которая постепенно, в соответствии с общей эволюцией режима, приобрела фашистские черты. Я даже не знаю, как можно было бы перевести это слово на немецкий. Volkstümlichkeit неточно, к тому же напоминает о скомпрометированном и практически вычеркнутом из языка прилагательном *völkisch*. Не лучше и *Bodenständigkeit*. Есть ещё *Heimatliteratur*, слово, которое вызывает ироническое пожимание плечами, но к Астафьеву, истинно и всерьёз народному и отечественному писателю, вдобавок писателю трезвому и беспощадному, оно уж и вовсе не подходит [...]

[...] У нас сегодня выборы, ожидания безрадостные. Предвыборные публикации, выступления, безобразные потасовки характеризуют не только участников — состояние общества. Звучат речи, которых еще недавно вслух произносить не решались — могли отказать от приличного дома. Обозленность, националистическая, державная демагогия, требования сильной руки, «возвращения наворованного» находят, судя по рейтингам, отклик. Удручает вопиющая социальная безответственность людей, оказавшихся наверху, возле денег и власти. Представляют ли они, чем это может обернуться? Будут потом недоумевать, как это незрелый народ не оценил лучших их побуждений.

Нигде, кажется, не звучала так, повторяясь, тема оторванности от народа. Высшие и низшие слои общества существовали всегда и везде, но на современном Западе между ними нет такой непристойной пропасти. В твоих словах о литературе как о явлении «ненародном» есть своя правда. Со времен Золя и где-то до 60-х годов рабочие и крестьяне были частыми героями книг. Но читали их не рабочие и крестьяне, а такие же интеллигенты, как мы. (У Горенштейна, помнится, был потрясающий роман о шахтере, погибшем в завале.) В те годы писатель мог считать себя голосом общества. Лёффлер пишет в статье, которую ты мне прислал, что теперь он эту свою функцию утратил. Кто и зачем может теперь читать нас? Кого (из нынешних) хочется читать нам? Критик, по мнению Лёффлера, должен формировать вкусы — назвала бы нам имена, заслуживающие внимания, порекомендовала убежденно и убедительно. Недавних кумиров, по ее словам, «опускают» (даже Грасса!) — насколько заслуженно? Нобелевская премия мало теперь убеждает.

У нас на днях присудили очередную Букеровскую премию молодому писателю с испанской фамилией (я ее плохо расслышал)¹. Это, как я понял, автобиографическое повествование о парализованном мальчишке, выросшем в детском доме. Вызывает заведомую симпатию — но чем будет вторая книга? Сам автор сейчас в Испании, где нашел оставившую его в свое время мать.

А я довел до очередного тупика свое сказочное повествование и на время вернулся к стихам. Независимо от того, как оценивать ре-

¹ Имеется в виду Рубен Гонсалес Гальего.

зультат — какое замечательное, освобождающее занятие! Читаю поэтов, слушаю музыку. Проблема прежняя, как всегда: если бы можно было зарабатывать этим [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8.12.03

Всё время забываю спросить, дорогой Марк: продолжаешь ли ты «Стенографию» (теперь уже — начала века)? И ещё: ты ведь расшифровал только часть написанного, будешь ли расшифровывать остальное? Я не понял — о каком сказочном повествовании идёт речь?

Америку завалило снегом, в Москве тоже снег, а у нас, несмотря на близость Рождества, солнце, сравнительно тепло, ни одной снежинки до сих пор не выпало. Лыжные курорты Верхней Баварии снова бьют тревогу, говорится об изменениях климата и пр. За выборами в Москве, конечно, здесь следили, но без особого волнения: вопервых, было заведомо ясно, кто одержит победу, а во-вторых, Дума не играет большой роли. Карикатурный Жириновский в роли вождя оппозиции — это выглядит довольно гротескно. О коммунистах и говорить нечего.

Меня тоже, между прочим, удивляло: как это новые хозяева жизни, перед лицом стремительного, в подлинно марксистском смысле, расслоения общества на очень богатых и полунущих, не сумели извлечь урок из русской истории?

С. Лёффлер, мне кажется, и не задавалась целью давать рекомендации (в этом докладе), что, по её мнению, стоит прочесть. Как критик она обращает внимание на то, что литературная критика утратила своё влияние. (Исключением был Р.-Р., вероятно, и она сама, но это уже прошлое.) Успех, а главное, известность писателя, просто факт, что он работает и публикуется, зависят не от критики, а от окол- или даже внелитературных лиц и механизмов, и это, конечно, то, что делает похожим на западную ситуацию происходящее в России, где это называется — раскрутить. В России, по-видимому, нет литературной рекламы, по крайней мере, в том виде, какой она имеет здесь. Но раскрутить можно при желании или необходимости кого угодно. Этот механизм, как и рынок в целом, носит репрессивный характер: тот, кто не раскручен, — не имеет права существовать.

Отдельный вопрос — Лёффлер его не коснулась — социальное положение литератора. В России писатель лицо приниженное, он вынужден кланяться начальству — редактору, издателю. Начальство ведёт себя соответственно. Оно даёт понять писателю (если это только не

сверхприбыльный, то есть опять же сверхраскрученный, автор), что оно, собственно, в сочинителях не нуждается, в лучшем случае снисходит к ним. Оно, как гоголевский Нос, — само по себе. На Франкфуртской ярмарке я задавал вопрос (риторический): существуют ли в России организации, защищающие интересы писателей. Нат. Иванова с места ответила: нет. С этим делом и в Западной Европе обстоит не блестяще, хотя внешние формы общения, конечно, цивилизованней. Всё же имеются некоторые механизмы: пенсии, стипендии, меценатство... Было бы вообще интересно исследовать, каким образом внутри рыночной экономики вырабатываются (применительно к культуре и литературе) механизмы сопротивления рынку.

Я веду прежний образ жизни. Вчера ночью почитывал одну французскую книжку о Прусте, потом стал читать Первый парижский дневник Юнгера. Как-то незаметно взгляд на эти дневники, по-своему замечательные, сместился, и я даже не могу сказать, по-настоящему ли они мне сейчас нравятся. Человек наделён сильным умом и острым взглядом, но сам при этом остаётся неуловим. Это похоже на невидимку, который ходит в толпе.

Ты пишешь о букеровском лауреате. С его матерью я был немного знаком.

Просмотрел свой опус, кое-что переделал или доделал. Впечатление — так себе. Решил послать тебе [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.12.03

[...] Твой рассказ¹ я, видимо, пока еще не вполне воспринял. Я перечитываю его второй раз. «Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие». Маленькое происшествие? Теперь я знаю, о чем идет речь: о встрече с неизвестным сыном, не более, не менее. С сыном, которому рассказчик даже предложил унаследовать родовое имя. Какие должны были всколыхнуться воспоминания, какие чувства! Ведь было вроде бы не просто походное приключение оккупанта с местной жительницей — что-то, если верить рассказчику, настоящее. Однако записываются (в самом деле записываются? «Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу перед собой»... значит, скорей вспоминаются?) тщательно выписанные подробности домашнего концерта с попутными, тоже любовно выписанными, но не знаю, насколько обязательными отступлениями, воспроизведением военных дневников. «Снабжение отстает, пожалуй, это не совсем хоро-

¹ Имеется в виду повесть «Ксения»

шо». Рассказчика это до сих пор занимает, в такой момент? Совсем перенесся в те времена? Упоминает о «слухах, которые подтверждаются: что по всей Европе идет охота на евреев». Об еврейских погромах в Германии он, конечно, не слышал. О изгнании евреев из родной армии, о концлагерях, о том, что такое национал-социализм (который, конечно, нес освобождение Европе — если бы все не портили звери-эссовцы). Он, наверно, не вскидывал руку в нацистском приветствии. До сих пор его мучает не это, разве что безрассудство Гитлера, от которого под конец не удалось избавиться. Спустия столько лет — ни подлинного осмысления, ни подлинных чувств. Временные перспективы для меня не складываются в целое. Я, кстати, так пока и не понял, чему служит эта почасовая фиксация по главам, что она означает. Фиксируется время, когда продолжается запись? Или, вспоминая, рассказчик поглядывает на часы? Возможно, надо перечесть третий раз.

Но что я действительно ощутил — как ты вжился в домашнюю атмосферу, в законсервированное мышление сохранившихся аристократов. Для меня теперь это сопоставляется с твоими рассказами о знакомстве с людьми этого круга, даже с «Часом короля» (которого ты тогда мог лишь представить — но как замечательно вообразил!), с твоим интересом к Юнгеру. Я его почти не знаю, но в каком-то из парижских дневников помню эпизод, как он наблюдает бомбежку, попивая вино, любителю откуда-то сверху взрывами, пламенем. Хладнокровный эстет, стилист, конечно, отменный. Для меня эти красоты не очень отличимы от эстетства покойной Рифеншталь.

Да, тебе, кажется, все более близка эта сторона немецкой жизни, немецкой культуры — не знаю, как она соотносится с современностью. Как воспринял бы твое повествование молодой немецкий читатель? (Вставленные местами почему-то по-немецки «na und?» или «Kopfsatz» в переводе на язык рассказчика исчезнут, для меня они выдают в авторе, который явно этим языком наслаждается, все-таки не совсем немца).

С Франкфуртской ярмарки ты не совсем случайно, видимо, взял авторов позапрошлого века. Есть ли достойные нынешние? Я не раз возобновлял этот вопрос. Лёффлер могла назвать их не в этой статье, так в другой [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12.12.03

Дорогой Марк, хотя ты пишешь, что «не вполне воспринял» этот рассказ, многие и весьма тонкие наблюдения и замечания свидетельствуют об обратном. Вообще (это к слову) ты знаешь, как важно для меня твоё впечатление. Да, конечно, это не тот замечатель-

ный немец, который вполне раскаялся, просёк до конца натуру режима и радикально разделался с прошлым. «Через столько лет (пишешь ты) — ни подлинного осмысления, ни подлинных чувств». Да, очень может быть, что это именно так; но, как бы это сказать, — в то же время и не совсем так.

Попробую ответить, не только тебе, но и себе самому, на твои замечания. Некоторая особенность композиции, как ты, вероятно, заметил, состоит в том, что это — двойной дневник. Точнее, записи одной недели, сегодняшних дней (ориентировочно — конец 90-х гг.), но с оглядкой на дневники военных лет, с перелистыванием старых записей; иногда, особенно когда речь идёт о военных операциях, он эти записи попросту пересказывает. Почему из многих старых тетрадей выбрана именно эта — заметки, относящиеся ко второй половине 42 года, после катастрофы Красной армии под Харьковом и до катастрофы вермахта под Сталинградом, — объяснений, мне кажется, не требует. Всё началось с «маленького происшествия»: во время любительского концерта в доме бывшей любовницы престарелому автору дневника вдруг вспомнилась землянка полкового командира, где когда-то он слушал по радио из Мюнхена ту же вещь Шумана. Одновременно он заметил среди гостей (привычный круг, все знают друг друга) незнакомого человека. Это в самом деле не больше, чем маленькое происшествие: ничего такого особенного не произошло, никаких особо сильных чувств старик не испытал, ведь он не знает (и никто не знает), кто такой этот новый гость. И уж, конечно, никаких воспоминаний о фронтовом романе полустолетней давности. Не зря он говорит, в самом начале, что редко возвращается мыслями к «русскому походу». (Russischer Feldzug, französischer Feldzug — некогда ходовые выражения, сегодня не употребляемые.) Он позабыл бы об этом человеке, если бы тот не напомнил о себе телефонным звонком. Но что-то тревожит его. Землянка потянула за собой другие воспоминания, он достаёт из стола свои военные записи того времени, и в дальнейшем то, что когда-то (в старом дневнике) растянулось на несколько месяцев, теперь, когда он распутывает это прошлое, уместается в одну неделю. Два времени сразу — такая двойственность не могла не отразиться на его высказываниях. Он не спит, как многие старики, пишет чаще всего по ночам, поэтому записи нынешнего дневника помечены не датами, а временем суток.

Кто он такой? Ты это превосходно усёк. Это бывший военный, офицер по особым поручениям, прикомандированный к штабу армии. В боях он почти не участвует, лишь время от времени выезжает на передовую. Он более или менее осведомлён о планах высшего командо-

вания, имеет возможность обозреть стратегическое положение. Всё это составляло некогда его жизнь, и, что самое главное, это была молодость, лучшая пора жизни. Он и теперь, читая старый дневник, невольно погружается в своё военное прошлое. Он хочет уяснить себе связь событий. Этапы наступления на восток, форсирование Дона и т.д. — неотъемлемая часть этого прошлого.

Что не менее важно (ты совершенно прав), этот господин — белая кость, голубая кровь, отпрыск древнего южно-католического рода. В этой среде, как, впрочем, и для аристократии любой монархической страны (Бавария в относительно недавнем прошлом — 900-летняя монархия), служба в королевской армии была традицией. Возможно, он не чувствовал особого призвания к военной карьере, баварские и вюртембергские венценосцы не были вояками, — ими были пруссаки, Saureuben, традиционно презираемые на Юге, — он-то, вероятно, мечтал стать профессиональным музыкантом, — но так или иначе, он усвоил кодекс поведения немецкого офицера. Офицер должен был скрупулёзно, до педантизма добросовестным, безупречно честным, должен беспрекословно выполнять волю вышестоящих лиц и требовать того же от нижестоящих по отношению к себе, должен быть верен присяге, защищать отечество и — держаться в стороне от политики. Политика — не его дело.

Он прекрасно понимает, что теперь всё это даже здесь, на юге Германии, в значительной мере ушло в прошлое. (Пруссии вообще больше нет.) Но это его собственное прошлое. Он не может его просто так взять и растоптать. Конечно, для русского читателя (если таковой найдётся) все эти подробности не так уж интересны, да и упаси Бог заниматься социальным или социально-политическим анализом этого архаического общественного слоя, — но мне казалось важным учесть и «фон» (не только в смысле немецкого аристократического von), и возраст «повествователя». Нечего и говорить о том, что истинный облик нацистского режима ему достаточно хорошо известен — не только теперь, но, пожалуй, и тогда. Тут, однако, возникает загвоздка, на которой ты неслучайно споткнулся.

Я говорю «пожалуй», потому что, когда речь заходит о конкретных делах и деяниях, точнее, злодеяниях на захваченных территориях, о концлагерях, в том числе о лагерях уничтожения, об истреблении евреев, цыган, душевнобольных, гомосексуалистов, — особенно, конечно, евреев, — когда речь заходит обо всём этом, вопрос (и это до сих пор!) становится мутным, остаётся далеко не всегда прояснённым. Я могу это сказать не только на основании прочитанного, но и по опыту общения, под впечатлением разговоров, мимолётных обмолвок и

пр. Ты упомянул Юнгера. Это свидетель века номер один. Фраза о «о слухах, которые подтверждаются» — почти цитата из его военных дневников. Не думаю, чтобы он кривил душой; в дневнике встречаются самые безжалостные суждения о Кнiе́оло (так он называл Адольфа. Контаминация двух слов: knien и diaboló). Третья империя была, как и Советский Союз, засекреченным государством. В СССР удавалось скрыть гигантскую лагерную систему настолько, что подавляющее большинство населения вовсе не знало о её существовании; некоторые что-то слышали, но имели об этом очень смутное представление и уж, во всяком случае, не подозревали о том, что система эта — не только где-то далеко в Сибири или на Севере, но что она — повсюду и даже здесь, рядом. Многим ли было в те времена известно, что Московский университет на Ленинских горах воздвигли заключённые, что вообще ни одна крупная стройка вблизи или подальше не обходилась без заключённых? Я уж не говорю о том, что мало кто знал, что Комсомольск-на-Амуре, или, допустим, Магадан, или Советская Гавань, или Игарка — и сколько их там — целиком построены заключёнными, о железных дорогах, каналах, шахтах, заводах, рудниках, о целых отраслях промышленности. Кто мог подумать (если вообще хотел думать), что речь идёт о миллионах, может быть, десятках миллионов? Всё это теперь известно — но только теперь. А тот, кто всё-таки и тогда знал, молчал. Это главное: каждый понимал, что даже если что-то такое и существует, об этом надо помалкивать.

Есть что-то общее, хотя, разумеется, Германия не так обширна, как наше отечество. Но, между прочим, лагеря уничтожения, как правило, были расположены не на территории рейха. Невозможно было не заметить, когда начались систематические акции (в это время, правда, мой герой находился на фронте), что евреев собирают и куда-то отправляют; но дальше могли быть только предположения; большинство предпочитало об этом вовсе не думать. Итак, можно ли считать правдоподобным, что даже до широко осведомлённых людей, отнюдь не обывателей, могли в лучшем случае лишь доходить слухи? На этот вопрос приходится отвечать: и да, и нет. Не знали, в самом деле не знали. Догадывались, но не верили. Если знали, то гнали от себя это знание, старались скрыть от самих себя. Понимали, что об этом нельзя говорить вслух, нельзя рассказывать даже близким. Кто не знал, тот не знал. А кто знал, тот тоже не знал. Отворачивались. Считали, что начальству виднее. Трусили, юлили.

Я надеюсь, что ты не подумал, будто я всецело на стороне этого придуманного мною старика. (Я на стороне Ксении.) А коль скоро речь зашла о евреях, стоит упомянуть о том, что в среде военщины и

родовой знати, и даже знати вообще, патриотизм смыкался с национализмом, национализм же — может ли быть иначе? — естественным образом соседствовал с антисемитизмом. Вместе с тем подавляющее большинство аристократов испытывало отвращение к национал-социализму. Были исключения (одно из них — Auwi, то есть крон-принц Август-Вильгельм, снюхавшийся с нацистами). Конечно, говорить во всеуслышание о своём отношении к евреям считалось непристойным. Следы сохранились по сей день. Как и повсюду, они неистребимы. Иногда нелюбовь к евреям выражается в акциях поддержки, помощи евреям.

И ещё одно: не думай, что я считаю себя знатоком всех этих дел, этого государства, страны, народа. О, нет. И чем дольше я здесь живу, тем труднее мне судить о ней и о них, тем больше я убеждаюсь, как мало я знаю и понимаю. Тем сомнительней представляются мне всевозможные скоропалительные выводы. Я вспоминаю, какие глупости я писал в первые годы после приезда; намного ли адекватней то, что пишу теперь? Как воспринял бы, спрашиваешь ты, моё повествование молодой немецкий читатель? Не знаю. Может быть, даже с некоторым сочувствием; наверняка указал бы на какие-нибудь неточности, что-нибудь, с его точки зрения, малоправдоподобное. С другой стороны, насколько я могу судить, молодёжь в Германии, хорошо зная, чем был нацизм, мало знает о войне. Интерес к войне придёт позже. В конце концов — если говорить о том, «для кого» мы пишем, — я это писал не для немецких читателей.

Почему в диалогах проскальзывают немецкие словечки: па und; Korfsatz. Мне они казались не вполне неуместными. «Na und», как все такие разговорные речения, предполагающие определённую интонацию и то, что называется языковыми играми, трудно переводимо. Для «Korfsatz» найти эквивалент тоже не просто. Это, само собой, первая часть (сонаты, концерта, симфонии), но это и заглавная часть, голова всей вещи, средоточие основополагающих мыслей. Далее, немецкие словечки (очень редкие) должны напомнить, что разговоры ведутся не по-русски. Наконец, могут оказаться и такие читатели, как ты, знающие немецкий язык; им эти словечки скажут нечто дополнительное.

Мы толкуем о войне и нацизме. В общем-то я хотел сказать о другом. Я представил себе человека, который на старости лет, на пороге смерти, под влиянием случайного, а может, и не совсем случайного обстоятельства, приходит к абсурдному, казалось бы, но для него самого неопровержимому выводу. Он понимает, что главным, и самым важным, и таинственным в его жизни была мимолётная любовная история, что он прибыл с огнём и мечом, а встретил женщину своей

жизни, пусть даже на ничтожно короткий срок, и что всё, что с ним происходило, абсурдная война, вторжение механизированных орд в чужую страну, опьянение победой и жестокое возмездие — всё это обретает смысл и находит какое-то оправдание — в чём? В том, что ему встретилась настоящая любовь, единственная и неповторимая.

Письмо немисливо разрослось; я подвергаю испытанию твоё терпение. Я пишу его уже второй день. Ещё два слова об Эрнсте Юнгере. Пассаж из Второго парижского дневника, упомянутый тобою, — это конечно, самая известная и повторяемая цитата. Её приводит, в частности, известный германист Юрий Архипов, в главе о Юнгере, в академической «Истории литературы ФРГ», 1980 г. Он переводит эту цитату умышленно неточно. Препарируются и другие цитаты. Глава написана в стиле худших разоблачительных фельетонов, какие печатались в советских газетах. (Сейчас этот Архипов приезжает в Германию в качестве знатока и друга немецкой культуры. Слава Богу, Мартин Вальзер, у которого он гостит время от времени, не знает русского языка и не может прочесть всю ту подлянку, которую писал во время оно его русский друг.)

Эта цитата (которая в самом деле, как никакая другая, была поводом для скандала) представляет собой короткую запись от 27 мая 1944 г., высадка союзников в Нормандии ещё не состоялась, англо-американцы бомбардируют пригороды Парижа. Он сидит на крыше гостиницы «Рафаэль», в которой квартирует, неподалёку от штаба Штюльпнагеля (в отеле «Мажестик»). Есть фотография, он стоит с одним полковником, оба прислонились к барьеру, сзади видны крыши города, Триумфальная арка. Могу привести целиком:

Alarme, Überfliegungen. Vom Dache des «Rafael» sah ich zweimal in Richtung von Saint-Germain gewaltige Sprengwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Ihr Angriffsziel waren die Flußbrücken. Art und Aufeinanderfolge der gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen deuten auf einen feinen Kopf. Beim zweiten Mal, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein Glas Burgunder, in dem Erdbeeren schwammen, in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Kelche, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird. Alles war Schauspiel, war reine, von Schmerz bejahte und erhöhte Macht.

Мне интересно, как бы ты перевёл. Я перевёл так:

«Тревога, налёты. С крыши „Рафаэля“ я видел, как дважды поднялось над Сен-Жермен-де-Пре мощное облако взрыва и на большой высоте уходили эскадрильи. Задача была разбить мосты через Сену. Способ и последовательность операций с целью парализовать подвоз

указывают на пронизательный ум. При второй атаке, на заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавали ягоды клубники. Город со сверкающими на солнце башнями и куполами лежал передо мной во всём великолепии, словно цветок, раскрывшийся навстречу смертельному оплодотворению. Всё было зрелищем, всё было чистой, освящённой страданием и возвышенной мощью».

Юнгер — это долгая тема. Скажу только, что с Рифеншталь, глупой, хоть и одарённой, бабой, с этой пропагандисткой и трубадуршей режима, у него, по-моему, мало общего. Вообще другой масштаб.

Ну, вот. Пора, наконец, закругляться.

Почему-то я забыл, что ты уже публиковал продолжение «Стенографии». Но мне интересно, делаются ли новые записи.

Кого из современных писателей в Германии я мог бы рекомендовать? Того же Мартина Вальзера; Бото Штрауса; Зигфрида Ленца и теперь уже почти забытого, хотя он умер недавно, Германа Ленца. Я читал и некоторых (весьма немногих!) молодых, они мне не близки [...]

Крепко обнимаю тебя. Пиши. Пиши о чём хочешь. Каждое твоё письмо — маленькое событие и большая радость.

Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.12.03

[...] Твой комментарий мне кое-что объяснил. Я действительно не вполне воспринял переходы во времени — и, может, не случайно. Записи без указания числа и месяца не очень похожи на обычные дневниковые, да еще с такими подробностями, отступлениями, описаниями. «Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу перед собой»... представляется человек, просто вспоминающий, не пишущий. И сомнительно, чтобы человек переписывал в сегодняшний дневник целые страницы дневников военных — зачем? мог бы просто сослаться на дату, страницу.

Это можно уточнить. Но как быть с другой неясностью? Ты справедливо пишешь, что во время войны многие преступления режима были неизвестны. Нам это еще как знакомо! Я на эту тему писал в известном тебе автобиографическом очерке: даже для людей моего поколения не всегда срабатывает возрастное алиби. Вспоминать иные вещи постыдно, воспоминания старших кажутся слюшью и рядом фальшивыми, мерзкими. Мы ничего не знали, мы защищали отчизну, мы верили в идеалы и т.п. Но теперь-то, спустя годы, узнали? О наших мемуаристах ты не раз писал более сурово — и точно, ты их ловил с поличным.

Конечно, автор — не моралист, он не может давать прямых комментариев, тем более в рассказе от первого лица; но есть, наверно, тонкие способы обозначить авторскую дистанцию, отношение. У тебя есть хороший рассказ от лица человека, режиссировавшего для нацистов ритуальные шествия и т.п. Я занимался только искусством, в преступлениях не участвовал. Авторская интонация все ставила на места. Там случай был, наверно, проще. Как проще Рифеншталь по сравнению с Юнгером. Юнгер тебе чем-то действительно близок? Или просто интересен? Персонажами своего рассказа ты как будто с грустью любишься [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.12.03

[...] Сегодня утром встали — за окнами снег. На самом деле это дождь, который думал, думал и превратился перед рассветом в подобие снега. Погода — ни то, ни сё. Вчера мы с Лорой смотрели выставку фотографий в Haus der Kunst, из коллекции одной канадской собирательницы произведений искусства: ряды бесчисленных старых снимков, в два яруса, для верхних устроено нечто вроде эстакады. Как-то по-особому увлекает, тем более, что почти всё это — неизвестные люди. По большей части дети. С тех пор они не только стали взрослыми, но их давно уже нет в живых. Мне жаль, что никто не обратил внимания на роль и значение фотографии в моём старом романе «Нагльфар» (который, собственно, никто и не читал в России). Вот цитата:

«Несколько слов о фотографиях — тусклых отпечатках времени, на первый взгляд особой исторической ценности не представляющих. Но, думается, тайный фокус фотографии, её болезненное очарование — не в том, что она хранит частицу истории. Не в том, что, разглядывая старый снимок, я могу кое-что узнать о причёсках и модах, получить представление, как выглядели Икс или Игрек (...) Секрет фотографии — в её мистическом свойстве превращать время в вечность: это чувствуется, когда смотришь на карточку, не зная, кто там изображён, и вот отчего лица неведомых, безымянных, навсегда исчезнувших людей во сто раз сильнее завораживают, чем физиономия какой-нибудь знаменитости. Каково бы ни было искусство фотографа (в нашем случае весьма невысокое), снимок честно передаёт черты того, кто когда-то жил, что когда-то было действительно — а теперь стало *сверхдействительностью*, несмотря на то, что уже не действует, не дышит, не живёт.

Воздержитесь от соблазна поцеловать эту спящую красавицу, не старайтесь представить живыми застывших перед аппаратом мужчин и женщин, представить себе облегчение, с которым они стирают с лица кукольные улыбки и опускают руки, картинно сложенные на животе, шум отодвигаемых стульев, реплики, смех... не пытайтесь воскресить эту жизнь. Люди на снимке так и остались там, в серебристо-серой вечности, до ужаса похожей на наш мир, потому что фотография — это нечто вроде того света, и оттуда они смотрят на нас. Чувство, похожее на то, когда вперяешь заворожённый взгляд в фарфоровые медальоны на могильных памятниках, в портреты тех, кого больше нет, — вот что пробуждает обыкновенный фотографический снимок, и такое же чувство испытываешь под взглядом, который устремлён на тебя с твоей собственной карточки: так скончавшийся смотрит на живого. Так смотрели бы вы сами, если бы вас уже не было. И так же вы будете смотреть когда-нибудь из своей анонимной вечности на людей, которые вас не знали, не видели, понятия не имею, кто был этот человек. Ибо фотография — это репетиция посмертного существования, некоторым образом смерть при жизни».

Уф!

О «Ксении»: ты пишешь, что я, пожалуй, чересчур снисходителен к своим персонажам. Но ведь это не эссеистика и не публицистика, где в иных случаях в самом деле позволяешь себе быть безжалостным. Снисходителен? Я полистал ещё раз; не совсем, пожалуй; и даже то, что этот автор дневника теперь, когда ему напомнили о прошлом, нет-нет да и старается выгородить себя в собственных глазах (мнение «света» его уже не интересует), даже это само по себе рисует его, не правда ли, в не очень-то выгодном свете. Кстати говоря, уже после того, как я послал тебе текст, я вставил сцену допроса советского пленного, которая оканчивается тем, что пленного — ему 19 лет — расстреливают.

Другое дело — я на свой лад люблю всех своих героев. Это повторяется. Без этого, по-моему, невозможно писать. Только надо уметь не показывать это. Сумел ли я? Вопрос.

Близок ли мне Эрнст Юнгер. Я занимался им, как ты знаешь, в разное время (хотя читал далеко не всё). Писал о нём в нашем бывшем журнале и написал статью, которую исказили в «Воплях». Как-то раз рецензировал в «Знамени» новую, недавно вышедшую биографию Юнгера. Это имя по сей день возбуждает самые разные эмоции. Ему не могут простить многого; другие, напротив, доказывают, что оснований обвинять его нет — либо они, эти основания, не столь ужасны. Как бы то ни было, пройти мимо него невозможно. Кстати, его больше ценят во Франции, чем в Германии. Андре Жид восхищался книгой «В

стальных бурях», он пишет об этом в своём дневнике. Беллетристику Юнгера в собственном смысле, очевидно, нельзя отнести к произведениям первого ряда. В России, я думаю, этот воин-эстет и эссеист-неоплатоник, высоко дисциплинированный, мозговой — но подчас и паралогичный — писатель, надменный аристократ и стилист никогда не будет любим. Это совершенно нерусский тип. Вот цитата Юнгера — раз уж одолела мания цитировать:

«Мой внутренний политический мир подобен часовому механизму, где колёса движутся навстречу и как будто вопреки друг другу; я и южанин, и северянин, и немец, и европеец, и космополит. Но на моём циферблате стоит полдень, когда стрелки сходятся» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.12.03

С приближающимся тебя Рождеством, дорогой Гена! Здравья тебе и всяческого процветания в Новом году!

Я посмотрел в библиотеке журнал «Знамя» за ноябрь и за декабрь, в обоих номерах подряд у тебя рецензии. Статью о переписке Томаса Манна с Адорно ты мне присылал уже раньше; о биографии Рифеншталь написано очень емко и точно. Там замечательное описание ее фильма: полет над Нюрнбергом и т.д., читается, как проза. А в письме ты цитируешь пассаж о фотографии из своего романа: такие внесюжетные описания — из лучших твоих страниц, ты это умеешь.

Я тебе уже писал, у меня в январском номере этого журнала — очередная порция «Стенографии». Поздней они собираются еще раз напечатать мои стихи. Я одновременно послал им небольшой рассказ, о нем мне пока ничего не сказали.

Новостей особенных нет. Были приглашения на разные предновогодние посиделки: в британское посольство, в ПЕН-клуб и пр., я куда не ходил. Гуляю по лесу. В металлической ограде вдоль железной дороги, на которую я тебе сетовал, все-таки прорезали проход для людей. С удовольствием бегал на лыжах, но сейчас у нас довольно противная оттепель. Вот тебе, если хочешь, мой последний стишок (в «Знамени» он понравился):

Бах

Зерна, злачные остья, четвертушки, осьмушки
В тактовых разгородках, на иссохших листьях,
Увлажненные слухом, прорастают — божественный вздох!
Ветер волнует ниву, льется звучащий свет

Из сияющих облаков. Подъем по грузным ступеням.
Внизу осталась одышка, мерная мощь мехов
Соединилась с дыханием. Выше, выше! Над фугами
Травянистых холмов, измеренных в детстве шагами,
Над хребтами хоров, голосами заморышей-ангелов,
Над похлебкой из брюквы, недовольством начальства,
Над величием неуспеха.
«Трепет, слезы и горе».
Сердце измучено болью, зрение меркнет. Выше,
Выше, по лестнице в небо.
Все растворилось в звуках,
Как растворяется в вечности время — здесь
Правота и опора гармонии, счастье услышать,
Оставаясь всю жизнь не услышанным. Имя забыто,
В богадельню ушла вдова, запустела могила,
Зерна нот затерялись среди бумаг, чтоб однажды
Прорасти в открывшийся слух — в жизнь после жизни.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

24.12.03

Дорогой Марк. Нотные знаки, похожие на сухие колосья, вползают по линейкам нотного стана, как по ступеням, к небу — прорастают божественной музыкой. Это одновременно озвучивание нотного письма и одухотворение акустики. Изумительно богатство ассоциаций в этом стихотворении; тут и философия музыки, и судьба её творца. Слава Богу, журнальное начальство не дало своё августейшее одобрение. Это стихотворение, в самом деле одно из твоих самых удавшихся. К тому же никто сейчас так не пишет; оно даже, кажется, и не совсем в русской традиции. Мне оно очень нравится.

Парадокс музыки, соединение строгой знаковой системы с неуловимо-понятной, вовсе не поддающейся словесному пересказу семантикой — остаётся вечной загадкой.

Сегодня вечером — немецкий Heiliger Abend. Это всегда семейный, домашний праздник, напоминающий о детстве и посвящённый детям. О моём детстве он никак не напоминает. У нас мороз, снег и солнце. На улицах тишина. К Новому году всё растает [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.12.03

Дорогой Гена, знаешь ли ты, то умер Сима Маркиш? Мне сообщил об этом позавчера Жорж Нива, но произошло это много раньше.

14 ноября я послал Симе письмо на женевский адрес, долго ждал ответа. Он постоянно курсировал между Женевой, Иерусалимом и Будапештом, мог не оказаться на месте.

Еще на одно письмо не было ответа непривычно долго — от Гриши Померанца, а он в этом смысле человек аккуратный. Сразу встревожился, позвонил ему — отлегло. У него, слава Богу, все в порядке, ему казалось, что он мне даже отвечал — может быть, мысленно. А может, почта подвела. Он теперь в Москве, по меньшей мере, до марта, относительно здоров, гуляет — правда, сейчас без Зины. Она, несмотря на недомогание, пробует установить свою традиционную елку. Ты, наверное, знаешь этот многолетний ритуал, каждый раз на сюжет новой сказки, с вечерними медитациями, музыкой. Поговорил по телефону с обоими. Такие отношения драгоценны — и вот время от времени обрываются нити. Неизбежно приходится привыкать к этому.

Пока я тебе это пишу, Галя рядом перебирает подарки, заготовленные к Новому году для нашего разрастающегося семейства: трое детей, их мужья и жены, трое внуков, да еще разные свояки. Еще один год уходит. Ход времени с возрастом убыстряется — говорят, это биологическая реальность.

Обнимаю тебя, друг мой. Будь здоров

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.12.03

Дорогой мой Марк. Есть такой журнал в Москве — «Лехаим». Неделю тому назад я подписал (отчасти переписал) написанный Эйтаноном Финкельштейном некролог Симы Маркиша и послал в этот журнал. Они просили. Вероятно, появится в январе. Так что о смерти Симы я знаю. Он умер в Женеве, в своей квартире, узнали об этом (вскрыв квартиру) только через несколько дней. Этим даже занимается швейцарская полиция. Я учился когда-то вместе с Симой на классическом отделении, но он был на младшем курсе, и я его тогда не знал. Вероятно, тебе известно, что его отец Перец Маркиш был расстрелян в связи с разгромом Еврейского антифашистского комитета, вдова и два сына отправились в ссылку.

С Симой я встречался довольно часто, всякий раз, когда он бывал в Мюнхене. Последний раз, это было весной, сидели целой компании в одном заведении в Швабинге. Однажды я был у него и его тогдашне-

го шефа Жоржа Нива в гостях, выступал на кафедре, но это было давно. Последние годы он был снова женат, но брак оставался несколько à distance. Сколько друзей ушло за последние 2–3 года!

Помню я, разумеется, и ёлку у Гриши и Зины, ежегодную сказку и т.д. Зина рассказывала, а Гриша зажигал фонарики перед персонажами сказки, висевшими на ёлке. Помню сказку о Старой девочке. Это была, конечно, сама Зина. Но писем что-то до сих пор нет. Может быть, просто надоело переписываться, трудно находить общий язык. Я по-прежнему стараюсь не пропускать гришины публикации. Это уже, собственно, не статьи, а проповеди.

«Ход времени с возрастом убыстряется, говорят, это биологическая реальность». Скорее — психологическая, связанная с тем, что жизнь становится с возрастом всё более монотонной, и отсутствие сменяющих друг друга событий, недостаток новых впечатлений, вообще всего, что увлекает, кажется свежим и нетривиальным, — по-видимому, воспринимается примерно так же, как прокручивание на большой скорости пустой плёнки. Сравни несколько лет юности и несколько недавних лет — первые кажутся куда продолжительней. Время от 15 до 25 лет, время открытий, огромно, как геологическое время, — несколько эпох. А время от 55 до 65?

Мнимая или действительная объективность времени, математическое время Ньютона, время сочинителя, время персонажей, наконец, время нашей души — тема, от которой трудно отделаться. Я помню, у Плаасов, когда мы с тобой гуляли, — там была такая долина, — ты говорил мне, что я очень уж злоупотребляю этой темой, слишком много рассуждаю. Сущая правда. И вот я снова сочинил, наполовину в шутку, рассказец, что-то вроде литературной игры; посылаю тебе.

С Новым годом!

Твой Г.

29 (?).12.03

Дорогой Марк! В новой порции «Стенографии» (январский № «Знамени» уже в интернете) я сразу же натолкнулся на такое место:

Все то же, который раз то же. Оглядываешься, сознаешь все острее, как был глуп, сколько натворил ошибок, как неправильно себя вел, неправильно жил — как о многом можно жалеть. Уже не исправить, не переделать — но переоценить, понять, изменить бы напоследок что-то в себе, додумать, осуществить то, чего не сумел раньше, так, как хотел бы.

Почему все никак не получается? Может, потому, что себя жалеешь, не допускаешь мысль до глубин болезненных, страшишься правды, как поражения? Счастливое — несмотря ни на что, вопреки всему — мироощущение — совместимо ли оно с этой правдой? Не обеспечивается ли оно поверхностным легкомыслием, нежеланием что-то признавать, видеть? Или есть некая полнота, включающая умственное понимание?

Любопытно, что оптимистический взгляд на жизнь вновь (как в том месте, которое я цитировал в рецензии) подвергнут осторожному, как бы на цыпочках крадущемуся сомнению, что он, этот взгляд, как будто нуждается в том, чтобы в нём усомнились, хотя совершенно ясно, что мироощущение не выбирают: оно — часть или характеристика психической конституции. Я таков, каков я есмь. (Соматическую конституцию — телосложение — ведь тоже не выбирают. Таков, каков есть.)

Так как мы принадлежим к породе людей, отравленных литературой, я стал думать, каким образом «счастливое мироощущение» сочетается с литературной работой: помогает, вдохновляет? Или, наоборот, мешает? Мои дилетантские рассуждения об истории в конце концов тоже тянули в эту сторону.

Тут есть два неравноценных примера: Пастернак и наш друг Гриша Померанц.

Оптимистическое чувство истории позволило Пастернаку оставаться, вопреки всему, советским поэтом; скептическое и трагическое — возобладало у абсолютно несоветских поэтов Мандельштама и Ахматовой. Здесь проходит невидимый водораздел. Но и эти мерки — «советский», «несоветский» — уже нерелевантны; дело идёт о чём-то более глубоком и долговременном.

Я бы рискнул назвать Пастернака — единственного из великих поэтов — дачным поэтом. Подобно тому, как говорят о дачной природе, можно говорить о дачном мировоззрении, о дачной философии. Он не сельский и не городской, не идиллический и не трагический — он дачный.

Христианский (или якобы христианский) взгляд на историю приводит Пастернака к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда почти абсурдный замысел «Доктора Живаго» (как он изложен в письме к Спендеру 1959 года): *В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносщееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла саму себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий.*

Поразительные слова. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила.

Рассуждения Веденяпина сначала кажутся пародийными (что осталось сейчас от русской религиозной философии начала века?), но постепенно выясняется, что это голос самого автора. И задаёшь себе вопрос: если в самом деле «Живаго» — дефектный роман, то не виной ли этому хотя бы отчасти это самое мироощущение.

Гриша — пример более простой (и более наглядный). Много раз он высказывал своё убеждение, что «в глубине бытия зла нет». Между тем бытиё — не злое и не доброе, бытиё — это бытиё. Можно говорить только о доверии или недоверии к бытию. Как бы то ни было, эта максима в конце концов заслонила действительность. И кончилось тем, что мыслителя и художника-эссеиста съел проповедник.

Что скажешь?

До Нового года два дня. Gratulor, как говорили римляне.

Сердечно обнимаю тебя и Галю. Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.12.03

Дорогой Гена!

Время, конечно, реальность психологическая, но где-то я читал и о биологическом, объективном его ускорении с возрастом. Не помню сейчас ученых обоснований. У тебя в рассказе есть замечательные образы: время-пламя, время-женщина, пустота без времени. Тебе почудилось, что я мог тебя упрекать за особый интерес к этой теме. Что может быть интереснее?

Я уже начинал это писать, когда, проверив почту, обнаружил твое новое письмо. Значит, уже есть в интернете январский номер «Знамени». Твои замечания более чем существенны. Я бы только различал оптимизм и счастливое мироощущение. Мироощущение, наверно, в самом деле задается психологической (или даже соматической) конституцией. Оптимистичным может быть скорей взгляд на мир, у меня этого нет. (Не берусь обсуждать мировоззренческий оптимизм Тейяра де Шардена — как он тебе?) Но музыка в реанимационной палате — это все-таки мироощущение. Оно мне самому иногда кажется легкомысленным, но без него я, может, не удержался бы. И постоянно возвращаюсь к тому же. Мое не прочитанное до сих пор «Возвращение

ниоткуда» — попытка добраться до каких-то предельно возможных, то есть неизбежно трагичных глубин. Загляни, если захочется, в последние главы — там все на тему катастрофы, исторической и экзистенциальной. В гл. 22 «Момент истины» некий зловещий персонаж твердит герою-рассказчику то же: «Может, мы и держимся-то, и живем из трусости. Бережем себя как Бог знает какое сокровище. Самое большее, на что нас хватает — прикрыть в меру способностей эту самую бездну, выстраивать над ней видимость порядка и разумности. Ведь нормальным-то мозгам нужны ответы, потому они безнадежных вопросов и не задают, им заранее страшно поражение». В «Стенографии» за годы, когда я писал «Возвращение», много страниц на эту тему. Только вот действительно до предела — тем более за предел — никому из живущих, видимо, не дано добраться.

«Доктора Живаго» я пробовал недавно перечитывать — и не смог, разве что некоторые страницы. Покойный Сима Маркиш Пастернака вообще не принимал, я делал оговорки. Его историсофские построения не выдерживают критики, но в лучших стихах — какая-то, право же, божественная первозданность, непостижимая гениальность. Надо быть ему благодарным за лучшее — я писал об этом в давнем эссе «Уроки счастья».

Знаешь, ведь пока мы еще размышляем, еще спорим об этом — значит, мы еще живы, еще ищем чего-то, что-то надеемся понять. До конца заведомо не удастся — можно это называть пессимизмом, но почему-то все равно стараемся — будем считать это оптимизмом.

Счастья тебе и семейству в Новом году!

Марк

2004

Б. Хазанов — М. Харитонову

4.1.04

Дорогой Марк, послезавтра Dreikönig, Три Волхва, и на этом праздники заканчиваются. Я сейчас прошёлся немного по нашему парку. Все дни идёт снег, деревья в белом, лёгкий морозец, настоящая рождественская и новогодняя зима, какой не было уже несколько лет. Когда-то мы каждый год катались на лыжах, ездили в Пёрлахский лес на окраине города, в марте ездили в Южный Тироль, всё это ушло.

Я шёл и придумывал заново один рассказик, который написал было несколько дней назад, под названием «Опровержение Чёрного

павлина», даже читал его Лоре; ей обыкновенно не нравятся мои сочинения, но на этот раз в самом деле понадобилось переписать. Вообще же наступила пауза, и кажется, что уже ничего стоящего не сотворишь. Кроме того, я просматривал свои отрывочные записи, которые всё главным образом в последние годы, набралась целая куча. Мне хотелось что-то из них сделать, я отобрал некоторое количество, опубликовать их, конечно, непросто, и неизвестно, кому это можно предлагать. Тем более, что я далеко, печататься вообще становится всё труднее, жадность издателей, нацеленность на сиюминутную прибыль, одним словом, капитализм в его худшем, образца XVI столетия, виде душист не только мне и тебе подобных.

Вчера ночью я читал страницы из «Стенографии», я довольно часто раскрываю эту книгу, в ней есть что-то для меня важное, непосредственное и ободряющее, что-то такое, что заставляет снова уверовать в смысл литературной работы, — на этот раз я наткнулся на то место 1992 года, где ты рассказываешь, как ты гулял по Парижу с Жоржем Нива, как поднялись на Монмартр и смотрели работы уличных художников. По этому поводу ты замечаешь, что вид Парижа излечивает от некоторых комплексов (по-видимому, речь о комплексе неполноценности), и «мы не так уж сильно отличаемся от остального мира». Верно, — например, Россия во многом похожа на Третий мир, в некоторых отношениях похожа на Первый мир, и всё же это место меня удивило. Не в том смысле, что «не хуже» или «не лучше». Но, пожалуй, нигде так сильно, как именно в Париже, я не чувствовал, что мы все были ограблены и нигде так не ощущалась пропасть, которая отделяет наше отечество от Западной Европы. Я не имею в виду уровень жизни — но скорей её качество [...]

Сима Маркиш не любил и не принимал Пастернака, по-моему, по вполне очевидной причине: из-за высказываний Пастернака о еврействе: и в известном письме к Горькому, и в особенности в «Докторе Живаго», написанном — вот что поразительно — после Освенцима. Это, конечно, не антисемитизм, это христианский антииудаизм [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.1.04

Чем хорош жанр стенографии, дорогой Гена: можно открыть на любом месте, почитать страничку-другую. Фиксируются переменчивые состояния, настроения. Ты попал на место, где я пишу, что мы не

так уж отличаемся от остального мира. Тебе это кажется странным: «Пожалуй, нигде так сильно, как именно в Париже, я не чувствовал, что мы все были ограблены». Я сам захотел посмотреть, раскрыл книгу — и попал двумя страницами раньше. Май того же года, прогулка в Гамбурге по берегу Эльбы: «Господи, какой жизни нас лишили! Никогда я так не осознавал, что это преступление против страны, против нескольких поколений» — и т.д. Почти в унисон. Париж, помнится, показался мне после ухоженного Гамбурга чем-то более похожим на Москву: асфальт местами разбит, лужи на Монмартре, люди перебегают улицу на красный свет. Перепад цивилизаций я действительно резко ощутил в свой первый приезд на Запад, в 1988, мы тогда встретились. С годами что-то меняется, молодые люди уже так этого не ощущают. Моей младшей дочке надо было недавно выбирать командировку: поехать в Лондон или в Ташкент. В Англии она жила полгода, Лондон знает лучше, чем Москву, поездить впервые по Узбекистану показалось интересней.

Приводя в порядок прошлогоднюю почту, я увидел, как много у тебя за это время оказалось наработано. Я получил от тебя роман, несколько рассказов, статьи, эссе, рецензии, и посылал ты мне еще далеко не все. Завидная работоспособность. Вот чем я, увы, не могу похвастаться. Все что-то пробую.

У нас после Нового года приморозило, навалил снег, в лесу красиво, я с удовольствием бегу на лыжах.

Всего тебе доброго!

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM135

8.1.04

Конечно, мне известно и то место в «Стенографии» о Гамбурге (стр. 318), которое ты упоминаешь; я посмотрел его снова. Но когда я вспоминаю разные свои поездки, мне кажется, что именно в Париже — и это повторялось каждый раз — я чувствовал, как много потерял оттого, что не бывал здесь в юности, не прожил здесь хотя бы несколько месяцев. Больше того: духовная и культурная инвалидность всего нашего поколения — результат того, что, живя в наглухо заколоченной стране, словно в доме без окон, мы не могли в лучшие годы молодости дышать воздухом Парижа. Ни в одной стране и ни в одном городе, куда я приезжал, где жил, — а ведь сколько есть прекрасных го-

родов на свете! — такого чувства не было. Это — загадка, для которой можно подыскать разные объяснения. И, право, ни по одному городу не скучаешь так, как по Парижу.

А то, что молодое поколение может смотреть на вещи и воспринимать мир иначе, предпочесть Ташкент Лондону и т.п., — это их дело.

Завтра похороны Ирины Войнович, трудно как-то произнести эти слова. Она умерла несколько дней назад от рака грудной железы. Хотя я был знаком с Володей и Ирой ещё в Москве (через Бена Сарнова), мы сблизились здесь. Когда мы, то есть Лора, Илюша и я, приехали поездом из Вены в Зальцбург, они прибыли встретить нас и довести в своей машине до баварской границы. Подъехали, это было возле деревни Freilassing, я вылез из машины, подошёл к человеку в зелёной форме и, что называется, сдался пограничной полиции. Нас отвезли в ближайший полицейский участок, где я диктовал вахмистру, сидевшему за старой пишущей машинкой, кто я такой и откуда, и зачём приёлся с семейством. Единственный документ, который я имел при себе, был жалкий клочок бумаги, называемый выездной визой, — филькина грамота. Но то были другие времена — полиция вела себя как филантропическое учреждение. Да ещё на моё счастье я говорил по-немецки.

Ира была очень деятельным человеком, всегда готовым что-то сделать, чем-нибудь помочь. К тому времени, когда мы приехали (и остановились у Зенты Грюнбек), Войновичи жили в Германии уже около двух лет. Случайно оказалось, что и Зента (которая встречала нас в аэропорту в Вене), и они проживали в одном и том посёлке Stockdorf под Мюнхеном, Ира и Володя — во флигеле дома Вульфенов на улице Ганса Кароссы. Вскоре они уехали на полгода в Америку, а мы перебрались в их квартиру.

Ира была чем-то вроде литературного агента для Володи, и даже больше, и своей популярностью он во многом обязан ей. Ещё в Москве они привыкли принимать у себя — это был открытый дом, каждый вечер кто-нибудь сидел за столом с Володей, а Ира делала всё сразу, и готовила, и подавала на стол, и вела беседу. Их дочь Оля была дошкольницей, когда, приехав, я впервые был у них (а затем и у Барбары фон Вульфен). Помню, как она сказала: «Папа, могу я сесть в машину?», и эта фраза — вместо «можно мне?» — сразу выдала в ней полурусскую девочку, какой она уже успела стать.

Вчера ночью, читая путевые впечатления о Германии под кокетливо-хитроумным названием «Зимания. Герма» Игоря Клеха, в книге «Охота на фазана», которую мне принесли (писатель — не могу понять, хороший или плохой; с одной стороны, несомненной дарование,

а с другой — так себе; впрочем, довольно известное, хвалимое имя; я бы его назвал гиперстилистом), — читая, я натолкнулся на такую фразу: «Кто не живёт в настоящем времени, тот мёртв». Конечно, надо договориться, что мы называем настоящим временем, но в общем-то получается, что и я мёртв. Может, и ты тоже? Может, это правда? Всё, что я сочинял в последние годы, к настоящему времени можно отнести разве только в каком-то расширительном, абстрактном смысле. Одно время мне казалось, что избыточно-раскованный, неопрятный, вихляющий задницей, нарочито вульгарный язык литературы люмпен-интеллигентов (это, впрочем, лишь в малой степени относится к Клеуху, хотя и он ужасно болтлив) выходит из моды, а это косвенно означало бы, что авторы нашего с тобой покроя как бы возвращаются в пресловутое настоящее время, — но нет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.1.04

[...] Вчера открылась выставка Галиной живописи в Еврейском культурном центре на Большой Никитской, есть теперь такой в Москве. Было много народу, в основном наши друзья, были речи известного жанра, был небольшой фуршет, продавались книги с ее графикой (т.е. мои) и ее каталог. Последняя неделя была занята хлопотами по этому поводу. Залы в прекрасном особняке были предоставлены нам бесплатно, развешивать картины помогали рабочие, но окантовка работ стоила недешево, и фуршет мы оплачивали сами. Наша младшая дочь, которая писала дипломную работу в Гуманитарном университете о рекламе как о знаковой системе, отчитала нас за то, что мы не поработились о рекламе, не разослали приглашения и каталоги по редакциям и престижным галереям. Мы отвечали, что этим должен заниматься не художник, а маршан или галерист. Но Еврейский центр — не коммерческое заведение, они картин не продают, доходов не получают, в рекламе не заинтересованы.

К чему я это рассказываю? У Гали — к ее-то возрасту — это, по сути, первая персональная выставка. Отзовется ли она как-нибудь, еще не известно. Я плохо представляю себе, как живет, как зарабатывает на жизнь огромное множество художников. Надо ведь еще покупать холсты и краски, а это дороже, чем наша с тобой бумага. Раньше картины для выставок мог закупать Союз художников, но об этом нечего говорить. Сейчас кто-то продает картинки на Арбате (или Монмартре) — но и об этом говорить не нам. Есть, как и у литераторов, спосо-

бы прикладного заработка: в журналах, театре, на телевидении. Нам все-таки проще: написанное может дожидаться своего часа в ящике стола. Я много лет знаком с одним замечательным композитором¹, он недавно закончил симфонию, я слышал отдельные ее части в фортепьянном переложении — по-моему, это действительно большая музыка. Но по-настоящему она до сих пор прозвучать не может. Чтобы ее мог разучить и исполнить большой оркестр, чтобы переписать ноты и т.п., надо, как мне сказали, затратить тысячи две долларов — кто их даст? Раньше этим тоже занимался Союз композиторов, теперь надо искать другие возможности, не все это умеют.

Не так давно в журнале «Знамя» обсуждалась проблема успеха в наше время. Один музыковед там пишет: «Немало талантливых людей... по разным причинам, и чаще всего сознательно избрали путь неуспеха. Кто-то стоял в позе непризнанного гения, втайне рассчитывая на посмертные лавры. Кто-то становился на аскетический путь неучастия в ярмарке тщеславия и совершенствовался в мастерстве. Я знаю, по крайней мере, десяток имен композиторов, которые чрезвычайно высоко ценятся в профессиональных кругах и практически неизвестны более или менее широкой публике. Но в любом случае свой неуспех они вполне заслужили».

Это все на ту же тему: не нам с тобой жаловаться. Нас, по крайней мере, все-таки уже знают, кое-что при желании могут почитать, нам даже есть на что жить. В остальном без нас разберутся [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.1.04

[...] От тебя хорошая новость: персональная выставка Галины Эдельман. Я думаю, что это немаловажное событие. (Большая Никитская — это улица Герцена?) Ты размышляешь об успехе или неуспехе художника, музыканта, писателя. Утешение: писателю всё-таки легче. Не надо покупать краски и холсты, не надо искать исполнителей музыки. Я прочёл высказывание музыковеда Людмилы Бакши, о котором ты упоминаешь, заодно проглядел другие выступления в 8-м номере «Знамени». Люди, конечно, знают, о чём они говорят. Но что вообще надо понимать под успехом книги и «успешным» (то есть преуспевающим) писателем? (Ты заметил, как сдвинулось значение слова успешный? Оно стало синонимом английского *successful* или немецко-

¹ Имеется в виду композитор Михаил Марутаев (1925–2010).

go erfolgreich и применяется не только к процессу, но и к человеку. Мне это до сих пор режет слух.) Очевидно, что в этом обществе под успехом почти всегда и в первую очередь подразумеваются деньги. О таком успехе в девяти десятых всех случаев можно сказать, что это не успех, а крах. Можно говорить о громком крахе таких писателей, как Вл. Сорокин, Эдичка Лимонов, Виктор Ерофеев и т.п. Разумеется, много значит случай. Над случайностями, однако, возносится социология. Я думаю, что нужно основательно отдать себе отчёт, хорошенько представить себе — что такое общество, массовое общество, в котором мы существуем.

Но если вернуться к писательству и конкретным условиям, в которых процветает или прозябает — это как посмотреть — литература, то проблема, по-моему, не только и даже не столько в том, что не всякому удаётся организовать такой успех. Прежде чем встанет вопрос об устройении успеха, рекламе, премиальной кампании, газетной и телевизионной трескотне, приглашении в глянецвый журнал и т.д., нужна простая вещь: чтобы твою книжку издали. Насколько я понимаю, литературой в современной России управляет издатель. Это почти всегда жадный хищник. Почти всегда он сохраняет важный реликт советской психологии, то, что выражалось знаменитой фразой продавщицы в магазине или подавальщицы в столовой: «Вас много, а я одна». Но в отличие от этих неумытых бестий в грязных передниках, к пресловутому «вас много» (а нас действительно много, слишком много) присоединяется новая заинтересованность. Издатели воображают себя бизнесменами. Они хотят издавать книги. В новых условиях это означает: с наименьшими затратами и наибольшей, а главное, наискорейшей выгодой. Впрочем, кому я это всё рассказываю — ты знаешь всё это лучше меня.

По-иному выглядит то, что мы называли свободой творчества. Я присматривался к писателям и критикам из Москвы на последней ярмарке во Франкфурте, внимательно слушал, и мне казалось, что у многих на лбу печать этой новой несвободы. Той самой несвободы, о которой в свойственной ему вульгарной манере говорил незабвенный Лукич: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Речь идёт не о литературной проституции — это элементарный случай. Речь о более тонких вещах, не имеющих прямой, а, может быть, и никакой связи с продажей себя: о порабощении новыми обстоятельствами, новыми условиями функционирования литературы и культуры вообще, о боязни не поспеть за поездом, который наращивает скорость. Любопытно, что эта несвобода необыкновенно точно выдаёт себя в языке выступлений. И, конечно, в языке, на котором пишутся романы или статьи. Кажется, я писал тебе, что занимался рецензией на книгу Нат.

Ивановой (рецензию отвергли). Это хорошая, интересная книга. И на каждой странице она свидетельствует о несвободе автора. Это, впрочем, долгий разговор.

Вопрос: свободны ли мы? Свободен ли ты, свободен ли я. Я думаю, да. Свобода в данном случае означает наплевательство. Мне эту свободу дала эмиграция, ты сумел её сохранить, сидя в Москве. Разговоры об успехе в этих условиях становятся беспредметными; самое это слово теряет смысл [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.1.04

[...] Мне близко твоё отношение к успеху. У слов *succes, successful* действительно все ощутимей становится, я бы сказал, американский акцент. Но так ли переосмыслилось само понятие? Перечитай хотя бы *Vorspiel*¹ к Фаусту. Это отношение всегда было не лишено двойственности, в разговорах о наплевательстве нетрудно поймать себя на некотором лукавстве. Как и в разговорах о свободе (внутренней, разумеется). Эмиграция тоже не всем её обеспечивает. Освобождаешься от одних зависимостей, оказываешься опутан множеством других, я об этом однажды писал. Самого себя ловишь то и дело на известных комплексах, зажатости, предвзятостях, приходится следить в этом смысле за собой, особенно когда пишешь.

Меня очень заинтересовали твои слова о «печати этой новой несвободы» на лбах многих российских литераторов, о несвободе, которая «необыкновенно точно выдает себя в языке». О «хорошей» книге критика, которая «на каждой странице свидетельствует о несвободе автора». Мог бы ты прокомментировать, развернуть это наблюдение?

Я еще раз убедился, насколько ты больше меня читаешь, знаешь даже номер журнала и статью, которую я случайно посмотрел в библиотеке. У меня, кажется, немного сдвинулась с места работа (тьфу, тьфу, не слазить!), но говорить об этом пока рано [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

25.1.04

Дорогой Марк. Мы с тобой философствуем об успехе, точнее, о литературно-коммерческом преуспевании, не напоминает ли это раз-

¹ Пролог (нем.)

говор внухов о любви? Какой-нибудь Дм. Быков, которым я любовался (говору это без иронии) на книжной ярмарке, посмеялся бы надо мной. Спросил бы: что ты об этом знаешь?

Он показался мне репрезентативной фигурой. Это писатель и телевизионная звезда. Импозантный, крупный, полный, круглолицый и гривастый человек, внешность и манеры бонвивана. Должно быть, очень хорош в общении. Вероятно, любимец женщин. Я с ним не знаком, как не знаком и с его творчеством, о котором могу косвенно судить лишь по статье одной женщины-филолога в каком-то из толстых журналов — она указывала на ошибки в русском языке — и рецензиям на роман «Орфография», который, по-видимому, пользуется большим успехом. Читать роман, как я понял, не стоит.

Я слушал его выступления и реплики за «круглым столом». Это, можно сказать, живое олицетворение моды, не здешней, конечно, а московской, и, собственно, всё это я и подразумевал под несвободой. Полная зависимость о того, что говорят и что носят. Эта несвобода включает и такие свойства, как раскованность, эмансипированность, nonchalant нового человека, которому плевать на вчерашний день, псевдозападная манера поведения, подсмотренная у известных шоуменов; он и сам — превосходный шоумен.

Ещё один запомнившийся мне персонаж (я пытаюсь ответить на твой вопрос) — совершенно другого рода: это известный критик А. Немзер, чьи «немзерески» я иногда вижу в интернете; они, по моему, не заслуживают внимания. Я тоже с ним не знаком, ничего плохого сказать о нём как о человеке не могу. Разумеется, беглое впечатление может быть абсолютно ложным. Во всяком случае, оно очень субъективно. Наружность (весьма располагающая и без примеси элегантной пошлости), манера выражаться, мысли — всё, как у Быкова, хоть и в другом роде, — всё «как надо».

Это «как надо» — у очень многих, и на письме, и устно. Например, надо говорить «потому как» вместо потому что, «блистательный» вместо блестящий, «аккурат» вместо других синонимов в контексте, где словечко «аккурат» стилистически чужеродно. Мода, как наклеенная борода. Мода, скажешь ты, модные словечки и обороты, употребляемые невпопад, — везде, их сколько угодно и здесь у нас. Язык — предатель; несвободный, он выдаёт несвободу своего носителя.

Особый случай — Наталья Иванова (ты о ней тоже спрашиваешь), которая мне в общем-то гораздо больше симпатична. Я с ней немного знаком, больше по телефону. Она зарубила по идейным соображениям то, что я пытался предлагать «Знамени», и неудивительно: это другой мир. Помню, что и у меня некоторые из её воспоминаний о писа-

телях в Переделкине вызывали протест. Зато другие были очень хороши. В прошлом письме я имел в виду только что вышедший «Скрытый сюжет», подаренный мне на ярмарке. То, что это «другой мир», другой горизонт и другой образ мыслей, мешает мне правильно оценить эту книгу, хоть я и накатал что-то вроде рецензии. Почитай, кстати, предисловие автора, там как раз и говорится об успехе и «успешных».

Но я чувствую, что не смогу развернуть (как ты говоришь) моё неосторожно обронённое замечание насчёт несвободы, которая будто бы — или на самом деле — пропитала книгу Ивановой. Это именно чувство, впечатление. Возможно, оно вызвано абсолютной погружённостью критика в сиюминутную (разную для каждой публикации) внешнюю реальность российской литературы, отчасти и российской жизни. Отсутствием более широкого горизонта. Сильнейшей зависимостью от «времени». Конечно, хорошо так говорить человеку, которому не приходится изо дня в день окунаться в эту жизнь. Ничего не попишешь: дело критика — писать об актуальной, сегодняшней литературе на фоне сегодняшней жизни. Это почти то же, что сказать: рабство у сегодняшней жизни, у общества и литературного сообщества, у «тусовки» — почти необходимая черта профессионального критика [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.1.04

[...] Уходящая неделя была больше обычного занята всяческими разъездами. В понедельник я поехал в «Знамя» получить гонорар и купить первый номер (единственная редакция, где автору не дают, сволочи, бесплатного экземпляра). Тут же узнал, что они собираются печатать, кроме стихов, еще мой небольшой рассказ, и получил приглашение на вечер, где собирались вручать журнальные премии. До сих пор я от этих церемониальных посиделок уклонялся. Они устраивались обычно в небольшом Овальном зале Библиотеки иностранной литературы. На этот раз пригласили публику в большой зал ЦДЛ, и зал, сверх ожиданий, оказался заполнен. Выступали, читали стихи разные поэты, в промежутках показывал свои номера небезынтересный «Театр звука», где музыка, пение, полутанцы-полупантомима сочетались еще с проекцией рисунков, которые тут же делал художник. Потом было, как теперь положено, угощение. Я сидел рядом с Фазилем, спросил, как ему пишется. Он сказал, что прозы сейчас не пишет. «Как-то не хочется». На вечере он читал стихи, в «Знамени» была недавно опубликована подборка его коротких афоризмов, ты, наверно, читал.

А вчера нас пригласил Марк Розовский на юбилейную постановку «Бедной Лизы» по Карамзину. Спектаклю 30 лет, торжество по этому поводу устроили в новом здании Союза театральных обществ на Страстном бульваре. Роскошное помещение, приятная, частично знакомая публика — и восхитительный спектакль, я увидел его впервые. Ироничный, очень стильный, артисты выкладывались с удовольствием.

Сегодня придется опять поехать по делам. Почитываю понемногу журнал. Ты, наверно, читал там новую статью Ивановой. Она заставила меня вспомнить твои слова о «несвободе». Пожалуй, больше подходит сказанное тобой о зависимости от «времени». Обсуждаются модные авторы, по большей части я их сам не читал, сказать ничего не могу — но насколько свое мнение высказывает о них критик, насколько поддается течению, принимает за художественную реальность сконструированные из слов муляжи? Подтвердить бы сказанное хоть убедительными, представительными цитатами.

Моя собственная работа между тем не вытанцовывается, не могу найти поворот взгляда. Но иногда что-то мерещится. Как сказал один наш коллега: чтобы написать, надо писать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

30.1.04

Дорогой Марк. Я тоже провёл эту неделю в светских увеселениях. Сначала концерт в зале Филармонии, в Gasteig'e. (У меня есть абонемент.) На другой день в Unionsbräu — это довольно известный ресторан на улице Эйнштейна, с собственной пивоварней, — обсуждение старой книжки «Mythos Rußland», вернее, того, как она соотносится с нынешней ситуацией, соотносится ли вообще; потом другой вечер, русский, по поводу вышедшего здесь маленького сборника литературы, куда, как сказано в одной песне, «Шлёмелэ на свадьбу пригласил Наилучших местных сил».

Статья Ивановой, о которой ты пишешь, видимо, та, что напечатана в январском номере «Знамени» (в интернете есть уже февральский). Она пишет: «На Франкфуртской ярмарке, где Россия в 2003 г. была почётным гостем, немцы на „круглом столе“ о статусе писателя задавали резонный вопрос о защите материальных интересов автора в России. Ответа на него российские авторы не имели».

Это какое-то заблуждение, общее, как я заметил, для всех наших соотечественников: Россия не была «почётным гостем», таких выражений нет и не было никогда в официальных документах ярмарки. Просто каждый год посвящается какой-нибудь стране. В позапрош-

лом году это была Литва, в будущем году будет какой-нибудь Эквадор или что-либо такое. Что касается вопроса о защите интересов писателя в России, то задал его я, и притом по-русски; очевидно, я причислен к немцам.

Я думаю, что Нат. Иванова выделяется среди современных критиков в России, она гораздо лучше, чем глуповатый Анненский, бесцветный Немзер, провинциальный анфан террибль Золотоносов и *tutti quanti*. С другой стороны, о литературе куда интересней и глубже пишет Борис Дубин; у него нет этого советского наследия, которое немного даёт себя знать в статьях Ивановой.

По-видимому, решающим критерием для неё является читаемость, успех у читателей. То, что обычно ставилось в заслугу литературному критику, — открытие неизвестных молодых талантов — не входит в её задачу. Она пишет о модных авторах; чуть ли не половина обзорной статьи посвящена Пелевину. Я не знаю, что о нём сказать. Когда-то, это было очень давно, я вещал о нём по радио. Гораздо позже мне кто-то подарил роман «Омон Ра», маленькая книжица, но я соскучился уже на первых страницах и оставил её недочитанной. У меня предубеждение против слишком популярных писателей. Некоторые имена, о которых пишет Иванова, — Пригов, Сорокин, а также дамы-звёзды Маринина, Донцова и Дашкова — вовсе не заслуживают обсуждения. Но зато Маканин — совсем другое дело. Недавно мы с Аннелоре выверяли её немецкий перевод романа «Андеграунд» (новое написание вместо обычного андерграунд; ведь мы не говорим: «Том Соьер» вместо Соьер, «Аканзас» вместо Арканзас), и оказалось (для меня), что это высокоталантливая книга. Я читал Маканина немного и раньше; однажды мы поместили о нём статью в нашем бывшем журнале.

Мне кажется очень показательным её вывод: «Самый серьёзный и самый каверзный вопрос прозы года — это, получается, вопрос всё-таки не художественный, а идеологический. Не вопрос уровня или качества текста, а вопрос <...> критики либерализма, либеральных реформ и их последствий».

Этот вывод выдаёт её с головой. То, что Иванова приписывает прозе, хорошей или плохой, не есть вопрос прозы, но установка самой Ивановой. Вслед за своими авторами она хочет быть сугубо злободневной. Искусство — симптом чего-то; тебе хотят сказать: именно в этом его интерес и ценность. Литературный разбор в собственном смысле, композиция вещи, стилистика, поэтика, философия творчества для неё как будто не существуют; интерпретация, против которой когда-то так горячо протестовала С.Зонтаг (она,

кстати, побывала на ярмарке, но я её, к сожалению, не видел) заменяет анализ литературных произведений как таковых. Иванова охотно включает разбираемое произведение в актуальный социально-политический контекст, и художественная проза предстаёт как нечто вторичное по отношению к общественной жизни, как комментарий к событиям и переменам, о которых завтра, быть может, никто не вспомнит.

Я почитывал разную всячину: биографию Андре Жида, дневник Жюльена Грина и весьма прогрессивного М. Уэльбека. Стараюсь тоже что-то сочинить. «Чтобы что-нибудь написать, надо писать», превосходный афоризм. Будь здоров, обнимаю, твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.2.04

Меня заинтересовали, дорогой Гена, твои слова про обсуждение книги «Миф Россия»: как она соотносится с нынешней ситуацией и соотносится ли? Кто обсуждал эту книгу, участвовали ли компетентные немцы или спрашивали в основном тебя? Была ли она переиздана? По-русски книга вышла в 86-м, по-немецки, как я понимаю, раньше — около двадцати лет назад. Я прочел ее, помнится, году в 88-м, она мне показалась замечательно умной, при этом в чем-то самоочевидной, бесспорной. Потом я перечитывал ее с чувством, что многое здесь все больше уходит в прошлое. И вот заглянул в нее сейчас — увы, некоторые положения до сих пор оказываются актуальными, что-то возвращается, что-то приходится повторять. Недавно по телевидению один наш известный политик, Явлинский (он однажды возникает в «Стенографии») излагал положения своей новой книги «Периферийный капитализм» (или «провинциальный»? уже сбивается память. Но смысл тот же). Российская ситуация охарактеризована весьма четко: рост без развития. Все перемены не приносят качественного сдвига, который единственно может дать перспективу. Развитие невозможно без полноценного функционирования демократических институтов; в странах третьего мира тоже иногда отмечается экономический рост, но они останутся странами третьего мира уже навсегда. Ты, помнится, много лет назад говорил мне, что такое будущее предсказывали России западные эксперты. Явлинский, как я понял, считает, что шанс еще есть, только времени остается все меньше.

Посмотрим. То есть, смотреть придется уже детям, нам бы пока доделать свое [...]

Дорогой Марк, обсуждение, о котором ты спрашиваешь, состояло вот в чём: люди собрались в одном из небольших помещений этого ресторана, сидели за столиками. Люди — это была интеллигентная публика, человек 20, может быть, 30, почти все немцы, и разговор шёл по-немецки. Была ещё одна русская чета, был профессор Университета бундесвера, читающий там новейшую историю России, бывший офицер Советской армии, мы довольно долго разговаривали до начала, я с ним познакомился года полтора тому назад в Эйхштетте на одной конференции. Большинство присутствующих мне было вовсе незнакомо. Вообще-то я привык к таким встречам. Особенность этого разговора состояла разве только в том, что речь шла о старой книжке. (Мне пришлось её полистать накануне.) «Миф Россия» был мною когда-то написан по предложению одного писателя и издателя, который читал мои этюды в журнале «Merkur» (потом редакция сменилась, сама я тоже охладел, постепенно связь с журналом прекратилась). Так как книжка предназначалась не для русских читателей, там кратко пояснялось, кто такой Чаадаев, кто такой Герцен, и т.п. Позже один русский издатель в Америке пожелал выпустить её по-русски. В тогдашней русской эмигрантской прессе было несколько злобных откликов, утвердивших мою репутацию русофоба. Немцы, правда, отнеслись к ней иначе. В общем — дела давно минувших дней.

Я сидел за отдельным столиком вместе с Аннелоре Ничке. Она читала отрывки из книги (в её переводе) и задавала мне какой-нибудь вопрос. Я философствовал, а потом задавали вопросы присутствующие — либо сами высказывались. И, надо сказать, всё прошло довольно оживлённо. Темы были в основном такие: возможна ли перемена власти, приход какого-нибудь реалистически мыслящего руководителя, что об этом сказано в книжке и что получилась, глядя через 20 лет; возможна ли демократия в России, что я тогда об этом думал и что получилось; русская интеллигенция, оправдались ли надежды, которые автор книги возлагал на интеллигенцию. И разные попутные сюжеты. Мне, конечно, было интересно послушать, что говорят люди. Сам-то я был уверен, что моё сочинение безнадёжно устарело. Дискуссия как будто это не подтвердила. А вообще говоря, интересы мои передвинулись довольно далеко. Я смотрю на книжку так, словно её написал кто-то другой, и мне, например, было интересней читать о дуализме двух столиц, Москвы и Петербурга, о двух мозговых полушариях русской культуры, чем о каких-нибудь заплесневелых актуальностях.

Должен сказать, что с годами я окончательно утратил интерес к политике — во всяком случае, к «реальной», повседневной политике. Газет я почти не читаю, мне жалко тратить время на эту труху. Ограничиваюсь тем, что утром слушаю последние известия по радио (тот самый канал Bayern-4 Klassik), а вечером мы с Лорой смотрим известия по двум или трём некоммерческим каналам телевидения. Иногда я слушаю дискуссии, выступления комментаторов, которым можно доверять. Время от времени подкатывает чувство какой-то тошноты от бесконечной жвачки, от преувеличенного значения, которое придаётся партийным дрызгам. Как сказала Марина Цветаева, «завтрашняя газета устарела». Как и всюду, бросаются в глаза главная черта журнализма: метание от одной новости к следующей, а для этого приходится прежнюю бросать на полдороге; луч застыл на скользящем сегодня, слегка касается уходящего в тень вчера и пытается задеть краем неудержимо надвигающееся завтра. Им бы следовало помнить афоризм Петера Вейса: *Denke daran, daß heute morgen gestern ist*¹.

Об актуальных событиях в России я имею, конечно, лишь общее представление. На расстоянии подробности кажутся несущественными. Невольно по-иному расставляешь акценты; но это естественно. Потерял ли я вообще контакт с нашим отечеством? И да, и нет.

Явлинский, наверное, прав. Мнение, что Россия всё больше напоминает страны Третьего мира, находит довольно много сторонников.

Обнимаю, твой Г.

4.2.04
CharM140

Дорогой Марк, эпитафия к 3-й главе «Пиковой дамы» гласит: «Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать». Позавчера я послал тебе письмецо, но забыл, что собирался присовокупить несколько рассказиков, не слишком серьёзных, которые я тут насочинял. Жму руку, обнимаю. Твой Г.

[Приложены: «Опровержение Чёрного павлина». «Диспут», «Порнограмма»]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.2.04

[...] Спасибо за рассказы. Первые два показались мне интересными. Читаешь их с ожиданием финала, разрешения; дочитав, чувству-

¹ Помни о том, что сегодняшний день завтра станет вчерашним (нем.)

ешь, что надо перечитать еще раз. Можно бы сказать, что в чем-то скаывается влияние Борхеса — если бы я не знал, что твой стиль сложился задолго до того, как ты про Борхеса услышал.

Третий рассказ («Порнограмма») мне определенно не понравился. Сюжет, верней, завязка — из тех, что обсуждаются у нас сплошь и рядом на телевидении или в газетах; над многозначительной недоговоренностью сейчас бы усмехнулись, какая-то особая свобода, отключенность от мира, может быть, мерещатся впереди автору, но не читателю; читатель такие истории сам может рассказать. У меня в одной повести цитируется объявление, которое я прочел на заборе, кажется, в Калязине: «Парень 19 лет переспит с женщиной не старше 35». Язык теперь такой. Если тебе видится что-то большее, надо досказать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9.2.04

Дорогой Марк, не затронул ли вас с Галей как-нибудь лично страшный случай в метро? Зловещая ирония истории: столько лет восхваляли освободительную борьбу палестинского народа, а теперь эта «освободительная борьба» ворвалась в собственный дом. Между прочим, я заметил — не в связи с этим взрывом, — что вторая некоммерческая программа немецкого телевидения (ZDF), обычно занимавшая довольно отчётливую проарабскую позицию, теперь с этим делом как-то заткнулась.

Твой отзыв о «Порнограмме» заставил меня сильно усомниться в достоинствах этого рассказа. Конечно, я знаю, что сюжет не нов, зачин банален, — это, кстати, тема прекрасного фильма «Порнографическая связь» (там объявление даёт женщина), — и о том, что завязка не новая, сказано в первой строчке рассказа. Меня интересовало другое, в общем-то простая вещь. Случайная связь как способ вырваться из враждебной человеку социальной жизни — из рутины. Путешествие на фантастический остров полной, вакуумной независимости, бегство в иллюзию. Не сам по себе способ знакомства, с некоторых пор ставший вполне банальным, а что из него получилось. Между прочим, объявление, которое ты видел в Калязине, на мой взгляд, — совсем неплохой сюжет; не само по себе объявление, сильно смахивающее на рекламу проституции, а что из этого вышло, как повели себя люди, отнюдь не принадлежащие ни к этому цеху, ни к клиентуре, что ими руководило, чего они хотели, даже если не сознавали этого. Или это начало игры, которая потом оборачивается чем-то серьёзным. Но так

как в моём рассказе это, по-видимому, не прозвучало, мне, возможно, придётся к нему когда-нибудь вернуться, — если вообще из него удастся сотворить что-нибудь путное. Я пытаюсь защитить тему, а не исполнение.

Ты обмолвился любопытным словечком: «многозначительная недоговорённость», над которой, пишешь ты, сегодня бы посмеялись. Очень может быть. Если говорилось о постмодернистской или там постхристианской и т.д. эпохе, то почему бы не ввести термин «постэротическая». Если ограничиться только литературой, собственно литературой, то это вопрос языка и одна из проблем современной литературы. С ней, я думаю, и ты так или иначе столкнулся в Amores novi.

Я писал о репрессивной морали в тоталитарном обществе, оставившем по части ханжества далеко позади викторианскую эпоху. Теперь маятник разлетелся в противоположную сторону, и мы оказались в смешном положении — на мели. Как говорить о сексе? «Словарь любви» (есть такая книжка Ролана Барта) чрезвычайно оскудел. Казалось бы, вся эта область полностью и навсегда растабуирована. Я тут как-то начал читать роман очень модного сейчас Мишеля Уэльбека (Houellebecque) «Элементарные частицы»; ты, наверное, о нём слышал. Соскучился и бросил. Речь идёт о двух братьях-учёных (физиках), но элементарные частицы, если я правильно понял, — это не только объект их исследований, это они сами. Вместе с их окружением. И получается, что скука как бы запрограммирована в романе, где в самом деле всё языковые табу, и прежде всего сексуальные, сознательно (не только, как я думаю, в угоду моде) отринуты. Покончено со всяческим идеализмом и лицемерием. Люди как будто бы вполне раскрепостились. И стало невыносимо скучно.

Между тем «многозначительная недоговорённость» связана с тем, что вся область секса — не только обозначаемое, но и обозначающее. Эротический словарь маркирует нечто само по себе неоднозначное, двойственное, «и то и сё», и вот оказывается, что покровы и туманы невозможно сорвать, не рискуя при этом ободрать и кожу [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.2.04

Слава Богу, дорогой Гена, недавняя трагедия в метро нашей семьи прямо не коснулась. Хотя на этой линии живут мой сын и внук. У Алеси машина сейчас в ремонте, он ездит на метро, но в тот день немного проспал. Ужасно, что такие новости мы привыкаем проглаты-

вать, не поперхнувшись. Промусульманская риторика многочисленных западных моралистов вызывает тошноту. Уже приходилось слышать мнение, что Запад совершил ошибку, признав Израиль. Не было бы Израиля, не было бы проблем с арабским миром.

Вообще с моралью на Западе что-то происходит (про нас не говорю). Убийца и канибал отстаивает перед немецким судом свои права свободного человека. Анатом, называющий себя художником, выставляет эффектно обработанные трупы; среди людей, которые выстаивают очереди, чтобы на это поглазеть, многие ходят в церковь, называют себя верующими. Вспоминают ли они, что любая религия требует умерших упокоить? У нас вот выставлен на обозрение один такой труп — все-таки уже поговаривают, что даже над грешником и преступником нельзя так издеваться, оставлять душу неприкаанной.

Твои слова о том, что маятник в современном обществе качнулся в сторону аморализма, относятся не только к сексу. Значит, Уэльбек, по-твоему, скучен? Я его не читал, но знаю восторженную немецкую прессу о нем. Ты пишешь, что заборное объявление, которое я привел, могло бы стать основой неплохого сюжета: «что из этого вышло, как повели себя люди.., что ими руководило, чего они хотели, даже если не сознавали этого». Вполне возможно. У меня просто воображение не заработало, я этого не написал, людей даже не представил. Но — если вернуться к твоему рассказу — и ты ведь заявленной истории не написал. «Случайная связь как способ вырваться из враждебной человеку социальной жизни — из рутины. Путешествие на фантастический остров полной, вакуумной независимости, бегство в иллюзию». Идея прекрасная — но сочинить саму историю ты предлагаешь читателю. Как это сделать, ничего практически не зная о героях? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

11.2.04

[...] Само по себе советское общество не было, конечно, высоко-нравственным, так же как оно не было вполне аморальным. Оно было в высшей степени ханжеским; собственно, это и означает разительный контраст между чистотой советского человека, каким он выглядел в литературе и других видах «оповещения», пейзажами Исаковского, солдатом Василием Тёркиным и пр., строжайшим запретом всего, что касается нижней половины тела, этим возрождением древней мифологической схемы возвышенного «верха» и низменного «низа» (если герою надлежит погибнуть, он умирает от пули коварного врага, от разрыва сердца, но уж никак не от токсической дизентерии), и так да-

лее, вплоть до импозантного аскетизма какого-нибудь Штирлица, — и реальной жизнью. Секс — это вторая крамола. И можно было бы без труда проследить необходимую связь между цензурой нравственности и политической цензурой, связь репрессивной морали с гнётом тайной полиции. Но я бы не сказал, что общество, посреди которого я ныне нахожусь, отличается разнузданностью; вовсе нет. Помнится, Гриша писал мне однажды о сексуальной революции на Западе так, как будто это всё ещё сегодняшний день. Давно отзвучавшая сексуальная революция (а также пилюля) добилась очень многого, резко понизила порог терпимости, радикально изменила многое в отношениях молодых людей и в отношении общества к молодёжи. Но ни молодёжь, ни общество в целом не сделались более аморальными. Покончено с ханжеством, с тем, что называлось буржуазной моралью, но не с моралью как таковой, некоторые невозможные прежде формы поведения стали общепринятыми — это другое дело. Вместе с тем, однако, образовалась какая-то пустота, точнее, оголённость. Я думаю, что молодые люди, не только девушки, каким-то образом восполняют её, — сформировались новые правила поведения, новые умолчания, новый этикет ухаживания, кокетства, уклончивости, готовности или неготовности ложиться в постель, стратегия женской податливости и женского достоинства.

Если же говорить не о личных отношениях людей (королевский домен литературы), а о политической морали, которую артикулируют, — но и формируют! — омерзительные средства массового оповещения, СМИ на современном русском языке, то я с тобой, конечно же, совершенно согласен. Правда, и оправдание канибала, и выставка препарированных трупов, и многое другое одновременно вызывают активный протест — всё вместе.

Уэльбек, между прочим, недавно поместил в «Die Zeit» статью, в которой объявляет себя (впрочем, уже не первый раз) консерватором и в политике, и в морали, и даже в какой-то мере в литературе. Незадолго до этого он скандализовал либеральную публику, сказав вслух всё, что он думает об исламском фундаментализме и об исламе вообще. И это при том, что он не только писатель, но и шоумен, выступает на эстраде, на чём-то бренчит и т.п. Но писатель он всё-таки — насколько я могу судить по «Частичам» и ещё одному роману, напечатанному в московском толстом журнале, не помню в каком, — скучный.

Зубной врач немец, у которого я бываю в качестве пациента, сказал мне (причём сам начал эту тему), что единственное решение израильско-палестинского конфликта — это «железный кулак», и показал кулак. Никакого другого разговора с палестинцами, по его мнению, быть не может. Так что есть и такая публика [...]

Вчера я просматривал в интернете журнал, который в общем-то никогда не читаю, — «Континент», некогда бывший главным литературным журналом политической эмиграции. Теперь это журнал с православно-христианским уклоном. Там, кстати, время от времени публикуется и Гриша. К моему удивлению, оказалось, что они помещают краткие, но довольно информативные и добросовестные обзоры других журналов. (Не гнушаются даже «Нашим современником».) И вдруг я встречаю, к ещё большему удивлению, своё имя. Критик Мария Ремизова пишет: «Как всегда, актуальна *тема любви*. Но авторов отчего-то все больше привлекают разного рода *негармоничные, неестественные* формы взаимоотношений. Здесь можно обнаружить либо страсть — либо равнодушие. Душевное участие сведено к минимуму. Либо плоть — либо ничто».

После этого несколько примеров, и далее следует Б. Хазанов:

«В повести “Третье время” (“Дружба народов”, № 5) описывает пробуждение эротических влечений у подростка. Дело происходит во время войны в поселке, где практически нет мужчин, зато молодых, исполненных томления женщин более чем достаточно. Подросток романтически влюбляется в одну, но первый сексуальный опыт переживает, разумеется, с другой — после чего пытается совершить самоубийство. Текст донельзя литературный, вычурный и переусложненный отвлеченными умствованиями, якобы принадлежащими тому же герою, в гораздо более зрелом возрасте пытающемуся осмыслить эпизод своего грехопадения».

Странно, может быть, покажется тебе, но этот уничтожающий отзыв произвёл на меня большое впечатление. Я попробовал взглянуть на мою прозу глазами человека другого времени и другого мира: женщины, сравнительно молодой (год рождения 1960), живущей в Москве, более или менее интеллигентной, наконец, профессионального критика. Где-то там говорится, что она сотрудник журнала. И, без сомнения, выражает не только своё изолированное мнение. Справедлив или несправедлив её отзыв — неважно, не в этом дело. Лично мне кажется, что он заслуживает внимания. (Если, конечно, допустить, что повесть прочитана, а не бегло просмотрена и брезгливо отброшена.) Ситуация, описанная в повести, её «тема», вызывает ироническое отношение. Любовь в повести, говоря языком рецензента, неестественна и негармонична, без душевного участия, не любовь, а элементарное пробуждение эротических влечений. Война как контрастный фон этих переживаний не имеет значения. Литературный язык недопустим, он кажется критику вычурным. Рефлексия условного автора внутри художественного (претендующего на художественность) текста воспри-

нимается как абсолютно лишнее, отвлечённое умствование. Короче — литература, которая в наше время невозможна, смехотворна, попросту скучна. И вот я снова думаю: кого может интересовать, кому нужно всё, что я сочиняю?

Однако вот пишу длиннющие письма [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.2.04

Странно, дорогой Гена, если ты впервые обнаружил в прессе критическую глупость о себе. Думаю, мог бы найти их больше и раньше. Я в свое время читал газеты и журналы, натькался иногда на упоминания своего имени. Один шумевший тогда критик, помнится, выразился особенно замечательно: «Совершенно очевидно, что М.Х. абсолютно бездарен». Мне запомнились эти «очевидно» и «абсолютно». Критик, видимо, не сознавал, как роняет себя самого. Невелика честь заметить абсолютно всем очевидное. Но мне ведь как раз перед тем присудили, что ни говори, премию, не все, значит, разобрались, заслугой критика было бы открыть людям глаза, объяснить, показать. Только для этого надо было бы хоть прочесть текст, по возможности внимательно, проанализировать, подтвердить свою мысль убийственными цитатами. А для таких безапелляционных суждений незачем даже читать книгу. В статье вообще шла речь не обо мне, критик лягал, кажется, Окуджаву, хлесткая фраза была пристегнута просто так, попутно.

Даже глупости задевают, конечно, иногда ранят больно. В «Стенографии» я отмечал, как задевали критические уколы самого Томаса Манна. Общепризнан, казалось бы, живой памятник, вокруг хор похвал. Нет, отмечал среди этого хора редкого недоброжелателя, долго не мог успокоиться. Недоброжелатели, впрочем, бывали не мелочные, вроде Мушга. Давным-давно, когда меня не печатали, я собирал отзывы устные и говорил друзьям-читателям: критикуйте, указывайте на недостатки, я постараюсь исправиться. И сейчас, как ты знаешь, прошу — пока работа не напечатана. Оценочной критикой я с некоторых пор интересоваться перестал — уже не исправлюсь. И нервы спокойнее. Полезен бывает содержательный анализ, но это сейчас редкость.

Отзывы до меня доходят, когда мне желают их сообщить. Например, когда отказываются напечатать — но рецензий с обоснованиями для этого сейчас не требуется, да мне и не нужно. Или когда знакомые хотят, наоборот, сообщить что-то приятное. Неделю назад, например, мне одна за другой позвонили две женщины (одна — еще моя школь-

ная одноклассница): они услышали по радио мой рассказ «Музыка», были в восторге. Радио называлось «София», цикл передач «Восхождение», по этим названиям можно было определить, что радио православное. Оказалось, действительно так. Я с ними связался, спросил, почему меня не поставили в известность, знают ли что-то об авторских правах, поинтересовался гонораром. Разговор, впрочем, был вполне доброжелательным, мне объяснили, что радиостанция нищая, наговорили комплиментов. Не судиться же с людьми, которые пропагандируют мое творчество. Я свой рассказ совершенно забыл, перечитывать себя вообще не люблю, но тут взял почитать. Действительно, вполне можно воспринять рассказ и как христианский [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.2.04

Дорогой Марк, я сейчас снял с полки и перечитал рассказ «Музыка» (во втором томе Избранной прозы 1994 г.). Тогда, почти десять лет тому назад, он мне очень понравился, о чём я тебе, кажется, писал; это же впечатление повторилось и сейчас. Почему этот рассказ был сочтён однозначно христианским? Догадаться, конечно, можно, ведь объяснили же нам, что чуть ли не вся русская культура и литература — христианская. (В противоположность западной.) Результатом этой мании стало то, что слово «христианский» расплылось до полной утраты сколько-нибудь внятного значения. (Как и противопоставляемое ему словечко «постмодернистский».) Возможно также, что редакторов православного радио подкупил некоторый как бы славянофильский мотив: Брусиловский не зря стал жирным преуспевающим бизнес-музыкантом, творцом и исполнителем искусственной математической псевдомузыки: набрался этому в Париже; мы, единослышашие, обрели здесь, в России, «кое-то... утраченное или искажённое более благоустроенным миром», и т.д. Сюда же и монастырская стена, осквернённая, но устоявшая, вопреки всему, колокольный трепет, услышанный внутренним слухом, упоминания о Творце.

Нет, конечно, какое там христианство, — рассказ может быть расценён и как пифагорейский, и как индийский; есть, конечно, что-то и от Гессе, и даже от Шопенгауэра. Кстати: помнишь ли ты, как в одном разговоре с другом Адриан Леверкюн говорит о том, что музыку вовсе не обязательно играть, исполнять, однажды созданная, она существует сама собой, вне акустического звучания.

Рассказ прекрасен (чему не мешает некоторая, слегка сквозящая предсказуемость: необходимо, чтобы Артеев — значащая фамилия, от

ars, artis? — потеряв способность слышать музыку мироздания, утратив связь с гармонией, умер. Хотя бы несчастный случай и был внешне мотивирован: упился. Ждешь, что Артеев свалится и помрёт). Слог идеально отвечает содержанию; быт сливается с мистикой; наконец, многозначный, пронизывающий всю ткань повествования символизм рассказа, так сказать, двусторонен, обоюден, что я особенно ценю; означающее и означаемое постоянно меняются местами. То, о чём вам рассказывают, всегда отсылает к чему-то другому, а это другое, в свою очередь, оборачивается конкретикой. И, наконец, главное: любые интерпретации по необходимости будут выглядеть грубо односторонними; исчерпывающее толкование невозможно.

Ты пишешь о «критических глупостях». (От них, впрочем, никто не застрахован.) В русской печати я очень редко встречал упоминания о себе. Конечно, мне было обидно неожиданно прочесть вскользь брошенное замечание М. Ремизовой. Но оно мне показалось симптоматичным. Оно обронено не зря. В нём, по-моему, отразилось то, что можно назвать современной российской литературной философией, — распространённый вкус и образ мыслей. Они несовместимы с моим вкусом (и, вероятно, твоим), с нашими представлениями о литературе, моими даже больше, так как я живу вне российского общества. И это наводит на грустные мысли. Эта Ремизова — своего рода привет от берегов отчизны дальней.

Но, как сказано у Бабеля, «папаша, пейте и закусывайте. И пусть вас не волнуют этих глупостей» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.2.04

Как ты знаешь, дорогой Гена, меня сочли достойным прозвучать по православному радио. А недавно известный тебе еврейский журнал «Лехаим» предложил мне дать что-то им. Я просмотрел прошлогоднюю «стенографию» и сделал для них подборку на еврейскую тему. Вот тебе два небольших фрагмента, связанных с именем покойного Маркиша.

«Прочел в «Иерусалимском журнале» № 6 очерк Шимона Маркиша о Григории Богрове, русско-еврейском писателе («Третий отец-основатель».) Очерк был закончен в июне 2001, месяца полтора спустя Сима приехал к нам в Chateau de Lavigny, упоминал эту работу. Читая, я сомневался: что он мог найти во мне, таком не настоящем еврее? А ведь приехал, издалека, и потом звонил, заинтересованно тянулся по-

говорить. Богров рассказывает русскому читателю о евреях вещи малоприятные. Но кто вообще в ту пору мог рассказывать русским об этом малоизвестном племени? Даже этнографического интереса как будто не было, о цыганах, кажется, знали больше. Они хоть плясали и пели для публики. Оказывается, отец запрещал Богрову изучать русский язык. Считалось более правильным не знать язык страны, в которой живешь. Как могло возникнуть понимание культуры, быта, которые таились от посторонних? Выход из гетто становился ассимиляцией, которая Маркишу, как я понимаю, чужда.

А распространенная неприязнь, почти презрение к выкрестам — как к предателям, совершившим грех! Вспомнилось, как в Дюссельдорфе немецкий художник с польской фамилией Tadeusz сказал мне: «Я член еврейской секты...» — тут я напрягся, но он продолжил: «которая называется католицизм». («Judischen» — можно перевести и «иудейской».) Общеизвестно: Христос, в конце концов, был одним из еврейских сектантов, апостол Павел (фанатичный иудей Саул) сделал его учение не достоянием избранной нации, а мировой религией. Строгие традиционалисты могли считать это ересью — их право.

А сын самого Шимона Марк сейчас монах в православном монастыре в Иванове.

«Если бы я мог его об этом спросить!»

О Горенштейне я сам тебе уже писал — отчасти повторяюсь.

«В «Иерусалимском журнале» темпераментная, очень субъективная статья Симы Маркиша памяти Фридриха Горенштейна (уже год прошел после его смерти — как быстро!) Маркиш солидаризуется с мнением режиссера Левитина: главное в Горенштейне — его еврейство... «Иерусалимский журнал» снова погрузил меня в атмосферу еврейской проблематики, еврейского взгляда на мир. Недавно я по совпадению попробовал перечитывать библейских пророков: Исайю, Иеремию. Мощный темперамент, яростный дух — и все обращено к единственному народу, своему, избранному Богом. Бог един, да, но это Бог еврейский; если евреи будут себя хорошо вести, Бог покорит им другие народы. А вчера взял перечитывать «Псалом» Горенштейна, который Маркиш считает высшим его достижением; прочел пока первую главу. Это действительно мощный писатель, история девочки из голодающей крестьянской семьи потрясающая, впечатляет библейская стилистика пассажей о Дане-Антихристе. Но как соединяются эти две линии? Какую миссию призван исполнить Дан среди чужого народа, на чужой земле, где, кроме него, пока не встречается других евреев? Свои дети, пусть злые, лучше чужих добрых псов. Что-то во мне со-

противляется этому взгляду на мир сквозь еврейскую призму (так же, как сквозь русскую, любую другую). И как, почему это должны принять другие народы? Другие тоже сознают и отстаивают свое своеобразие, но избранничество, единственность — дело другое. Сознание своего избранничества, единственности перед Богом предопределяет трагическую историю народа. Поделиться этими мыслями с настоящими евреями опасно — признают в тебе не настоящего еврея».

Так, похоже, и оказалось. От журнала пока никакого ответа, я не спрашиваю. Там и другие мои заметки не слишком для них ортодоксальны. Существует своего рода еврейская цензура. Когда Галя готовила свою выставку в Еврейском культурном центре, ее предупредили, что картины с обнаженным телом выставлять нельзя. А этот народ, между прочим, дал миру хотя бы Шагала, не говоря о Песни песней.

Вот на таких пересечениях, переплетениях мы живем, дорогой Гена [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.2.04

Дорогой Марк, взгляд покойного Сима на «Псалом», на творчество Горенштейна вообще, всегда представлялся мне зашоренным. Сима отстаивал концепцию русско-еврейской литературы, сам был теоретиком этой особой литературы. В фундаментальной статье «Р.-евр. литература» (в VII томе «Краткой еврейской энциклопедии», теперь уже почти завершённой) он даёт ей такое определение: «Художественное и публицистическое творчество на русском языке писателей-евреев, отражавших еврейскую жизнь с позиции самоидентификации со своим народом». Там много говорится о писателях XIX и первой трети XX в., к которым это определение можно кое-как приспособить, но дальше оказывается, что единственный по-настоящему крупный русско-еврейский писатель — это Горенштейн. Многие знаменитые имена, Эренбург, Слуцкий, для этой рубрики не подходят, не говоря уже о Пастернаке или Болжском, даже Бабель вызывает некоторые сомнения, и т.д. Рассуждения в этом роде, как и сама дефиниция, кажутся мне в большой мере искусственными. Русско-еврейский писатель Горенштейн — пусть будет так, но он принадлежит русской литературе, и ничего тут не поделаешь. Главное у Горенштейна — его еврейство? Да; как и его русскость. Об этом я, впрочем, много писал. Вспоминаю статью Гриши в «Литер. газете» о романе «Псалом» (который мы когда-то издали в Мюнхене с иллюстрациями покойного Бори Рабиновича), он рассуждал на религиозные темы, кое в чём уп-

рекал Фридриха и, по-видимому, остался совершенно глух к художественной мощи этого романа, пластике женских образов, трагическом юморе. Боюсь, что и Сима просмотрел слишком многое. Русская литература вообще немыслима без еврейского участия, как и немецкая, как и французская, испанская, итальянская.

Каким образом можем мы «идентифицировать» себя? Ты называешь себя сомнительным евреем. Я бы так не сказал ни о тебе, ни о себе, я просто (как и ты) еврей и русский интеллигент. Добавлю, что я никогда не видел противоречия между двумя этими определениями — двумя сторонами одного и того же.

Здесь, в Германии, вся эта проблематика вообще неактуальна. «Пятый пункт» отсутствует; если в моём Personalausweis стоит: deutsch, то это означает не этническую принадлежность, которая никого не интересует, а гражданство. Обо мне знают, что я еврей, ну и что? Актуально, как тебе хорошо известно, другое. Как-то раз я написал небольшой этюд на тему, которая меня занимала; речь, правда, идёт больше о России. Посылаю тебе на всякий случай [...]

Я читаю всякую всячину, чаще, впрочем, перелистываю; то и дело возвращаюсь к «Стенографии». Тут как-то раз ночью наткнулся на место, читанное, конечно, и прежде: беседы с покойным С.И. Липкиным, стр.418 и далее. Липкин рассказывает о Василии Гроссмани, разговор у них идёт о опасности еврейской депортации «в нашей фашистской стране», по выражению Липкина. Ты спрашиваешь, неужели он так думал уже в 46 году, на что С.И. отвечает: «Да, я уже многое понимал».

Удивительный разговор; в сорок шестом году Липкин был взрослым и даже не совсем уже молодым человеком. В 44 году, когда мне было 16 лет, мы вернулись из эвакуации, я продолжал вести в Москве свой дневник (увы, уничтоженный позднее, когда я и мой товарищ ожидали ареста), и в этом дневнике, году в 45-м, я прекрасно помню, стояло: «В нашей стране фашизм». Вот что значит разница поколений: то, что для старших — результат мучительного опыта, долгих сомнений и колебаний, для юнцов есть нечто почти уже само собой разумеющееся. Правда, я тогда думал, что совершил открытие [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.2.04

[...] Еврейская тема имела продолжение. Нас с Галей пригласили на презентацию книги «Евреи и XX век» в Еврейский культурный центр — не тот, что на Б.Никитской (бывш. Герцена), а тот, что в

Марьиной Роще. В Москве есть, оказывается, разные Еврейские культурные центры, есть даже разные раввинаты: один ортодоксальный, другой любавичский (хасидский), они как-то конкурируют. Большое многоэтажное здание, разные залы, концертный, банкетный. Совсем незнакомая мне публика, выступали разные люди, в том числе главный раввин (ортодоксальный, как я понял), была замечательная музыка, потом, естественно, фуршет. Книгу нам подарили: толстенный том, больше тысячи страниц, перевод с французского, аналитические статьи на разные темы, раздел «Знаковые фигуры». Я начал читать вразброд, есть много интересного — но это особый разговор.

Твой рассказ — скорей эссе в форме письма. Что тут скажешь? Освенцим — конечно, слово знаковое. Хотя есть еще и другие. Гулаг, например. Мы здесь, во всяком случае, чувствуем себя живущими не только после Освенцима, но и после Гулага (совсем ли после?). Ты, может быть, больше, чем я?

Недавно я получил письмо от литературоведа Марка Липовецкого (Лейдермана). Он когда-то обо мне писал, сейчас преподает в каком-то американском университете. Летом он приезжал в Москву, зашел в гости. Я подарил ему свои книги, его заинтересовала моя эссеистика. В письме упоминается твое имя, поэтому приведу тебе цитату:

«Насчет «Трех евреев» мое разногласие с Вами тоже, как ни странно, связано с Беньямином, которого Вы упоминаете как параллель: покончил с собой в процессе эмиграции. Это все-таки не совсем так — и совсем не так в контексте вашей мысли: он покончил с собой, когда их задержали на испанской границе, и он испугался, что ему не дадут эмигрировать. У Вас же три самоубийства складываются в притчу о том, как губительная для умных русских евреев эмиграция. Мне это не кажется убедительным, и к самоубийствам Габая, Крабчиевского и Якобсона можно подобрать другие ключи. Конечно, вы их знали, и Вам виднее. Но ведь есть и другие причины, вроде Израиля, или же советских комплексов — жили взаперти, и вдруг на волю, и даже просто-напросто: язык и его незнание, и вынужденная изоляция. Почему-то те евреи, что уехали с языком, вроде Бродского или Хазанова, подругому решали эти вопросы. Мне в Вашем эссе не хватило рефлексии, насколько антисемитизм превратился в самоненависть, ведущую к самоубийству. Насколько советскому еврею хотелось доказывать, что он не еврей, а русский или лучше советский, что все *другое* — т.е. еврейское кастрировалось и душилось своими руками. Читали ли Вы Леонида Гиршовича? он, по-моему, неплохо об этом пишет».

У нас оттепель, в городе слякоть, в лесу снег еще белый. Зима хороша, когда можно ходить на лыжах, в этом году она была очень

красивая. Но вот она кончается. Мартовский пересменок — у нас не лучшее время года. По телевизору видишь, что в Европе ходят уже налегке [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

1.3.04

Дорогой Марк. Мне нужно будет перечитать эссе «Три еврея», так как, помнится, я понял эту работу несколько по-другому, чем М.Липовецкий (имя мне незнакомое); во всяком случае, я не истолковал её как притчу о гибельности эмиграции для русских евреев. Это противоречило бы всей многолетней истории еврейской эмиграции из России [...]

Ты пишешь: «Мы здесь чувствуем себя живущими не только после Освенцима, но и после Гулага». Кто спорит? Но мне вспомнилась одна из наших маленьких полемик с Гришей. Он однажды сочувственно процитировал слова Татьяны Великановой, весьма достойной женщины: для меня, сказала она, Магадан ближе (или важнее, точно не помню), чем Освенцим. На что я ответил, что нахожу эту сентенцию постыдной. Почему? Потому что она подтверждает то самое, о чём написано в моей статье: что Освенцим отсутствует в сознании российской интеллигенции, как он отсутствовал в сознании бывшей советской интеллигенции, не говоря уже о «народе».. Потому что я не в силах понять эту иерархию зла: Гулаг «важнее», нет, «важнее» Освенцим. Потому что слова Великановой и соответственно гришины слова означают: не наше дело; пусть немцы разбираются со своими евреями; нас Катастрофа не касается [...]

4.3.04

Дорогой Марк, я замечаю, что в последние годы впал в постыдную зависимость от России, точнее, от российских литературных дел. То и дело роюсь (при помощи Интернета) в журналах, трачу время — сколько его ещё осталось? — на чтение критических статей, дурацкого толчения воды в ступе, на писание никому не нужных рецензий. Зачем? Вот ведь ты обходишься без всего этого. Не говоря уже о попытках издать что-либо. То и дело я слышу об издательском кризисе: книжные предприниматели жаждут немедленной прибыли и не видят смысла выпускать что-либо, кроме мусора. Я могу понять Сороса, плюнувшего на всё это дело. Зато у меня есть прекрасная идея: вос-

пользоваться опытом нашего поколения. Живи я в Москве, я предложил бы восстановить институт Самиздата. В самом деле, если литература, заслуживающая этого названия, обходится так дорого, если очень немногие в состоянии приобретать, а главное, читать серьёзные книги и литературное сообщество в целом представляет собой тесный круг понемногу вымирающих энтузиастов, почему бы не размножать рукописи на компьютере, не распространять их, как некогда распространялся Самиздат, среди друзей и знакомых. Да и переплетать самим. Таким же манером можно было бы выпускать литературные журналы, и на кой чёрт вообще нужна вся эта жадная сволочь — издатели, типографщики, торговцы бумагой, книжные продавцы и пр. Ей-богу, литература от этого бы не пострадала. Наоборот — освободилась бы от паразитического нароста. В обществе, которое постепенно складывается в России, Самиздат — гораздо более подходящая форма её существования, чем попытки возродить традиционное, мгновенно принявшее хищнический характер и всё равно не окупающее себя книгопечатание [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.3.04

Не знаю, стоит ли комментировать, дорогой Гена, твою ностальгию по машинописному самиздату. Ты бродишь по интернету и лучше меня знаешь, что этот самиздат разросся нынче до размеров необозримой свалки, пусть электронной. Образовалось обширное сообщество, которое противопоставляет себя литературе «бумажной». Они друг друга знают, обсуждают, читают, присуждают даже свои премии. Да и в «бумажной» литературе самиздат несравним с прежним. Принтеры — не то что примитивные пишущие машинки, есть и типографские возможности. Если найдутся небольшие деньжата, а еще лучше спонсоры, можно себя издать, потом дарить, даже продавать в фойе какого-нибудь собрания или в электричках. На жизнь этим, правда, не заработаешь. Но, главное, читателя не найдешь. Можно, конечно, предположить, что в этих навалах затерялись незамеченные гении. Я задавался таким вопросом в советские времена, когда у многих еще оставались в ящиках потенциальные шедевры. Ничего особенного не проявилось — кроме того, что мы уже тогда знали. Теперь на цензуру не сошлешься. Умолчим о присутствующих, но почему-то сейчас мы, почитывая, морщимся. Я, помнится, спрашивал тебя, не знаешь ли ты в Германии, вообще на Западе кого-то из новых, действительно значи-

тельного. Ты называл мне два-три имени, прозвучавшие уже лет тридцать назад. Не будем сетовать на время и место. Пока сами пишем, можно считать, что главное еще не сказано. И надеяться, что время все выявит, поставит на свои места. Хотя оно, конечно, не может обойтись без помощи людей.

Недавно я прочел у одного свежевылупившегося литератора, что «Сандро из Чегема» — не более чем растянутый анекдот. А Фазиль вчера отмечал свое 75-летие, и действительно классическому «Сандро» уже лет тридцать. При нашей недавней встрече он мне сказал, что ему сейчас не пишется. Поздравить его по телефону не удалось, телефон был отключен, по всем программам телевидения его чествовали. На мероприятие в ЦДЛ я не пошел — там чудовищная толкучка [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

7.3.04

Дорогой Марк, мою блестящую идею возродить Самиздат ты не принял всерьёз, чего она, очевидно, и заслуживает. Und trotzdem!¹ Интернет, попытки противопоставить себя «бумажной» словесности, вся эта дилетантская мазня, горы мусора и потоки экскрементов, — я имел в виду не это, а Самиздат в его классической форме: во-первых, рукописи, во-вторых, немногочисленное, совершенно обособленное сообщество пишущих и читающих. И, конечно, ничего не поделаешь, свобода от материальной заинтересованности. Касталийская утопия. Полная безнадега. Нетопленная башня слоновой кости, где кутаются в тряпье, клацают зубами от холода. Но ведь это только логическое завершение нынешней ситуации. Даже если нашёлся спонсор — что толку? Серьёзную книгу прочтёт ничтожная часть публики. Критики на неё не откликнутся (и слава Богу). Автор не будет «раскручен». Магазины не возьмут книгу, которую никто не купит. Никто не повезёт её в другие города. Одна радость — будет стоять на полке у сочинителя. Я говорю не о себе: я живу далеко, отрезанный ломоть.

Мы никак не можем отделаться от традиционного представления о роли и месте литературы. Не можем понять простую истину: что центральная проблема, смысл, назначение литературы — не служение («народу» или Мамоне), а свобода. Между тем общество изменилось, и ситуация литературы приблизилась к тому, что давно уже имеет место в музыке, в изобразительных искусствах, а также в теоретической

¹ И всё-таки! (нем.)

науке. Собственно, никакого «места» нет. В массовом коммерциализованном обществе нет места для новой музыки или для физики микромира; есть полупустые залы и таинственные институты, есть ниши, где прячутся адепты этих сект.

Между прочим, — ты упомянул Фазиля, — я помню, как я присутствовал на его 50-летию, тоже отгроханном где-то, не помню где, с помпой. Последний раз я виделся с ним года два назад. Он произнёс речь в Баварской академии, в качестве новоизбранного члена. В этой речи он говорил об «африканизации» культурных стран. Публика слушала вежливо, вежливо аплодировала, но было очевидно, что он посягнул на некий этикет. Называется этот этикет дурацким словом *multikulturell*, по-русски — Божий дар с яичницей. Потом я провожал Фазиля и Тонию до гостиницы [...]

Ты удивишься, но я снова занимался рассказиком с объявлением на заборе. Импульс дали и твой отзыв, и даже замечательное предложение, о котором ты упомянул: «Парень 19 лет переспит...» Появились новые мысли, вся концепция сдвинулась. А вообще — тошно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.3.04

[...] Я втягиваюсь в медленную, еще не совсем ясную работу, читаю все больше стихи, из прозы — перечитываю по страничке «Школу для дураков» Саши Соколова. Тоже своего рода поэзия, и поэзия незаурядная. Эта книга написана лет тридцать назад, ничего сравнимого с ней у него больше не было, последние лет пятнадцать-двадцать он, кажется, вообще не пишет. Возможно, почувствовал, что такого уровня уже не достигнет, а имитировать литературную продуктивность не захотел. Я бы его мог понять. Достаточно одной такой книги, чтобы ему завидовали создатели многотомных собраний. Я пока пишу с чувством, что главное все еще впереди.

Как тебе работается? Знаешь, мне иногда вспоминаются эпизоды, разбросанные по твоим письмам. Петух с от мороженным гребнем, оркестр заключенных на лесоповале, ощущения на австро-германской границе. Драгоценнейшая мозаика. Я, помнится, уже тебя убеждал по другому поводу: если бы ты написал об этом! Фрагментарно, без сюжетной связи, перемежая попутными размышлениями, литературными, историческими, а может, набросками, эпизодами из незавершенных замыслов. Я понимаю, как сомнительны и даже нелепы любые советы со стороны, ты однажды уже с усмешкой

отмахивался от назойливого моего жужжания. Но, право, грешно оставлять не записанным такой несравненный опыт, жизненный, интеллектуальный. У меня все же чувство, что такая книга могла бы стать для тебя главной [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.3.04

Дорогой Марк, я помню, как мы гуляли у Плаасов, по дороге мимо дома и в овраге, и ты возразил, сказав, что «Школа для дураков» — талантливое произведение. Я до этого, ещё в Москве, прочёл начало книги, дальше читать не смог. Прав был, судя по всему, ты, а не я. Но я так и не удосужился прочитать «Школу», а позднейшие тексты, одно кокетливое выступление в журнале и особенно роман «Палисандрия» отбили и вовсе охоту читать. Видимо, напрасно.

Жанр, о котором ты пишешь, конечно, очень соблазнителен. *В его вместительную раму ты вставишь ряд картин, откроешь диараму.* Хотя возникает подозрение, что такая мозаика — в некотором роде симптом инвалидности. И, самое печальное, это относится ко мне. Я даже стал писать, дней десять тому назад, что-то подобное, что-то на эту тему, отчасти под влиянием последнего тома дневников Т. Манна (1953–1955). И бросил. Начало было такое:

«Вот я сижу и думаю... Рука, столько десятилетий сжимавшая перо, исписавшая пуды бумаги, вот эта самая рука с лиловыми венами, измятой кожей, трудно поверить, вновь, когда уже всё сказано, всё изжито, колотит по клавишам, глаза вперяются в экран, — неужели я ещё жив, ещё в состоянии выдавливать драгоценные, густые капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе, всю жизнь писал о себе; но лишь при условии, что моё «я» отторгалось от меня; ибо я рассматривал свою жизнь как сырьё, как нечто достойное внимания лишь в той мере, в какой оно может служить материалом для литературы. Тот, кто не может раздвоиться и пересоздать своего двойника в новое и независимое существо, тот не писатель. Затевая новую книгу, словно отправляясь в новое путешествие, я ехал инкогнито; теперь я могу откинуть капюшон, снять чёрные стёкла и отклеить искусственную бороду. Я больше не «художник». Я — это просто я и больше никто. Поразительное чувство раскрепощения на пороге смерти.

Полтора или два месяца сидения в яме, называемой творческим кризисом, убедили меня, наконец, что на сей раз это не кризис. Это конец. Все замыслы, едва родившись, рассыпаются в прах.

Но удивительно, что известие, которое должно было бы окончательно сокрушить меня, известие это меня же и приободрило».

Вот такие дела [...]

Перечитывал «Конвейер», страницы о Музиле и эссеизме, это тоже как-то ободряет.

У нас почти лето, но завтра, кажется, снова будет холодно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.3.04

Дорогой Гена, я не совсем понял фразу из твоего письма, вернее, из пассажа, которым начинается задуманное повествование: «Но удивительно, что известие, которое должно было бы окончательно сокрушить меня, известие это меня же и приободрило». О каком известии идет речь? Само начало написано прекрасно, хотя есть чувство, что стиль традиционных мемуаров вызывает у тебя внутреннее сопротивление. Стиль возможен разный, переменный, свободный. Можешь, скажем, попутно отвечать докучливому (неназванному) корреспонденту, можешь рассказать о неосуществленном пока замысле, привести эпизод, который уже получился, заглянуть по ходу дела в дневниковую краткую запись, по памяти наполнить ее подробностями, отвлечься на литературную полемику, на сегодняшний поход к зубному врачу или в оперу, вспомнить музыкальное впечатление молодости.

Но, конечно, все это фантазии постороннего, у тебя получится потвоему. Успеха тебе, дорогой. Пиши [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.3.04

Дорогой Марк, я перечитал своё письмо и не знаю, что тебе ответить (насчёт «известия», которое приободрило автора), кажется, там должна была идти дальше какая-то история. Конечно, проект сочинения в таком роде, я уже говорил об этом, весьма привлекателен. Тут, среди прочих вопросов, — обсуждение которых, впрочем, опять-таки может быть включено в материал, — встанёт проблема литературности. Ты не зря обмолвился, что стиль традиционных мемуаров может вызывать внутреннее сопротивление. У меня в старом романе «Далёкое зрелище лесов» герой, неудачливый писатель и беглый муж, приезжает в глухую деревню, чтобы написать для себя что-то вроде отчёта о собственной жизни, но то и дело замечает, что «написать», собствен-

но, означает сочинить: его «я» непроизвольно отделяется от него, превращаясь в литературный персонаж. То есть в нечто живущее собственной фантомной жизнью. Само собой, и это может стать, в свою очередь, предметом рефлексии — и так далее, и в конце концов личность автора плывёт и исчезает в анфиладе зеркал.

Ох, не знаю... Представь себе великолепно сотканную, узорную паутину, а паука нет: весь израсходовался.

Позавчера я был на демонстрации большого, почти двухчасового документального фильма под названием «Bilder finden¹». Два немецких кинорежиссёра, отец и сын, занялись поисками настенной живописи в Дрогобыче, отыскиали дом, который занимал в начале 40-х годов ээсовец и местный специалист по еврейскому вопросу Феликс Ландау, своё имя он получил от отчима-еврея. Стены расписал на сюжеты детских сказок Бруно Шульц, которому этот Ландау покровительствовал. Другого SS-Mann'a, который убил Шульца, звали Карл Гюнтер, его следы затерялись.

Лет десять назад Петер Лилиенталь, один из представителей Нового немецкого кино 60-х годов, автор замечательных фильмов, недавно умерший, принёс мне томик Шульца по-немецки, был проект создать фильм по мотивам рассказов Шульца, Лилиенталь предложил мне сочинить какую-нибудь прозу на эту тему, что я и сделал (повесть «Чудотворец»). Сам Лилиенталь написал treatment². Из проекта ничего не вышло, не нашлось спонсора. Но, так или иначе, я увлёкся прозой Шульца, а также его рисунками, был даже, если не ошибаюсь, первым, кто говорил о нём на русском языке по радио. Позже я снова занимался Шульцем, кое-что писал и т.д. Так что многое, о чём говорилось в фильме «Bilder finden», мне было известно.

Следы живописи были найдены, начался ажиотаж, из Израиля приехали представители Центра памяти Яд-Вашем, каким-то образом умудрились выломать поверхность двух стен с этими остатками и увезти к себе. Ты, наверное, об этом слышал [...]

CharM150

1.4.04

[...] Мне хотелось бы написать какой-нибудь не слишком длинный этюд о любимых книжках. Что-то в pendant к статье Андре Жида «Десять французских романов, которые...», может быть, она тебе подалась. Там он отвечает на вопрос какой-то газеты (это известная

¹ «Найти картины» (нем.)

² сценарий (англ.)

игра): если бы пришлось провести остаток дней на необитаемом острове, какие десять книг вы увезли бы с собой? В самом деле, какие? Лучше, конечно, было бы не 10, а 15 или 20 — не книг, а просто произведений, и, само собой, писателей, которых уже нет в живых. Мне пришли в голову такие: «Герой нашего времени», «Египетские ночи», «Жена» Чехова, «Золотой ключик» Алексея Толстого», что-нибудь Борхеса, оды Горация (впрочем, стихи включать не будем), письма Флобера, «Башня чёрного дерева» Дж. Фаулза, «Три женщины» Музиля, «Доктор Фаустус»... что ещё?

Почти всё время сижу дома — длинные, длинные вечера, когда становится особенно тошно, — Лора работает, — что-то перелистываю, с отвращением (честное слово, но так всегда бывает вечером) вспоминаю написанное, пытаюсь смотреть телевидение, которое деградирует не по дням, а по часам, слушаю музыку. Но иногда, изредка, как ни странно, выступаю с чтениями. Только теперь это не немецкая публика, как бывало прежде много лет подряд, а русская. Удивительно (кажется, я уже об этом писал), как живучи литературные высылки. Эту эмиграцию хоронили и на рубеже 20–30-х годов, и в 70-х, и когда началась перемены; и она действительно вымирала всякий раз; ан нет, глядишь, опять воскресла, опять новые люди появились, которых унесло из отечества, словно смыло волной в океан. В этот раз я читал статью к 50-летию смерти Сталина (которая год тому назад в Берлине вызвала бурную дискуссию, но теперь к ней отнеслись как-то мирно, не оттого ли, что Ус уже не моден) и два рассказика. Читаю и не могу понять, как воспринимается моя проза, воспринимается ли она вообще или это просто медь звенящая и кимвал бряцающий

У нас теперь редко бывают гости, но на прошлой неделе были старые друзья, граф и графиня Rechberg. Ему за 80, он без правой руки (что не мешает ему водить машину и пр.), стал инвалидом в 23 года после тяжёлого ранения под Новгородом. Католическая консервативная семья, жена говорит: я не читаю литературу, написанную после 1945 года. Тогда я спрашиваю, а как же Доктор Фаустус. — Ну, это почти что. Длинный разговор за столом о войне, об отношении к нацизму, о Двадцатом июля [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

3.4.04

[...] Для меня оказался неожиданным список книг, которые ты бы взял с собой на необитаемый остров. (Незнаком мне лишь Фаулз.) А

почему не берешь стихи? Я бы взял скорей их, романы я последнее время читаю с трудом. Хватило бы даже стихов, которые я знаю наизусть (если не откажет, конечно, память).

Который раз меня устыжает твоя продуктивность. Задуманный этюд, сочинение «страниц на двадцать». А я уже месяца три бьюсь над десятком страниц, переделываю, не продвигаюсь, на другое не отвлекаюсь. И тебе написать нечего. А ты еще выступаешь с чтениями. Что за публика собирается, какого возраста? Обсуждают ли потом прочитанное? Какую «бурную дискуссию» могла в Германии вызвать статья о Сталине? (Ты мне об этой своей работе не писал).

Недавно я встречался с Фазилем на юбилее нашего общего товарища. Он был в мрачном расположении духа; это настроение, сказал он мне, отчасти выразилось в стихах, которые напечатаны в февральском номере «Знамени». (Читал ли ты их? Посмотри.) Я сказал, что могу это понять, но взгляд на молодых людей помогает отчасти выправить настроение: они в эту жизнь вписались. В ответ Фазиль стал ругать своего Сандро: он ничего не читает, книги отбрасывает, с ним невозможно говорить. У всех, конечно, по-разному. Я со своими детьми, даже со старшим внуком общий язык пока нахожу. Этому Сандро сейчас 21 год, я помню его очаровательным малышом. Тоже известное дело. Я с интересом иногда прислушиваюсь, о чем говорят, о чем поют молодые люди. Почему мы им должны быть интересны? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

4.4.04

Дорогой Марк, я сейчас закончил рассказ. Какая там продуктивность... Я листал в последние несколько недель дневники Т. Манна его последних лет; сколько там страха, что всё кончилось, колодец иссяк! Я всё думаю о том, что нужно вернуться к «нарративу» — идиотское словечко, то есть к рассказыванию историй, съезжаю в беллетристику, а с другой стороны, невозможно отделаться от доморощенной философии; главное же, всё это — коротенькие вещицы, на «большое дыхание» силёнок не хватает. Сегодня воскресенье, я прошёлся до ближайшей бензоколонки, тишина, улочки вокруг нас пусты, где-нибудь на углу стоит девочка, рядом сидит на задних лапах собака, проедет велосипедист, и более ни души. Весна, жидковатое солнышко, но деревья всё ещё как будто не верят, что стало тепло и пора бы уже распускаться.

Что взять с собой на необитаемый остров. Стихи я бы исключил, так как их очень много, непонятно, брать ли книги или циклы стихов, или отдельные стихотворения; достаточно того, что я уже составил однажды антологию. Она коптится где-то в «издательском доме Время» [...]

Есть стихи, которые вошли в состав крови, и, например, меня корбит от глупостей о Блоке и Тютчеве, которые можно прочесть в книге С. Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Сокращённый список поэтов (для необитаемого острова) можно, конечно, составить: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Ахматова, Рембо, Гораций, Гёте, Мандельштам, — ну, и так далее, ты всё это знаешь.

Я прочёл стихи Фазиля во 2-м номере «Знамени». Хорошие стихи, профессиональные, грустные, очень искренние, без открытий. К числу мало— или вовсе неудачных я бы отнёс «Мировую политику»: это хлесткий рифмованный фельетон с модной игрой каламбурами, и только. Для самочувствия в прошлом очень преуспевавшего, популярного и в самом деле замечательного писателя, конечно же, показательно стихотворение «Время» («Хорошо или плохо, но, зубами скрепя...»). Крик души; но, мне кажется, — не на высоте темы.

Новелла или скорее long short story Джона Фаулза (Fowles) «Башня чёрного дерева» была когда-то напечатана в «Иностранной (если не ошибаюсь) литературе», вещь, которую стоит прочесть внимательно. Я её тоже недавно перечитывал, по-немецки. Пожалуй, это самый известный из старшего поколения англичан. Вообще же романы и другие вещи Фаулза изданы в России в большом количестве.

Ты спрашиваешь, что за публика собирается на моих чтениях. Всякая. Прежде, когда была немецкая или австрийская публика, это могли быть люди, которых почему-либо интересовала Россия или (реже) русская литература, в том числе профессионалы, или побывавшие в России, или члены местных литературных кружков, или просто интеллигентные люди, студенты. Во всяком случае, я всегда воспринимался как русский писатель. (Гриша Померанц назвал меня однажды западным писателем, пишущим по-русски. Это напомнило мне одного моего старого товарища, Володю Лихтермана, которого в учёных собраниях, на конференциях и т.п., куда он любил ходить, всегда принимали за представителя какой-нибудь соседней науки.)

Теперь это чаще всего народ, не близкий к литературе. Чаще старики и старухи, совершенно отторгнутые от страны, куда они приехали, но бывает и молодёжь. Статейка о Сталине (посылаю её тебе, хотя, конечно, едва ли ты найдёшь в ней что-либо новое для себя) была написана, собственно говоря, для газеты «Московские новости», после

того, как редакторша просила меня писать для них, — неудачный опыт, статью не напечатали, так как что-то там уже было по случаю 50-летия кончины Уса.

(Я заметил, что это наименование, самое простое и удобное, применяется нечасто. Сам я его услышал на другой день после сообщения по радио. Я ещё не был в это время бесконвойным, оказался по какой-то причине на железнодорожном полустанке, что-то разгружать; там стоял товарный состав. Из-под железной крышки-клапана, прикрывающей одно из двух окошек для воздуха в так называемых русских, то есть двухосных, товарных вагонах, в которых возили заключённых по нашей лагерной ветке, просунулась физиономия духарика, и он крикнул с какой-то горестной радостью: «Ус подох!»).

Я этот текст о Сталине прочитал весной прошлого года в зале при берлинской синагоге, очень красивой. Собралось довольно много народу, евреи и почти все — приезжие последней волны, среди них много пожилых мужчин. Когда чтение закончилось, один из них стал возражать. Вмешались другие, одни за, другие против, и начался шумный спор. Я сидел на эстраде и слушал, но мне казалось, что вся эта дискуссия — как по нотам. «А всё-таки великий человек». «Сплотил народ, без него бы не победили». «Благодаря ему создали тяжёлую промышленность». В немецкой аудитории, конечно, ничего подобного не могло бы происходить. То же можно сказать о молодёжи: их великий Ус вообще не интересует. Я могу это хорошо понять [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.4.04

Хорошую статью о Сталине ты написал, дорогой Гена. Жаль, что ее у нас не напечатали, кому-то она, может, помогла бы вправить мозги. Хотя многим уже вправлять бесполезно. У нас тоже на эту тему и пишут, и говорят — надо повторять. Четкий, емкий анализ, но для меня особенно ценны были твои личные свидетельства, и в статье, и в письме. Я продолжаю долбить свое: это надо выговаривать на бумаге, и не только в частных письмах.

Истории, конечно, всегда интересно читать, перечитывать бывает не всегда интересно — сюжет уже знаешь, нового не обнаружишь. «Мастера и Маргариту», впрочем, как и «Трех мушкетеров» можно перечитывать сколько угодно, даже не особенно углубляясь. У Коллинза, кажется, некий дворецкий всю жизнь перечитывал «Робинзона Крузо», ценил он там не историю, а сентенции, цитировал по любому

случаю. На необитаемый остров хотелось бы все-таки взять что-то, что остается не исчерпанным, сколько бы ни перечитывал. В небольшое стихотворение Мандельштама можно углубляться, кажется, бесконечно. Некоторые взяли бы с собой Библию, мне хватило бы Экклезиаста, Книги Иова или Песни песней.

Я сейчас практически не читаю нового, только перечитываю, по страничке, разных авторов — ищу камертон для работы [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16. Apr. 2004

[...] Критиков, по-видимому, интересует в художественной прозе только сюжет. Интересно, что сказали бы они о Флобере, который хотел написать «книгу ни о чём», un livre sur rien¹.

Другая цитата — ты её помнишь: «Я не увижу знаменитой “Федры” в старинном многоярусном театре... Я опоздал на празднество Расина!» Мне пришлось увидеть Федру два раза: первый раз лет 15 назад в Kammer spiele, второй раз позавчера на генеральной репетиции, с фотографами, режиссёром и пр., — новая постановка. Правда, это немецкий Расин, где александрийские двустипия («Двойною рифмой оперённый стих») заменены традиционным для немецкого театра пятистопным ямбом без рифмы; впрочем, монологи уже давно не декламируются, так что кажется, что актёры стесняются, что им приходится читать со сцены стихи, и произносят их как только можно ближе к прозе. Дескать, простим автору глупую старомодную привычку писать стихами, постараемся как-нибудь её заглушать.

Давно знакомые и в самом деле великолепные актёры, особенно были хороши Тезей и сама царица Федра; что касается объекта преступной любви и пружины действия — юного пасынка Ипполита, он вышел гораздо слабее, но я подумал, что так бывает: в «Грозе», например, Борис куда бледней Катерины. Тут мне снова приходят в голову мысли уже привычные. Спектакль в общем очень хороший, режиссёр — знаменитость (Дитер Дорн). Полностью обошлось без глупостей, без шутовства и издевательства над классиком, как в северонемецких театрах. При этом, конечно, трагедия модернизирована. Что это значит? А это значит вот что. Сцена — кресла, диваны, настольные лампы, двери трёх лифтов, на стене указатели — номера комнат. Видимо, большой современный отель. Костюмы действующих лиц очень

¹ книга ни о чём (нем.)

скромные, неопределённо-современные. Придворного этикета — какой тут двор — не существует, человек, не знающий сюжета, вообще не догадался бы, что Тезей — царь, Ипполит — царский сын и т.д. Поэтому центральный мотив классицистской трагедии, борьба чувства и долга, не работает: подумаешь, какое дело — влюбилась в пасынка, тем более что до постели дело не дошло, да и не могло дойти, Ипполит любит другую.

Когда-то, и, конечно, с большим опозданием, прочитав где-то о том, что в пьесах Ануйля (вслед за Жироду) античные герои переодеты в современные одежды, перенесены в современную Францию, я был удивлён и восхищён. Но «Антигона», «Эвридика», «Медея» — это 40-е годы прошлого века. Всё это давно приелось. Я испытываю какую-то тоску по адекватности. Не то чтобы вернуться к котурнам, трагическим жестам, мерному речитативу и прочее. Но меня удручает эта мания режиссёров быть во что бы то ни стало современными. Бывшие *Münchener Kammerspiele* (они теперь переселились в *Residenztheater* рядом с оперой) — это ещё что, это театр с развитым вкусом и большим чувством такта, того же Дорна не однажды упрекали в старомодности. (И, кстати, я видел великолепного Шекспира, потрясающего Клейста, замечательного Чехова.) Но всё-таки. И вот начинается какая-то нелепая война с классиками. Отказаться от них вовсе — невозможно. Ставить их на музейно-антикварный лад тоже, разумеется, невозможно. Нужно что-то с ними «делать» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.4.04

Дорогой Гена,

я все больше втягиваюсь в работу, продвигаюсь по строчке. Накопились за это время и некоторые светские впечатления. Дней десять назад мы с Галей тоже побывали в театре, Марк Розовский пригласил на премьеру спектакля по Чехову. Пьесу «Юбилей» я знал, исполнял там даже роль в школьной самодеятельности, а вот инсценировка рассказа «Пари» оказалась для меня неожиданной. Помнишь ли ты этот рассказ? Сомнительная для Чехова умозрительная конструкция; попытка разыграть ее всерьез (Марк приписал еще любовную линию, ввел героиню) вызвала просто чувство неловкости. Уже не первый раз я удивляюсь странному репертуарному выбору этого действительно талантливого, умного, театрального человека [...]

Прочтение классиков не может не быть современным, иначе возможен только законсервированный, музейный антиквариат, вроде китайской оперы или русского балета. Недавно один мой корреспондент, прочитавший журнальную «Стенографию», назвал меня «немного пассаистом». Я, признаться, решил посмотреть значение термина в словаре: «Пассаизм — пристрастие к прошлому, любование им при внешне безразличном, а на деле враждебном отношении к настоящему» (словарь, конечно, советский). Нет, этого я за собой не замечал (со стороны, может, виднее), но признать современным поверхностное кривляние все-таки не могу. (Это не о Розовском.)

Был две недели назад еще еврейский Песах, нам захотелось послушать в Еврейском центре приехавшего из Нью-Йорка кантора. Кантор оказался из «реформистской» синагоги, что-то на манер европейских протестантов, вела вечер женщина-раввин. И духовные песнопения были сочинены относительно современными американцами, немцами; религиозного чувства они у меня, увы, не вызвали, подпевать я не мог — не знаю ни иврита, ни идиша.

Что было еще? В центре «Мемориал» поминали Кронида — ему исполнилось бы 70. Обычные в таких случаях речи. Галя Салова показала видеозапись, которую сделало Российское телевидение на моем дне рождения 31 августа 1991. За столом сидели Кронид, Копелев, Кома Иванов, пел Юлик Ким, у них брали интервью.

Кто эти твои мюнхенские знакомые и друзья, которым ты читал свой рассказ? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21. Apr. 2004

Дорогой Марк,

выбор «Пари» для театральной постановки, во всяком случае, неожиданный. Подозреваю, что пристрастие к инсценированию классической прозы вызвано недостатком хороших пьес. Кроме того, театр маленький, сугобо камерный, размахнуться на крупномасштабную вещь трудно. То, что я видел у Марка Розовского, было замечательно. Кто-то подарил мне его книгу о режиссуре «Дяди Вани» (которого, кстати, я недавно видел и здесь). Но мне трудно представить себе в этом театре, например, «Чайку». Мне казалось, что «Чайку» вообще нельзя поставить на сцене: это слишком тонкая, слишком глубокая и слишком волшебная вещь. Для меня — одна из самых великих пьес и самая любимая. Лучшее, что я видел, была «Чайка» не на русской, а на немецкой сцене; но и там, по-моему, не обошлось без изъянов.

Может быть, ты заметил, что и через много лет после смерти Чехова сохраняется непонимание. Ахматова не любила Чехова; то, что она говорила о нём, поразительно. При том, что у неё так много общего с Чеховым. Когда-то давно в журнале «Вестник РХД» я встретил глупость, сказанную Пьером Паскалем, учителем Жоржа Нива, о «Мужиках». Гротескный отзыв Солженицына об «Архиерее», вероятно, вовсе не заслуживает упоминания; если бы Чехов это прочёл, он бы, наверное, рассмеялся.

Маленький рассказ «Пари» с его двумя концовками (о том, что автор изменил первоначальный конец по настоянию друзей, было написано в примечаниях) я, конечно, помню. Я читал его подростком в эвакуации, при свете коптилки, он произвёл на меня тогда очень сильное впечатление. Было бы любопытно посмотреть, что получилось у Розовского, — любопытно, но не более.

Ты, конечно, не «пассеист», вот уж никак бы не сказал. (Скорее — meine Wenigkeit¹, но и ко мне это, кажется, не подходит. А хорошо, если бы это было так, уж очень гнусен век, в котором нас угораздило родиться.) Я знаю человека, который гордится своим пассеизмом, сделал его своей эстетической программой и постоянно употребляет это слово. Это Юра Колкер, живущий в Лондоне.

Кстати, в очень хорошем Большом толковом словаре русского языка 1998 года определение почти то же, что в словаре советских времён, но сдержанней: «Пристрастие к прошлому, любование им при безразличном отношении к настоящему».

Я и мой коллега Эйтан Финкельштейн часто вспоминаем Кронида Любарского. В сборнике, ему посвящённом, Галя Салова, кажется, ни словом не упомянула о нашем бывшем журнале, а между тем он был для Кронида очень важным средством самоосуществления, в большой мере — его детищем и его трибуной. Марк Поповский (который был нашим представителем в Америке; знал ли ты его? Он только что скончался в Нью-Йорке) однажды попросил меня рассказать о нём. Это было сразу после того, как мы узнали о смерти Кронида, — по свежим следам. Я сейчас разыскал своё письмо Марку от 31 мая 1996 г. и прочёл там следующее:

«Вы спрашиваете, какого я мнения о покойном. Смерть многое меняет. Когда я услышал о том, что случилось, мне было очень жаль. Он был частью моей жизни, мы делали общее дело, и мы дружили. И я подумал о том, что все наши прошлые неурядицы теперь

¹ моя скромная персона (нем.)

уже не имеют значения (...) Кронид был человек тяжёлый. Я думаю, он сам порой страдал от своего характера. Помню, в самом начале нашей работы он сказал однажды мне и тогдашним сотрудникам: “Я могу вспылить, не обращайтесь внимания”. Но он был не только вспыльчив, не только легко выходил из себя, не владел собой, нередко бывал близок к состоянию, напоминавшему истерику, — он был и злопамятен. Кто однажды повздорил с ним, становился его пожизненным врагом. Все знакомые для него делились на наших и не наших. Он не выносил противоречия, не терпел никакого инакомыслия. Тот, кто ему возражал, был заведомо нечестным человеком: уличать противников в неблагодарстве, читать мораль устно и особенно письменно было его любимым занятием. Он напоминал доктора Львова из пьесы Чехова “Иванов”. Парадокс его личности состоял в том, что по своим убеждениям он был демократом, а по натуре — человеком суугобо авторитарным.

Я знаю много случаев, когда он бескорыстно помогал людям, вступался за преследуемых, присоединялся к акциям общественной помощи и т.д. Обычно это была любовь к “дальнему”; знакомясь с человеком ближе, он ссорился с ним рано или поздно. На моих глазах он порвал отношения чуть ли не со всеми нашими авторами. Наконец, настала и моя очередь. В первые годы наше сотрудничество было основано на разделении функций: я ведал “культурой”, он — “политикой”. Кроме того, он ведал деньгами, он добыл деньги, и это давало ему право распоряжаться журналом по своему усмотрению, чего вначале не было. Постепенно он усвоил привычки директора — примерно в том смысле, как это слово употреблялось в СССР. Он мог быть внимательным, мог быть и весьма грубым; он постоянно давал понять, что он прекрасно разбирается во всех вопросах, в любой тематике (...) Постепенно стало очевидно, что он хочет от меня избавиться. Почему, я не совсем понимал; может быть, оттого, что перестал во мне нуждаться; может быть, ему показалось, что я недостаточно его уважаю. Сыграла роль и разница наших взглядов. Он жил политикой. Он мечтал — это для меня выяснилось сравнительно поздно — вернуться в СССР. Эмиграция была ему ненавистна, да и друзей в Мюнхене не осталось. Он надеялся продолжать журнал в России, готовился к этому, переправил туда технику и печатный материал (многотомное издание “Вестей из СССР”) и растратил остаток выделенных нам денег; о выходном пособии не было и речи, после его отъезда мне и Гертнеру (секретарю) пришлось выплачивать редакционные долги.

Мне и прежде казалось, что его стремление сделать журнал “тамошним”, живя в Мюнхене, — ошибка; переселившись, хотя и

символически, в Россию, журнал рисковал утратить своеобразие; но для Кронида самоотожествление с Россией было чрезвычайно важно, и это несовпадение наших жизненных и профессиональных установок, я думаю, тоже повлияло на наши отношения».

И так далее... Как видишь, тут многое отличается от того, что и как ты пишешь о Крониде в «Стенографии». Но я его знал хорошо, в самом деле дружил с ним, виделся с ним изо дня в день много лет. Сейчас всё это ушло далеко; может быть, я сейчас написал бы иначе. Основание журнала, работа в журнале, 69 номеров, которые мы выпустили, — на всё это была потрачена уйма сил и времени; и всё впустую: наш энтузиазм не дал никаких плодов, вся наша деятельность ушла в песок. Правда, журнал, где мы числились служащими, давал возможность зарабатывать на жизнь. Представляю себе, как был бы Кронид разочарован и удручён, проживи он в России до нынешних дней.

Ты спрашиваешь, кому я читал свои изделия (два рассказа). Во второй раз это был «Город», некое культурное объединение, которое создали харьковчане, — оно существует пять лет, никем не финансируется, держится практически на энтузиазме. Там выступают и гости из России, но только если бывают проездом: приглашать специально, то есть оплачивать дорогу, жильё и платить гонорар, нет денег. Культурный отдел магистрата худо-бедно поддерживает подобные начинания, но в Мюнхене ещё раньше был основан русский ферейн «Мир», немного сомнительный, что-то вроде преемника Общества дружбы под эгидой известного учреждения; кроме того, существует Толстовская библиотека, основанная эмигрантами второго призыва. С другой стороны, интерес к России, как я тебе уже, кажется, писал, в Германии сейчас в большой мере утрачен, а уж к эмигрантам из России — тем более. Считается, что время эмиграции кончилось. Новоприбывшие — можно считать их Четвёртой волной — это не политическая эмиграция, а внимание к выходцам из нашего отечества, как и внимание к современной русской литературе, подогревалось исключительно политическими соображениями [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

Дорогой Гена,

Знаешь ли ты такое имя: Николай Боков? Много лет назад он стал соавтором весьма антисоветского сочинения «Голова Ленина»,

оказался во Франции, несколько лет вел жизнь клошара на парижских улицах: для него это был опыт отчасти религиозный, отчасти литературный. Я однажды познакомился с ним, он подарил мне свою книгу «На улице, в Париже», она мне весьма понравилась. А недавно он прислал мне свое эссе, напечатанное в журнале «Мосты», который, оказывается, снова стал издаваться во Франкфурте. Меня пригласили сотрудничать в нем. Слышал ли ты об этом журнале, что это такое? В присланном мне оттиске оказалась программа журнала: «"Мосты" видят свою задачу... в печатании и распространении вольного русского слова..., не имеющего возможности пробиться к российскому читателю через барьеры догм и идеологических...» — на этом страница обрывалась, следующей не было. Странное ощущение какой-то законсервированной оторванности от нынешней российской ситуации. Представляют ли в журнале, что никаких барьеров на пути к читателю у пишущих в России сейчас нет — кроме, разумеется, финансовых? Напечатать можно что угодно, по крайней мере, за свой счет, на бумаге или в интернете. Найдется ли читатель, вот это в самом деле вопрос [...]

Недавно в интервью «Московским новостям» Соломон Волков сказал о Бродском: «Для меня Бродский — урок стоицизма, трагического понимания того, что в конце концов то, что ты делаешь, может оказаться никому, кроме тебя самого, не нужным. И с этим надо смириться». Знакомая мысль, хотя пример самого Бродского не так уж ее иллюстрирует [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM154
26. April 2004

Дорогой Марк, это имя (Николай Боков) мне известно, когда-то в Москве у меня был сборник его рассказов, выпущенный чуть ли не Ардисом. В предисловии он жаловался, что когда принёс рассказы в Имка-Пресс, ему объяснили, что не станут печатать их по такой-то причине, а получив рукопись назад, увидел, что ниточка, которой он предварительно склеил страницы, так и осталась на месте, — рукопись не раскрывали. Рассказы — это была абсурдистская проза-«сюр», как тогда это называлось, — читать было очень скучно. Позже он издавал в Париже вместе с Хвостенко журнал «Ковчег», но недолго; Марья Васильевна Розанова, которая в те времена была, по крайней мере в Париже, первой дамой эмиграции (вроде З. Гиппиус, но помельче, хоть и такая же злющая), как-то мне рассказывала, что ссужала издателей деньгами, но в очередной раз отказала, и журнал накрылся.

О «Мостах» я знаю только, что это были периодические сборники, толстые, очень интересные, выпускавшиеся эмигрантами Первой и отчасти Второй волны; там печатались замечательные люди. Прекратились эти мосты оттого, что не стало людей и, главное, денег. О том, что журнал с таким названием снова стал выходить во Франкфурте, слышу впервые. То, что ты пишешь о его программе, странно в высшей степени: здесь прекрасно знают, что цензуры в прежнем виде сейчас в России не существует, напечататься может каждый, у кого есть деньги.

Такой заскорузлой оторванности — и уж тем более у людей, причастных к литературе, — конечно, нет. О некоторых вещах осведомлены (те, кто интересуется) даже лучше самих россиян. Но та или иная степень отчуждения, непонимания и т.п. — разумеется, факт. Было бы странно, если бы этого не было. Когда живёшь постоянно в другой стране, многие вещи, которые там кажутся важными, здесь неинтересны. Особенно это касается политики. Даже австрийские новости неинтересны, а ведь эта страна буквально под боком.

Я не исключение. Имена, которые тебе приходится слышать, вероятно, каждый день, мне неизвестны. О многом слышишь краем уха.

Что касается литературы... Покойный Вольфганг (вот кто был верным другом) не упускал случая говорить и писать о том, что русская литература, вопреки всему, едина. Это означало: едина вопреки всем усилиям советской власти раздробить литературу русского языка, не давать писателям видаться и читать друг друга, вычеркнуть из литературы уехавших и так далее. Но у меня этот тезис об одной литературе, а не двух, вызывает некоторые сомнения. Конечно, Герцен принадлежит русской литературе не меньше, чем живший в Париже Тургенев, а Тургенев не меньше, чем Чехов. Но то было другое время, была другая страна и другая культура. Я слишком чувствую этот ров. Предпочёл бы говорить о разных станах одноязычной литературы.

Мне прислали для рецензирования любопытную книжку, впрочем, солидно изданную. Издательство Böhlau в Кёльне (а также в Веймаре и Вене), с которым связан мой старый приятель Леонид Люкс, ныне профессор Католического университета в Эйхштетте. Книга называется «Russische Kultur im Umbruch», но, кроме предисловия и послесловия, всё остальное по-русски — 30 обширных интервью с деятелями этой культуры. Книга довольно странная, и как её рецензировать, неизвестно, тем более, что я не представляю себе, что я сам мог бы сказать по сему вопросу. Есть люди, о которых я никогда не слышал, другие более или менее известны. Оля Седакова высказалась, как всегда, очень хорошо, умно, сдержанно, многое в её ответах мне близ-

ко. Но это исключение. Некто Феликс Разумовский, о котором сказано, что он ведущий канала «Культура», глубокомысленно и местами не совсем грамотно глаголет чушь. Писатель Владимир Сорокин на вопрос, понимает ли он своё творчество как служение, отвечает, что старается писать так, чтобы это ему нравилось. Он презирует пишущих ради денег, по его словам, это грех. Вал. Непомнящий, которого всякий раз подводит его фамилия, видимо, ещё гуще законсервирован в своём национально-православном идеализме; договорился до смехотворных вещей. Почему-то в списке оказался доктор геолого-минералогических наук Павел Флоренский, может быть, благодаря своему дедушке, но от того, что он вещает, от этой националистической спеси, даже дедушке, вероятно, стало бы не по себе [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

Дорогой Гена!

Ни событий, ни особых впечатлений у меня последнее время не было. В воскресенье Галин брат с женой свозили нас на Оку: через Шатуру и Озеры (где мы не задерживались) в Зарайск и Коломну, назад через Бронницы. В Зарайске я был впервые. Симпатичный исторический городок, красивые церкви; на месте одной, снесенной в 1938 г., поставлен крест, при нем фотография исчезнувшего памятника. В Коломне я был много лет назад, там Кремль с башнями своеобразной архитектуры, много замечательных церквей, два действующих монастыря; но ни церквей, ни, тем более, монастырей я в свое время не разглядел, да наверное, и не мог: от большинства церквей оставались обломки, в монастырях были, скорей всего, лагеря, сейчас они восстанавливаются, достраиваются. Как всегда, смешанное чувство: видишь, какое историческое богатство было в этой стране уничтожено, но даже сейчас есть, чем любоваться. Природа изумительной красоты, но тоже испорчена, замусорена. Апрель в этом году задержался прохладный, только начало зеленеть, день был яркий, солнечный, дороги теперь первоклассные — нет, прекрасно съездили.

А в остальные дни я продолжаю что-то кропать, без особого продвижения, все что-то нащупываю. Время назад я слушал выступление известного мультипликатора Юрия Норштейна. Он показывал 5 своих фильмов — по сути, все, что сделал, рассказывал о несоизмеримости затраченных на работу усилий, времени — и результата. Минутный эпизод «Шинели» (обед Акакия Акакиевича) снимался месяц. Всего

же снято 20 минут фильма (знаешь ли ты его?) Я много лет назад восхищался увиденными эпизодами, жалел, что работу не удалось завершить. (У Норштейна погиб оператор, не стало денег.) Но глядя на это сейчас, подумал: а может, ничего больше и не нужно? То, что сделано — уже самодостаточный шедевр. Японцы и американцы сейчас быстренько штампуют свои анимации на компьютере. Теперь Норштейн, оказывается, работает над завершением, появились деньги. Дай ему Бог. Симпатичный человек.

Вообще знакомая и близкая мне тема, да и тебе, наверно. Так мы и живем [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.5.04

[...] Мы с Лорой съездили на два дня к старым друзьям, Гарри и Марианне Просс, в Allgäu, погода скверная, весь путь ехали под дождём. Альгой, если ты помнишь, область на крайнем юге нашего Баварского королевства, на западе упирается в Боденское озеро, собственно, это уже Альпы, и дорога туда от Мюнхена (приблизительно полтораста километров) постепенно поднимается вверх. Алеманский край, большой, уютный, старый крестьянский дом XVII века в низине, в двух километрах от городка Вейлер, кругом луга и перелески, пасутся коровы, близкий горизонт — австрийский Форарльберг. Я бывал там много раз. Дом отапливается печью, диваны, огромная библиотека. Хозяину, экс-профессору в Берлине, экс-интенданту Бременского радио, бывшему солдату (19-ти лет, высунулся из танка, получил осколочное ранение где-то возле Кривого Рога, правую руку собирались ампутировать, в госпиталь приехала мать и уговорила врачей не отнимать руку), теперь уже за 80, он высокого роста, последние годы очень сгорбился. Это довольно известный в Германии историк и публицист, десять лет подряд устраивал в Вейлере международные семинары, где и я бывал, где бывал покойный Копелев, который однажды весьма неосторожно ввязался в дискуссию с Вилемом Флюссером, человеком с поразительной биографией, с внешностью и ухватками Лео Нафты из «Волшебной горы», вскоре после этого погибшим в автомобильной катастрофе.

Разговоры, то и сё, вечером долгая диатриба, к сожалению, съехавшая на Ирак, терроризм, палестинцев и т.п.

Последние недели я понемногу занимался — дилетантски, конечно, — последними временами эллинистического Египта, дурацкая

мысль: написать рассказ о Клеопатре. Утром ещё куда ни шло, а вечером... всё время думаешь, что съехал на какой-то ложный путь, уводящий всё дальше и дальше от живой жизни. Et tout le reste est la littérature. Вот эта «литература» Верлена и есть то, чем я занимаюсь на старости лет.

Сюда приезжала Лариса Миллер, хороший, симпатичный поэт; был устроен вечер, на котором я «председательствовал». До этого присутствовал в другом месте (русский клуб «Город») на вечере, посвящённом Давиду Самойлову. Его стихи, по-моему, много теряют, когда исполняются под гитару; становятся сентиментальными.

Из работ Норштейна я видел — сто лет назад — только знаменитую «Сказку сказок». Поехать в Коломну, и в Зарайск, и мало ли ещё куда я, конечно, тоже был бы не прочь, хотя — в Россию как-то не тянет. Случайно узнал (от Б.В. Дубина), что вышла книжка, сборник статей под названием «Ветер изгнания», некоего Б. Хазанова, но где её достать? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.5.04

Письмо твое прекрасно дошло, дорогой Гена, даже почему-то в трех экземплярах. Поздравляю с выходом еще одной книжки — и не могу понять, как издательство могло не поставить в известность автора. Не говорю о гонораре. На радио у нас, как я тебе писал, такое еще возможно, но в книжном деле? Думаю, ты натравишь брата выяснить и предъявить претензии. Но сам факт издания все равно приятен.

Я хорошо знаю Ларису Миллер, она была на Галином вернисаже, подарила нам свою книжку, я подарил ей «Стенографию» [...]

Давид Самойлов сам относился к песням на свои стихи весьма скептически. Я тоже больше ценю музыку в самих стихах, посторонняя музыка мне мешает. Помню, много лет назад был вечер Самойлова, первое отделение заняли чтецы и популярный автор песен на его стихи. После антракта часть слушателей ушла — они пришли, оказывается, послушать певца.

А сегодня вечером мы с Галей идем на юбилей нашего старого товарища: Юлию Крелину исполнилось 75 лет. Ты, наверное, знаешь это имя, он замечательный хирург и автор книг из жизни врачей. Среди его пациентов были чуть ли не все литераторы, включая Солженицына, недавно он стал публиковать воспоминания об этом.

Один критик упрекнул его в разглашении медицинской тайны. Сам я упустил случай воспользоваться знакомством, операция была по другой специальности, сосудистая [...]

Юлий был одноклассником Натана Эйдельмана, который умер в 59 лет, тогда уже казался мне патриархом, а обернуться с нынешнего возраста — мальчишка.

У меня в майском номере «Знамени» должен был появиться небольшой рассказец, я пока не видел, но в интернете, наверно, уже есть.

О Клеопатре ты напишешь, конечно, замечательно, и все же не упускай случая между делом фиксировать возникающие по поводу и без повода фрагменты воспоминаний, мысли, без связи — в связь они составятся потом. Я занудливо продолжаю долбить свое. Не манкируй, как говорили в старину гимназисты.

Успехов тебе. Vale!

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM156
(дата утеряна)

Дорогой Марк, наш телефонный разговор прервался — будем продолжать более современным способом. Твоё письмо пришло, причём в те же минуты, когда мы разговаривали. Ты говоришь о том, что издательство должно было «поставить в известность» автора, о гонораре. Смешно... Никто никого не ставит в известность и, само собой, никаких гонораров не платит. И никаких претензий не может быть. Потеряв всё — государственный статус, оклады, помещения и прочее, — издатели сберегли, по крайней мере, одну советскую традицию — отношение к писателям как к просителям, которым делают одолжение. Исключением — тут уже совсем другое дело, тут презрение сменяется заискиванием — могут быть только коммерчески многообещающие авторы, и притом такие, которые дадут немедленную, сиюминутную прибыль.

Я, конечно, сразу отыскал в интернете твой рассказ «Игра с собой» и тут же его прочёл. Замечательно найденный повествовательный ход при крайней экономии средств. При этом в самом тексте мотив игры всё время всплывает: игра в шахматы, футбол, странная игра с маршрутами на бумаге и т.д. Между прочим, я вспомнил — мне было, вероятно, лет семь, — как мне пришла в голову замечательная мысль о какой-то игре на большом листе бумаги с городами, с дорогами, ещё чем-то, я уговорил Люсю Семёнову, девочку моего возраста, которая жила в квартире напротив, пойти со мной играть, но когда мы явились ко мне домой и я разложил на столе бумагу, замысел вдруг пошёл, и неизвестно было, во что играть.

Для меня «Игра с собой» — это рассказ о творчестве, которое, собственно и представляет собой диалог автора с собственным «я», игру с самим собой, и, хотя эта игра черпает ресурсы из памяти о прошлом, в первую голову о детстве, никогда нельзя с уверенностью сказать, подлинны ли это воспоминания или игра с ними; действительно ли всё так было — или сочинено. Но, конечно, ты сам толкуешь и оцениваешь этот рассказ, может быть, совсем по-другому.

Заодно я прошёлся немного по русскому журнальному интернету. То и дело меня удручает странная полуграмотность людей литературы. Это повторяется всякий раз, когда по ходу дела нужно на сантиметр отойти от привычного. А ведь всегда можно свериться со справочником, с учебником, спросить у тех, кто знает. В комментариях к письмам Ариадны Эфрон в «Октябре» № 2 сказано об одной детской писательнице, что она умерла от «лейкоза крови». Как будто существует какой-нибудь другой лейкоз. Всё равно что сказать: головная боль головы. Нат. Иванова употребляет в своей последней статье в «Дружбе народов» изобретённое ею выражение «*deus ex machinum*». Как же, особый шик: знаем латынь. А ведь *deus ex machina* — такая же тривиальность, как достать платок и высморкаться. Ну загляни в крайнем случае в словарик ходовых выражений. И всё время так [...] В Дневнике Чуковского почтенная Елена Цезаревна переводит *roëtae minores*, видимо, по словарю: меньшие поэты. Сними трубку, позвони на филологический факультет или в Институт мировой литературы и узнаешь, что это выражение означает второстепенные поэты. Мелочи, конечно; придирки; но как-то становится стыдно, когда видишь, что ни одно, самое банальное иноязычное включение не обходится без ошибок. А где же редакторы, корректоры?

Твой рассказ меня вдохновил; посылаю тебе тоже рассказик. Когда-то давно, когда я был медицинским студентом и жил в общежитии, у меня была книжечка о Равеле, из которой я вычитал, что будто бы композитор говорил, что название для фортепианной пьесы (потом он её замечательно оркестровал) «Павана на смерть инфанты» он взял просто потому, что ему понравилось звучание: *Pavane pour l'infante défunte*. Эпиграфы к рассказу выглядят очень манерно, но уж как есть, так и есть.

Твой совет делать заметки я отчасти выполнил — собрал кое-что и послал Анне Воздвиженской в Октябрь, но что из этого выйдет, *weiß der Kuckuck*¹ [...]

¹ Бог знает (нем.)

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

[...] «Инфанта или все впереди» — интересная вариация на тему, сквозную для тебя, начиная с «Антивремени». Особенно хорошо, пластично прописано начало и некоторые эпизоды финала. Узнаваемые картинки ушедшего быта ностальгии не вызывают, но и эти убогие молодые радости были отняты у героев, жизни их исковерканы. Галя рассказ назвала «замечательным».

Твои ядовитые насмешки над малограмотностью нынешних литераторов заставили меня смутиться: не бываю ли я сам грешен? В одной старой повести у меня был упомянут медицинский диагноз, написанный врачом по-латыни. Французская редакторша мягко заметила мне, что прилагательное должно стоять не в мужском, а в женском роде (они там, во Франции, небось, учат латинский в школе). Я в ужасе признал: конечно же, надо исправить. Но редакторша, подумав, сказала: давайте лучше оставим так. Провинциальный доктор мог подзабыть латынь, читателям будет забавно [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.6.04

Вот я и вернулся, дорогой Марк, и уже три дня в Мюнхене. Не знаю, когда снова поеду в Париж, поеду ли ещё вообще когда-нибудь. Жил я, как уже сообщал, в том же самом Hôtel des Arts на крутой и узкой, как всё на Монмартре, улочке Толозэ, где меня знают, и вёл всё тот же образ жизни: с утра после завтрака занимался, потом отправлялся куда-нибудь обедать и ходил или ездил до вечера, до упаду. Совершил, между прочим, поездку в Шартр (примерно час поездом), поглядеть на прекрасный собор. Однажды решил поехать в Булонский лес, который теперь, конечно, не таков, каким мы привыкли его представлять, и вошёл в Сад поэтов: играют дети, на газонах таблички с именами и стихами французских поэтов, посередине красивый бюст русского поэта Александра Пушкина. Бродил по другим, известным и неизвестным мне местам, иногда в толпе, как всегда отчуждённо-дружелюбной, иногда в безлюдном одиночестве, был, как водится, в церквях и музеях. В известном тебе Центре Помпиду, на самом верхнем этаже, где помещается галерея, снова повидал Хуана Гри, художника, которого я люблю, и так далее. В одном большом книжном ма-

газине на Левом берегу видел твою книгу «L'Esprit de Puchkine», сборник из трёх рассказов, в переводе Люсиль (если не ошибаюсь) Нива, с текстом Жоржа на 4-й обложке.

По словам Сёмы Мирского (он лектор в Галлимаре), «идёт» сейчас из русских писателей только Людмила Улицкая.

Я купил по дешёвке несколько французских книг, читал по вечерам биографию Флобера Henri Troyat, тебе это имя, вероятно, известно. Только что отмечался Bloomsday, столетие 16 июня 1904 года, когда Леопольд Блум разгуливал по Дублину. Кое-что я привёз с собой, в том числе книгу Пелевина «Диалектика переходного периода», в которой Лора настоятельно рекомендовала мне прочесть роман (довольно длинный) «Числа». Она его прочла. По её мнению, вещь заслуживает внимания как источник сведений о жизни в сегодняшней России. По-видимому, она права, но я сумел одолеть лишь первые 80 страниц; ужасно скучно и многословно. Нат. Иванова называет творчество Пелевина «солнечным сплетением современной русской литературы». (Кстати, моя рецензия на её книгу «Скрытый сюжет» напечатана в «Новом журнале».) [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.6.04

[...] Возвращаемся к разговорам о литературе. Интересно, что Лора увидела в романе Пелевина источник сведений о жизни в сегодняшней России. Я этот роман тоже прочел. По-моему, он больше имеет отношения к телевизионным поделкам на бандитские темы, компьютерным играм, условным анимационным персонажам, чем к реальной жизни реальных людей. Условные нувориши, условные гэбэшники, условные чеченские террористы, условные сексуальные извращения, условные смерти, условные идейные построения. Можно отдать должное изобретательности автора, другим его разным достоинствам, все подано иронично, с элементом довольно остроумной иногда пародии — и при этом все необязательно, взаимозаменяемо, произвольно. Предлагается нарезка, в которую с готовностью начинают ввинчиваться критики: «солнечное сплетение» и т.п. А в чем оно, если не поддаваться готовым штампам? Наивно извлекать из компьютерной игры какое-либо подлинное жизненное понимание, не зря тебе скучно стало читать.

Как раз перед твоим отъездом у меня возник разговор на близкую тему. Мне присылает свои работы преподающий сейчас в Америке ли-

тературовед Марк Липовецкий, я тебе о нем однажды писал. Незаурядно умный исследователь, его, среди прочего, интересует тема хаоса, которая очень интересно разрабатывается современной наукой; он использует это понятие при анализе современной постмодернистской литературы. Концепция весьма плодотворная, процитирую свою оговорку в письме к автору. «В работе о хаосе... перечисляются на двух страницах десятки современных писателей, тексты которых могут иллюстрировать положения постмодернистской эстетики. К разным авторам я отношусь по-разному, некоторых не знаю, но вполне представляю, что в перечень могут попасть тексты, которые я считаю плохими, авторы, которых я считаю просто графоманами. У них с полнейшим основанием можно найти «взаимную трансформацию персонажей», «неточности», «случайную последовательность», «отрицательную зеркальность» — что угодно. (Как на прежнем, школьном уровне можно было отметить в сочинении композицию, эпитеты, метафоры, скрытые намеки — все, как у гениев, но при этом все-таки чушь собачья, попросту ничто.) У меня есть коротенькое эссе «О непосредственном чувстве» (в книге «Способ существования», стр. 154), я там цитирую рассказ Борхеса «Алеф», где очевидный графоман комментирует свои стихи: «В четырех строках три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков» и т.д. А можно вспомнить классификацию животных в другом рассказе Борхеса. Понятия «хорошее — плохое», «талантливое — бездарное» в постмодернистском литературоведении, кажется, не употребляются. Оценочные критерии в принципе отклоняются. Конечно, дерьмо (в прямом и переносном смысле) может быть объектом профессионального исследования, но не хватает иногда примечания самым мелким шрифтом, где-нибудь в сторонке, как на аннотации к сомнительным продуктам: на вкус пробовать не рекомендуется, может стошнить.

Необычайно интересен обширный ответ, который я получил. Думаю, я вправе его процитировать, опустив абзацы на личные темы.

«Я согласен с тем, что критик всегда вчитывается в писателя то, о чем тот мог и не думать. Но, мне кажется, что это нормальный механизм функционирования культуры. И дело даже не в простом разделении обязанностей — писатель работает интуитивно, критик рационально — на самом деле, конечно, такая чистота невозможна и вредна. Но если литературный текст живет, то он должен взаимодействовать с новыми контекстами — литературными, философскими, историческими и проч. А поскольку настоящая литература — это органическое явление, то в ней, само собой, открываются и незапланированные смыслы. Вот этими смыслами,

возникающими из новых взаимоотношений между текстом и контекстами, литературоведение и занимается. А насчет того, насколько объективны эти построения — у меня для этого есть простой рабочий критерий: чем больше элементов текста вовлечены в анализ, тем объективнее анализ...

Но, Марк Сергеевич, я совершенно не согласен с тем, что постмодернизм исключает отбор и оценку качества. Конечно, не исключает — я это знаю прежде всего из собственной практики. Но даже чисто теоретически: когда, допустим, Деррида анализирует критические и философские тексты, не проводя между ними границы, он же не утверждает, что для него безразлично качество этих текстов. (Это один из рекламных слоганов, которыми любят кидаться коллеги-критики, главным образом в силу поверхностных знаний предмета.) Только когда речь идет о *cultural studies*, тут качество не имеет значения — дискурс выражает себя где угодно, но он и не требует эстетической оценки, а в литературоведении еще как, и не меньше, чем обычно. Другое дело, что критерии изменились. И вот тут Ваша точка зрения меня озадачила. Вы сами пережили — и неоднократно — сдвиг критериев художественности. От соцреалистической героики — к шестидесятнической романтике — к семидесятичному прозаизму — к Вашей собственной «фантичной» эстетике — и т.п. И Вы сами не хуже меня знаете, насколько неустойчивы представления о «вечных» критериях художественности. Тот же Хармс еще в 30-е годы многими хорошими и умными людьми воспринимался как городской сумасшедший. А разве Вы забыли разговоры о Мандельштаме как о «поэте для поэтов»? Но это внутренние проблемы российской литературной эволюции — которая шла своими путями, мучительно пытаясь сохранить верность романтической традиции (которую по недоразумению обозвали реализмом) с ее устремленностью к трансцендентальному идеалу (пресловутая духовность русской литературы). Именно тут, на мой взгляд, кроется объяснение эстетического (и не только!) консерватизма Солженицына. Кстати, тут же и причина тех упреков Самойлова Вашим «Двум Иванам», о которых Вы так выразительно написали.

Но ведь Вы-то как писатель значительно шире этого контекста — Вы чуть ли не единственный современный русский писатель, как родную воспринимающий как минимум еще одну литературу! Вы-то знаете европейский модернизм изнутри! И Вас наверняка не удивляют хулиганства и похабства сюрреалистов? А что такое постмодернизм, если не сюрреализм, обращенный на бессознательное культуры в целом, а не индивидуума?

И что же может быть в бессознательном у русской культуры, которая всеми силами рвется к Богу, идеалу, вечности, любой ценой культивирует духовность и проч.? Правильно — дерьмо! И Сорокин это понял лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому он, независимо от того, что он напишет дальше, уже вошел в историю литературы. Самая прямая параллель к нему — Герман с его «Хрустальным» (хотя, конечно, Герман никогда в близости к постмодернизму не признается).

Если кантовское возвышенное может быть выражено только средствами возвышенного (романтическая эстетика), то его кризис, недостижимость и руинированность требуют эстетики, основанной на отвращении. Не об этом ли писал Адорно, убедившись в том, что фашизм, как впрочем, и коммунизм, не противоположны культуре? Вы скажете, что они разрушают то, что мы называем культурой. Да это так, но ведь на самом деле, тоталитарные режимы оперируют главным образом посредством культуры (это противовес институтам террора) и потому просто более настойчиво, чем кто бы то ни было, занимаются культуростроительством, не пуская культуру на самотек, но не понимая, что без «самотека» никакой культуры не будет. И ГУЛАГ, и Освенцимы, по Адорно (да, кстати, и по Шаламову) представляют собой прямое, самое последовательное, воплощение проекта Просвещения, а на мой взгляд, и — в большей степени — романтизма. (Этого, кстати, никогда не понимал Солженицын, именно поэтому на старости он договорился до того, что жида во всем виноваты: антисемитизм, как утверждают германисты, — это важнейший параноидальный продукт романтической культурной парадигмы, особенно, христианской.)

Недаром ведь страны, где победил фашизм — Россия, Германия, Италия — это именно те, в которых признается доминирующая роль культуры и культурной традиции, где искусство воспринимается религиозно, где складывается секта жрецов культуры (интеллигенция). Разве эти соображения не оправдывают эстетику говна как необходимого средства отрезвления от фантомов духовности?

Весь вопрос, куда после этого отрезвления двигаться?

Пока что мне видится спектр негативных вариантов. Совершенно неприемлемым мне кажется предлагаемый многими поворот (квази-возврат) к религиозному сознанию, к слепой вере в трансцендентальное — особенно это мерзко у молодых авторов, вроде Олега Павлова или Васи Сигарева (драматург, автор пьес «Пластин»,

«Черное молоко», «Божии коровки»). Невозможно принять поворот к «простому человеку», как носителю вечных истин — все эти светлые образы падших женщин, униженных и оскорбленных, у нас почему-то обязательно ведут к фашизму (в диапазоне от Достоевского до Горького, от Солженицына до деревенщиков).

К сожалению, вышеприведенные рассуждения не позволяют мне согласиться и с восприятием культуры как абсолюта, а мучеников, вроде Мандельштама или Цветаевой, как святых. Главная проблема этого подхода мне видится в том, что он строится на бинарных противопоставлениях: они — режим, их духовный подвиг — «бездуховность» постмодернизма и проч. Я же полагаю, что как настоящие модернисты (а для меня и Булгаков модернист, и Бабель, и Зощенко, и Вагинов и все прочие) они как раз подрывали абсолюты, ответственно и с пониманием трагических последствий обнажали кризис веры во что бы то ни было — от культуры как целостности до индивидуальной творческой свободы (Набоков). Модернизм в моем понимании — это романтическая критика романтизма (или модерности), т.е. взрыв изнутри, против самих себя же. Их — т.е. модернистский — путь необходимо предполагает Сорокина (хотя, конечно, им не ограничивается), поскольку никакой такой границы между модернизмом и постмодернизмом не наблюдается или, во всяком случае, она не глубже, чем между «высоким модернизмом» и авангардом».

Интересно бы, Гена узнать, что ты об этом думаешь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.6.04

Что я «обо всём этом» думаю. Легко сказать... (Вернее, совсем нелегко.) Марк Липовецкий — такое имя я встречал, но не помню, читал ли что-нибудь. Меня, между прочим, удивило (начну с самой маленькой мелочи), что, будучи филологом, он употребляет слово «параноидальный». Это словечко-уродец, слово-недоразумение, образованное тупицами-журналистами, по сходству с «пирамидальным», в результате смешения двух медицинских терминов: параноидный и паранояльный. Получилась нелепость: в одном слове два суффикса, греческий и латинский. Паранояльный значит свойственный параною, характерный для паранойи как психиатрического синдрома (паранояльный бред). Параноидный — напоминающий паранойю (параноидная форма шизофрении). А что такое «параноидальный», никому не ведомо. Сапоги всмятку.

Человек, бесспорно, талантливый, неглупый, начитанный и, что называется, en vogue. Вести серьёзный спор на его территории я бы, конечно, не смог. К тому же некоторые термины (напр., романтизм) я привык употреблять в несколько ином смысле. Но я не специалист и тем более не литературовед новейшей выпечки.

Высочайшую вершину мира прежде принимали за две разных горы, оттого что видели её с разных сторон. Так и мы взираем на Эверест литературы с совершенно разных точек зрения, и получаются разные вещи. Точка зрения Липовецкого мне чужда.

Мне кажется, что это точка зрения определённого и достаточно узкого профессионального сообщества, — Zunft, напоминающая интернациональную секту, со своей эзотерикой, своим жаргоном и этикетом. Этот этикет, в частности, запрещает говорить о писателях крупных и незначительных, даровитых и пошлых. (Вопреки тому, что говорит Липовецкий.) Конечно, надо быть совсем уж свихнувшимся, чтобы не отличать хорошую литературу от бездарной пошлятины. Тем не менее наука избегает оценочных категорий, в лучшем случае подразумевает их существование, но говорить о них вслух не положено. В конце концов, для зоолога мерзкий шакал ничем не хуже благородного оленя. И тебе ответят, что Вл. Сорокин как предмет литературоведческих и шире — «культурологических» словопрений не менее интересен, чем какой-нибудь Томас Манн. Много говорилось об искусстве для искусства. С таким же правом можно говорить о литературе для литературоведения.

Эту точку зрения как будто разделяют и сами «творцы». Они словно работают для придворных интерпретаторов. Компания концептуалистов (теперь уже, похоже, вышедшая из моды) во главе с фантомным поэтом Д.А. Приговым удивительно похожа на трёх голых королей, для которых ткнут одежду на пустых станках ткачи-охмурылы. Не хочу добавлять, кто такие эти ткачи.

Но, может быть, так говорить нехорошо. В конце концов выясняется, что мы имеем дело с разными верованиями. Концепция Липовецкого, насколько можно судить о ней по длинной цитате, легитимирована одним верованием, наши с тобой взгляды вытекают из другого верования. О преимуществах одной веры перед другой давно уже никто не спорит. О вкусах — тем более. И Сорокин, и Пелевин, и tutti quanti не то чтобы вызывают у меня желание громко протестовать, — мне просто очень скучно с ними, неинтересно читать.

И всё же надо задать вопрос: чего мы хотим, чего мы ждём от литературы? Мне близок взгляд Р. Барта (в старой, почти 30-летней давности, лекции в Collège de France) о том, что художественная словес-

ность обладает способность обманывать язык — инструмент власти и подавления. «Говорить или тем более рассуждать вовсе не значит вступать в коммуникативный акт... это значит подчинять себе слушающего: весь язык целиком есть общеобязательная форма принуждения». Так вот, литература — это особого рода игровая деятельность, которая дискредитирует, опровергает и отвергает всевозможные авторитарные дискурсы, не только политические, религиозно-проповеднические и т.п., но и учёные. Литература заменяет прямую речь косвенной. Всё это уже не новость, но повторить не грех.

Я могу попытаться объяснить, что означает литература для меня лично. Когда нам говорят, что всякого рода идеализм обанкротился, что история посмеялась над гуманизмом (совершенно верно), что от Просвещения ведёт прямая дорожка к концлагерю (некоторое, скажем мягко, преувеличение, — вопреки Адорно и т.д., — простибельное для профессоров, никогда не сидевших в лагере), и, дескать, поэтому кризис и разгром романтической эстетики «требуют эстетики, основанной на отвращении» (живописать утонувший в говне мир кистью, в свою очередь окунаемой в говно), так вот, когда всё это говорится, когда нас призывают капитулировать перед варварством, хочется спросить: а собственно, с какой стати?

Мне могут возразить, что я сам впадаю в авторитарный тон, но, чёрт возьми, не есть ли функция литературы защита и реабилитация человека? Защита его достоинства, убеждение, что нет ничего более ценного и ничего более интересного, чем человеческая личность, — именно в ту самую эпоху, когда совершается неслыханное умаление человека. Мы не дети, мы прожили жизнь в страшном времени, в отвратительной стране; мы давно и хорошо поняли, что и шиллерово «Seid umschlungen, Millionen¹», и пушкинское «Друзья мои, прекрасен наш союз», и, в конце концов, замечательные слова Лейбница (которого я когда-то переводил): «Справедливость и несправедливость зависят не токмо от природы людей, но и от природы разумной субстанции вообще; исходить из природы божества значит основываться не на произвольных посылках. Природа Бога всегда покоится на разуме (la nature de Dieu s'est fondée sur la raison)», — что все эти прекрасные слова — прекрасная мечта. Na und — ну и что? Значит ли это, что нам ничего не остаётся, как усесться голым профилем в луже? Литература — это сопротивление гнусной действительности за пределами всяческих иллюзий. Избегая всяческих громких слов, этого девальвированного словаря («духовность», «народность», «патриотизм» и т.п.). Я бы сказал — по-

¹ Обнимитесь, миллионы! (нем.)

следнее прибежище человечности. Надо сопротивляться. Надо держаться во что бы то ни стало. Для игры в бирюльки (а что такое в конце концов постмодернизм и постмодернистское литературоведение, как не игра в бирюльки) мы просто слишком взрослые люди [...]

21.6.04

Дорогой Марк, твоё вчерашнее письмо меня как-то раздражило, я ответил длинно и нескладно [...] Я посмотрел в интернете кое-что о М. Липовецком и его собственное. Вот заключительный абзац его докторской диссертации «Русский постмодернизм», защищённой в Екатеринбурге:

«Релятивная картина мира, созданная физикой начала века, срифмовалась с культурой модернизма и авангарда, круто изменившей всю систему представлений о человеке, истории, бытии. Историки науки и культурологи сходятся в понимании того факта, что современные естественнонаучные теории хаоса и постмодернистское сознание в культуре родственны друг другу в том отношении, что вводят человечество в новую мировоззренческую парадигму — парадигму хаоса. Русский литературный постмодернизм, с его горьким скепсисом по поводу всех попыток культуры упорядочить мир, с его попытками расковать хаос, расслышав в его шуме многоголосье культуры, смоделировал обряд перехода, ценой временной смерти переводящий культуру из парадигмы, основанной на постоянной борьбе идеалов порядка, гармонии и свободы, — в парадигму хаоса. И то, что происходит сегодня в нашей и в мировой культуре, видится как попытка заново строить здание гуманизма в пространстве хаоса. Не потому что испытание культуры смертью доказало безупречность гуманизма — как раз наоборот! — знание о слабости, иллюзорности и даже абсурдности веры в человека принято за аксиому — но потому что любая альтернатива гуманизму чревата кровью. И все опять начинается с элементарного: с гуманности, с идеи ответственности, даже с сентиментальности и умиления человечностью, с поисков искренней интонации. Не станем спорить о терминах — назовем это |новым автобиографизмом| (В. Чайковская, Д. Быков), |неосентиментализмом| (М. Золотоносов, Н. Иванова, И. Кузнецов), |новой искренностью|, |эссеизмом| (М. Эпштейн), актуализмом или |неотрадиционализмом| (В.И. Тюпа). Поймем лишь то, что на фоне хаоса и в контексте хаоса все эти простые чувства и состояния действительно не могут не быть осмыслены заново, ибо своим посмертным опы-

том лишены права на монологическую императивность, насыщены взрывчатой диалогической энергией, укоренены не в вековых связях и традициях, а в их разрывах, провалах, пустотах. И идеалом этого нового гуманизма, наверно, уже не скоро опять будет гармония человека с мирозданием, но лишь — хаосмос, 'рассеянные порядки', рождающиеся внутри хаоса бытия и культуры».

Я думаю, что со всем этим в принципе можно согласиться, тем более что не всё здесь совпадает с тем, что он тебе написал. Диссертация сделана довольно давно, с тех пор автор, по-видимому, несколько радикализировался, продвинулся в направлении моды. Тянет, однако, сделать несколько замечаний.

Что именно представляет собой постмодернизм, понятие, которое трансформировалось и расплылось со времён Лютара, особенно в России, — теперь уже совершенно непонятно. Слишком много разных имён, слишком уж разношерстная компания, и нет уверенности, что общие черты, которые приписывают этим сотрапезникам, в самом деле так уж важны для каждого. Поэтому когда толкуют о постмодернизме, то обыкновенно выбирают из длинного списка сидящих якобы за общим столом какого-нибудь любимца или, наоборот, козла отпущения. Это чаще всего всё те же модные имена: Сорокин, Лев Рубинштейн (явно выработавший свою жилу, что он сам и признаёт), Пригов (который кажется мне жуликом) и т.п.

Хотя Липовецкий в цитате, которую ты привёл, возражает против твоего замечания, что критерий качества не существует для литературоведа, он тут же добавляет, что любой дискурс «выражает себя», ergo, достоин внимания. Этим всё сказано. Этим устанавливается барьер между интерпретаторами и ремеслом как таковым (представителями которого мы с тобой в данном случае являемся). Человек ремесла интересуется качеством материала и работой, как же иначе. Хорошо написанный роман для него хорошо написанный роман. Романы Сорокина и Пелевина сработаны плохо, стихи Пригова, все эти тысячи, явившиеся после «милищанера», вовсе не заслуживают внимания. Когда доктор филологических наук выражает уверенность, что Сорокин уже вошёл в русскую литературу, так как почувствовал, что скрыто в бессознательном русской культуры (правильно! Дерьмо!), то можно только улыбнуться. Кто вообще ему сказал, что столь любимая этим писателем субстанция вычерпана им из «бессознательного русской культуры», откуда известно, что говно составляет содержимое этого бессознательного — понятия, которое само по себе заимствовано из научной мифологии?

В сущности, — такое возникает впечатление, — он ополчился не столько против устарелых взглядов на культуру и литературу, сколько на старых жоп, ханжей-патриотов, тётушек, лепечущих о духовности, бьющих поклоны перед иконами Цветаевой и Мандельштама, и т.п. Но решающим аргументом оказывается подчас мода, просто мода. Вослед модным писателям поспевают модное литературоведение.

Ах, я чувствую, что опять сбиваюсь на злословие. Я хотел ещё сказать о литературной действительности, о том, кто фактически задаёт тон и направляет литературный процесс — уж, конечно, не литературоведение и не литературная критика, — но пора ставить точку. Обнимаю, жму руку, твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

Дорогой Гена!

Проще всего, пожалуй, процитировать несколько слов из моего ответа Марку Липовецкому: «Ваше интереснейшее письмо вызвало у меня множество мыслей, иногда оговорок, вопросов. Я сразу же в уме стал составлять Вам ответ, он получался довольно большим. Между тем мне надо было возвращаться к работе. Я открыл ее на странице, где не вполне ясный пока мне самому персонаж рассказывает моему герою: «Они говорят: признавай правду! Ты не хочешь признать правду? Скрываешься в мире галлюцинаций, искусства, поэзии, красоты? Мы тебя вылечим. Мы тебя заставим признать правду. Покажем, кто ты на самом деле такой. Когда превратят тебя в кучу мяса с кишками наружу, в помоечную собаку, в грязь, в дерьмо».

Думаю, не нужно более пространных подтверждений, что твоя позиция мне, в основном, близка. Но, независимо от конкретных оценок, имен, явлений (я имен, кстати, не называл, просто чего-то не знаю, не берусь судить) сама тема вызывает на размышления, о многом еще надо подумать. Липовецкий когда-то написал о моем «Сундучке», находя в нем подтверждение своим мыслям о хаосе. Сам я противопоставлял хаос творчеству; в одном своем давнем эссе я размышлял об искусстве как преодолении хаоса. Понемногу до меня стали доходить отголоски действительно новых концепций, которые разрабатывались в последние десятилетие-полтора. Вот, например, мысль Ильи Пригожина: «Хаос может быть конструктивен — он порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии». Пожалуй, в прозе я ощутил что-то более полноценно, чем в эссе. Самым интересным из присланных Марком работ был его обширный реферативный обзор научной литературы на эту тему.

Пересказывать все, конечно, невозможно, вот тебе коротенькая цитата из одной книги — попробуй это прокомментировать, как медик: *«Выясняется, что хаос жизненно необходим не только литературному тексту, но и любой органической системе, включая человеческий организм. Инфаркты и эпилептические судороги, как полагают ученые, являются формой самоорганизации хаоса, которая возникает, когда сердце или мозг внезапно начинают работать слишком регулярно. Эти системы организма теряют вариативность своего нормального, здорового, фонового хаоса, и это нездоровое, чрезмерно регулярное состояние вызывает кризис в системе... Аналогичным образом болезнь Паркинсона связана с утратой нормального хаоса в нейрологической системе. Даже старение может быть результатом потери вариативности... системного понижения степени хаотичности в организме».* Для меня сам новый поворот мысли оказался весьма стимулирующим, питательным.

Между прочим, Липовецкий упомянул твое имя, полемизируя в одном из писем с моим эссе «Три еврея»: *«Но ведь есть и другие причины (самоубийства); вроде... советских комплексов — жили взаперти, и вдруг на волю, и даже просто-напросто: язык и его незнание, и вынужденная изоляция. Почему-то те евреи, что уехали с языком, вроде Бродского или Хазанова, по-другому решали эти вопросы».*

Твой языковой пуризм продолжает меня смущать. Слово «параноидальный» сейчас употребляется сплошь и рядом; пустили в обиход его, наверно, не профессионалы, но можно вспомнить, сколько подобных нововведений возникало в разные годы. Некоторое время морщились, потом привыкали. Что из того, что полвека назад говорили иначе?

Всего тебе добро. Обнимаю

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

23.6.04

[...] Дорогой Марк, как видишь, пишу снова; зуд какой-то. Едва начавшись, тема, по-видимому, исчерпала себя. Что касается хаоса... Древние знали, что из Хаоса рождается Космос. Мне приходилось писать (это не напечатано) о литературе, преодолевающей хаос жизни, иначе говоря, парадоксальным образом извлекающей из неё то, чего у неё нет в наличии, — смысл и порядок. Я бы предпочёл сменить терминологию — говорить об энтропии, которая является мерой неупорядоченности. Можно говорить о текстах с высокой, до опасного уровня, энтропии; тут вспоминается и машина для сочинения книг в Великой академии Лагадо, и спонтанное письмо сюрреалистов, и многое другое.

Окончательное торжество энтропии — тепловая смерть, это относится и к искусству, и к человеческому организму. Слова М. Липовецкого: *«Инфаркты и эпилептические судороги, как полагают ученые, являются формой самоорганизации хаоса, которая возникает, когда сердце или мозг внезапно начинают работать слишком регулярно. Эти системы организма теряют вариативность своего нормального, здорового, фонового хаоса, и это нездоровое, чрезмерно регулярное состояние вызывает кризис в системе... Аналогичным образом болезнь Паркинсона связана с утратой нормального хаоса в нейрологической системе...»* и т.д. к медицинской реальности не имеют отношения, там дело идёт совсем о другом. Кстати, спроси у него, что это значит: «Сердце работает слишком регулярно»? Но я согласен с тобой, существует (для писателя) не только соблазн хаоса, искушение описывать хаос жизни средствами самого хаоса, но некоторая важность хаоса — слов, фраз, мыслей, как у Селина, например, — необходимость энтропийности, равно как и сознание того, что из хаоса, через хаос достигается нечто плодотворное.

Параноидный, паранояльный и «параноидальный». Ах, разве это пуризм... Конечно, так говорят. «Так носят». Может быть, ты заметил, что серьёзные авторы, сегодня, а не полвека назад, это слово всё же не употребляют. А тут человек, который профессионально занимается литературой и языком, филолог, учивший языки. Как он не чувствует двух суффиксов. Латинский лезет на греческий, как боров на другого борова, которого он принял за самку. И, наконец, пусть кто-нибудь объяснит, что означает это слово

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.6.04

[...] Вчера в музее Вадима Сидура отмечалось его 80-летие, была представлена его новая экспозиция «Портреты современников» и большая, очень красиво изданная монография о нем. Было телевидение, выступал наш нынешний Нобелевский лауреат В.Л. Гинзбург, Войнович, я тоже сказал несколько слов. Должен был выйти журнал «Лехаим», для которого меня попросили написать о Сидуре, но он задержался. Редкий случай, когда после смерти художнику воздается.

Это, пожалуй, единственное внешнее событие за последние дни. Остальные проходят так же: работаю, гуляем с Галей по лесу, приносим оттуда прекрасные букеты цветов.

По поводу твоего замечания в последнем письме о рассуждениях автора на медицинские темы должен защитить Липовецкого: этот пассаж принадлежит не ему, он цитирует работу некоего Briggs. Вообще он

прислал мне, помимо своих литературоведческих статей, большой обзорный реферат — перелопатил огромное множество литературы на тему хаоса, это теперь целая научная область, о которой я получил представление благодаря ему. Реферат был мне особенно интересен, приложение концепций к литературе бывает сомнительно, имена тем более. Но важно получить представление (опять цитирую) «о новой научной парадигме, позволяющей описывать явления и процессы, не вписывающиеся в детерминистические представления о порядке и закономерности». Это может быть применимо и к физике, и к социологии, к истории, вообще к человеческой жизни — к литературе, видимо, тоже. Позволяет более четко, осмысленно задумываться о чем-то, что раньше скорей чувствовал, чем понимал [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29.6.04

Дорогой Марк, если не считать «Кричащего» в парке в Дюссельдорфе и небольшой скульптуры в Линдау, перед домом Плаасов, я не видел других вещей Сидура «вживе». Зато у меня есть хороший альбом с твоим текстом. Но не кажется ли тебе, что Сидура оценили, наконец, на родине, лишь когда узнали о его известности за рубежом? [...]

Меня пригласили на вечер поэтов, только что приехавших с поэтического фестиваля где-то на Байкале, там их принимали с необыкновенной помпой и размахом, поместили в лучшей гостинице, закармливали на банкетах и возили в сопровождении эскорта мотоциклистов. Поэты — женщина и двое мужчин, уже не первой молодости, — работают, чтобы прожить, на Би-Би-Си. Милые люди, но стихи оставили меня совершенно равнодушным, оттого ли, что я стар, или потому, что стихи плохие. А скорее всего оттого, что надо принадлежать к секте, чтобы восхищаться, как они, друг другом и теми, кто был там ещё, «совершенно замечательными», гениальными.

Прозаики не составляют такой секты, не держатся так сплочённо и, видимо, не так стремятся к цеховому общению, к чтению и слушанию друг друга, и, возможно, этим хотя бы отчасти объясняется профессиональное отчаяние прозаика, чуждое этим поэтам. У каждого из трёх — книжки, даже десятки поэтических книг, я смотрел на них и испытывал какое-то сострадание.

Я тут как-то думал, что следовало бы написать что-нибудь вроде «...par lui-même» (есть такая известная французская серия) о Бродском, чья тень по-прежнему нависает над поэтическим горизонтом, написать на материале его многочисленных интервью о себе и о других поэтах, а также бесед с Волковым, которые производят двойственное впечатление [...]

Я написал (закончил, хотя, конечно, придётся редактировать) рассказ с жутким сюжетом, дело опять происходит в лагере. Опять двадцать пять! Тема, в России совершенно непопулярная. Много раз я слышал и читал: не хотим больше об этом знать. Было и былём поросло. Но для меня лагерь — феномен метаисторический, и притом перво-степенного значения. Тут в который раз вспоминается фраза из «Войны и мира»: солдат, раненный в деле, думает, что проиграна вся кампания. Но она действительно проиграна [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.7.04

Даже не знаю, о чем тебе написать, дорогой Гена. Ты после Парижа закончил еще один рассказ, планируешь поездки на Балканы, в Прованс и Америку, а я топчусь все там же, с места не двигаюсь и не планирую ничего. Мысли, и те все больше вокруг работы. Попадают иногда в руки случайные книги, я их начинаю читать и чаще всего чувствую, что они сейчас для меня не о том. Заглянул по пути из леса в библиотеку, полистал шестой номер «Знамени». Там среди прочего обсуждается на «круглом столе» кризис либеральной идеи в России — литературная ситуация в контексте политическом, идеологическом, культурном. Я посмотрел статьи своего знакомого М. Липовецкого, М. Эпштейна, О. Седаковой, больше высиживать в библиотеке не смог, номера для выдачи на дом на месте не оказалось. Посмотри, если найдешь, в интернете, это, наверное, любопытно, есть, что обсудить (хотя мне мешает незнание многих имен). У меня интернет почему-то отключился [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8.7.04

CharM164

Дорогой Марк, я говорил по телефону с редактором «Вагриуса» Еленой Даниловной Шубиной, она может тебе вручить, от имени автора и, само собой, безвозмездно, экземпляр моего романа «К северу от будущего» [...]

Я нашёл в интернете дискуссию о либерализме в «Знамени» (раньше видел мельком), тобой упомянутую, и распечатал для себя три выступления, по-видимому, наиболее важные: Липовецкого, М. Эпштейна и Оли Седаковой. Самому участвовать в этих дебатах мне было бы трудно — и потому, что я выключен из актуальной идейной жизни, и потому, что традиционное представление о либерализме, в Европе как бы само собой разумеющееся, в России подверглось деформации, так что дебаты касаются не столько самой либеральной традиции, политической или идеологической, сколько этой деформации.

Читать длинное выступление Марка Липовецкого мне было, по правде сказать, скучно. Он демонстрирует прекрасную осведомлённость в журнальной полемике последнего десятилетия, анализирует точки зрения, сыплет именами. А меня суждения какого-нибудь Басинского, эскапады Лимонова или грязного Проханова интересуют как прошлогодний снег. Любопытно, что словопрения о постмодернизме занимают его (Липовецкого) не с литературной точки зрения, а как род идеологических и политических иносказаний. Теперь, познакомившись с его текстами, я вынес из них впечатление, что литература как таковая его, собственно говоря, интересует очень мало, хотя сам он, вероятно, выслушал бы такой вердикт с недоумением.

Ближе всех мне Седакова, которая кажется мне просто очень здравомыслящим человеком.

Если бы мне пришлось высказываться на тему либерализма, я постарался бы разграничить такие близкородственные понятия, как либеральное мировоззрение, демократия и современное массовое общество. Седакова хорошо написала о либерализме. К этому можно добавить, что демократия очевидным образом враждебна всякому аристократизму, следовательно, и высокой культуре (включая литературу), но альтернативы нет: недемократические режимы несравненно ужасней. Демократия, по крайней мере, не посягает на жизнь творцов культуры. Массовое общество стремится их приручить, если не получается — отгеснить на задворки. Единственная достойная позиция художника — это одиночество изгоя. Разумеется, он живёт в своём времени. Но вместе с тем он ему и противостоит [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

Ну, дорогой Гена, это называлось когда-то: книга за книгой. Вторая за неделю. Поздравляю тебя еще раз [...] Остается только пожелать книге успеха.

«Ветер изгнания» я получил у издателя, симпатичного разговорчивого человека. Из его рассказа я узнал, что первоначально он предполагал опубликовать твою переписку с его другом Ю. Шрейдером, но оказалось, что эта переписка уже издана (верно ли я понял? я этого не знал), и решено было напечатать сборник эссе. Книга хорошо издана, в твердом переплете, с его предисловием. Некоторые эссе я читал раньше. «Старики» порадовали меня эпизодами твоей лекарской практики; я всегда подначивал тебя, чтобы ты об этом писал — ты, оказывается, мои пожелания опередил. Вообще ты в этом жанре силен: крепкие, культурные тексты. При некоторых не хватает, пожалуй, дат. «Левии-

фан» или «Ветер изгнания» отчасти навеяны ощущениями времени, когда писались. Тема советской литературы все больше уходит в историю, характер эмиграции видоизменяется, люди, уехавшие по другим причинам, с другой мотивацией, продолжают, черт побери, писать и печатаются на родине, куда при желании могут возвратиться. Но и то, о чем ты написал, не теряет актуальности, просто дата написания была бы уместна. А вообще тебе можно только позавидовать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8.7.04

Эх, Марк, нашёл кому завидовать. Не говоря уже о том, что всё время спрашиваешь себя: кто это будет покупать и читать? Книжка, выпущенная Л.С. Яновичем, была заказана сто лет назад. Я плохо помню, какие тексты туда включены. Но вспомнилось, что издатель предлагал напечатать нашу с покойным Юлием Шрейдером переписку, для которой я придумал название, русское и латинское: «Письма без штемпеля», *Epistulae non sigillatae*. Не знаю, как он на них набрёл, может быть, в Самиздате. Переписка касавшаяся религии, теологии, еврейства и т.д., была лишь частично опубликована в моём сборнике «Идущий по воде», выпущенном в числе немногих книг, которые мы, то есть наш бывший журнал «Страна и мир», издавали одно время. В этом «Идущем» помещены были только мои письма, так как я боялся навредить Юле Шрейдеру (он был человек обожжённый, сын погибшего отца, был тайным католиком и членом партии, занимал хорошую должность-синекуру). Но дело было не в этом, а в том, что письма, как мне казалось, устарели, и я предложил Яновичу использовать другие статьи. Возился я со всем этим долго, и всё ушло в песок. Да и теперь... Если бы я не услышал случайно о том, что книжка вышла и не добыл его телефон, он обо мне бы и не вспомнил. Обещано прислать мне, но я до сих пор ничего не получил.

Ты упомянул «Левиафана». Это та самая, с небольшими изменениями, статья, от которой отказались в «Знамени» и которую тиснули в «Октябре». Конечно, я хорошо знаю, что тема сейчас уже мало кого интересует. Тут бы, как и в разговоре о лагерях и о многом другом, надо вспомнить Гамлета: «Сапогов не успели носить...» Было и больём вопросом — так быстро. Лишний довод в пользу того, что уж эту-то статью определённо никто не станет читать.. Но феномен организованной литературы не заслуживает того, чтобы его сбросили со счетов. Ведь ничто на самом деле не проходит бесследно. Либо мы имеем дело с тяжёлым случаем неизлечимой исторической амнезии, либо пройдёт сколько-то лет или десятилетий, все вымрут, и тогда, когда уже никого и ничего не останется, вспомнят.

В том, что сегодня в России нет охоты и сил ко всему эту возвращаться, виновата, конечно, в большой мере крикливая и бездарная газетчина: с какой радостью, как только было позволено, вся эта шушера набросилась на издыхающего льва. Не успели договорить, как всё приелось. Раздались укоряющие голоса: Геростраты... наша национальная гордость... Хватит бросаться дерьмом, не так уж всё было плохо. Подоспело и разочарование в не успевшей опереться демократии. Результат — «тема», или то, что в Германии называлось преодолением прошлого, не только надоела, но оказалась полностью скомпрометированной. Но, может быть, ты прав, и уже сейчас, если говорить о советской литературе и т.п., то говорить надо иначе. Не завидую Яновичу: он так и будет сидеть на своём тираже [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

(дата утеряна)

Дорогой Гена!

С «преодолением прошлого» у нас, что говорить, тяжелый случай. Не только коммунистический депутат, но даже вменяемый, казалось бы, московский мэр вдруг заводит разговор о восстановлении памятника Дзержинскому. И при этом по государственному телеканалу рассказывается, что один из преемников назвал этого человека «величайшим террористом своего времени» (с похвалой!). Что этот человек приказывал расстреливать заложников, организовал первые концлагеря и т.п. И то, и другое слушают. Ломиться в открытые ворота? Вот, высказался недавно по поводу юбилея Че Гевары: что знают о нем юнцы, украшающие свои майки его портретами? У вас ведь тоже знают — и тоже украшают. И советские книги до сих пор читают. Но писательской номенклатуры уже нет. Дата написания все-таки уточняет временные координаты.

Кто это будет читать? Трудно сказать. Незамеченные гении когда-то могли рассчитывать хотя бы на посмертное признание. Я что-то последнее время не слышу про такого рода открытия. Напирают все новые имена, не успеваем переваривать. Знакомый композитор говорил мне, что Вивальди по-настоящему заметили спустя 200 лет после смерти. Но это про давние времена, тогда творцы не ходили такими толпами. Знакомому этому 76 лет, он страдает не от непризнанности — от невозможности быть услышанным. Чтобы оркестр взялся разучивать его новую симфонию, нужно вложить тысячу долларов (на переписку нот, репетиции, помещение, да и оркестр еще надо найти). «Меня не исполняют, потому что нет имени, — сказал он мне, — а нет имени, потому что не исполняют. Какой-то заколдованный круг». Композитор он, по-моему, замечательный, хотелось бы верить, что когда-нибудь ему воздастся. А быть напечатанным все-таки хорошо [...]

Полноценное общение удается все реже. Недавно одного грузинского режиссера спросили в связи с его 70-летием, продолжается ли у него прежнее дружеское общение. «В нашем возрасте такого уже не бывает», — ответил он с грузинской убежденностью. А мне все еще приходится к этому привыкать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17.7.04

Дорогой Марк! После «Стенографии» я взялся перечитывать «Линии судьбы» и восхищён искусным построением этой вещи, переплетением нитей, сквозь которое постепенно проступает рисунок, а там и мало-помалу вырисовывается целый мир, особый образ России. Этому сплетению мелких фактов, ни один из которых, как выясняется, не случаен, отвечает двойственность повествования: анонимный автор («мы») ссылается на исследователя, отчего образ главного героя предстаёт по меньшей мере в двух зеркалах, не говоря уже о многочисленных отражениях, которые мелькают здесь и там, — соседи-провинциалы, якобы случайные знакомые, букинист, наконец, всплывает загадочный сундук, и всё это подано в совершенно особой, своеобразной стилистике, чуть-чуть старомодной, чуть-чуть иронической, чуть-чуть пародийной — ровно настолько, сколько нужно [...]

Наступила душная жара — сегодня около тридцати. На Европу вот-вот обрушатся грозы. Я сижу дома, иногда слушаю музыку, вечером впадаю в сомнамбулическое состояние и начинаю листать всё подряд. (Другие в таких случаях едят — одно за другим и что попало, но я после трёх-четырёх часов *nachmittags* вообще не могу уже ничего есть.) В одном письме Флобера говорится о том, что он хочет написать *un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même, par la force interne du style*¹; так и я вознамерился было написать повесть или рассказ ни о чём, но оказалось, что совсем без сюжета, самого плохонького, всё-таки не обойтись. Пользуясь старыми материалами, я накропал статейку об Эрэнбурге и Роже Вайяне, за которую Бен Сарнов, если бы она попалась ему на глаза, всыпал бы мне под первое число. Я уж не говорю о покойной Ирине Ильиничне Эрэнбург. Как-то раз, в один из первых приездов, я шёл с Беном недалеко от писательских домов, нам встретилась Ирина, очень постаревшая, сморщенная. Я часто виделся с ней в былые времена, она давала мне читать французские книжки из библиотеки отца, того же Вайяна. Бен сказал: «А это Гена». Она не

¹ книгу ни о чём, без какой-либо внешней привязки, и которая держалась бы одной лишь внутренней силой стиля (*фр.*)

взглянула на меня, не удостоила приветствием, может быть, забыла или притворилась, что не помнит; вероятно, не могла мне простить одной радиопередачи об Эренбурге [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.7.04

Дорогой Гена, мне трудно перечитывать свои опубликованные тексты, они меня как-то выталкивают. Но вот недавно, зайдя в очередной тупик, решил использовать паузу, перечитав отложенный когда-то роман «Проект Одиночество». Я тебе о нем писал, кажется, посылал даже две главы, об одиночестве и о «случае Кафки». Роман раз-другой возвращали мне из редакций, я сам увидел необходимость что-то в нем доработать, подсократить. А потом оставил его на время полежать, чтобы взглянуть уже свежим взглядом. И вот посмотрел: работа мне показалась, в общем, состоявшейся. Она завершает цикл, начатый «Временами жизни» и «Приближением», там тот же герой, писатель Зимин, автор вышеназванных сочинений, они в книге упоминаются — вместе все может восприниматься более цельно. Буду ли я его теперь показывать? Может, созреет случай, рано или поздно, думаю, напечатают, но пока что-то не тянет. Разве что ради заработка, хотя и небольшого. Чувство, что сейчас не время такой прозы. Не знаю, вернется ли такое время. Что-то постоянно меняется, я пробую уловить, что. «Игра с собой» — уже немного другая проза. Но что-то со временем, увы, уходит. Не замечал ли ты, что книги, которые нравились тебе лет пятнадцать-двадцать назад, сейчас трудно перечитывать? И наоборот, оцениваешь не воспринятое когда-то? Некоторые мои вещи ждали публикации 15–16 лет, хорошо было убедиться, что они еще не прокисли.

Рецензий на «Сундучок» было много, в разных странах, некоторые я читал, но для себя редко что из них извлекал. Не говорю о ругательных — даже из сочувственных. Это известное дело, автору угодить трудно. Но были восхищавшие меня попадания. Я в «Стенографии» привожу слова одного французского рецензента: о том, что частная история пишется на оборотной стороне истории — как писал Милашевич на обороте фантиков. Я бы до такого не додумался.

Но вот, если хочешь, отзыв в стихах, который переслал мне через «Знамя» читатель из Херсона, прочитавший в журнале «Игру с собой»: «Хорошая, сильная, емкая проза, Как будто игра и почти несерьезно, А как глубоко и свободно, изящно, И коль одним словом, то просто блестяще!» И дальше еще на пяти листах — стихи с эпиграфами из моих верлибров и эссе, которые тоже были прочитаны: размышления на их темы. Нечастый, по-моему, случай [...]

25.7.04

[...] Что ж, иногда смотришь на какой-нибудь старый набросок, и он вдруг начинает нравиться. Как будто за минувшее время в нём произошёл какой-то биохимический процесс, и он дозрел, как помидор в валенке. Но с книгами других писателей и даже классиков часто происходит наоборот: с досадой замечаешь, что красавица далёких лет постарела, подурнела и даже поглупела. Но стоит закрыть книжку, и очарование восстанавливается.

О чём я до сих пор жалею, так это о моих московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разрешается. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выездной визы — клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Мой сын, ему не было восемнадцати лет, растерялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено — не положено.

Что сказать тебе нового, дорогой Марк? Я занимался рассказом с жутким лагерным сюжетом, закончил его. Поправлял некоторые старые вещи. В Израиле Эд. Кузнецов и Рафа Нудельман выпускают двухмесячный толстый журнал «Nota Bene», вышло уже несколько номеров, хотя долго ли продержится журнал, неизвестно. Там напечатано несколько моих сочинений малого формата, а тут мне пришла странная мысль предложить им мою старинную, почти 40-летней давности, лагерную повесть «Запах звёзд». В ней я ничего не менял, только написал короткое предисловие, что-де давно проехали и никого, по крайней мере, в России, эта тема не интересует, но всё-таки... Против ожидания она понравилась. В твоём письме есть любопытная обмолвка (в связи с предполагаемой публикацией «Проекта Одиночество»): «Чувство, что сейчас не время такой прозы». А когда — время? Может быть, самое правильное время — это и есть когда не время?

Ты упомянул о Грише Померанце. На-днях появился в интернете давно ожидаемый, единственный номер «Вестника Европы» за этот год. Там помещена статья Гриши «Религиозная немзыкальность и единое

пространство любви». Я её раньше уже читал. Тезис: «Современный Запад религиозно немзыкален». И, собственно, всё ясно. Вопрос: почему надо писать обязательно о «Западе», разве нет других тем?

В этом же номере я нашёл свою рецензию на гришины «Записки Гадкого утёнка» [...]

1.8.04

Дорогой Марк, вот уже и август. Чем дальше, тем сильнее чувствуешь: время работает против тебя. Когда-то катился по этой дороге, не чувствуя толчков, а сейчас как будто песок скрежещет под колёсами, и этот скрип и скрежет — какофония времени — постоянно напоминает о том, что вот ещё один перегон пронёсся мимо, и ещё один... Ты мало пишешь о своих делах: занимаешься ли ты «Проектом Одиночество», что вообще представляет собой это произведение? Иногда возникает желание (или искушение) комментировать собственные писания, но ты, кажется, это не любишь.

Выражение «религиозная (не)музыкальность» Гриша, как он сам писал, услышал из уст знаменитого философа Юргена Хабермаса, последнего крупного представителя Франкфуртской школы, и оно ему понравилось. (Словечко принадлежит, собственно, Максу Веберу.) Но у Блока — и в дневниках, и в предисловии к «Возмездию» — эти слова: музыка, музыкальный напор имели, судя по всему, другой смысл. Вообще Блок сыграл в моей жизни огромную роль, а когда я читал его впервые, подростком, во время войны, это было ни с чем не сравнимое переживание. Блок был русский патриот и, как водится, недолюбливал немцев, но сам в большой мере оставался немцем, даже в быту, не говоря уже о мировоззрении, об этом германском мироощущении: я думаю, ему были близки интуиции немецкого идеализма; его «музыка» напоминает волю Шопенгауэра, но без того зловещего, несчастливого и несущего одни лишь несчастья, что заложено в этой чёрной стихии. Блок был влюблён в гибель.

Что касается самой поэмы «Возмездие» (которую я как-то недавно читал Лоре вслух), то мне она, как и прежде, кажется одной из его вершин. Редко когда он достигал такой мощи. Много говорилось о том, почему он её не закончил (он и сам об этом пишет), и что эпическая поэма, да ещё написанная пушкинским ямбом, в XX веке заведомо обречена на неудачу; ты пишешь о дефектности замысла семейной саги в стихах. Всё это, может быть, и верно. Но я думаю, что такой титан, как Блок, мог бы справиться со всеми трудностями. В конце концов, оставшийся торс свидетельствует об этом, по-моему. «Лишь рельс в Европу в мокрой мгле Поблескивает честной сталью». А вот не закончил, и всё тут.

В моих делах наступило, кажется, затишье, и это очень плохо. Я написал рассказ о человеке, которого старается приручить 18-летняя школьница, и о дуэли с двойником (похожая сцена есть в пьесе Леонида Андреева «Чёрные маски», которую я читал, когда мне было 16 или 17 лет). И всё, aus. Тригорин сравнивал себя с мужиком, опоздавшим на поезд, так и я. Между прочим, когда читаешь «Чайку», так и остаётся непонятым, был ли «беллетрист Тригорин» действительно крупным писателем или что-нибудь вроде Потапенко. (Это же, хоть и по-другому, можно отнести к Треплеву; кто он, в конце концов: подлинный талант? Или графоман-неудачник?)

«Запах звёзд» отнюдь не напечатан; Эд. Кузнецов (редактор журнала «Nota Bene», выходящего раз в два месяца), лишь сообщил мне, что повесть произвела на него впечатление, будет ли она опубликована, не ведаю. В «Знамени», как меня известила Анна Кузнецова, начальством зарублены три рецензии, которые я посылал в разное время: о постановках «Rheingold» в Мюнхене и Штутгарте — так как Вагнера, по её словам, много ставят сейчас в России, о весьма скучной переписке Л. Чуковской с отцом и о немецко-русской книге «Русская культура на переломе» — так как могут обидеться священные коровы, которых я зацепил: Лидия Корнеевна и выдающийся национальный мыслитель Валентин Непомнящий. Зачем я вообще сочиняю эти рецензии, которые в общем-то представляют собой не рецензии, а небольшие статьи? Над каждым текстом я работаю, правлю, выверяю материал и т.д. — трачу время. Какого хрена? Единственное оправдание, что мой брат получал за это грошовые гонорары.

Я, конечно, слышал о виконте Илье Пригожине (знаешь ли ты, что он был в Бельгии виконтом?), но никогда его не читал. Где напечатана статья «Переоткрытие времени»? Мне попался в интернете любопытный текст под названием «Psychose maniaco-dépressive de la science¹», Пригожин говорит, что идеал науки — открытие умопостигаемого мира, управляемого неизменными и непреложными законами, — порождает кошмар: свободный человек оказывается лицом к лицу с миром-автоматом. Так возникает желание взбунтоваться, разделаться с физикой внутри самой физики; не этим ли объясняется внимание к «диссипативным системам», к хаосу, в котором скрыты неисчерпаемые и непредсказуемые творческие возможности?

Заодно я прочёл краткую биографию. Какое счастье, что родители уезжали его в 21 году.

Ну, а насчёт истории, которая «как серьёзное аналитическое занятие ещё совсем молода»... Что сказать об этом. Всё это я знаю

¹ «Маниакально-депрессивный психоз науки» (*фр.*)

очень плохо. Писатель (или «беллетрист») — это профессиональный дилетант. И лучше бы вообще воздерживаться от высказываний на тему историографии. Но есть чувство истории, подсказанное жизнью. И это моё отношение к истории тебе хорошо известно. Мне кажется, что центральная (и, разумеется, вненаучная, выходящая за пределы науки) проблема — в чём смысл истории, скрывает ли в себе история вообще какой-либо разумный смысл? Можно ли ещё верить в исторический разум? Что от него осталось? Если история движется к последней катастрофе, ядерной или космической, к уничтожению рода людского, — останется ли некий Божий Глаз, который уронит слезу о погибшем человечестве? Или история окончательно разоблачит себя как кровавый хаос? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.8.04

[...] Пришел неожиданный подарок из Испании, с острова Майорка: писатель с хорошим именем Хосе Луис де Хуан прислал мне свою книгу «Campos de Flandes» — о нашем совместном (еще с одним чехом) пребывании на вилле Mont Noir. По-испански я, увы, читать не могу, но что-то угадывал по сходству с французским: описание наших поездок к Ламаншу и в другие места, с фотографиями, пересказы наших бесед (местами он цитирует меня по-французски). Никогда не думал, что я мог столько говорить по-французски. Если учесть, что и для него французский не родной — как он мои слова понял и что получилось в его изложении? И ведь хватило на целую большую книгу: 238 стр., и кому-то это показалось интересно — раз издали. Я этого Хуана порекомендовал когда-то журналу «Иностранная литература» — оказывается, уже переводят.

Почитывал между делом мемуарный трехтомник Романа Гуля «Я унес Россию». Его свидетельства и пересказы разговоров можно, думается, считать достоверными. Хотя немало и сплетен, слухов. Впервые, между прочим, узнал, что граф А.Н. Толстой — вовсе не граф и не Толстой, а плод адюльтера графской жены, семья его не признавала. Или что Берберова, оказывается, восхищалась Гитлером.

А еще с восхищением перечитывал «Мою жизнь» Шагала — как этот человек мне мил! Думаю написать о нем для заработка в журнал «Лехаим» — отложив застопорившуюся работу.

Мое «Приближение» планировалось во Франции на октябрь, но Жорж Нива написал мне, что его хотят, кажется, приурочить к парижскому книжному салону в марте, где Россия будет страной-

гостем. Издательство хлопочет, чтобы я был включен в список приглашенных. Сам я пока не уверен, хочется ли мне сидеть в числе делегатов на тамошних мероприятиях [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12.8.04

[...] Вот это здорово — «Поля Фландрии», — теперь твоё имя станет известно и в испаноязычном мире. Я тоже читаю по-испански с трудом, помогают французский и, конечно, латынь. Если бы римлянин I века очутился в сегодняшней Европе, — особенно, если бы это был не интеллигент, а плебей, — он без особых усилий общался бы с итальянцами в Риме, с грехом пополам — в Мадриде и Лиссабоне, даже в Бухаресте кое-как сумел бы объясниться с туземцами; а вот в Париже, вероятно, не понял бы ничего или почти ничего [...]

Мемуары Романа Гуля я когда-то почитывал и даже получил втык от Джона Глэда за то, что однажды презрительно отозвался об авторе. Джон знал Гуля. В мемуарах много любопытных подробностей, но написаны они, мне кажется, человеком неумным и недалёким. О том, что Алексей Толстой был, возможно, сыном А. Бострома, а не графа Ник. Толстого, есть глухой намёк в короткой автобиографии самого Толстого; так мне, по крайней мере, показалось. Я читал эту автобиографию очень давно, но помню, что там говорится: «Моя мать ушла к Бострому, беременная мною». Но, так или иначе, официально он числился сыном Толстого и, следовательно, имел право носить его титул. Говорят, и в советские времена у него был камердинер, который отвечал по телефону: «Его сиятельства нет дома» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.8.04

[...] Пришло приглашение от Рафаила Нудельмана сотрудничать с его журналом «Нота Бене». Он ссылается на твою рекомендацию — спасибо. Обещан даже гонорар, любопытно бы знать, какой, меня это сейчас интересует [...] Видел ли ты какой-то уже вышедший номер?

Сам я всю прошедшую неделю писал, главным образом, для заработка — «Лехаим» платит лучше других московских журналов. Но хотелось, чтобы это все-таки была не заказная, «моя» эссеистика. Вроде бы получилось, и журнал ее уже принял. Теперь возвращаюсь к своей, отложенной работе, она движется, увы, не так быстро [...]

14.8.04

Я осмелился, дорогой Марк, посоветовать Рафаилу Нудельману связаться с тобой, так как знаю Рафу очень давно, теперь знаком и с журналом. Он неплохо выглядит: стильная обложка, хорошая бумага. Журнал толщиной в 350 стр., выходит в Иерусалиме один раз в 2 месяца. Главный редактор и добытчик средств Эдуард Кузнецов (когда-то пытавшийся угнать советский самолёт, чтобы приземлиться в Израиле. В конце концов он там и приземлился, только другим способом). Заместитель главного — Нудельман. Решающее слово принадлежит Кузнецову. О точном размере гонораров я ничего не знаю; приблизительно 100–200 долл. за публикацию, может быть, чуть больше.

Мне прислали три первых номера. Проза, эссеистика, публицистика, мемуары и пр.; есть также раздел «дайджест». Журнал именуется литературно-публицистическим, избегает довольно обычной для русских — отечественных и зарубежных — изданий пошлятины. Скольконибудь заметной партийности нет. Трудно определить и литературную ориентацию. В трёх номерах печатаются, в числе более или менее известных имён, Аксёнов, Парамонов, Бен Сарнов, Дина Рубина, Юра Колкер, Мих. Эпштейн, Игорь Ефимов, Эмма Коржавин. Напечатаны два моих текста, «Возвращение Агасфера» и «Лигурия» [...]

17.8.04

[...] Дорогой Марк. Снова наступает жара. Лето сдвинулось, и деревья всё ещё зелёные, как в июле. Прыгает чёрный дрозд; после Музиля эта птица, по крайней мере, в моих глазах, сильно повысила свой престиж. Я прошёлся немного. На лотке бульварных газет крупными буквами — канцлер Шрёдер удочерил русскую девочку 3-х лет, из детского дома. Я всегда презирал газету как институт и, конечно, газетчиков. Зачем трубить? А если родители не хотят, чтобы девочка узнала, что они ей неродные? И ничего невозможно поделать против этих сволочей, которые готовы пролезть куда угодно, хоть в прямую кишку.

Завтра будет 22 года, как мы покинули отечество. Всё помнится во всех подробностях, это были отвратительные дни. Да и все последние годы, — как всё это было удручающе. И какое чувство облегчения, избавления, свободы, когда мы вышли в Вене из самолёта, в солнечный день, побрели к зданию аэропорта, вокруг немецкие надписи, и никто нас не останавливает, никто не интересуется нами, не требует документов, не говорит «пройдёте». И какие там документы — клочок бумаги, филькина грамота, называемая визой.

Но сознание великой напраслины, о которой мы уже говорили, напрасных усилий собственной жизни и писательства, как и общей исторической напраслины, — об этого сознания, привезённого с собой, никуда не денешься. Вот всё, что осталось от исторического сознания, которое мы все унаследовали от XIX века. Это сознание, очевидно, прошло мимо значительной части российского населения, поэтому и чувство потери, утрата веры в смысл истории, в исторический разум, — народной массе, как можно догадываться, остались чужды. Противоядием от них был особого рода универсальный фатализм. Можно жить вне истории — сколько мне пришлось видеть таких людей! — и оттого не слишком сожалеть о ней. Я говорю не об интеллигенции.

Перелистывал снова дневник Давида Самойлова. Окружение — семья и литературная или околотитулярная братия. Запас жизненных впечатлений, подкрепляющих, вопреки всем сомнениям, стойкое национально-государственное мировоззрение, — от времён войны. И никакого соприкосновения с реальной жизнью людей. Между прочим, такое же впечатление оставляет переписка Лидии Чуковской с Корнеем; там, правда, нет и военного прошлого. Об этой отторгнутости я попробовал написать в рецензии, которую (как я тебе писал) зарубили в «Знамени».

Можно, конечно, возразить, что, например, и дневники Андре Жида (я их тоже почитывал снова на этих днях) за тысячу вёрст от «народа». Но в том-то и дело, что расстояние между умственной элитой и простонародьем в этих старых западных странах и не так велико, и вымощено брусчаткой, в отличие от тысячекилометровых хлябей, по которым история добирается до простых людей в России.

Занимался я целую неделю приятно-неприятным делом — пересматривал, подчищал и доделывал свою беллетристическую прозу последних пяти или восьми лет, мелкую, не романы. Насочинял я на удивление довольно много. В журнале «Нева» № 6 есть большая теоретическая статья А. Бартова, во многом созвучная Липовецкому: и там, и здесь — уверенная апология тому, что они называют постмодернизмом. В конце концов я понял, что, собственно, они под ним подразумевают. (До сих пор для меня опорой были иностранцы, Льюгар, Вельш. Но и Бартов опирается во многом на них.) Мне казалось, что «постмодернизм» выдохся, умер. Два вопроса, первый: что мы можем противопоставить этому, по их мнению, важнейшему (не просто модному) направлению современности, которое мне кажется симптомом бессилия, если не вырождения, литературы? Реабилитацию человека? И второй: от шутовства и паясничества, от игры в слова и ярлык повернуться к «жизни»? Но для меня эта жизнь — только прошлое [...]

[...] Рафаил Нудельман написал мне, что хочет напечатать мои тексты в ближайших номерах, просил присылать еще. Такой быстрый отклик приятен. Если «Нота Бене» будет платить больше, чем московские журналы, я охотно стану давать им. Перечень привлеченных к сотрудничеству авторов, которых мне назвал Рафаил, позволяет надеяться на хороший уровень. Конечно, тираж у них меньше, а главное, читатель не тот, в российские библиотеки журнал вряд ли попадет. Но, помнится, твой «Час короля» был напечатан не в Москве и все же стал широко известен. Я на днях по пути из леса заглянул в библиотеку, полистал последние номера «Знамени» — ни на чем не смог задержаться. Возможно, надо было читать внимательней. У тебя больше впечатлений — ты заглядываешь в интернет.

Теоретические построения на литературные темы (вроде упомянутого тобой постмодернизма) могут быть интересны, как самоценная игра ума; вот литературные тексты, которые должны их иллюстрировать, бывают не особенно убедительными. Хотелось бы, однако, уловить, как они (эти концепции) соотносятся с действительно новыми проявлениями культуры, с новым стилем поведения, взаимоотношений, развлечений, шоу. Твой «несерьезный текст» подразумевает, что Чехов как писатель несопоставим с автором графоманского опровержения, для постмодернизма иерархии высокого и низкого не существуют, все равноценно. Причем затрагивают-то эти новые проявления лишь сравнительно небольшую часть городской молодежи, массы, которые прежде называли народными, живут — по крайней мере, у нас — в другой культуре, другой системе ценностей. Блок в «Возмездии» еще исходил из того, что «в каждом дышит дух народа». Кто сейчас может так сказать о себе? Солженицын в своих последних критических штурмах оценивает писателей прежде всего этим критерием: знает ли он жизнь народа? В Германии лет сорок назад возникла литературная группа «63», которая ставила себе задачей писать о жизни рабочих — «неизвестном континенте». Этим писателей теперь мало кто помнит, выяснилось, что литература занимается все-таки чем-то другим.

Вчера мы с Галей были у Марка Розовского — «Песнями нашего двора» он открыл новый сезон. Чистое наслаждение, выпивали, подпевали, духарились, и зрители, и актеры, причем почти все младше нас. Это тебе не постмодернизм [...]

[...] Как ни странно, дорогой Марк, здесь, в Германии, я как-то более предметно, точнее и реалистичней представляю себе народ, чем когда-то в России: понятия «народ» и «население», как и ассоциации, ими вызываемые, здесь не так разведены, как там. Оттого ли, что семантика, коннотации, связанные с русским словом (и подозрительно напоминающие коннотации слов Volk и völkisch в нацистском лексиконе, — второе словечко табуизировано, попросту вычеркнуто из языка), не совпадают с семантикой и ассоциациями немецкого слова? Оттого ли, что страна меньше, оттого ли, что здесь нет деревень и крестьянства в русском понимании, нет, само собой, и помещиков, и ещё меньше, чем в России, понятно, чем, собственно говоря, народ отличается от ненарода; оттого ли, что разрыв между образованным слоем и остальным населением не так сильно бросается в глаза, что разница между столичным городом и провинцией не столь велика, что природа существует не только за городом, но и в самом городе, а промышленность, напротив, часто вынесена за городскую черту; что, наконец, «трудящиеся» — это Arbeitnehmer и противостоят им Arbeitsgeber, которые вовсе не являются «нетрудящимися», а бедняки — вовсе не те, кто работает?

В моей жизни мне пришлось часто и помногу сталкиваться с народом, ведь я много лет был врачом, — или просто жить среди народа; в конце концов, никто из нас не жил в тепличных условиях; о лагере и говорить нечего. Но, видимо, представления XIX века были крепко вколочены в нас. С другой стороны, воспитание, которое дал мне отец, сам вышедший из очень бедной семьи, было в большой мере демократическим. И для меня, уже взрослого человека (21–22 года), было всё ещё неожиданностью, попав в лагерь, убедиться, что народ, самый, что называется, всамделишный, простейший, русейший, часто неграмотный, был в нравственном отношении нисколько не выше тех, кого наш пророк обозвал образованщиной, — наоборот, ещё гаже. Истина оказалась проста: мораль и уровень образования не коррелируют; крестьянское или пролетарское происхождение отнюдь не гарантия порядочности, и вообще, порядочный человек в этой стране — исключение, а не правило. И весь популистский миф русской литературы летит кувырком. Мы имеем дело не только с потомками крепостных, но главным образом с детьми и наследниками эпохи Гражданской и Второй мировой войн, превзошедших все прежние рекорды бесчеловечности, детьми и наследниками советского строя, который культивировал самые низменные свойства человеческой природы.

И вот оказывается, — и это уже вопрос социальный, в масштабе всей страны, — что «народа» давным-давно нет, и классов больше нет, есть люди ни то ни сё, не крестьяне, не рабочие, не интеллигенты, — население. А народ, что ж, народ продолжает своё идеальное существование в проповедях Солженицына.

Я упомянул Дезика и в его лице бывшую писательскую элиту (а он всё-таки как-никак относился, по крайней мере в последние годы, к литературной верхушке) не в том смысле, что «страшно далеки они от народа» (кто из нас близок?), но просто хотел сказать, что, как и другие привилегированные касты и сословия советского общества, они были отторжены от тягот советского существования, от реальной жизни того самого «народа», чьим голосом они, как теперь Солженицын, себя считали — или считались. И эта отторгнутость от действительности лезет в глаза, когда читаешь дневники, письма и т.п. Не она ли, кстати, подвигла, пусть косвенно, покойного Давида Самойлова, человека и умного, и чуткого, на инвективы по адресу «Двух Иванов»?

Как бы то ни было, литература занимается чем-то другим, ты совершенно прав. Это равно относится и к (условно говоря) реалистической словесности, и к постмодернизму. Что касается литературоведческих концепций — то ведь тебя самого заинтересовали рассуждения Липовецкого. У теоретиков постмодернизма есть в самом деле замечательный козырь: когда ты говоришь им, что писатели, на которых они ссылаются, произведения, которые охотно обсасывают, — барахло, скука, — они отвечают, что это не имеет значения; талант и бездарность, красота или безобразие, пошлость или изысканность суть понятия скомпрометированные, устарелые, навязанные нам языком и традицией и ныне успешно преодоленные.

«Песни старого двора» я тоже видел в один из приездов, замечательный концерт-спектакль. Марк Розовский провёл меня и моих спутников во двор театра. Раздавали водку и свечи; при упоминании имени Булата Окуджавы зрители стояли со свечами и плакали [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.8.04

Дорогой Гена, я прекрасно помню твою повесть «Запах звезд», все рассказы этого сборника (который, грешным делом, давным-давно зачитал у Померанца — он, кажется, и не вспоминал). Мне эта книжка нравилась, жаль, что ее мало кто читал. Я рад, что повесть переиздали. Если перебрать, что у тебя издано за последний год, напечатано в периодике, да сколько еще за это время написано — немногие могут этим

похвастаться. Я, увы, не могу. Что-то все ищю, перебираюсь из тустика в тутик. Не было и событий, о которых можно бы написать. Заглядываю в разные книжки. Недавно по какой-то причине попробовал перечитать «Возмездие» Блока. Замысел самой поэмы вряд ли удачен: семейную историю в стихах он сам, в конечном счете, не захотел писать, но характеристики времени местами великолепны. «Двадцатый век... Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла». Это о годах, которые сейчас ностальгически называют «серебряным веком». А в предисловии перечисляет, между прочим, разнородные явления, события, которые для него имеют «единый музыкальный смысл». Мне это вспомнилось в связи со словами Померанца о «религиозной немзыкальности». Не знаю, как он это толкует. Но когда Блок дальше пишет, что «выражением ритма того времени был ямб», этого я, увы, понять не могу.

А еще в связи с темой хаоса заглянул в давнюю статью одного из основоположников «новой хаологии» Нобелевского лауреата Ильи Пригожина «Переоткрытие времени», он начинает ее с цитаты из другого Блока, Марка, великого историка: «Как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода». Пригожин пишет, что во всех науках, в том числе естественных, происходит революционная переоценка основополагающих ценностей, физика тоже оказывается еще не вполне зрелой. Показывают свою несостоятельность представления о детерминизме, причинно-следственных отношениях... — ну, не буду тебе пересказывать этот сложный для меня текст. Можно ли понять и тем более предсказать развитие истории? Движение рождается из каких-то хаотических столкновений, взаимодействий — какое в результате складывается направление? Тейяр де Шарден, о котором я написал в «Степнографии начала века», считал, что человечество движется через разрастающееся усложнение к некой точке омега — и смотрел на это развитие с оптимизмом[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

28.08.2004

Снова лето, в Мюнхене затишье, продолжается отпускная пора. Дорогой Марк, как ты там?

Я споткнулся о время. Приближается закрытие занавеса, а герой, то есть я, всё ещё не может решить, для чего разыгрывалась вся пьеса. Из меня не вышло музыканта, хотя мой отец очень хотел, чтобы я стал скрипачом. Филолога-классика тоже не получилось, я был арестован на последнем курсе. Учился медицине, был первым студентом, с энтузиазмом работал. Зачем-то защитил диссертацию и так далее. Но и медици-

ну в конце концов сожрала литература. Результат? Раньше я придерживался теории, согласно которой проза есть производное памяти; теперь это уже не теория, волей-неволей я живу в прошлом. В прошлом, которое никого не интересует. Другая часть моей литературы — игры с метафизическими моделями — встречает ещё меньше понимания. Оттого ли, что принудительное обучение схоластическим «основам» внушило школьникам и студентам, будущей интеллигенции, отвращение не только к тому, что в СССР именовалось марксистско-ленинской философией, но к метафизике вообще (я, кстати, так и не могу понять, почему старые большевики придавали такое значение примитивно воспринятой философии. Причём тут философия?). Или оттого, что всякое философствование по традиции нелюбимо в этой стране? Противоречит национальному характеру, что ли? Ведь не зря же образованные люди становятся такими беспомощными, когда речь заходит об абстрактных предметах.

В годы, когда я учился в Калининском институте, история партии была отменена, отменён истмат, но диамат остался. И вот злосчастный «Материализм и эмпириокритицизм», достаточно грубое и не требующее подготовки, популярно-полемическое сочинение, считалось у студентов невероятно сложным и непонятным. Это представление о каких-то заоблачных высотах мысли, разумеется, поддерживали и доценты марксизма-ленинизма [...]

Только что мне прислали из Израиля «Nota Bene» № 4. Там этюд Парамонова о сексуальной жизни Блока, у которого он обнаружил (любимая тема) скрытый гомосексуализм и тайное женоненавистничество; большая, с продолжением, статья Бена о нашем пророке; Асар Эпшель, Женя Попов и разные другие. Журнал в общем интересный, я уже писал тебе, что есть смысл в нём сотрудничать. От Гриши пришли красиво изданные «Сны земли» — переиздание. Я думаю, «Сны» — лучшее, что он написал. Но теперь он добавил статьи последнего времени, ещё 100–150 страниц, отчего книга, по-моему, проигрывает [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.8.04

Э, дорогой Гена, было бы кого спросить: для чего разыгрывалась вся пьеса? И нам ли ее оценивать? Скудной ее, во всяком случае, не назовешь, об этом за нас позаботились. И пока она еще продолжается, возможны разные повороты. Твой высокочтимый Эрнст Юнгер усмехнулся бы над молодыми сетованиями: все в прошлом. Он бы на твоём месте описал еще, скажем, путешествие в Прованс, впечатления и по-

путные размышления. А я бы присовокупил к ним, скажем, твое последнее письмо и еще другие — ведь это замечательная проза. (Померанц, помнится, опубликовал что-то из вашей переписки, я, к сожалению, так не умею.)

В «Стенографии», которую я дал «Nota Bene», есть такое дневниковое размышление: «Второсортная, второстепенная, второй свежести. Жизнь, мысль, осетрина. Об осетрине так сказать можно, а о жизни, о мысли?»

Эдуард Кузнецов написал мне, что этот текст, возможно, напечатают в декабрьском номере [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, я вернулся, обратный путь пронеслись быстрее, с одной только ночёвкой в городке Ала, в Северной Италии, не доезжая Доломитов. Вообще ездили в Прованс и назад не через Швейцарию, как когда-то, а через Италию и далее по лигурийскому побережью, в Альпах, вдоль Лазурного берега мимо княжества Монако, Ниццы и т.д. Места волшебной красоты. В Провансе ездили по разным местам, купались, провели неделю вместе с Ильёй и его семейством и кумовьями — матерью и отчимом Сузанны (нашей снохи).

Что у тебя нового?

Я читал там немножко Монтерлана, *Pitié pour les femmes*¹, в Санари-сюр-Мер (где некогда жили немецкие эмигранты) купил на развале когда-то читанные новеллы Камю, а так в общем бездельничал, придумывал кое-что. По возвращении получил от К. Азадовского сообщение о том, что немецкий номер «Звезды» наконец-то вышел, там напечатана повесть «Ксения». Но прислать автору хотя бы один экземпляр они не могут. Старая история. И это при том, что номер вышел на средства немцев (фонд изд. Фишер). Таковы обычаи этой страны [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.9.04

Лигурия, Доломиты, Лазурный берег — сказочно звучат названия, дорогой Гена. А вот имя Монтерлана я, к своему стыду, слышу впервые, не знаю, кто это. И про «Ксению» ты мне до сих пор не писал. Поздравляю тебя с публикацией. Да еще в немецком номере — ты теперь, значит, на правах немецкого автора.

¹ сострадание к женщинам (*фр.*)

А я тут кукую один, Галя неделю назад уехала в Красноярск — хотела застать маму еще живой. Матери 94-й год, она почти все время спит, почти не ест, не реагирует. Долго ли это протянется, ты можешь оценить, думаю, точнее меня. Планы обычного сентябрьского отдыха у моря, во всяком случае, откладываются.

Сведения о наших жутких событиях достигли, наверно, и ваших райских куш. Атмосфера в стране заметно ухудшилась. Она все последнее время менялась по частностям, исподволь, теперь перемены проявились отчетливо, существенно. Обсуждать альтернативные мнения практически невозможно, телевидение унифицировано, пресса, которую можно еще назвать оппозиционной, малотиражна. Чувство бессилия. Хорошего это не сулит. У вас все это, думаю, обсуждается.

Если б удалось хоть сдвинуть свою работу [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.9.04

[...] Дорогой Марк, ты, кажется, здоров, работаешь — и на том спасибо. Что касается ситуации... Конечно, и мы тут более или менее «в курсе», хотя моя осведомлённость, очевидно, уступает осведомлённости тех, кто каждый день раскрывает газеты, читает «Der Spiegel», «Focus» и т.п. Я обычно слушаю утром известия по радио, вечером вижу новости по телевидению, иногда слушаю комментарии, дискуссии. Кажется, вектор перемен окончательно определился — ты прав. Но всё-таки никто не вмешивается в литературу, всё ещё открыты границы. Люди ездят туда-сюда. Даже существует какая-никакая оппозиция.

Я развернул снова с некоторым унынием свои бумаги. Ты спрашиваешь о «Ксении». Это такой рассказ или повесть — 37 страниц — на несколько рискованную для меня тему; мне казалось, я тебе её посылал. Посылаю сейчас. И, конечно, охотно выслушал бы твоё мнение, если будет время и хватит терпения прочесть.

У меня есть несколько мелких проектов, которые, как все проекты, выглядят заманчиво только до тех пор, пока к ним не притронешься. Вроде того как медуза переливается цветами радуги на воде, а вытащишь — комок бесцветной слизи.

Монтерлан (Henry de Montherlant), в честь которого, как я заметил ещё в прошлом году, назван теперь кусок набережной Левого берега напротив музея д'Орсэ, когда-то немного гипнотизировал меня, хотя я читал его в общем-то очень мало. Полуиспанский граф, спортсмен, красавец, в 20 лет волонтер Мировой войны, пробовал себя в роли тореро, выступал на арене, поэт, драматург, романист, диарист, антифеминист,

католический романтик в полусредневековом, полуфашистском вкусе, во время оккупации, кажется, был близок к идейному коллаборационизму, в 74 года покончил с собой — принял яд и для подстраховки застрелился. Я немножко о нём писал, вернее, упоминал о нём в одной статье о Юнгере; мне казалось, что оба, каждый по-своему (и вместе с Мальро, Пеги, Гумилёвым), принадлежали к особому, появившемуся в начале XX столетия типу писателей, которые хотели быть художниками и людьми мысли и одновременно людьми действия, мужчинами. Ледяные романтики, волевые интеллектуалы, воины-эстеты. А под какими знамёнами сражаться, не так уж важно, главное — возвыситься над обстоятельствами, утвердить себя, глядеть не мигая в лицо смерти.

Всё это было в связи с попытками понять психологию интеллигента, сочувствующего фашизму [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.9.04

Дорогой Гена, «Ксению» я действительно читал, даже посылал тебе какие-то замечания. Забыл только название. Рассказ и впрямь вполне для немецкого номера — взгляд с немецкой стороны, хотя язык русский [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

24.9.04

Дорогой Марк, после нескольких дней холода, ветра с дождём вроде бы начало осторожно выглядывать солнце, странно подумать, что ещё две недели назад мы пеклись и плавились от жары в Южной Франции. И вот я сижу и думаю, что бы такое тебе написать. Лора работает, я целыми вечерами, которые становятся всё длиннее, сижу или хожу по комнате, хватаюсь за разные книжки или слушаю музыку, чем позже час, тем всё меньше хочется спать. Вчера я раскрыл «Кавказские заметки» Юнгера и вычитал там следующее: рыбы, умирая, поворачиваются брюхом кверху и всплывают на поверхность; это их способ падать. Удивительная, причудливая мысль, а? Потом смотрел видеокассету: старый фильм «Mit meinen heißen Tränen¹», третья часть, смерть Шуберта в ноябре 1828 года. И эта горестная волшебная музыка.

Я листал ночью, когда уже совсем слипались глаза, твой этюд об Илье Габае — кстати, я почему-то думал, что он покончил с собой в

¹ «Горючими моими слезами» (нем.)

Нью-Йорке, помню, кто-то говорил, что он выбросился из окна с какой-то огромной высоты, — и заснул с мыслью об этой прекрасной прозе. Я был связан с журналом «Евреи в СССР», там публиковались некоторые тексты Габая: мифологизированный образ метрополитена. Между прочим, немного ниже в этой же книге («Способ существования») приведено замечание Д.Самойлова о том, что твоему очерку не хватает «вещных деталей», например, рассказа о пирушках: «ты здесь скорее концептуален». Выходит, даже у Самойлова, поэта боратынско-тютчевской линии, сохранялось, по крайней мере, в прозе, традиционное недоверие к рефлексии, к рассуждениям, к мысли

Я занимался эти дни тем, что пересматривал свои старые вещи, небольшие (не романы), и так до сих пор и не знаю, хорошо это или плохо. Кое-что мне нравится, но чем позже день, чем ближе вечер, тем больше всё это гложет, кажется ненужным [...]

В Германии вновь оживились споры о реформе правописания. Вроде бы уже решили; но филологи опять возражают, несколько крупных газет объявили, что они возвращаются к прежней орфографии. Сам я, когда пишу письма и т.п., придерживаюсь старых правил. В немецком правописании есть действительно трудные, может быть, в принципе неразрешимые проблемы; например: groß oder klein (когда употреблять прописную букву, когда строчную), zusammen oder getrennt (слитное или раздельное написание сложных глаголов, наречий и т.д.) [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.9.04

[...] Вчера вернулась Галя, маму она похоронила. Подумываем об отдыхе, оба уже ощущаем усталость. Хотя сезон у ближних морей закончился, надо куда-то подальше.

Насчет умирающих рыб у Юнгера — есть замечательный образ в потрясающем верлибре Бродского «Осенний крик ястреба»: «Что для двуногих высь, то для пернатых наоборот». Там ястребу не дает опуститься упругий слой воздуха, выталкивает его все выше, выше, и где-то в высоте он безвозвратно исчезает. Очень сильно.

Я время от времени заглядываю в Бродского, ненадолго, проваливаюсь иногда в образ, в строку. Поразительно не просто его ранняя зрелость — раннее чувство бренности всего сущего. В 30–40 лет он пишет о жизни, как об уже прожитой, никаких неожиданностей, открытий, никакой новизны она больше не сулит. Кажется, что я до сих пор младше его.

Один русский литератор, живущий в Париже, прочел фрагменты из моей «Стенографии начала века» и упрекнул меня за «сетующий

тон». Думаю, это ему почудилось. В качестве ободряющего образца (человек, как я понимаю, церковный) привел папскую мессу в Лурде, которую услышал по радио. «Только Церковь могла показать агонию своего шефа, никакое государство, никакая партия такого риска не примут; хрипы в микрофон и едва угадываемые слова, паузы, глотание воды. Не бояться предстать в маразме перед всем миром! Колоссально!» Неожиданное восприятие.

А еще один знакомый прочел «Игру с собой» и особенно оценил некоторые попутные, «философские», как он их назвал, замечания. Например, фразу, которую я считал пьяной невнятицей: «Реальность не может не существовать». По его словам, это перекликается с идеями неизвестной мне книги «Философия небытия». Интересно бывает встретиться со способом мышления, более неожиданным, чем у тебя. Не все можно вывести из своего лишь собственного понимания, собственного опыта. То, что у нас называлось критикой, редко дает питательный повод для размышления. Последнее время, я, впрочем, ее вообще почти не знаю.

В твоём письме я, между прочим, не понял, что это за «мифологизированный образ метрополитена» у Габая. Не путаешь ли ты его с кем-то? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM176

[...] Стихи Ильи Габая публиковались в журнале «Евреи в СССР», это я хорошо помню. Собственно, тогда я и услышал впервые о Габае. В поэме, упомянутой мною, говорилось о линиях и вокзалах московского метрополитена как о загадочно-зловещем подземном мире — что-то вроде современного Аида, — но, может быть, я приписываю авторство Габаю по ошибке.

Ты привёл любопытное суждение о главе римской церкви, его часто можно видеть по телевидению — печальное зрелище. Он немощен, у него болезнь Паркинсона, он не может встать, говорит еле слышным голосом. Но при этом он отнюдь не в маразме — твой корреспондент ошибается. То, что римский папа предстаёт перед миллионами зрителей в таком физически жалком облике, мне вовсе не кажется какой-то особой смелостью римско-католической церкви. До тех пор, пока папа жив и находится в здравом уме, он должен публично благословлять верующих, вещать о политике и т.д., — это традиция, которую никто не может преступить. Напротив, смелостью было бы, если бы курия каким-то образом запретила ему выступать.

Да, конечно, «интересно встретиться со способом мышления более неожиданным». Лишь бы только это мышление не было примитивно банальным. Впрочем, бывает интересно послушать и таких людей. Я помню, как-то раз я разговорился с человеком, который, как и я, стоял перед памятником-часовней гренадёров, погибших в русско-турецкую войну, позади Политехнического музея. Он спросил меня, что это за памятник. Это был русский человек, на вид совсем не заскорузлый, не приехавший издалека, средних лет. Но в продолжение разговора стало ясно, что не только об этой войне — обо всей русской истории у этого человека, учившегося в школе, такие дикие представления, что хоть стой хоть падай.

Куда вы собираетесь ехать отдыхать? У нас гости, моя работа нарушилась. Правда, назвать это работой... Я начал было сочинять один рассказец, утром ещё туда-сюда, а вечером, когда вообще трезвеешь, и замысел, и то, что успелось написать, выглядят чушью, чем-то неживым, высосанным из пальца. В самом деле, сколько вокруг исписавшихся писателей, этих певцов, потерявших голос; вот и думаешь: почему подобное не может произойти с тобой? Кажется, уже пора.

Я всё же, в отличие от тебя, иногда читаю или просматриваю литературную критику. Например, я прочёл в «Знамени» № 10 большую обзорную статью Н. Ивановой о «литературном дефолте». Мне понадобилось некоторое усилие, чтобы понять, что под этим подразумевается. Статья очень актуальная и написана в соответствующем плясовом темпе. Для меня мало интересно, но, очевидно, только для меня. Собственные опыты в литературно-критическом роде (писание рецензий для этого журнала) я прекратил [...]

30.9.04

Дорогой Марк, я вчера послал тебе письмецо, но как-то не закончил. Тебе сказали (или даже упрекнули тебя), что «Стенография» полна сетований — на жизнь, на окружение, уж не знаю на что или на кого. Ничего подобного. Меня как раз и восхищало, в числе прочего, что эти заметки написаны спокойным, взвешенным, раздумчивым тоном и во всяком случае совсем не пессимистически. Скорее это можно было бы сказать обо мне, иногда до такой степени тошно жить, — мне кажется, я давно бы уже врезал дуба, останься я «там» и не будь со мной Лоры.

Вчера ночью я снова читал — это уже другая книжка — твой очерк об Илье Габае. Есть люди, которые несут в себе зерно самоистребления, долгие годы борются с искушением покончить с собой, хотя бы окружающие этого и не замечали. Таков был, например, Клаус Манн; или Дриё ля Рошель. Ты как-то упомянул книгу Чхарташвили, я её, к сожалению, не читал. Но есть другой, замечательный трактат о самоубийстве

Жана Амери, который в конце концов и сам убил себя. Что касается Габая (которого я не знал), то из твоего этюда хорошо видно, что это было типичное сочетание неблагоприятных, осторожно выражаясь, обстоятельств и того, что называется Anlage, эндогенного депрессивного синдрома, другими словами, предрасположения, которое, так сказать, ждёт удобного случая, чтобы, наконец, реализоваться — учинить над собой расправу. В своё время мне приходилось читать много специальных исследований на эту тему; есть семьи, где на протяжении поколений прослеживается тяга к самоубийству (семья Томаса Манна — чрезвычайно яркий пример). Если угодно — медицинская судьба. Ну и, конечно, — в случае Ильи Габая — славные органы. Эх, что говорить... [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.10.04

Дорогой Гена, мы с Галей 6 октября уезжаем в Сухуми, столицу непризнанной Абхазской республики, родину нашего друга Фазиля. Грузинский президент предостерегал россиян от поездок в «конфликтную зону», но мой брат рекомендовал нас по знакомству в дешёвый, как нигде, санаторий, море там до конца октября бывает тёплым. Посмотрим.

Статью Ивановой ты прочел, видимо, в интернете, сам журнал еще не вышел. «Дефолт», как можно понять, означает неплатежеспособность, несостоятельность, в данном случае литературы (по словарю, точнее: невыполнение обязательств). Интересно, как она обосновывает эту характеристику, какие приводит имена, примеры. Сам я ни подтвердить, ни опровергнуть такое мнение не могу, сослаться на собственное впечатление некорректно. Я знаю текущую литературу несравненно меньше читающих критиков. То, что попадает на глаза, особых восторгов действительно не вызывает, но это факт моей биографии. Былых властителей дум, похоже, не стало, и не только в российской словесности. Все чувствительней меняется сама современная культура, меняется и место в ней, самоощущение литературы. Одной рыночной экспансией всего не объяснишь, происходят какие-то глубинные, цивилизационные процессы, которые я пытаюсь уловить — пока без успеха [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.10.04

[...] Ты пишешь о «глубинных цивилизационных процессах», изменивших роль и облик литературы. Исчезли властители дум. И вообще многое на наших глазах провалилось в тартарары. Что случилось? В состоянии ли мы поставить правильный диагноз?

Легко сослаться на то, что сова Минервы расправляет крылья на закате; что художественную литературу хоронили уже много раз (ты сам об этом пишешь в «Апологии литературы»), что она в самом деле не раз в своей истории терпела кораблекрушение; что современники часто бывает слепы. Во втором из «Севастопольских рассказов» князь Гальцин читает роман некоего Оноре де Бальзака (умершего пять лет тому назад), «Блеск и нищета куртизанок», следует примечание автора: «Одна из тех милых книг, которых развелась такая пропасть в последнее время...» и т.д. Чехов стал почти знаменит при жизни, но заикнись кто-нибудь в те времена о том, что речь идёт о гениальном писателе и драматурге, о небожителе, — все (и первым сам Чехов) пожал бы плечами. Повторили бы слова Тригорина: хороший был писатель, но до Тургенева далеко... Кто знал о Кафке, кроме кружка друзей, а потом ещё добрых три десятка лет после его смерти? Что сказать о Платонове? О Джойсе, о Музиле?

Мы говорим о величии и влиянии литературы, но сколько было читателей у Вергилия, у Горация в золотой век римской литературы? Кто читал книги в XIII веке, в эпоху Высокого Средневековья? Об изобразительных искусствах и говорить нечего; трудно представить себе более аристократичное искусство, чем иконопись Рублёва. Какой процент от населения Российской империи в девятнадцатом столетии составляла читающая публика, сколько было подписчиков у «Современника» и «Отечественных записок»? Что знал русский народ о Серебряном веке?

И так далее. Всё это — риторика. Легко приводить такие доводы. Но в прежние времена никого или почти никого не смущало, что искусство отнюдь не принадлежит народу. Всё изменилось, всё стало выглядеть иначе в массовом обществе, с него, по-видимому, и надо начать. Мы с тобой уже толковали об этом, и не раз.

Это нечто новое в истории. Никогда не было такого количества грамотных людей. Никогда не было масс, живущих в относительном комфорте, пользующихся последними достижениями техники, ежевечерне вперяющихся в домашний экран. Не было такого изобилия еды и товаров широкого потребления, не было индустрии развлечений, не существовало всевластия средств массовой информации, массовой индоктринации, всенародного оглушения, не было того, что ещё 80 лет тому назад было названо восстанием масс и что одновременно нужно назвать невидимым порабощением масс. Разве всё это само по себе не служит объяснением? Нет, литература не исчезла; даже телевидение не сумело её задавить. Но было бы странно ожидать, что роль и место литературы в таком обществе не изменятся.

Не было и другого: двух мировых войн, тоталитарных режимов, концлагерей, самых совершенных средств массового истребления лю-

дей, никогда прежде невозможно было за несколько минут уничтожить целый город, в короткий срок умертвить в газовых камерах шесть миллионов душ. Не было демографического взрыва, инфляция стоимости отдельной человеческой жизни никогда ещё не была столь высока, und, und, und.

Это то, что касается «внешних условий», — а ведь мы ещё ничего не сказали о тотальной коммерциализации культуры. Литература есть предмет потребления, как и всё остальное, и её престиж прямо пропорционален её пригодности в качестве потребительского товара. «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». Формула Пушкина давно и безнадежно устарела. Рукопись можно продать *при условии*, что продаётся вдохновение.

Между литературным бизнесом и покупателем существует своеобразное соревнование. Рынок потрафляет вкусам и потребностям заказчика — цивилизованного плебса — и вместе с тем воспитывает эти вкусы, создаёт эти потребности. Рынок проникает в душу литературы, рынок есть то, что соединяет экономические условия функционирования литературы с внутренними условиями. Но об этом нутре приходится говорить особо, — очевидно, что литература не только провозглашает свою автономию, но и в самом деле автономна; собаки лают, караван идёт. Литература развивается по своим собственным законам. На внешнее насилие она отвечает по-своему, на собственном языке.

Во-первых, она замыкается в себе. Кажется, что противостоять агрессии рынка, который не терпит никакого нейтралитета, невозможно. Тем не менее находятся чудаки, готовые плыть против течения, шагать не в ногу, твердить своё ценой отказа от всех благ. Другими словами, вести жестокие арьергардные бои с продажностью. Литература — это призрачное царство, там можно жить, оттуда можно и не вернуться. Во-вторых, литература «откликается» — но как? Литература притязает на то, чтобы дать случившемуся в мире адекватный ответ. Крушению гуманизма отвечает, как эхо, циничная античеловеческая словесность [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.10.04

[...] Позавчера мы с Галей вернулись из Сухуми. Бывал ли ты когда-нибудь в этих краях? Райская природа — и полуразрушенные войной города. В «Стенографии конца века» у меня есть запись от 4.10.92: «Грузины бомбят с самолетов Гудауты и Гагры, курортные города». Теперь я эти города увидел, они до сих пор не восстановлены. 17-этажные отели, жилые дома зияют дырами, на уцелевших балконах сушится белье — в уцелевших отсеках, квартирах живут. По телевизору этого не

ощутишь. (Не сравниваю с разрушениями Грозного, там примешивается еще и чувство стыда: это мы сделали. Здесь все-таки не мы, грузины.) Сухуми вызывает особенно мучительное чувство: там разрушены красивейшие особняки начала прошлого века, своего рода музей архитектурных стилей, где через дом, где целые улицы. На уцелевших домах следы обстрелов, дыры, выбоины. Некоторые дома не разрушены — брошены, разорены. Внутри остовов разрослась буйная субтропическая растительность, некоторые деревья уже с плодами, ветви лезут в пустые глазницы, поднимаются над крышами. Галя сделала там серию интересных работ, графики и акварелей, они дают представление об атмосфере.

И, конечно, все там связано с именем Искандера. Он для этой маленькой республики национальная легенда. Нас пригласил к себе на винный завод главный винодел этого учреждения; по одной из версий, это прототип (или один из прототипов) искандеровского Чика. Я в этом не уверен, надо перечитать. Во всяком случае, они хорошо знакомы. Он устроил нам, по его словам, дегустацию; в других местах это назвали бы пиром: бокалы наполняли щедро (не из бутылок), были закуски. Одно из своих вин он назвал «Чегем» (есть и оппозиционная газета «Чегемская правда»); между тем, самого Чегема, как писал и сам Фазиль, уже не стало.

Мы взяли с собой книги Искандера, читали, как путеводитель по исчезнувшему миру. Вот здесь был описанный им ресторан «Амра» — зияет пустыми круглыми иллюминаторами; на верхней террасе, впрочем, вновь поставили столики. Это набережная Диоскуров. Но в кофейнях на набережной, как всегда, сидят мужчины, играют в шахматы, домино или нарды, что-то обсуждают.

Самое интересное, конечно, люди, встречи, разговоры. Мы даже попали как-то на митинг, где оспаривались результаты прошедших президентских выборов. Впечатлений много, эти две недели оказались содержательней, чем безделье на обычном безмятежном курорте. Но рассказ об этом мог бы занять не одну страницу.

Вернувшись, я спросил Фазиля, писал ли он о Сухуми после разрушений — может, я что-то пропустил. Нет, подтвердил он, больше не писал, и вообще, по его словам, прозы сейчас не пишет. Но все написанное им читается в Абхазии по-особому. Великая классика. Нескольким лет назад наш ПЕН-клуб решил выдвинуть свою кандидатуру на Нобелевскую премию. Я без сомнений написал: Искандер. Увы, к моему мнению не прислушались.

По пути в Москву я читал в купленной газете про нынешнего Нобелевского лауреата Эльфриде Елинек. Читал ли ты ее? Я пробовал когда-то читать по-немецки — не вдохновился. Премированный роман «Пианистка» был опубликован еще в 1983 году. Газета цити-

рует фрагмент из романа (в плохом переводе). Сомнительное впечатление. Конечно, чтобы судить о романе, надо его почитать. Но, похоже, в Шведскую академию на смену протестантским пуританам пришло поколение новых шведов, приветствующих в литературе то, от чего их предшественники воротили бы носы. Поветрие времени, и в быту, и в искусстве.

Это отчасти на тему твоего последнего письма, Ты написал своего рода эссе — можно только согласиться. Мы перед моим отъездом не успели обсудить статью о «дефолте литературы». Я бегло ее просмотрел — право, не знаю, что и как тут обсуждать. Это не столько о литературе — о литературной отрасли, индустрии. Нахлынуло необозримое множество текстов — есть ли среди них значительные? Может, и есть — нет возможности (или способности) их распознать, выделить. Оценки так называемых экспертов (включая Нобелевский комитет), увы, не всегда убеждают [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

[...] Ну вот, вы и вернулись, слава Богу, целыми и невредимыми. Я не бывал в Сухуми (Нукусе, как он называется у Искандера), но был дважды в Новом Афоне, это, кажется, тоже Абхазия. И вот — прекрасный искалеченный город. Искалеченный — ради чего? Ради призрачных целей, зловещих фантомов: национальная независимость, борьба за освобождение (от чего? От одной бюрократии, чтобы заменить её другой), ублюдочные «государственные интересы» или как там это называется — кому всё это нужно? Людям, которые ютятся в развалинах? Героика и романтика национально-освободительной борьбы осталась в далёком прошлом, во времена карбонариев. Наше время превратило всё это в кровавую бессмыслицу.

Фазиль давно стал классиком, во всяком случае, больше, чем кто-либо из писателей его поколения, заслуживает этот предикат. Но перестройка и то, что за ней последовало, по-видимому, надломил его. Сначала он стал писать хуже, а потом вовсе перестал заниматься прозой. Иссяк вечный источник, память о детстве.

Я виделся с Блюменкранцами, очередной выпуск антологии или сборника «Вторая навигация» почти готов (обычно печатается и брошируется в Запорожье), глава из Проекта Одиночество, разумеется, принята, понравилась, но он, то есть Миша, спрашивает, нет ли возможности дослать продолжение: присланный текст очень короткий, пять страниц, и кажется ему незаконченным. Мы говорили о жанре этого произведения, всё это близко духу сборника.

Они устраивают у себя на дому встречи-семинары студентов, обсуждение разных тем, я тоже принял в этом участие. Месяца два тому назад я говорил о Борхесе, а вчера прочёл нечто вроде лекции о раннем немецком романтизме.

О новой нобелевской лауреатше я, разумеется, много слышал, видел её не раз по телевидению, но смотреть фильмы по её произведениям и читать её книги не захотелось. Что, конечно, вовсе не означает, что она заведомо плохая писательница. Просто у меня какая-то идиосинкразия ко всему модному и производящему шум, и высокая награда ничего в этом смысле не меняет [...]

В среду 27-го я отправляюсь в Америку, вернуться надеюсь 7 ноября.

9.11.04

[...] Дорогой Марк, я вернулся из США, а сегодня, примерно через полтора часа, мне предстоит поездка на три дня в бывший монастырь Банц под Бамбергом, огромный замок, где, как и в прошлый раз, собирается гоп-компания, то есть ПЕН. Езжу туда по старой памяти. В Миддлтауне, штат Коннектикут, в тамошнем Wesleyan University, происходила небольшая конференция в честь 75-летия Юза Алешковского, с тремя докладчиками, которые, правда, приезжали по очереди: Андрэ Битов, Ольга Шамборант (некогда бывшая женой Битова) и под конец meine Wenigkeit, так что я их не застал. После лекции (так это называлось) банкет в японском ресторане, где я принял участие в качестве гостя, но вкушать пищу, к сожалению, по вечерам не могу. Все остальные дни провёл у Юза, немного гуляли, занимались дровами, то да сё; я почитывал два толстых тома сочинений Эйзенштейна и сидел за статьёй о Кафке, которую послал вчера, опять же по старой памяти, Анне Кузнецовой в «Знамя», хоть и давно уже стало ясно, что журнальное начальство по каким-то причинам меня не приемлет.

Вот, собственно, все мои скудные новости. Сегодня утром деревья, луг и цветы на балконе в снегу. Я читал биографию Кафки R.Stach'a, вышедшую только что к 80-летию смерти, и дневники Георгия Эфрона. Читать эти дневники мучительно. Не устаёшь удивляться интеллигентности этого мальчика, и... невозможно не возмущаться Цветаевой: то, что она потащила Мура в СССР, — проступок, граничащий с преступлением [...]

15.11.04

Дорогой Марк, что-то от тебя ни слуху ни духу. Я был в монастыре Банц. Устал как-то. Кажется, я написал тебе: под Мюнхеном. Это опечатка. Я был там второй раз. Бывший монастырь — огром-

ное здание, точнее, несколько соединённых зданий на холме, с высокими потолками, коридорами, переходами, бесконечными лестницами, много камня, старинные портреты монархов, «кайзерский зал» — находится недалеко от Эрлангена, в прекрасной холмистой и волнистой местности, которая граничит с Франконским лесом (Frankenwald).

Что ещё нового? Занимался тем, что переделывал две повести, «Жертвоприношение» и «Валерия», первую даже читал перед местной публикой. Статья о Кафке разрослась в статью вместо рецензии на книгу Stach, я послал её снова в «Знамя», мои ожидания подтвердились: я получил холодный ответ. Видимо, это связано с тем, что Н.Иванова обижена из-за рецензии на её книгу. Словом, напрасная трата времени. Всё — в сущности, напрасная трата времени.

Сегодня на Bayern IV Klassik день Шуберта, я хожу по комнате и слушаю Большую до-мажорную симфонию, вещь, которую я бы хотел, чтобы сыграли на моих похоронах [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.11.04

Вернувшегося из странствий, преодолевшего расстояния, пересекавшего океаны (туда и обратно), встречавшегося с великими людьми, слушавшего речи мастеров компьютера, набравшегося впечатлений, но почему-то не желающего о них рассказать — приветствует домосед, гуляющий в том же лесу, топчущийся на том же месте (работа, значит, не выгнцовывается). Мне и рассказать-то не о чем. На заседаниях ПЕН-клуба я не был уже больше трех лет. Скоро нам предстоит переизбирать председателя — Битов пересидел уже несколько положенных по уставу сроков, желающих его заменить, видно, нет. Но сейчас он, я слышал, болен, рак горла. Судя по тому, что он ездит и даже выступает, пока обошлось. Юз, наверное, лучше знает. Как он сам, пишет ли, о чем вы с ним трепались? Ты ведь там пережил эпохальные выборы президента. Какие проблемы обсуждали, встретясь, великие немецкие писатели? Что интересного ты обнаружил в новой биографии Кафки? В «Знамени», я думаю, твою статью не стали печатать не по личным причинам. Обсуждать иноязычные литературоведческие труды журнал для широкой публики может себе позволить нечасто. Лучше бы предложить статью, скажем, «Иностранной литературе». Можешь обратиться к зам. главного редактора Ларисе Николаевне Васильевой, тел. 953 05 00, e-mail найдешь в интернете или потом я поищу. Или предложи «Воплям», у тебя ведь там старый приятель [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.11.04

Дорогой Марк. Пять часов, и уже темно. Мерзкая погода, уже не осень и ещё не зима. Не знаю, что может тебе рассказать «встречавшийся с великими людьми». Доклады на конференции были скучными, экскурсии больше не устраиваются: нет денег. Международный ПЕН — полуничья организация, существует на субсидии, особенно секция «изгнанников»; раньше опекал жирный фонд Аденауэра, теперь он то ли отоцал, то ли ему надоело. А плату с писателей за две ночевки в монастыре Банц на этот раз, между прочим, содрали несусветную. Видел некоторых друзей и знакомых. Кстати, во всей компании только четверо говорящих по-русски: Вадим Фадин с его еврейской женой и Боря Шапиро с немецкой.

Что касается Америки, то я почти все дни провёл у Юза. Моя лекция в университете была, *horribile dictu*, как говорили древние, то есть страшно сказать, — о современной русской литературе. Присутствовавший юбиляр просил не говорить о нём, зато я, воспользовавшись твоим отсутствием, говорил немного о тебе. С А. Битовым я не встречался (последний раз видел его на предпоследней Франкфуртской ярмарке, мы оказались в одной гостинице), но он, кажется, в приличном состоянии; очень богат; пьёт.

Ты спросил о биографии Кафки (Reiner Stach. Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt/M. 2004). Это интересная и хорошо написанная книга, отнюдь не академическое литературоведение, а просто — для образованной публики. Да и в рецензии, которая превратилась в статью, книга эта, как и дата (80-летие смерти Кафки), — скорее лишь повод. Посылаю тебе эту статью ради интереса. Но всё-таки странно. Журнал для широкой публики не может себе позволить... А что же может позволить? Ведь это как раз то, о чём я писал в злополучном отзыве о сборнике статей Нат. Ивановой: европейское измерение отсутствует для критика, русская литература висит в пустоте, как Лапута.

Работа, говоришь, не вытанцовывается... В одном старом анекдоте некто в парильне, на самой верхотуре, восклицает: Евреи, мне плохо! А снизу спрашивают: А кому не плохо? — Евреи, я умираю! — А кто сейчас не умирает? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.11.04

Дорогой Гена, вот тебе стихи о послевоенном Сухуми:

Представь, что война закончена, что воцарился мир...
Что за окном не развалины города, а барокко
Города: пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Это Бродский. Как будто он сам видел: один к одному (кроме, пожалуй, пиний, их я там не заметил).

А недавно я открыл «Скучную историю» Чехова — как показалось знакомо! «Старому человеку», правда, всего 62 года: другой век, другие возрастные мерки. Он терпеть не может современную литературу (хотя среди писателей был, между прочим, Чехов), укоряет молодых людей: «Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль». Хотя сам непохоже чтобы часто читал Паскаля, предпочитает французскую беллетристику. Он боготворит науку, но к коллегам-врачам относится весьма скептически, пробует сам себе поставить диагноз, каждый день меняет лекарства. Но главное, не может найти общего языка ни с ровесниками, ни с молодыми людьми. А они, как и он, все поголовно тоскуют. Хочется то ли опровергать их, то ли признать неизбежность революции — такой невыносимой кажется жизнь.

Кафка у меня сейчас лежит на столе, он для меня остается непостижимым. Жаль, что новая биография не открыла тебе в нем чего-то нового [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21.11.04

Дорогой Марк, — о «Скучной истории». Мне было когда-то приятно прочесть в статье Т. Манна, что это его любимейшая чеховская вещь. Во время войны, в эвакуации, и ничего не зная о Томасе Манне, я сидел допоздна перед коптилкой и в один из таких вечеров прочёл «Скучную историю»; с тех пор люблю её больше всего или по крайней мере наравне с «Рассказом неизвестного человека», «Домом с мезонином», «Женой», «Припадком» и так далее, если говорить только о прозе, — перечислять можно долго. Но со «Скучной историей», как бывает часто у Чехова, надо держать ухо востро, ведь совсем необязательно доверять Николаю Степановичу во всём, что он говорит о себе. Например, его фраза об отсутствии «общей идеи»: если не ошибаюсь, в комментариях к Чехову всегда говорилось об этом как о главной мысли всего произведе-

дения — болезнь всего поколения и т.п., — со ссылкой на размышления Ник. Степановича в харьковской гостинице («нет чего-то общего») и особенно на последний разговор с Катей. «По совести, Катя: не знаю...» А ведь на самом деле общая идея, смысл жизни или как там надо это назвать — у профессора *есть*, и он сам говорит об этом. Это — его наука и вера в науку. Его коллега-филолог Михаил Фёдорович потешается над университетом, но ведь лекции, радость общения с молодёжью — это и есть их идея, это их мир.

Мне кажется, я мог почувствовать что-то подобное позже, когда я сам стал в 27 лет медицинским студентом, и хотя к тому времени Чехову почти уже стукнуло сто лет, и это был уже не университет, а институт в провинциальном городе, — как всё это похоже: и описание лекций, и прежде всего вера в то, что наконец-то занимаешься настоящим делом, идеализация медицины и естественнонаучного знания, идеализация настоящей профессии, счастье, что можно снова учиться, какое-то зная, под которым я жил. Даже просто мысль о том, что, когда снова посадят (должна же, наконец, кончиться эта оттепель), я буду человеком с профессией, пусть даже с неоконченным врачебным образованием, и уже не окажусь голым среди волков.

И, наконец, то высшее, что стоит над всеми, соединяет и оправдывает всех, то, что можно назвать метаидеей всего произведения, — изумительная художественность, стройность, волшебная красота и жизненность этой прозы.

Ладно; я опять, по-видимому, зарпортовался. Что сказать тебе ещё хорошего? Сегодня воскресенье. Работа не ладится. Читаю всякую всячину — больше почитываю, чем читаю. Статью о Кафке я переделал, то есть теперь она окончательно перестала быть рецензией; послал её Крейду в «Новый Журнал». Не могу сказать, что книга Штаха не открыла мне ничего нового; думаю, что и ты прочёл бы её с интересом. Что касается моей статейки, то для меня было важно не сообщить что-то новое и неизвестное, ведь я не литературовед и не исследователь Кафки, а уяснить кое-что самому себе. Ты пишешь: Кафка остаётся для тебя непостижимым; что ты имеешь в виду? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.12.04

Дорогой Гена, только что сын наладил мне компьютер. Не обошлось без потерь, среди прочего исчезла наша переписка с середины апреля 2004 (есть твой номер 153). Если письма у тебя хранятся, перешли мне оставшиеся, дальше буду разбираться. Заодно, мо-

жет, расскажешь, что у тебя было за последние две (уже, кажется, с лишним) недели. Я даже не помню, когда было от тебя письмо. У меня была сплошная нервотрепка.

На этом пока все. Обнимаю Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM184

13.12.04

Дорогой Марк, наконец-то. Я сейчас собрал в компьютере письма, какие нашлись, начиная с апреля (как ты просил), и посылаю в виде attachment. Надеюсь, компьютер твой выздоровел, и дойдёт. Но какая огромная переписка накопилась за эти годы. Бóльшая часть писем у меня всё-таки сохранилась, если не в электронном, то в бумажном исполнении. Между тем приблизилось Рождество. В центре города обычная суета, толчея, базар, огни, звёзды Давида, гигантская ель на Marienplatz и так далее. Это уже 22-й раз здесь в Германии. Сухая осень, холодно, снега нет, по утрам туман, потом проглядывает солнце, и деревья, покрытые инеем, сверкают, как в детском театре. Но, как ты знаешь, идиллический вид обманчив; жизнь есть жизнь.

Занимался я последние дни тем, что начертал небольшую статейку о «Бесах». Довольно странная идея, — после того, как я прочёл в «Знамени» (в интернете) статью Нат. Ивановой о театральных постановках «Бесов». Спектаклей этих я, конечно, не видел, ничего о них сказать не могу, но мне надоели разговоры о том, что Достоевский предсказал революцию и т.д.; с этого начинается статья в «Знамени», и так как это уже давно стало общим местом, то дело, собственно, не в Ивановой. Посылаю тебе моё изделие в виде третьего приложения.

Кроме того, написал один рассказик, а также правил или переделывал некоторые старые или более новые тексты в связи с тем, что появилась слабая надежда издать их в виде книжки. Другое, но более реальное предприятие — в Париже неожиданно собираются выпустить в марте мою старую и, в сущности, уже с пятнами плесени, повесть о короле Называется это «L'heure du Roi»¹, перевод как-то подозрительно быстро уже сделан. Лет десять тому назад существовал проект выпустить эту повесть в издательстве Verdier, которое опубликовало небольшой роман «Антивремя», но никакого успеха роман, по-видимому, не имел, и проект ушёл в песок. Сейчас это другое издательство — Viviane Namu, мне доселе неизвестное. Переводчица, m-me Elena Balzamo, прислала мне в подарок свою книжку о Солженицыне, вышедшую в 2002 г.,

¹ «Час короля» (фр.)

и, читая её (речь идёт главным образом о Колёсах, о границах между историографией и беллетристикой), я увидел то же, что было в немецких переводах Солженицына: ужасный слог нашего пророка в цитатах на французском приглашен и выглядит вполне цивилизованно. Автору огромного нечитаемого труда оказана большая услуга [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.12.04

Дорогой Гена, огромное спасибо тебе за письма — за проделанную работу. К сожалению, довольно много моих писем у тебя не сохранилось, или ты их не нашел [...]

Говорят, в компьютере даже стертая информация не пропадает, можно ее извлечь. Не так давно прокуратура у нас арестовала компьютеры известной фирмы, восстанавливала финансовую информацию, которую там якобы пытались скрыть. (А не могли что-то и добавить?) Откапывают, если будет желание.

О Достоевском ты написал хорошо. Я, правда, не читал статью Ивановой — ты цитируешь ее мнение, или она сама иронизирует над искателями аналогий?

Рад, что у тебя выходит книга во Франции. Она, вероятно, должна поспеть к мартовскому Salon du livre, центральной темой которого будет в этом году русская литература. Я получил приглашение, ты, возможно, тоже приедешь. В ожившем компьютере оказалось письмо с просьбой дать для какого-то рекламного буклета текст на двух языках [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.12.04

Дорогой Марк. Мне удалось вытащить из компьютера, кажется, все письма; посылаю. Хорошо было бы, если бы ты их сохранял вместе с дневником и другими материалами. Ведь и компьютер оказывается ненадёжным [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

18.12.04

[...] Я внимательней перечитал твою статью о Достоевском и задержался на мысли о Ставrogине с бесами как «зловещей трансвестии Христа с учениками» и о самом романе как «негативе Евангелия». Нигде прежде такого наблюдения не встречал, для меня это ново и вызывает на размышления.

Среди пересланных тобой писем оказалась интернетовская распечатка из «Знамени»: выступления Липовецкого, Седаковой и Эпштейна. Я почитал их снова. Седакова мне, разумеется, ближе, но я подумал: нет ли тут еще и возрастного противопоставления другой поколенческой стилистике? Она говорит о «гаерстве» пишущих — но они, может, и такого слова уже не знают, у них есть слово «приколы», которого она с почтенным Аверинцевым не употребляла. Я стараюсь перепроверять свой взгляд.

Как хорошо, что ты нумеруешь письма. Я разместил их по порядку и обнаружил, что не хватает номеров 168, 176, 177, 177а (цифра стоит, а письма нет), 179. Понемногу залатываю дыры, пытаюсь войти в работу. Пока это не очень удается, давление все еще мешает [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.12.04
CharM186

Дорогой Марк. Ниже — недостающие письма, о которых ты просил: №№ 168, 176, 177, 177а. В компьютере есть ещё немалое число писем прежних лет. Подумать только, сколько мы понаписали! Кто знает, может быть, некоторые из них представляют внеличный интерес. А может, и никакого интереса, если судить по сегодняшнему дню. Как бы то ни было, нужно прежде отдать концы. «Онтологический кунштюк», о котором писал Музиль: надо умереть, чтобы остаться в живых.

Ты пишешь о поколенческой стилистике (Ольга Седакова versus литературная молодёжь), о разнице до несовместимости; конечно, и я об этом думал. Нужно постараться понять, чем это вызвано. Деспотизм моды? Другой жизненный опыт? Ощущение другой эпохи? Другие литературные ориентации? Незрелость вкуса, равнодушие к музыке, «высшее образование без среднего»? Люмпенизация общества? Растерянность? Презрение к старшим? Презрение к языку? Но, между прочим, гаерство и кокетливая вульгарность свойственны не только молодым.

Гриша (который совсем перестал мне писать) прочёл в альманахе «Вторая навигация» мой рассказ под названием «Сад отражений» и принял одно место за некую исповедь писателя-эмигранта; мне это не приходило в голову, но к нашей теме поколений имеет, видимо, некоторое отношение:

«Вот уже тридцать лет я по сути дела ничем другим не занимаюсь, подчас живу впроголодь. Дошло до того, что однажды мне пришлось просить подавание на вокзале. Пожалуй, я кое-чему научил-

ся: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но всё отчётливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже.

Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Бóльшая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями мои коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, — непрофессиональны, неумелы, глухи к языку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, поработены сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.

Но всё это не то — не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу обратную сторону этих аристократических претензий: безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из критиков, это язык классических переводов, причём с мёртвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручён: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полёта, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своём классицизме, своём отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.12.04

Дорогой Гена, спасибо за помощь в восстановлении развалин. Теперь выяснилось, что между твоими номерами 167–168 нет моего письма (на которое ты отвечаешь) и твоих писем 177а (вместо которого ты прислал мое письмо) и 179.

Я заглянул еще раз в твою статью о Достоевском — задержался на месте о «доле идейной вины», которую он несёт. Когда-то говорили об идейной вине и ответственности Ницше за преступления нацистов, которые сделали его своим кумиром и символом — пусть и без его жела-

ния. В этом, видимо, есть своя правда, об этом писал Томас Манн. Но у наших народопоклонников-народников были другие кумиры, Достоевский им был враждебен, интеллигентные проповедники революции его ненавидели, переворот совершили не антисемиты.

Я все еще не в лучшем состоянии, прозу отложил, зато накопал полдюжины стихков. Вот тебе один:

Не смотришь в зеркала, где ты себе неприятен,
Есть другие, точнее, доверять следует тем,
Где скорей узнаешь себя. Недостатки стекла,
Можно считать, искажают правду. Не позволяй
Застигнуть себя врасплох. Заранее позаботься
О правильном освещении, выбирай удачное время.
Не читай и не слушай, что там о тебе судачат.
Избегай рискованных встреч, проверяющих взглядов.
Заводи знакомства с отбором, отсеивай при нужде.
Результаты трудов не спешి отдавать на суд,
Все равно не поймут, по крайней мере, сейчас.
Кроме, быть может, той, что смотрит в глаза.
Но ведь и это на время. Разочарование ранит.
Надежен лишь попугай, обучи его с толком
И держи взаперти, чтобы вторил только тебе.

Будь здоров. Обнимаю тебя

Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

24.12.04

Дорогой Марк, сегодня немецкий Heiliger Abend, ещё вчера весь город был в снежных завалах, сегодня к утру от снега не осталось следа, всё растаяло и стекло в тартарары. Народ сидит по домам, горят иудейские звёзды, вечер, когда собираются семьи, распаковываются подарки, когда вспоминают детство. Никаких особенных новостей за последнее время не было, я занимался тем, что переделывал старые вещи. Вчера вечером мы с Лорой смотрели «Сарабанду», последний фильм Бергмана (я видел его месяца два тому назад, когда он был только что закончен), и снова я думал о том, что семья, «личная жизнь», человеческие ценности и человеческие отношения, закрытые для посторонних, — собственно, и есть Revier¹ литературы, больше того — её королевский домен, то, о чём не сумеет рассказать

¹ особый участок (*фр.*)

никто, кроме писателя, — и что только через *эту* призму можно рассматривать всё остальное: историю, страну, политику, общественные проблемы и пр. И вдруг начинают казаться детской забавой все литературные и языковые игры. О том, что литератору подобает обзавестись семьёй, есть, впрочем, одно место в «Стенографии» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.12.04

Дорогой Гена!

Вчера мы всем семейством собрались у нашей младшей дочери, дарили друг другу новогодние подарки. Трое детей с мужьями и женами, трое внуков, ожидаем четвертого. Я почувствовал себя немного патриархом. («Еще далеко мне до патриарха, еще на мне полупочтенный возраст».)

Подбивал некоторые рабочие итоги. Составились два новых цикла из верлибров этого года: «Музыка в музее» и «Страшный суд». Верлибров всего 16, негусто. В прошлом году их набралось больше тридцати. Проза, на которую были потрачены основные силы и время, пока не получается. Обычное дело. Бывало, годами работал безрезультатно. Но завершенность хотя бы мелких работ дает ощущение какой-то отдачи. Увы, не денежной. Съездил в «Знамя» получить гонорар за опубликованные стихи — 870 руб. Переведи на евро. Жить, впрочем, пока есть на что.

Странную историю — отчасти на тему денег — узнал я от Жоржа Нива, который заехал ко мне в обеденный перерыв из отеля «Космос», где проходила какая-то многолюдная литературная конференция. (Это близко от нас, обратно я проводил его пешком.) Мой знакомый поэт Женя Рейн с двумя братьями по цеху написали письмо «туркменбаши» Ниязову, где в подобострастном восточном стиле превозносили его заслуги, особенно же — поэтическую гениальность и предлагали свои услуги, чтобы на достойном уровне донести его поэзию до русского читателя. Пересказываю, конечно, приблизительно, я текста не читал. Я вообще в это не мог поверить, думал, может, тут розыгрыш. Но вот уже, говорят, напечатали и в газетах (которых я тоже не читал). Рейн знаменит уже тем, что Бродский его назвал когда-то своим учителем, на конференции он вел секцию «Поэзия — совесть народа» или что-то в таком роде. Когда его спросили, зачем он это сделал, он ответил: «Зарабатывать-то надо». Надеялись, видно, получить за предложенные услуги вполне восточные деньги от криминального диктатора, попросту убийцы. Не ожидали, что это станет известно.

А у нас проводили опрос по поводу очередного юбилея другого, покойного диктатора: больше 30% оценили роль Сталина положительно, более 20% считают, что России нельзя без такого руководителя, как Сталин.

Хочется иногда в отчаянии бежать куда-нибудь из этой страны.

Гена, я, возможно, утомил тебя просьбами помочь мне в залатывании дыр. В прошлом письме я называл тебе несколько пропущенных номеров, посмотри. И обнаружилась еще одна недостача: твой номер 161 [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27.12.04

Сегодня получил твоё письмо от 27 дек., дорогой Марк, — похоже, что ты мои последние письма не получил. К одному из них были приложены копии писем, о которых ты просил: 168, 176, 177 и 177а. Если не дошло, я повторю. Сейчас посылаю тебе № 161 и 161а. Целая бухгалтерия. Заодно и сам их перечитал. Продолжается ли твоя переписка с М.Липовецким?

Да, представить тебя в облике и роли патриарха мне трудно. Сам я тоже дедушка, но у меня всего два внука (в феврале, кстати, они нагрянут к нам).

Треть опрошенных оценивают роль Сталина положительно, пятая часть считает, что России не обойтись без такого правителя, как Сталин. Где-то я уже встречал эти цифры или близкие к ним. Представим себе громадного каменного кумира, ушедшего в облака; видны только сапоги. Народ в километровой очереди, как когда-то перед мавзолеем: целовать сапоги. Я помню один спектакль в *Werkraum*, экспериментальном филиале известного тебе театра *Münchner Kammerspiele*, больше десяти лет назад, там было только два действующих, вернее, говорящих лица: Сталин и Зускин. Ус лежал с пистолетом высоко на русской печи (его играл актёр-калека Радтке), а внизу стояли громадные сапоги-говнодавы.

Вот говорят, как приятно, когда люди, покинувшие страну, эмигранты, вспоминают о своей жизни на родине без злости, без раздражения, без мстительных чувств. Но я не знаю, помнят ли о своей злобе те, с кем приходилось сталкиваться во время беготни по всевозможным учреждениям в лихорадочной спешке последних нескольких дней, отведённых на сборы. Только после всех справок, штемпелей и отметок можно было получить вонючую визу — приказ до такого-то числа выметаться вон. Это были мелкие чиновники, обыкновенные советские люди. Никто, собственно, не обязывал их глядеть волками и делать буквально всё возможное, чтобы убить последние сожаления у

отъезжающего, — и какое счастье было, наконец, уехать! Почему они так усердствовали? Есть какая-то связь между этим воспоминанием двадцатилетней давности и лесом рук, голосующих сегодня за здоровье Сталина. Приезжая в Москву, я видел, как всё изменилось. Но запах! Неизвестно откуда, от кого, из каких щелей и подвалов исходящий трупный запах гнусного прошлого [...]

Поэта Евгения Рейна я однажды видел, правда, издали, на Франкфуртской ярмарке. Он похож на старого барбоса и держался как старый, заслуженный барбос. Вадим Фадин, поэт и прозаик, живущий в Берлине, как-то недавно жаловался мне, что Рейн, приехавший в Германию и остановившийся с женой ради экономии у Фадиных (которые с ним совсем не близки), был чрезвычайно высокомерен, словно делал им честь своим постоем. Если это так, то это удивительно и даже трогательно. Бывая часто за границей, он должен был знать, что поэт и писатель в этом обществе занимают место не то что не наверху, но даже не на середине социальной лестницы. Я плохо знаком с поэзией Рейна, но его титул «учителя Бродского» мне известен. Можно понять эту тоску по прекрасным временам, когда можно было сытно кормиться переводами фантомных национальных поэтов. А уж зарабатывать при дворе убудочного «туркменбаши», пировать там и т.д. — во всех смыслах богатая идея [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.12.04

Дорогой Гена, что-то, видимо случилось с электронной почтой. Время от времени узнаю, что многие письма ко мне не доходят [...] Но у нас с тобой, слава Богу, пока обошлось без пропаж. Мои вопросы вызваны, возможно, недоразумением. Я считал, что ты нумеруешь свои, а не мои письма. Но вот оказалось, что номер 161 — мое письмо, а 161a — твое. В другой раз наоборот. Чего все-таки не хватает — моего письма между твоими 167 и 168, я там, очевидно, писал о «Возмездии».

И больше об этом не буду. Я кончаю залатывать разные пробоины, пробую понемногу думать о прозе, но все пока неотчетливо.

Вот тебе, если еще не надоело, один из последних верлибров:

Сны о недостижимом, невозможное совершенство.
Добираешься до предела, до края, где небо
Соединилось с землей, прикоснулся в восторге
К влажной трепещущей кромке... если бы только
Это могло не кончаться, так и остаться бы здесь.
Осуществление, вершина, краткий счастливый миг,
Воспоминание об успехе, удовлетворение — вспышка

Тут же становится прошлым. Не удержать, не продлить.
Возобновляешь усилия, добиваешься, ищешь, томишься,
Нетерпеливо торопишь время. Мучительно ожидание,
Незавершенность невыносима.
Только еще не сейчас.
Продлить еще хоть немного. Не хочется умирать.

С наступающим Новым годом, Гена! Здоровья и всяческого процветания тебе и семейству от нас с Галей [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM190

Дорогой Марк, я разыскал письмо между № 167 и 168 (см. ниже). Путаница связана, вероятно, с тем, что я сам иногда нарушал порядок: переносил в мой компьютер твои письма, нумеровал их прибавлением букв и т.п. К твоему письму 167m оказался присоединённым (видимо, мною для памяти) французский текст Пригожина. Вообще хорошо бы всё это привести в порядок — авось пригодится. Как я уже писал тебе, у меня в компьютере находится ещё целый корпус посланий (около 100), более ранних, с другой нумерацией.

Заодно перечитал это письмо, там, действительно, говорится о «Возмездии». С 15–16 лет и до сего времени это поэма, как и предисловие к ней, чрезвычайно важна для меня; незаконченная и якобы не удавшаяся, она кажется одной из вершин Блока, да и всей русской поэзии.

«Сны о недостижимом...» — очень близкие мне стихи по настроению, по содержанию, по всей словесной фактуре. Мне кажется, я тоже так написал бы, если бы умел. Последняя строчка («Но всё равно придётся») показалась мне излишней: она уже содержится имплицитно в предыдущей фразе.

О «первом поэте России» (каким, по-видимому, считает и рекомендует себя Евг. Рейн) поместила в «РЖ» ядовитую заметку Н.Иванова. Почитай, если у тебя есть доступ к интернету. История с этими дураками и великим туркменбаши получила, следовательно, широкую огласку.

Год догорает. Сегодня вечером мы с Лорой собираемся идти слушать Томаса Хольцмана: концерт-чтение по главе «Fülle des Wohllauts»¹ из «Волшебной горы». В прошлом году он читал «Смерть в Венеции».

Ещё раз сердечно поздравляю тебя и Галю.

Твой Г.

¹ «Полнота благозвучия» (нем.)



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

«В компьютере есть ещё немало число писем прежних лет. Подумать только, сколько мы написали! Кто знает, может быть, некоторые из них представляют вневичный интерес».

Борис Хазанов, из письма 18.12.2004



Марк Харитонов, родился в 1937 году в Житомире. Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем средней школы, ответственным секретарем многотиражной газеты, редактором в издательстве. С 1969 г. свободный литератор – прозаик, поэт, эссеист и переводчик художественной литературы. Роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» в 1992 г. был удостоен первой в России Букеровской премии. Автор романов «Два Ивана», «Возвращение ниоткуда», «Проект Одиночество», «Увидеть больше», эссеистических книг «Способ существования», «Стенография конца века», «Уроки счастья», «Стенография начала века», повестей, рассказов, стихов. Переводил произведения Т.Манна, Ф.Кафки, Г.Гессе, Ст.Цвейга, Э.Канетти и др. Произведения Харитонova переведены на многие европейские языки, а также на японский и китайский. Живёт в Москве.

«Я не вёл дневников, мои письма — аналог дневника», — заметил Борис Хазанов в эссе «Родники одиночества». Его письма с годами стали существенной частью моей жизни. Как-то он мне написал, что и мои письма стали частью его жизни».

Из предисловия Марка Харитонova
